90 коп. Индекс 70331

В КОНЦЕ 1990—В 1991 гг. В «ЗНАМЕНИ»:

А. Д. САХАРОВ. Воспоминания
Чабуа АМИРЭДЖИБИ. Куда падают звезды. Роман
Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия. Роман
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Место. Роман
Даниил ГРАНИН. Повесть
Владимир ДУДИНЦЕВ. Дитя. Роман
Олег ЕРМАКОВ. Заклинание против вепря. Повесть
Наталья ИЛЬИНА. Второе возвращение
Франц КАФКА. Письма к Милене
Виктор КОЗЬКО. Спаси и помилуй нас, черный аист. Повесть
Михаил КУРАЕВ. Петя по дороге в царствие небесное. Повесть
Владимир МАКАНИН. Долог наш путь. Повесть
Юрий МАЛЕЦКИЙ. Огоньки на той стороне. Роман
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ. Лик — лицо — личина
Анатолий ПРИСТАВКИН. Рязанка. Повесть
Борис СЛУЦКИЙ. Военные заметки
Николай ШМЕЛЕВ. Сильвестр. Роман
Артур ХЕЙЛИ. Вечерние новости. Роман

Георгий АРБАТОВ. Недавнее прошлое
Ярослав ГОЛОВАНОВ. Королев. Книга вторая
Наталья ДУМОВА. Из цикла «Московские меценаты»
Юрий КАРЯКИН. Семидесятый
Галина СТАРОВОЙТОВА. Парламент изнутри
Станислав ШАТАЛИН. День нынешний
Дмитрий ШЕПИЛОВ. Воспоминания
Юрий ЧЕРНИЧЕНКО. Земля и воля
Йозеф ГЕББЕЛЬС. Из дневников

ISSN 0130-1616 Знамя. 1990 № 9. 1—240

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1990

Сентябрь



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с января 1931 года

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

9
СЕНТЯБРЬ
1990

Издательство
«Правда»
Москва

Содержание

Критика

Из почты «Знамени»

Маша Володина

ТЯЖЕЛЫЙ РОК

Летаргический сон

Здесь, где черный закат и багровые реки
от начала начал до последних времен,
здесь ни ночь и ни день, сквозь тяжелые веки —
бледно-розовый свет и малиновый звон.

Сквозь меня пролетает осенний листок—
возникает едва уловимый звон.
И когда в мою грудь разряжают курок—
те же звоны и крик ворон.
Летаргический сон.

Нам еще не дано настоящее имя,
но уже не подняться до сути имен.
Слишком радостно нас отпевали живыми
и, живых, зарывали под малиновый звон.

А еще, за века, что я здесь стою,
прислонившись лицом к стене,—
почва выпила черную кровь мою,
и дожди наполнили вены мне
в летаргическом сне.

Там, где черный закат и багровые реки,
ощущаю сквозь сон белый ангельский сонм.
Отворите мне кровь, поднимите мне веки
или дайте уйти за пределы времен.

Заклинаю хранителя с первого дня,
чтоб укрыл своим снежным крылом.
Он опять пикирует мимо меня—
лишь архангельский свет погон
и малиновый звон...

1988

Ausweis

Как холодная, голодная змея,
документ лежит в ладони у меня.
Ausweis и с ним три тысячи табу
гарантируют завидную судьбу.

Маша ВОЛОДИНА — актриса. Она родилась в 1964 году в Москве, окончила школу-студию МХАТа, работает на киностудии им. Горького. В 1988 году в 12-м номере журнала «Юность» опубликовано ее стихотворение. В 1989 году Володина поступила на заочное отделение Литературного института. В 1990 году участвовала в фестивале рок-акустики в г. Череповце.

Чиркнут перья по бумажным небесам —
и тогда она приблизится к глазам.
Как чужая среди прочих мерзнет мать.
Я лежу, и на устах моих — печать.
Я лежу на темном фото, как в гробу.
Вы мне выдали фальшивую судьбу.
И когда она приблизится к глазам,
я почувствую на шее свежий шрам.
Я услышу, как опустится заслон,
как захлопнется малиновый картон.
Тяжким молотом ударили об рельс.
Ausweis в моей руке, как эдельвейс.
Как задумано, малиновый цветок
выделяет плотоядный липкий сок.
Он меня своей росою опоил.
Он меня уже почти переварил.
Перегрыз меня, как муху, пополам.
Фотография — на шее свежий шрам.
И малиновая корочка в руке
синим пламенем горит на сквозняке.

1987

Небесная повозка

В зените — хляби, под ногами — топи.
В больничных тапках тянется парад.
И женщина убьет меня в утробе.
Повозка в небе едет на закат.

Конвейер пущен, тело мягче воска
под лезвием стерильного скребка.
Неси меня, небесная повозка.
Сотри меня, умелая рука.

Под вашим Солнцем места не хватает.
Таким, как я — не выделено дня.
Моя Земля меня не принимает.
Родная мать не вы́носит меня.

Без времени, без срока, без указа,
без голоса валяюсь вне дорог,
в черте эмалированного таза
я кто, я что — отрезанный кусок.

Пока дымится кровью тело воска,
полезным делом занят эскулап.
По небу дефилирует повозка.
По коридору тянется этап.

И маски налагаются на лица.
И среди многих выигрышных благ
пахнёт эфиром, память испарится,
и очередь продвинется на шаг.

1987

●

Доктор, что нас ждет впереди,
доктор, нам страшно по вечерам...
Доктор, доктор, мы устали идти
по дороге, ведущей во храм.
Доктор, доктор, мы слишком стары.
Мы шагнули за сотни смертей,
продавая богов, приникая губами к дарам.
Мы закрывали глаза,
мы превращались в пыль
на дороге, ведущей во храм.

Мы слишком долго искали лаз.
Мы шагали по железным путям.
Доктор, доктор, проведите нас
короткой дорогой во храм.
Но доктор, доктор, вы слишком больны.
В ваших глазах — сотни смертей.
Утраченный Бог собирает нас по кускам.
Я превращаюсь в тень.
Тень совершает круг
по дороге, ведущей во храм.

1989

Сульфа

Кто был весел и смел — пролетел и однажды, и дважды.
Кто посмел не однажды — сполна схлопотал по губам.
Это мертвый сезон, из которого выйдет не каждый.
Только мокрое дело приносит победы гербам.

Кто не хочет во благо — в итоге кончает на плахе.
Кто кончает на плахе — идет поперек и вразрез.
Я лежу на кровати в смирительной белой рубахе
и не чувствую Бога в бетоне больничных небес.

Я не знаю апостола там, за больничной оградой,
где до лучших времен остается пустая графа.
Я не вижу исхода из этого адского сада,
все, что было во мне, все дотла выжигает Сульфа.

О, Сульфа! Я не помню, откуда пришло это имя.
Я не помню себя, и какой между нами расклад.
Если ты человек, то — с ружьем, если камень, то — в темя,
если женщина ты, я — убитый тобою солдат.

Это имя мое. Я афганская мать-героиня.
Я бросалась под танки, и мне раздавили лицо.
Я лежу на спине, я — земля, я Сульфара-пустыня,
я в себе погребаю своих и чужих мертвецов.

Я в себе погребаю пространство и время увечий.
Я себя погребаю вне всяких времен и широт.
Я бросалась словами, и мне отвечали картечью.
Я кидалась на стены и падала грудью на дот.

И пока наши шансы колеблются между и между,
и когда я рыдаю, уткнувшись в колени врачу,
я кричу не затем, что во мне еще живы надежды,
а затем, что уже ни о чем говорить не хочу.

Я пройду сквозь Сульфу, позабуду и дело и слово,
и пустая графа мне забрезжит дорогой прямой.
Доктор скажет родным, что больная жива и здорова,
социально нейтральна и может вернуться домой.

Я ступаю легко, как по небу плыву над проспектом.
Мать закрылась на ключ и в глазок наблюдает ландшафт.
Не узнает лица, моего не поймет диалекта,
н не примет на веру, и втуне затянет свой шарф.

И повиснет молчанье в обители, родственной раю,
и наступит на горло, и в уши вонзится трубя—
«Узнаешь ли меня?» — Узнаю тебя и принимаю.
Принимаю парад, вызываю огонь на себя.

Погребаю в себе мертвецов к селезенке носками.
Погребаю себя там, где брезжит пустая графа.
Только выжженный ветер гоняет пески за песками.
Это смерч разыгрался, которому имя—Сульфа.

1989

●

В ночь полнолунного накала,
когда сам-друг себе не брат,
вдыхая сладкий дым сандала,
я отделяю дух от пят.

Лечу, наращивая герцы,
сквозь биоклеточный каркас.
И останавливаю сердце,
и открываю третий глаз.

И прозреваю мессу Глюка,
и третий Рим, и первый крик,
и выпадаю вон из круга
сквозь плотный теменной тупик

туда, где медленно, без стрёма,
раскрыв шафранные крыла,
внутри небесного объема
парит в тумане Шамбала.

Где еле зримо, еле слышно,
свершив астральный оборот,
О, хари-Кришна, хари-Кришна
меня в персты свои возьмет.

И тоньше тени, легче звука,
вся — звукотень и светозвон,
в Его руке я стану плугом,
зерном, пергаментом, пером.

1988

Тяжелый рок

У кого третий глаз, а у нас
срок прописки истек.
У кого в квартире газ, а у нас
протек потолок.
Все равно я отсюда не уйду никуда
и под дулом револьвера—лень.
Мне на темя тяжелая каплет вода
ночь и день.
Тяжелая вода холодит мой лоб.
Тяжелая вода заливает рот.
И каждая капля сулит потоп.
Тяжелая вода—звон курантов в ушах.
И каждая капля, не капля—гвоздь.
Тяжелая вода пробивает кость.
Тяжелая вода проникает в мозг—

китайская пытка российских широт.
И каждый вдох—нож.
И каждый выдох—ложь.
И каждый второй—вор.
И каждый третий—в ответе.
И каждый четвертый—мертвый.
И настолько надежен небесный колпак,
что можно обойтись без конвойных собак,
но последний святитель отвалил с небес,
и каждая капля утроила вес.
Тяжелая вода обретает плоть.
Тяжелая вода наступает на грудь
тяжелой подошвой в металлических шипах.
Течет моя кровь в пол.
И вся моя соль—пот.
И каждый пятый—распятый.
И каждый шестой—святой.
И каждый седьмой—глухонемой.
И каждый Пол Пот от усов до бровей речист.
И каждый спасатель до мозга костей—садист.
И каждый восторг вызывает слепую дрожь.
На темя мое продолжает сочиться дождь.
Тяжелая вода выпивает мой пот.
Тяжелая вода выпивает кровь.
Тяжелая вода обретает мой лик.
Тяжелая вода смывает мой легкий прах.
Тяжелая вода в личине моей
идет и проникает под каждый кров,
и я не могу сделать жест, или выжать крик.
И каждый ее шаг—шах.
И каждый ее выдох—мат.
И каждый восьмой—хромой.
И каждый девятый—горбатый.
И каждый десятый—каждый второй,
пятый-девятый, вместе взятый.
И прямо в глаза мне
нечистая прет свол-лочь.
Я знала последняя капля
падет в пол-ночь.
И вот наконец, как темя
отверз kiss-тень,
последняя капля
упала с небес,
Я—тень.

1989

———

Владимир Максимов

ЗАГЛЯНУТЬ В БЕЗДНУ

РОМАН

«Все свершалось не по воле Наполеона, не Александра Первого, не Кутузова, а по воле Божьей».

Лев Толстой

Глава первая

Адмирал

1

В гулком омуте дворового колодца кружились белые мухи зацветающих тополей. В косых лучах уходящего за ближние крыши солнца цветы в палисаднике, казалось, тоже плыли куда-то наподобие пестрой армады утлых суденышек. Со двора, в распахнутые настежь окна, тянуло травяным дурманом, прелью остывающей земли и застоявшейся кухней.

Оттуда, из-за крыши соседнего, выходящего лицевой стороной на проезжую улицу дома, время от времени выплескивался автомобильный гул или паровозная перекличка с дымившей поблизости товарной станции.

В комнате было сухо и сумрачно. В тишине, которую изредка перечеркивало мушиным зуммером, ее собственный голос слышался ей самой чужим, вплывающим в окна откуда-то со стороны.

Эту историю она рассказывала себе всю жизнь с того дня, когда ружейный залп над февральской Ангарой проставил в конце этой истории свое нестройное многоточие. С годами рассказ расцвечивался все новыми и новыми подробностями, возникавшими всегда внезапно, но тут же обраставшими плотью и явью реальных фактов, как бы случившихся когда-то в действительности.

Эта история тянулась за ней, как нитка за иголкой, через Иркутский централ, Бутырки, Забайкалье, Караганду, Енисейск, Рыбинск и Тарусу в этот московский двор на городской окраине, где время замкнуло вокруг нее свой заколдованный круг. И окончательно остановилось. У этой истории уже не было ни начала, ни конца, а оставалась замкнутая на самое себя бесконечность, единственным выходом из которой было бы полное растворение в ней, смерть, небытие.

Когда это случилось? И случилось ли это вообще? А может быть, это давний сон или госпитальный бред, не отпускающий ее до сих пор, что, однажды провалившись в нее, сам сделался пленником своей жертвы?

Но если это так, то откуда же тогда сквозь тополиный пух майского дня тянуло на нее сейчас зябким холодком февральской поземки, посвистывающей над ледяным панцирем Ангары?

Было это, было, и никуда от этого не денешься!

2

— Я увидела его, деточка, в тот год, когда мир рассыпался в прах и невзнузданные лошади метались по земле как угорелые. Жизнь, словно линяющая змея, сбрасывала с себя одряхлевшую оболочку, являя человеку свой новый и легко ранимый лик. Он стоял, печальный и бледный, среди всеобщей разрухи, и не было вокруг ни одной души, способной понять его или ему помочь. Священные развалины дымились под ним, страна кабаков и пророков с надеждой обращала к нему пустые глазницы поверженных храмов, и даль клубилась меж копытами разбойничьих табунов. Он был, как новый Адам после светопреставления, сорокалетний Адам в поношенном адмиральском сюртуке с пятнышком Георгиевского крестика ниже левого плеча. У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель. На своем долгом веку я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рожден для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственность за будущее опустошенной родины. Стоило мне лишь увидеть его, деточка, как сердце мое безошибочно определило: он! Тот самый, которого я ждала с первых дней своего девичьего сознания и о котором никогда не переставала думать. До него, до встречи с ним меня еще, собственно, не существовало, я была только внешней оболочкой для той души, какую Господь предназначил создать из его ребра. Лишь познав его, я увидела и услыхала себя как женщину и человека. Он тихо сказал мне: «Пойдем со мной». И я пошла за ним, не ведая сожалений и страха. Пошла, благословляя судьбу за выпавшее на мою долю. Друг ты мой, свет единственный, свеча моя заветная, Сашенька, Александр Васильевич, страшно подумать, коли бы мы не встретились! Помнишь ту ночь нашу в Омске, когда все еще только начиналось? Помнишь, ты сказал мне: «Умереть бы нам вместе, Аннушка!» А потом: «Нет, нет — лучше я один, а ты живи, ты должна жить!» Помню, я плакала от любви и благодарности к тебе и все твердила, целуя тебя и задыхаясь: «Только вместе, Сашенька, только вместе, чтобы и там вместе». Сколько было у нас потом ночей и дней среди огня и крови великого потопа! Я знала, что не обманусь в нем, но он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В содоме всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе все, чем щедро одарила его природа: тонкость и великодушие, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него вилось множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть живую жизнь, облечь их в плоть и кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом,— но лишь тратил попусту время. Вызванные к действию злобой и демагогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий, сидел он в затемненном вагоне, невидяще глядя перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забытье любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоем· Я молю Бога, деточка, чтобы ты хоть однажды испытала, что это такое. Гибли народы, источались государства, стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы, вишневый дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кифаристы оглашали окрест негой и сладострастием.

«Аннушка,—шептал он мне,—прости меня». «За что! — отзывалась я.— За что, Саша!» «Я не смог сделать тебя счастливой». «Ты дал мне все, о чем я могла только мечтать». «Но ты достойна лучшего». «Я хочу быть достойной одного тебя». Я не помню, я не хочу помнить, сколько это продолжалось, во мне тогда остановилось время и отсчет яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка, что за ночи, если их хватило на пятьдесят лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него. Да, да, деточка, верите вы или нет, но я уже больше никому не отдала ни себя, ни своего сердца. Я сдержала слово, я умерла вместе с ним в ту же минуту, как только ледяная вода сомкнулась над ним. Пятьдесят с лишним лет лагерей, тюрем и частной жизни я лишь влачила здесь свое бренное тело по воле Господа. Его предали подло и унизительно, предали за кучку золота, предали люди, которым он безоглядно доверился. Что ж, матерь городов славянских, златоглавая Прага, теперь ты пожинаешь плоды своего тогдашнего предательства. Пусть же помнят правители и народы, какой ценой расплачиваются потомки за их легкомысленный флирт с дьяволом! Нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз, он отрекался от нашей любви, от наших клятв и обязательств — во имя моего спасения. Адам предавал свою Еву ради ее же блага. Но я не могла, не имела права принять от него подобного дара. Я пошла к ним сама. Я просила одного: смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не заслуживала этого, слишком большой для меня казалась им эта честь, таким недосягаемо высоким они его видели. Говорят, он вел себя до конца как подобает мужчине и офицеру. Говорят, чекистов в нем покоряло его ровное спокойствие в течение всего следствия, его благородство по отношению к своим бывшим сотрудникам, вину которых он полностью брал на себя. Говорят, единственным занятием его в перерывах между допросами была молитва. Всю жизнь, деточка, он был верен Богу и, как видите, в час испытаний не отрекся от своей веры, наподобие Иова, а принял их, со смирением и молитвой. Я не сужу его убийц, они не ведали тогда, что творили, всем им впоследствии пришлось испить ту же чашу. До сих пор мне непонятно только одно: зачем им понадобилось скрыть от меня его последнюю записку ко мне, какую опасность она для них представляла, что могла изменить? Где мера этой непонятной черствости, этой душевной глухоты, этого нравственного падения? Но есть, есть Божий суд, через столько лет, сквозь войны и мятежи, версты и голодовки, безвременье и перемены его зов, его последнее «прости» все же дошло до меня, а значит — так было угодно Всевышнему. Я знала, что, идя на смерть, он улыбался. Я знала, что в роковую минуту он повернулся лицом к своей гибели. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс, но я никогда не осмеливалась думать, что он пел его для меня, для меня одной... Господи, чем отплачу я Тебе за Твою безмерную милость!.. Саша, Сашенька, Александр, свет, Васильевич!.. Было это, конечно, было, хотя намного короче и проще.

3

В лунной ночи за обрешеченным окном потрескивала лютая стужа. В камере давно не топилось, и, кутаясь в шубу, Адмирал пытался уснуть, но сон не шел к нему, оставляя его наедине с собой и своей памятью. Дни тянулись удручающе медленно, скрашенные только сумбурными, похожими скорее на собеседования допросами. Остальное время он был предоставлен самому себе, чем пользовался, чтобы еще и еще раз мысленно прокрутить события последних лет, взвесить все «за» и «против» вчерашних решений и поступков, отдать отчет хотя бы собственной совести: есть ли за ним вина во всем, уже случившемся?

Адмирал заранее знал, что его ждет в ближайшие дни, если не часы. С самого начала он обрек себя на это сознательно. У обстоятельств, сложившихся к тому времени в России, другого исхода и не было, как не было исхода у всякого смельчака, вздумавшего бы остановить лавину на самой ее быстрине. И все же, как теперь думалось ему, возможность задержать или смягчить окончательный обвал у него оставалась, стоило ему только принять предложенные противником законы «игры без правил», что, может быть, если и не изменило бы результаты, то сохранило бы многие, преданные ему жизни, правда, за счет чужих и тоже многих. И хотя, конечно же, в его окружении многие не гнушались невинной крови и чужого добра, в слепой разнузданности такой войны, порождавшей взаимную ненависть, слабые быстро теряли голову, сам он, даже в минуты полного отчаяния, так и не смог преступить черты, которая отделяла его от мира, заложенного в нем с молоком матери, от своих идеалов и ценностей.

В первые дни после выдачи Адмирал нашел атмосферу в здешней тюрьме почти патриархальной. Надзиратель Андреич, добродушный дядька из старых тюремных служак, относился к важному новичку даже с известным подобострастием, памятуя, видно, мудрое правило осторожной жизни: нынче князь, завтра — в грязь, а послезавтра опять в чести.

Заглядывая в камеру, он по обыкновению мешковато, но старательно вытягивался, начиная всегда одним и тем же:

— Морозит, ваше превосходительство, мочи нету, сопля с лету мерзнет, собаку зашибить можно.

И лишь после этого, смущенно потоптавшись, выуживал из-под заношенной шинели то записочку от Аннет или Алмазовой, сидевших где-то в соседних камерах, а то — от них же! — какое-либо съедобное подспорье: тюремный рацион не отличался особым разнообразием, если не сказать больше.

То, что она все эти дни содержалась совсем рядом, и их мимолетные встречи на прогулках в тюремном дворе — облегчало ему собственное заключение, но одновременно он изнуряюще терзался своей виной за ее сегодняшнее положение и будущую участь. И, хотя его не оставляла надежда, что тюремщики не решатся, не осмелятся расправиться с нею наравне с ним, он не переставал бояться за нее: слишком вызывающе вела она себя при аресте.

О, как ему хотелось бы, чтобы она оказалась сейчас там же, где спасалась теперь его семья, или же в другом более безопасном месте, тогда бы он ушел из жизни со счастливым сердцем.

«Только бы ее миновала чаша сия,— исступленно молился он про себя,— смилуйся, Господи, над несчастной рабой твоей Анной!»

Когда в одной из последних записок Аннет сообщила ему, что части Каппеля уже на подступах к Иркутску, на него впервые пахнуло дыханием близкого конца: комитетчики, которых теперь полностью контролировали большевики, в случае успеха каппелевцев не оставят его победителям живым. Но, несмотря на это, он страстно желал им такого успеха: если уж ему все равно суждено умереть, он предпочитал умереть с праздничной уверенностью, что еще не побежден.

Ему вдруг пригрезился его давний дрейф на утлом вельботе сквозь ледяное крошево Северной губы в поисках экспедиции барона Толя. Ведь и тогда он если не наверняка знал, то чувствовал, что Толь и его люди погибли, должны были погибнуть, столько месяцев не имея в запасе ни продовольствия, ни средств передвижения; их могло спасти только чудо, но, как и в начале теперешнего пути, он и в том своем упорстве надеялся на это чудо, которого, конечно же,

не случилось, и все же ему никогда не пришлось пожалеть о первоначально принятом решении: не пуститься тогда на поиски означало для него зачеркнуть самого себя или до конца дней отдаться на растерзание собственной совести.

Адмирал очнулся от скрежета ключа в замочной скважине камерной двери. И по настойчивой вкрадчивости этого скрежета он, с мгновенно холодеющим сердцем, догадался, что пришли за ним и — в последний раз.

После первого ледяного ожога все в нем словно бы одеревенело и внутренне замкнулось в немотной отрешенности. Он рывком поднялся навстречу неизбежному и замер посреди камеры: «Господи,— четко отпечаталось в его мозгу,— укрепи душу раба своего Александра!»

Гости с керосиновыми фонарями в руках молча сгрудились тесным полукругом по ту сторону дверного проема, чуть ли не вытолкнув впереди себя единственного знакомого ему из них в лицо по недавним допросам — чекиста Чудновского, который, едва перешагнув через порог, так и остался стоять на том месте, куда его вытолкнули, и оттуда же, подсвеченный сзади зыбучим фонарным пламенем, принялся зачитывать Адмиралу постановление Иркутского ревкома.

Слова выговаривал, будто от кого-то отругиваясь, зло, отрывисто, с вызовом, на Адмирала не глядел, ожесточенными глазами близоруко сверлил бумагу перед собой, и трудно было понять, на кого он больше сердится: на себя или на осужденного.

Выслушав приговор, Адмирал, скорее, чтобы разрядить возникшую напряженность, чем недоумевая, спросил:

— Значит, суда не будет?

Чудновский только нетерпеливо пожал плечами, уступая ему дорогу наружу, и вышел за ним следом в такой близости, что Адмирал ощущал его взбудораженное дыхание у себя на затылке.

Так они и проследовали друг за другом в окружении молчаливого конвоя до самой тюремной конторы, куда вскоре доставили Пепеляева.

Бывший премьер, видимо, уже находился в полной прострации. Тяжелая коренастая фигура его заметно съежилась и обмякла, и без того тусклые глазки еще более провалились, превратившись в едва мерцавшие мертвенным блеском в сером блине бесформенного лица бусины, в синюшных губах едва слышно складывалось молитвенное бормотание:

— ...яко видетса очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля...

Брезгливо поморщившись в его сторону, Чудновский резко вскинулся на Адмирала:

— Есть ли у вас просьбы, адмирал?

— Могу ли я попрощаться с госпожой Тимиревой?

— Нет.— Отказывать ему, быть может, и не доставляло радости, но властью своей он упивался.— Еще что?

— Тогда я прошу передать моей жене, которая живет в Париже, что я благословляю своего сына, а для себя — закурить.

— Если не забуду, то сообщу, а курить — курите.

— Благодарю...

Памятью Адмирал еще жил в том мире, где перед смертью допускалось просить с кем-то свидания или кого-то напутствовать и — что самое удивительное! — получать на это разрешение, но ему дано было лишь предчувствовать, а не знать наверное, что на смену этому миру отныне пришел другой, где людям в его положении уже не с кем будет прощаться и некого благословлять.

А Чудновский тем временем в упор подступился к Пепеляеву:

— Что у вас, только не размазывайте?

Тот словно бы внезапно очнулся от забытья, вздрогнул и, порывшись под полой полушубка, извлек оттуда и протянул Чудновскому сложенный вчетверо листок бумаги.

— Что это? — скривился Чудновский.

— Записка матери,— еле выговорил Пепеляев и добавил с усилием, умоляюще: — Пожалуйста.

— А! — отмахнулся от него тот, небрежно ткнул протянутый ему листок в карман шинели, повернулся к конвою.— Выводите!

В неверном свете керосиновых ламп лица двинувшихся к Адмиралу конвойных вдруг обозначились перед ним резче и определеннее. И он не почувствовал в них ни вызова, ни злобы, одно только тревожное любопытство, окрашенное некоторой настороженностью, словно они все еще ожидали от него какой-нибудь выходки или окрика.

И только один из них — из-под офицерской, не по размеру папахи тюленьи глаза над пуговкой вздернутого носа,— пропуская его вперед, злорадно осклабился:

— Отвоевался, вашество...

«Господи,— шагнул мимо него Адмирал,— они даже шутить уже разучились по-человечески!»

В безветренной ночи скрип наста под ногами казался почти оглушительным. Сквозь едва подсиненную черноту вокруг все воспринималось резче, выпуклей, объемней, чем обычно. Студеный воздух, обжигая легкие, впервые не забивал дыхание, а клубился под сердцем пьяняще и освежающе. На фиолетовом снегу, заштрихованном размашистым углем соснового подлеска, человеческие тени выглядели до неправдоподобности огромными. Душа жила уже сама по себе, воспринимая окружающее как бы сверху или со стороны.

Пепеляевское бормотание за спиной только обостряло в Адмирале это ощущение все нарастающей в нем отстраненности от всего окружающего:

— ...Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков...

Дорога круто взяла на подъем. Зыбкий свет фонарей выхватил из темноты куцые флотилии торчавших из-под снега в морозной наледи могильных крестов, сразу же за которыми маячило черное полотнище сплошного леса, а над ним, этим полотнищем, плыла навстречу идущим, будто знамение, знак, тавро их судьбы, одинокая, но торжествующая звезда. Его звезда.

Подъем выравнивался на излет, когда сбоку, совсем рядом с Адмиралом, прозвучала надсадная команда Чудновского.

— Здесь,— выплюнул он в ночь.— Конвою развернуться в каре.— И уже пристраиваясь в затылок обреченным: — Пройдите вперед!

Пепеляевское бормотание за спиной Адмирала сделалось громче и надрывнее:

— ...Крестителю крестов, всех нас помяни, да избавимся от беззаконий наших: Тебе бо дадется благодать молитися за ны...

Через несколько шагов Чудновский тихо выдохнул сзади:

— Достаточно. Встаньте рядом,— и, приблизившись вплотную к Адмиралу, впервые за все это время прямо взглянул ему в лицо.— Если у вас есть платок, адмирал, вам завяжут глаза.

— Платок у меня, разумеется, есть.— Он откровенно издевался над собеседником, намеренно подчеркивал это самое «разумеется».— Но завязывать мне глаза не обязательно. Возьмите его себе на память, только осторожнее, в нем зашит яд — может, он когда-нибудь вам пригодится.

Ожесточение в бессонных зрачках Чудновского вдруг схлынуло, острое лицо устало осунулось, в голосе уже не оставалось ничего, кроме обычного житейского недоумения:

— Что же вы не воспользовались этим сами, адмирал?

— Вы безбожник, уважаемый, для вас это будет легче.

— Думаю, что мне это едва ли пригодится.

— Кто знает, уважаемый, кто знает, не зарекайтесь.

(Ты вспомнишь его слова, Чудновский, вспомнишь, когда поволокут тебя сопящие от азарта «молотобойцы» [1] по лестничным пролетам внутренней тюрьмы в ее расстрельный подвал, но не окажется у тебя в те испепеляющие минуты спасительного адмиральского плагка, ибо мир, созданный тобой вместе с твоими единомышленниками, зачислит носовые платки заключенных в разряд смертоносного оружия мировой буржуазии!)

— Под твое благоутробие прибегаем,— пепеляевский голос опадал, словно скисшее тесто: — Богородице, моления наша не призри во обстоянии, но от бед избави ны, едина Чистая, едино Благословенная...

Адмирал попробовал было напоследок пробиться к слуху своего напарника:

— Может, простимся, Виктор Николаевич, по-христиански?

— Душе, покайся прежде исхода твоего, суд неумытен грешным есть, и нестерпимы возопий Господу во умилении сердца: согревших Ти в ведении и в неведении, щедрый, молитвами Богородицы, удщери и спаси мя...

Пепеляев, видно, находился уже по другую сторону сознания. В медленно удаляющихся шагах Чудновского чувствовалась грузная тяжесть, и — окажись у Адмирала возможность взглянуть сейчас тому в лицо — он мог бы поклясться, что торжество над поверженным врагом не принесло победителю ни радости, ни облегчения.

— На изготовку! — коротко выплеснулось из темноты, почти одновременно с грянувшим где-то вдалеке пушечным выстрелом.— Пли!

Странно, но Адмирал не услышал выстрела и не почувствовал боли. Только что-то мгновенно треснуло и надломилось в нем, а сразу вслед за этим возник уходящий вдаль винтообразный коридор со слепящим, но в то же время празднично умиротворяющим светом в конце, увлекая его к этому свету, и, осиянный оттуда встречной волной, он радостно и освобожденно растворился в ней.

Последнее, что он отметил своей земной памятью, было распростертое на синем снегу его собственное тело, вдруг ставшее для него чужим.

4

Ленин — Склянскому:

«Пошлите Смирнову (РВС 5) шифровку: (шифром). Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Беретесь ли сделать архинадежно?»

Из рассказа безымянного чекиста, служившего в охране Ленина в Горках:

«Откровенно говоря, не жаловал я ночного дежурства. Бывало, ближе к ночи, особливо, когда луна, топчешься вокруг дома, а с терраски вдруг, тоненько-тоненько так, вой доносится, аж дрожь по коже. Это, как уже потом узналось, вождя нашего на эту терраску вывозили чистым воздухом подышать, помирать не хотелось, а кому, скажи на милость, хочется?..»

[1] Молотобойцы — заплечных дел мастера (чекистский жаргон).

О Э. М. Склянском:

«В 1924 году снят с поста заместителя председателя Реввоенсовета Республики, отправлен в США и уже там, спустя год, согласно достаточно надежным свидетельствам, утоплен чекистами в одном из многочисленных американских озер».

Смирнов — Ленину и Троцкому:

«В Иркутске власть безболезненно перешла к Комитету коммунистов... Сегодня ночью дал по радио приказ Иркутскому штабу коммунистов (с курьером подтвердил его), чтобы Колчака в случае опасности вывезли на север от Иркутска, если не удастся спасти его от чехов, то расстрелять в тюрьме».

Он же исполкому Иркутского совета:

«Ввиду движения каппелевских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения Советской власти в Иркутске, настоящим приказываю вам находящихся в заключении у вас адмирала Колчака, председателя совета министров Пепеляева с получением сего немедленно расстрелять. Об исполнении доложить».

Из книги Роберта Конквеста «Большой террор»:

«Смирнов ничего не знал об аресте своей семьи и принял это просто как отвратительную угрозу со стороны следователя. Но вскоре, по дороге на допрос, он увидел свою дочь в другом конце коридора, причем ее держали двое охранников. Что случилось с дочерью Смирнова, так и неизвестно. Ее мать содержалась в женской командировке Кочмас-Воркутинского лагеря, где она узнала от родственников, что ее дочь все еще в тюрьме. Впоследствии жену Смирнова отправили на кирпичный завод Воркуты, где в марте — апреле 1938 года она была расстреляна в числе других „нежелательных"».

Оттуда же — последние слова Ивана Смирнова перед казнью в 1936 году:

«Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде».

Сообщение о Троцком:

«20 августа 1940 года во второй половине дня советский агент Рамон Меркадер принес Троцкому, якобы для ознакомления, свою статью (о возникшей тогда в троцкистских кругах полемике) и, когда тот просматривал ее, нанес ему смертельный удар по голове скрытым под плащом альпинистским ледорубом».

Вот так, господа хорошие, вот так!

5

Воздух в городе казался насквозь промасленным. С утра до вечера вентилятор прокручивал этот удушающий замес жары и влаги, но не приносил ни прохлады, ни облегчения. В такую погоду каждую минуту хотелось лечь пластом на пол, не дыша, не слыша ничего вокруг и ни с кем не разговаривая. Только бездомные искатели счастья, которым некогда было задумываться над завтрашним днем, могли выбрать для своей столицы столь неподходящее место.

За несколько месяцев здешней колготни Адмирал так и не привык к этой стране и ее людям. Правда, из них он чаще всего встречался с военными или чиновниками, реже — со светской публикой, на поездки в глубь территории и на другие встречи у него просто не оставалось времени, и все же общее впечатление об их национальном характере у него сложилось довольно определенное.

При всей их внешней простоте и раскованности почти в каждом из них ощущался жесткий холодок, отделявший, наподобие некоего панциря, их внешнюю жизнь от внутренней. Поэтому слова, улыбки,

жесты, обволакивающее радушие служили им как бы атрибутами для общения с окружающей средой, не выявляя при этом ни их подлинной сущности, ни настоящих намерений.

Удивительным и непонятным в них было также сочетание всеразъедающего скепсиса с болезненным снобизмом. Не испытывая, казалось бы, особой почтительности ни к кому и ни к чему на свете, аборигены в то же время не умели скрыть своего благоговения перед разного рода знаками, чинами, званиями — благоговения, свойственного в России разве лишь исправникам и околоточным где-нибудь в глубокой Тьмутаракани. По количеству различного калибра «президентов», «полковников» и «командоров», стаями рыскавших по бюрократическим кабинетам столицы, на душу населения эта страна давно обогнала все жившие когда-либо и здравствующие ныне цивилизации.

Панибратски похлопывая по плечу всякого встречного-поперечного и «тыкаясь» со всеми напропалую, каждый из них тем не менее с обидчивой зоркостью следил за соблюдением субординации, строжайшим образом сообразуя свою развязную фамильярность с существующей в обществе табелью о рангах.

У каждого сословия здесь существовала если не в полном смысле своя униформа, то нечто сугубо характерное в одежде, что отличало его от всех прочих сословий, поэтому на улицах каждый заезжий чужак мог безошибочно отличить конторского клерка от государственного служащего, политического босса от промышленного воротилы, университетского профессора от журналиста, а здешние парады и празднества отличались такой мишурой и помпезностью, будто заранее задавались целью доказать свое неоспоримое первородство перед любыми претензиями Старого Света на этот счет.

Их страсть к критике по любому поводу поначалу ошеломляла своей широтой и свободомыслием. Беспощадному анализу и осуждению подвергалось вся и все, невзирая на значимость явления, уровень круга или положение лица, но — странное дело! — с течением времени Адмирал стал отмечать, что ни разу в его присутствии никто не осмелился возразить своему прямому начальнику, без чего, к примеру, в куда более консервативном русском Морском штабе не обходилось ни одно сколько-нибудь важное совещание.

В частных же разговорах дело обстояло еще своеобразнее. Свободомыслие собеседника простиралось обычно лишь до пределов узаконенных в его кругу табу. Оспаривать общепринятые этим его кругом истины считалось предосудительным и рассматривалось как плохой тон и неумение вести себя в обществе. Если же несведущий новичок все же пытался отстаивать собственное мнение, воспринимающий аппарат визави тут же отключался навсегда, вычеркивая смельчака из сферы своего внимания и интересов. О, как эти недавние потомки авантюристов и конкистадоров подсознательно жаждали, чтобы у них все выглядело «как у людей», тем самым ежедневно и ежечасно благодатно унавоживая почву для своего многоликого конформизма наизнанку.

Но что действительно восхищало его в Новом Свете, так это организация дела. Здесь всякий знал свое место и целиком ему соответствовал. Любая работа делилась обычно на множество частных операций, каждая из которых в отдельности казалась пустяковой и не требующей от исполнителя особых знаний или квалификации, но, слитые воедино целенаправленным процессом, они порождали богатство, возмещавшее исполнителям их дремучую провинциальность.

Они чем-то походили на больших детей и, разумеется, как всякие дети, считали себя умнее, дальновиднее и справедливее других на земле и выглядели даже трогательно в этой своей наивной уверенности, хотя наживали себе таким образом в нашем не лучшем из миров множество недругов и еще больше хлопот.

Слов нет, они были также великодушны, и незлопамятны, и отзывчивы на чужую беду, но стоило этим прекрасным качествам принять организационные формы, как героическими усилиями прожорливой армии дармоедов, кормившихся около государственной и международной благотворительности, добро их превращалось в свою полную противоположность. В результате забавно было наблюдать их искреннее недоумение перед той неблагодарностью, доходящей порой до слепой ненависти, с которой относились к ним облагодетельствованные народы.

Вот это ощущение собственной мощи и одновременно боязливой неуверенности в себе, присущей всяким неофитам новой цивилизации, замешанное на своеволии первооткрывателей и всех порочных предрассудках, вывезенных ими из Старого Света, и создало, по мнению Адмирала, сплав какого-то абсолютно неповторимого национального характера, способного в своей потенции и обновить, и погубить мир.

Опасность здесь, как думалось ему, таилась в роковом несоответствии распухающей, словно тесто на добротных дрожжах, этой самой цивилизации и ее духовного содержания. Процесс технического развития всходил так беспорядочно и резко, что культура, по самой своей умеренно поступательной сути, просто была не в состоянии угнаться за ним, порождая подчас вопиющие противоречия между повседневным бытом и мыслью, когда человек, занятый в этом процессе, зачастую не имел никаких, хотя бы приблизительных общих знаний или элементарных понятий об этике и морали.

В России все, казалось бы, обстояло наоборот, но, тем не менее, это еще быстрее привело к катастрофе, последствия которой, по глубокому убеждению Адмирала, уже невозможно было ни предотвратить, ни направить в какое-либо русло: человек, сам того не сознавая, впервые в истории поднялся не против социальных обстоятельств, а против самого себя, против своей собственной природы.

К сожалению, и тут и там во все времена, вне зависимости от цвета кожи, существовали свои черные. Эти черные были робки, послушны, даже услужливы, но в кажущейся покорности, в их показном раболепии всегда вызревал бунт, тем кровавей и беспредельней, чем дольше и тяжелее длилось их закабаление. Сумеет ли, догадается ли Новый Свет вовремя осознать стерегущую его опасность и добровольно, не ожидая взрыва, исподволь выпустить из гремучей бутылки этот мятежный дух, вот в чем вопрос.

И все же, что бы там ни говорить и как бы там ни судить, в Адмирале за минувшие месяцы сложилось твердое убеждение, что если кто-то еще и в состоянии остановить или преодолеть начавшееся теперь в России сползание в общую пропасть, то лишь она — эта противоречивая, по-своему наивная, напористая и уступчивая, застенчивая и кичливая, воинственная и робкая, но в то же время еще не утерявшая связи с Богом страна.

Рабочий день Адмирал начинал с просмотра утренних выпусков газет и, конечно же, в первую голову, с вестей из России. Сегодня среди броских заголовков об очередном краснобайстве Керенского и чхеидзевской говорильне ему на глаза попалось крохотное, набранное нонпарелью сообщение о нелегальном возвращении в Петроград лидера русских большевистских социал-демократов — Владимира Ульянова-Ленина.

Поданная газетой в пестром наборе разных российских разностей, заметка эта не могла привлечь внимания или заинтересовать здешнего читателя, уже привыкшего к бесконечному потоку стреми-

тельно сменявших друг друга известий из России, но, едва осмыслив ее — эту заметку, Адмирал почувствовал, как внутри его что-то оборвалось и похолодело; и в нем сразу же, с обессиливающей ясностью определилось, что это — начало конца.

Еще в годы, когда имя этого без пяти минут присяжного поверенного только-только выплывало на общественной — да и то полуподпольной! — поверхности, Адмирал, интересуясь запутанным, как всегда в их говорливом отечестве, спектром политических течений, выделил его из разношерстной среды писучих крикунов, плодившихся в те времена на родине чуть ли не в клеточной прогрессии.

Сквозь шелуху полых слов, какими автор явно пользовался лишь в силу их обязательности в той среде, где сами слова означали нечто большее, чем смысл, который в них вкладывался, сквозила такая исступленность в собственной правоте, такой накал поистине дьявольской страсти, что было ясно — этот человек знает, чего он хочет, и не остановится ни перед чем, чтобы достичь поставленной цели.

Этот человек, в чем Адмирал с годами все более убеждался, знал главное для политика — человеческие слабости и играл на них с виртуозностью гениального музыканта. Он предлагал человеку безграничную свободу, оставляя вне ее посягательств лишь свой личный авторитет — авторитет вождя. Он допускал все, даже, казалось бы, самое недопустимое, кроме сомнений в его непогрешимости. Он освобождал людскую душу от вечных обязательств перед любыми богами, но только не перед быстротечной покорностью ему лично, соблазняя ее легкой возможностью, при счастливом стечении обстоятельств, оказаться на его месте. А кто, скажите, в нашем подлунном мире не считает себя достойным такого счастья?

Этот человек учел все ошибки и промахи своих неудачливых предшественников от Гракхов до Кромвеля и от Пугачева до Пестеля. Он уверенно направлял отрицательные эмоции индивида не в одну только социальную сторону, хотя еще и пользовался общепринятыми в его среде понятиями каст и классов, а во все стороны сразу, когда врагом для человека становится всякий, кто против, вне зависимости от происхождения или принадлежности к какой-либо привилегированной группе, и уничтожение такого врага отныне не только освящалось самой Справедливостью, но и вменялось в обязанность.

Да, он тоже, как и его предшественники, сулил легковерным золотые горы, молочные реки и кисельные берега, но под внешним флером этих посулов всегда прочитывалась наиболее близкая сердцу толпы идея: пусть будет хуже, зато поровну.

И, что самое поразительное, в чем Адмирал ни на минуту не сомневался, тот сам, судя по всему, понимал, что у него почти нет шансов. В такой стране, как Россия, где в дремоте устоявшегося быта никто никого и никогда не слышит, создать условия, в которых он окажется в центре внимания, ему могло помочь только чудо. И это чудо подарила ему война.

Российская телега стронулась с места и покатила под гору. Возницы менялись один за другим, чтобы тут же соскочить, от греха подальше, на обочину, а повозка все набирала и набирала разбег, и остановить ее теперь мог только тот, у кого тяжелее рука и круче голос, кто не погнушается никакими средствами и не постыдится никаких преступлений. И сегодня такой человек объявился в Петрограде, где среди керенских и чхеидзе у него не оставалось сколько-нибудь серьезных конкурентов и он, в чем Адмирал тоже был убежден, окончательно становился хозяином положения.

По сравнению с этой угрозой все в памяти Адмирала тушевалось, съеживалось, отходило на задний план: жена, сын, собственные планы и карьера. На карту ставилась судьба России и, наверное, не только ее одной. В душе его пока еще едва ощутимо, исподволь вызревало зябкое предчувствие неотвратимости будущей гибели всего того, с чем связана была его жизнь с ее укладом, традициями и корнями, но именно поэтому он не мог, не допускал мысли, не имел права смириться с этой неотвратимостью: он предпочитал погибнуть вместе с сегодняшним миром, нежели жить в завтрашнем.

С этим он и постучался в кабинет помощника военно-морского министра.

Едва он взял на себя дверь и шагнул внутрь, как из полутьмы зашторенной комнаты в его сторону хлынуло разливанное море лучезарного равнодушия.

— Хелоу, адмирал, рад вас видеть! — белоснежные клавиши ухоженных зубов осклабились навстречу гостю, не угасая до самого конца разговора.— Как продвигается наша работа? Надеюсь, без проблем? В любом случае, адмирал, я всегда к вашим услугам...

Краем глаза Адмирал успел отметить пасьянс, предательски рябивший разноцветными мастями из-под наспех и небрежно наброшенных сверху бумаг: помощник министра явно изнывал от безделия, а потому был словоохотлив пуще обычного:

— Что привело вас ко мне, адмирал? Чем могу служить? В последнее время только и слышно на всех углах: Россия, Россия, Россия! Русские теперь самые модные люди в американских салонах. Что вы обо всем этом думаете, адмирал? Чем, по-вашему, все это может у вас кончиться?..

Гость поспешил вклиниться в возникшую паузу и, подхватив тему, коротко изложить суть и цель своего визита.

— К чему так драматизировать события, адмирал? — Улыбка хозяина в душной полутьме кабинета расцвела еще лучезарней и снисходительнее.— В Петрограде просто стало одним демагогом больше, вот и все. Пройдет два-три месяца, и об этом вашем Ульянове забудут так же скоро, как и обо всех предыдущих, если он вообще в ближайшие дни не свернет себе шею или ему ее не свернут. Зачем вам лезть в эту кашу, дайте им всем там перебеситься, толпа в конце концов устанет от этой неразберихи, и процесс войдет в свои берега, тогда и вернетесь себе спокойно, разве вам у нас плохо? Стоит вам захотеть, и вы без промедления будете зачислены на американскую службу. Поверьте, адмирал, мое ведомство сочтет это за честь! Вы совершили в нашем минном деле целую революцию!

При этом на беспорочно пухлом, как у большого ребенка, лице американца без труда можно было прочесть всю гамму обуревавших его в эту минуту чувств: «О, эти русские, никак не могут без аффектации, подумаешь, историческое событие, некий заштатный социалист выполз из подполья, сто́ит ли из-за подобных пустяков так взвинчивать себя! Сколько в них еще дикости, в этих слегка европеизированных азиатах!»

Адмирал уже по опыту знал, что непробиваемый этот оптимизм заранее лишал смысла какую-либо дискуссию, поэтому в ответ он только пожал плечами и поспешил закруглить встречу:

— Я только выполняю свой долг, сэр.

Тот, видно, почувствовал исходящее от гостя нетерпение и тут же, как бы восстанавливая дистанцию, поднялся:

— Как знаете, адмирал, как знаете, вам виднее. В сущности, у нас нет оснований задерживать вас, но, тем не менее, я хотел бы заверить вас, что ваша работа совместно с нами имела для нас огромное значение. Желаю вам счастливой дороги...

Уходя, Адмирал только окончательно утвердился в своем решении: домой и как можно скорее!

6

Во сне к нему пробился отдаленный колокольный звон. Приходя в себя, Адмирал никак не мог отделаться от вязкого недоумения: откуда он — этот звук в таком небольшом японском городке, как Никко, за многие сотни верст от ближайшего берега России?

Густой, протяжный звон заполнял его, вызывая в сонной памяти зыбкое чередование картин и видений давно минувшего: отец в парадной паре перед зеркалом в передней их петербургской квартиры, Крестный ход по Обуховке, над праздничной пестротой которого слепяще сияет золото образов и хоругвей, карнавальная радуга рождественских елок на марлевом фоне январского снега, и сквозь все это укоризненный голос няньки Натальи Савишны: «Ох, Сашок, ох, барчонок мой неуемный, остепенись, не сносить тебе головы!»

Затем одновременно с наступающим пробуждением и чувством реальности к нему возвратилось все то же, точившее его в эти дни тревожное нетерпение: «Пора, свет Александр Васильевич, пора дальше двигаться, засиделся ты тут, у моря погоды не высидишь!»

Солнце сочилось сквозь бамбуковые жалюзи — тихое, ровное, вкрадчивое. Там, за этими жалюзями, облитый зоревым свечением притаился город, весь в колдовской вязи ручьев, ручейков и крошечных водопадов: крылатое скопище хрупких, словно бы карточных крыш вокруг лаковых ярко-кирпичного цвета шинтоистских храмов, в обрамлении зеленых вековых криптомерий. Видно, недаром в Японии говорят: «Не говори слово «кекко» [1], пока не видел Никко».

Второй месяц Адмирал жил здесь в почти игрушечном номере случайной гостиницы, скрываясь от назойливости журналистов и политиканов средней руки, но они настигали его и тут, с вежливым упорством настаивая на своем праве разговаривать с ним: бесшумно вскальзывали к нему в номер, часто и долго улыбчиво кланялись, усаживались против него на корточки и вперялись ему в лицо с вопросительной требовательностью.

И хотя любопытство гостей не выходило обычно за рамки злободневных русских событий, за бездонной тьмой их раскосых глаз Адмирал угадывал их неистребимое любопытство не к нему лично — нет! — а к географическому пространству, которое он для них олицетворял и которое отдавалось в них заманчивым эхом — Россия.

Что-то грозное и неотвратимое чувствовалось в этом их любопытстве, так бывает во сне, когда человек и подсознательно догадывается о призрачности своего страха и в то же время не в состоянии сопротивляться ему. Вот уж воистину: Восток есть Восток!

Окончательно отряхиваясь от остатков дремы, Адмирал без труда вообразил себе предстоящий день. После завтрака, с его утомительно тягучими «чайными» церемониями, без которых здесь невозможно было выпить даже стакан воды, появится Володя Крымов — его новый знакомый, издатель «Столицы и усадьбы», сравнительно молодой, но образованный человек с далеко идущими издательскими и литературными амбициями, и до самого обеда они снова примутся плести и плести по-московски бесконечный разговор о судьбах России, о гражданской войне, о большевиках, о неблагодарности союзников и снова о судьбах России.

Затем, после еще более утомительного, чем завтрак, обеда, к нему потянутся визитеры, один другого усидчивее, и речь опять-таки будет идти все о том же: о российских делах, шансах Белого движения, намерениях союзников, большевистском терроре и по-прежнему — о будущем страны.

---

[1] Кекко — восхитительно (японск.).

И только где-то под вечер ему удастся вырваться из этого заколдованного круга праздной болтовни, чтобы встретиться с Анной и побродить с ней вдвоем по догорающим в отсветах закатного зарева городским улочкам, разговаривая обо всем на свете, но так и не успевая наговориться. И, конечно же, в эти первые в их жизни дни наедине друг с другом главной, выжигающей душу болью была покинутая ими страна.

Еще на Обуховке, едва осознав себя, он проникся острым ощущением своей принадлежности к тому незримому вблизи, но огромному в его воображении телу, что в обиходе звалось Россией, родиной, русским государством. С годами — дома, в гимназии, в корпусе, во флоте — эта звенящая связь только укреплялась в нем, приобщая его к мощи и несокрушимости всего тела в целом. Казалось, нет, не найдется на земле такой силы, какая смогла бы поколебать их, слитых вместе одной историей и судьбой. Окружающий мир выглядел для него таким устойчивым и прочным, что любые политические и военные неурядицы представлялись ему не более чем досадной рябью на ровной глади людского моря.

И лишь после крутого японского урока и грянувшей вслед за ним беды Пятого года в нем впервые пробились и взялись его подтачивать сомнения в извечной незыблемости отечественной твердыни: слишком уж явно эти встряски обозначили швы, по которым прорисовывалась роковая трещина, разделившая русское общество надвое и навсегда.

И стянуть, заживить эту трещину было уже невозможно, оставалось лишь навести на нее стыдливый грим, но она вновь выявлялась при первой же неувязке: смене кабинета, случайной катастрофе, стихийном бедствии. Любой, даже самой пустячной причины оказывалось достаточно, чтобы стороны немедля вступали в непримиримое единоборство, не считаясь со средствами и последствиями.

Адмирал мучительно доискивался истоков такой непримиримости. Нищета неимущих? Разорение дворянства? Социальная зависть? Утрата веры?

Задумываясь над этим, он в конце концов начинал приходить к убеждению, что, если даже все это вместе взятое и способствовало разделению страны на два противоположных лагеря, оно еще не определяло полностью причины и сути возникшей вражды.

Вдоволь помотавшись по свету, он встречался с нищетой много хлестче и куда неприглядней. Дворянство как производительная сила вырождалось повсеместно. Зависть заложена в природе человека вообще. Вера везде подогревалась лишь самоотречением подвижников да усилиями заинтересованного клира. Россия в этом смысле мало чем отличалась от большинства других стран и людских сообществ, но только в ней слепая злоба достигла такого смертельного губительного накала.

Тогда что же? Словно огромную мозаику — из фактов, фактиков, догадок, печатных и устных свидетельств, снов и химер — складывал он с течением времени мысленный образ страны, смешавшей на своем огромном пространстве сотни языков, десятки вер и верований, множество культур и культов, филий и фобий, суеверий и предрассудков. И монархия, благодетельная в пору географического слияния, когда только воля самодержца в состоянии была удержать в единой узде центробежные силы стремления к распаду, оказалась бессильной, а порою и не желающей соответствовать ее становлению и расцвету. В последние годы он все чаще и чаще возвращался к опалившей его когда-то леонтьевской мысли: не в начале своего пути стоит Россия, а в конце.

Он укрепился в этом своем предчувствии, когда, будучи проездом из Америки в Харбине и Пекине, попытался было собрать в единый

кулак разрозненные политические и военные силы, сохранившие еще какую-либо эффективность. Вся его энергия тогда рассосалась в словесной перепалке с расплодившейся после февраля семнадцатого, как саранча, крикливой оравой кандидатов в Наполеоны и наполеончики, и он вернулся в Японию разочарованный и опустошенный.

Об этом долгими вечерами он и говорил с Анной, изливая в словах источавшие его сомнения: Боже мой, Боже мой, неужели это и вправду конец?..

Стук в дверь вернул его к яви, напомнив о том, что день начался. Стук прозвучал не по-крымовски, для Крымова он был слишком продолжителен и резок, и не успел Адмирал откликнуться, как на пороге возникла подбористая фигура в штатском, под которым без труда угадывалась отменная строевая выправка:

— Ваше превосходительство,— белые, с нездоровым блеском внутри глаза гостя на юношеском, почти детском лице выглядели чужими,— разрешите представиться, корнет Савин, только что из Сибири, по совершенно безотлагательному делу...

После первой неловкости, вызванной неожиданностью вторжения, Адмирал кивком головы предложил гостю войти, но тот словно и не нуждался в приглашении, ринувшись лихорадочно кружить по крошечной комнате:

— Сибирь ждет, Адмирал,— с места в карьер заспешил гость,— от Приморья до Урала народ жаждет сражаться с большевиками, народу нужен только вождь, и этот вождь — вы, Адмирал.— Во взвинченной экзальтации гостя чувствовалась неподдельная искренность, но тем заметнее проступал в нем отсвет безумия.— Я был у Дутова, я был у Семенова, я был у Калмыкова, по первому вашему зову двести тысяч сабель выступят навстречу врагу. Чехи устали от претензий бездарных самозванцев из Комуча, им тоже необходим авторитет, облеченный ничем не ограниченной властью, антибольшевистские партизаны действуют по всей территории Сибири, я берусь собрать их в один кулак, и все эти силы мы без промедления двинем на соединение с добровольцами на Юге и вместе с ними пойдем на Москву, разгоним там всю эту жидовскую банду и установим порядок.— Он вдруг замер против Адмирала и, вытянувшись по стойке «смирно», щелкнул каблуками стоптанных сапог.— Скажите слово, Адмирал, и я пойду за вами в огонь и в воду!..

Гость вперился в Адмирала своими горячечными глазами, и, судя по всей его отчаянной напряженности, готовой каждую секунду сорваться в бег, в лет, в новое лихорадочное кружение, можно было поклясться, что, скажи ему и вправду сейчас слово, да что там слово, кивок сделай, он, не рассуждая более, кинется в любой огонь и в любую воду.

«Боже мой, Боже мой,— передернула Адмирала тоскливая жалость,— проклятое время, оно не пощадило даже таких вот, совсем безусых!»

А вслух сказал:

— К сожалению, корнет, я всего лишь морской офицер и немного ученый-географ, я никогда не имел никакого отношения к политике, да и, признаться, не питаю к ней особого почтения, к тому же сухопутная война для меня — темный лес, боюсь, что могу оказаться никудышным вождем и обмануть ваши надежды.

Да, конечно, он лукавил немного, все же надеясь в глубине души если не возглавить борьбу, то хотя бы сыграть не последнюю в ней роль, но сейчас, видя перед собой юнца, почти мальчика, уже приговоренного своим безумием к собственной гибели, он не счел себя вправе подтолкнуть того в пропасть неосторожным посулом или надеждой.

С каждым словом Адмирала пухлое, с младенческими ямочками на щеках лицо гостя покрывалось красными пятнами, уголки мягких губ обидчиво опускались книзу, рослая фигура расслаблялась и опадала, словно из нее выходил воздух. Когда же смысл сказанного окончательно дошел до него, он молча излил на хозяина такой заряд презрения и брезгливости, что тот не выдержал, отвернулся, почти тут же услышав за спиной стук захлопнутой в сердцах двери.

Но если до этой неожиданной встречи Адмирал еще раздумывал, строил и изменял планы, изучал ситуацию и прикидывал оптимальные варианты, то теперь, после нее, он не смел, не считал для себя возможным долее здесь оставаться: каждый день, каждый час, каждая минута становились отныне для него невосполнимыми.

Поэтому, когда в номер, как всегда, почти бесшумно вскользнула Анна, он встретил ее с уже готовым решением:

— Надо ехать, дружок, здесь мы только попусту тратим время, теперь не только день, час дорог.

Она не ответила, лишь широко распахнула глаза, как бы вбирая его в себя, и между ними возник и устремился в винтовую высь мысленный, но понятный для них двоих разговор:

«— Ты все же надеешься?

— Я должен надеяться.

— По силам ли тебе этот крест?

— Крест, Анна, всем не по силам.

— Дай-то тебе Бог, Александр.

— По твоим молитвам, душа моя, по твоим молитвам».

А через несколько дней попутное судно уносило их к родным берегам, навстречу связавшей их до конца судьбе.

7

Владивосток встретил Адмирала ярмарочной пестротой политических страстей. Кадеты, меньшевики, эсеры, анархисты и областники, монархисты и республиканцы, крайние националисты и столь же крайние западники — все наперебой бросились выяснять взгляды и намерения гостя, с тем чтобы в случае родства душ заполучить его в свои ряды. Всем им явно требовался собственный вождь, который бы освятил своим славным именем их право на существование и вдохнул в бесплодные их души искру живой жизни.

Трудно даже было представить, откуда, из каких незримых щелей, из какого подполья, из какой житейской трясины России выявились на свет Божий все эти отставные телеграфисты, не кончавшие курса студенты, аптекарские ученики и сами аптекари, сельские фельдшеры, бывшие курсистки, гимназические учителя, неудачливые присяжные поверенные и их помощники, провинциальные журналисты и портные, возжелавшие любой ценой сделаться министрами, товарищами таковых или на худой конец хотя бы директорами департаментов во всяком, даже самом эфемерном правительстве, лишь бы оно называлось правительством. И не существовало для них в природе общества преступления, лжи или святотатства, каких бы они не совершили ради столь заманчивой цели.

Наверное, в своей прошлой жизни все эти люди исправно служили или зарабатывали свой хлеб насущный каким-нибудь иным занятием: отстукивали телеграммы, отвешивали лекарства, ставили страждущим банки, крючкотворствовали в судах, пописывали заметки о городских происшествиях, обшивали средней руки чиновничество и офицерство, ходили в классы и бегали по урокам, а сливаясь воедино, и определяли лицо той среды, что в думских речах громко именовалось — «российской общественностью».

Жить бы и жить им так впредь и до скончания века, пробавляясь — между выпивкой, нехитрым флиртом и двумя «пульками» — разговорами о «сне золотом» и «небе в алмазах», если бы не февральская встряска, которая выбила их из привычной колеи, выбросив в самую гущу Великой Смуты, где за спиной у каждого из них вдруг загремел маршальский жезл, к несчастью, не находивший вокруг ровно никакого применения.

В их претенциозном убожестве было даже что-то забавное, до того по-детски беспорочной была их уверенность в своей предназначенности водить армии, возглавлять министерства, подписывать директивы, издавать приказы, учить, направлять, воспитывать.

Встречаясь с Адмиралом, большинство из них сразу же переходило на покровительственно фамильярный тон, будто они целую жизнь только и делали, что запросто, на короткой ноге общались с сильными мира сего или с их окружением. Когда же Адмирал, прискучив развязностью очередного гостя, вежливо прекращал разговор, на него изливалась такая лавина молчаливой ненависти, что легко было себе представить ее дальнейшие и уже неотвратимые последствия.

Из длинной вереницы встреч и знакомств он выделил свидание с Управляющим Восточно-китайской железной дороги генералом Хорватом, прибывшим во Владивосток из Харбина специально для переговоров с ним.

Они уже не раз встречались и до этого, одно время Адмирал даже числился членом правления дороги, но договориться до чего-нибудь путного так и не смогли, слишком разными оказались у них отношение к происходящему и взгляды на будущее.

Теперь старик решил, видно, поступиться чиновной гордостью, заключив, судя по всему, что в такое время худой мир лучше доброй ссоры.

В интерьере роскошного салон-вагона, в парадной форме и при всех регалиях генерал выглядел идеальной моделью для антимонархических плакатов, но голос у него был тихий, почти шепотный:

— Дражайший, батенька, Александр Васильевич,— сиял он в сторону гостя близорукими чуть навыкате глазами, любовно оглаживая метелки своей роскошной бороды «а ля Александр Третий»,— куда же это нас несет теперь, сами посудите! Посмотреть только, что делается, голова кругом идет. Работать совершенно невозможно, никто не хочет дело делать — норовят учить, понукать, приказывать, а ведь ни опыта, ни положительных знаний — одна фанаберия,— наклонился доверительно к гостю, обдав его пряной смесью хорошего табака и крепких духов.— Александр Васильевич, Бога ради, просветите старика, что будет, неу́жели,— он так и произнес, по-стариковски с ударением на втором слоге «неу́жели»,— нет выхода, всему конец?

— Но ведь пишут, что Деникин продвигается, и союзники, кажется, начинают понимать опасность положения,— Адмирал осторожно пытался выяснить, куда клонит собеседник.— Все может перемениться.

— Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич,— старик даже руками слегка всплеснул от досады,— знаю я Антона Ивановича, еще по академии знаю, хороший солдат, неплохой тактик, но не орел, нет — не орел, звезд с неба не хватает, а политик так уж и вовсе никудышный.— Хорват грузно поднялся и в заметном волнении тяжело пустился по ковру.— С рельсов народ сошел, Александр Васильевич, ничем теперь не остановишь, пока сам не устанет, а что мы ему взамен предлагаем? Порядок? Зачем ему порядок, когда он впервые своей волей пожить может. Хоть один день, да мой, вот и вся философия. Не уберегла Россия Столыпина, приходится теперь платить. Слуга я его Императорскому величеству верный и вечный, но, возьму грех на душу, скажу: его вина! — машинально перекрестившись, он снова двинулся по кругу.— С Петром-то Аркадьевичем до такой смуты не дошло бы, да и в войну не влезли бы, чего нам с Вильгельмом делить было? Сербию с Черногорией, что ли? Вместе с ним мы были бы силой! — громоздкая фигура его внезапно подломилась, диван под ним надсадно застонал.— А на союзников не надейтесь, Александр Васильевич, предадут и продадут, как в народе говорят, с потрохами при первой возможности. Они ведь нас, по правде говоря, и за людей-то не считают, а Россию до сих пор числят как бы ничейной землей с временным населением. Так-то вот, дражайший Александр Васильевич.

— Где же, по-вашему, выход, Дмитрий Леонидыч? — осторожно спросил Адмирал, хотя ответ он мог предположить заранее.— Диктатура?

Близорукий взгляд Хорвата уперся в него с пристальной откровенностью:

— Только в этом и вижу спасение, Александр Васильевич, одна загвоздка — с кем? — он брезгливо покосился на окно, за которым гомонила станционная сутолока.— С этими не только Россией — полустанком управлять не договоришься, не люди — шлак, пыль паровозная. Мой вам совет, Александр Васильевич, пробивайтесь к Деникину, головы там есть, к ним бы еще сердце и дух, тогда, глядишь, и сладится дело. Сам я тоже не из бар, но, по совести говоря, не по плечу такое дело ни Корнилову, ни Алексееву, царствие им небесное, и уж, конечно, ни Антону Ивановичу, мужичья кровь сказывается, под ноги смотрят, а не вперед. Одним словом, коренник требуется, пристяжные найдутся. При авторитетном вожде и Деникин на месте.

— Мне ли такое дело поднять, Дмитрий Леонидыч,— у него жарко перебило дыхание,— подумать страшно.

— Кроме вас некому, Александр Васильевич, поверьте мне, некому...

На том они и расстались.

День шел на убыль. Сиреневое полотнище вечера наплывало из-за океанского окоема, окрашивая окружающее в сумеречные тона. Уличная толчея становилась все говорливее и пестрее, но в ярмарочной карусели города проглядывалась какая-то взбудораженная экзальтация, будто этому нервическому оживлению заранее поставлен определенный срок, с наступлением которого празднество грозило оборваться, и оттого публика спешила, торопилась, рвалась исчерпать до конца отпущенное ей время: час, да мой!

Город растекался перед адмиральской машиной, раскачивался вместе с нею — вверх, вниз и снова вверх! — на гигантских качелях своих холмов и впадин, шелестел над головой опадавшей листвой, звал, увлекал, заманивал множеством проездов и переулков. Раскидистый, гулкий, словно бы висящий у воды город.

Разговор с Хорватом разбередил Адмирала. Прежде он как-то не задумывался, где, как и с кем ему придется участвовать в отчаянной попытке восстановления законности и порядка в обескровленной мировой и гражданской войнами стране. Наверное он знал только одно, что не останется в стороне, что найдет свое место и что другого пути у него нет, но к какой-то особой роли себя не готовил. Политика всегда была чужда его интересам. Соприкасаясь с нею по роду своей деятельности, он тем не менее никогда не чувствовал к ней тяги, влечения, вкуса. Дипломатические и политические хитросплетения, руководя им помимо его воли, не затрагивали в нем его сущности, скользя поверх и мимо него. Пожалуй, только после первого российского

шторма девятьсот пятого года он стал понемногу присматриваться и прислушиваться к событиям внутри страны, пытаясь разобраться в причинах и следствиях происходящего.

Теперь же, после встречи с Хорватом, перед ним в упор встал вопрос: в чем конкретно он видит свою личную роль в создавшейся в стране ситуации? Где, в каком качестве, он — кадровый моряк по профессии и ученый-географ по призванию — сможет найти себе применение в этом беспорядочном столкновении самых взаимоисключающих политических стихий? И как отнесутся стороны к его внезапному и никем не предвиденному вмешательству?

И хотя диктатура и ему виделась сейчас единственной формой самосохранения России, себя он в роли диктатора не представлял, слишком хорошо зная свои слабости: крайнюю вспыльчивость со столь же крайней отходчивостью, крутым и зачастую беспричинным упрямством, а к тому же доверчивым (вовсе непростительный грех для вождя) расположением к первому встречному, обладай только этот встречный покладистостью характера. Все это, вместе взятое, исключало для него возможность одним личным авторитетом сплавить воедино и повести за собой разномастную вольницу, признававшую над собой лишь одну власть — собственную.

В нынешней России Адмирал мог назвать единственного человека, способного в определенных условиях справиться с этой задачей,— Великого князя Николая Николаевича, но, олицетворяя собою, несмотря на свою неприязнь к поверженному племяннику, рухнувшую под грузом собственной слабости монархию, он оттолкнет многих из тех, кто захочет пойти за кем угодно, кроме члена романовской династии. Да и где он теперь — Великий князь Николай Николаевич!

В этих долгих раздумьях Адмирал и доехал до гостиницы, где, едва шагнув к подъезду, почувствовал на своем запястье требовательную хватку чьей-то шершавой ладони:

— Не спеши, генерал молодой, от судьбы куда уйдешь, везде догонит, дай на твое счастье погадаю, коли не по душе придется, денег не возьму, не надо, не беги от судьбы, касатик...

Старая цыганка— лицо, как печеное яблоко, в пестром обрамлении платка и лент — вглядывалась в него снизу вверх блеклой желтизны глазами, настойчиво притягивая к себе его руку.

И то ли от неожиданности, то ли остерегаясь резким движением причинить ей боль, он не оттолкнул ее, безвольно покорился исходящей от нее вязкой убежденности:

— Будет у тебя жизнь, касатик, короткая, зато богатая, только бойся пиковой дамы, встрянет она в горячую любовь твою, как разрыв-трава, как звезда полынная...

Отпустив вдруг его руку, она продолжала всматриваться в него, все так же — снизу вверх, но песочного цвета взгляд ее вдруг помертвел и отстранился от него, осязая его словно бы издалека:

— Ничего больше не скажу, касатик, иди себе с Богом, не надо мне от тебя никакого злата, другим заплатишь, много заплатишь...

И тут же исчезла, будто ее и не было тут, а только пригрезилась беспричинно.

Наверное, эта случайная ворожба у подъезда гостиницы улетучилась бы в нем так же внезапно, как и возникла, если бы в гостиничном коридоре, уже на подходе к его номеру, мимо него не прошелестело в стремительной спешке некое видение, пахнувшее на него дуновением уверенной в себе властности. Прошелестело и растаяло за поворотом ковровой дорожки, бегло скосив в его сторону рассеянный, татарского разреза глаз.

Он мог бы поклясться сейчас, что где-то в иное время уже встречал этот упрямый профиль, только где и когда? Нечто, правда, забрезжило, вместившись в короткий миг,— зима, Петербург, снег на решетках Летнего сада, чьи-то встречные сани, мелькнувшие мимо,— но скоро фантом исчез, растаял так же внезапно, как и появился.

«Вот ведь нечаянность,— с мгновенно оборвавшимся сердцем подумал он,— нагадают же!»

Ночью ему снилась большая вода, много-много большой воды, как это бывает далеко в открытом море, сквозь которую навстречу ему тек, скользил, струился силуэт женщины, удивительно напоминавшей случайно встреченную им в этот вечер в гостиничном коридоре. Но, всматриваясь в ее текучие очертания, он мог бы поклясться, что это была Анна.

И угадал: она встретила его пробуждение, сидя рядом с ним на краешке кровати и тихонько поглаживая ему запястье:

— Что вам такое снилось, Александр Васильевич,— от нее, уже одетой и ухоженно подтянутой, исходил легчайший аромат духов и немного — моря,— вы так блаженно улыбались?

— Вы.

— Неужто?

— Честное слово, душа моя, честное слово,— окончательно отряхиваясь ото сна, он наконец-то разглядел ее.— Вы, кажется, успели совершить небольшую прогулку, душа моя?

Она вдруг напряженно подобралась, опустила глаза:

— Я видалась с Сергеем Николаевичем.

— Да,— едва выдохнул он,— и что же?

— Все то же, дорогой Александр Васильевич, все то же, вы же прекрасно знаете.

— Вы сказали ему?

— Я только повторила ему, дорогой мой Александр Васильевич, то, что уже много раз было говорено.

— Значит, со мной?

— С кем же мне быть, Александр Васильевич,— прохладная ее ладонь легла на его запястье,— куда вы, туда и я.

Глаза их встретились, и явь исчезла для них, перестала существовать, улетучилась в окружающем их пространстве. Отныне они остались вдвоем на земле, не испытывая более нужды ни в ком и ни в чем, кроме друг друга. Земля вместе со всем, что жило и творилось на ней, вращалась теперь только внутри и вокруг них и не было во вселенной силы, способной остановить это колдовское вращение.

8

И потянулась за вагонным окном страна, всегда словно заново и заново узнаваемая им, но только теперь, не как обычно для него — с Запада на Восток,— а наоборот.

Поздняя осень окрашивала окрест желто-бурым налетом истлевающих трав и листвы вперемежку с черным кружевом отжившего сушняка. В подернутых голубой дымкой таежных прогалах открывался волнистый силуэт уходящих за горизонт сопок, и, если бы не тревожная заброшенность проплывающих мимо окон станций и полустанков, можно было увериться, что на этой земле все так же устойчиво и безмятежно, как в ее совсем недавние времена.

На больших остановках, хочешь не хочешь, Адмиралу устраивались торжественные встречи, с обязательными в таких случаях хлебом-солью на блюде с расшитым полотенцем, высокопарными, хотя и неуклюжими речами отцов города и непременным, собранным с бору по сосенке духовым оркестром. Однообразно повторяющийся этот ритуал не то чтобы угнетал Адмирала, но, в конце концов при-

скучив им, он тяготился его нудной обязательностью и вскоре приучил себя в таких случаях не видеть, не слышать, не соучаствовать в предлагаемом действе, мысленно отстраняясь от окружающего.

Адмиралу не требовалось большого воображения, чтобы почувствовать во время этих уныло чередующихся обрядов, что они предназначались не ему лично и даже не авторитету, каким он был облечен, а чуду — да, да, чуду! — которого везде от него ждали и которое, как всем хотелось надеяться, он — и только один он! — мог для них сотворить. И чем торжественнее, чем пышнее, чем размашистее обставляли устроители эти встречи, тем определеннее представлялась ему вся грозная тяжесть, если не безнадежность сложившегося положения.

Покорно подчиняясь неизбежному, Адмирал заученно принимал хлеб-соль, отсутствующе выслушивал витиеватые речи, заглушаемые крикливой медью оркестра, пожимал чьи-то руки, кому-то кланялся, обменивался с кем-то троекратными поцелуями, оставаясь наедине с самим собой и с той участью, какую ему готовило его будущее.

Случившееся теперь в России представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляется сейчас во все стороны, движимая лишь силой собственной тяжести, сметая все попадающееся ей на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеет значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон: искусством маневрирования и точного расчета стихию можно смягчить или даже чуть придержать, но остановить, укротить, преодолеть ее было невозможно.

Казалось, каким это сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики, ученики аптекарей из черты оседлости, сельские ветеринары, недоучившиеся фельдшеры и недавние семинаристы выигрывают бои и сражения у вышколенных в академиях и на войне прославленных боевых генералов?

Ответ здесь напрашивался сам по себе: к счастью для новоиспеченных полководцев, они должны были обладать одним-единственным качеством — умением бежать впереди этой лавины, не оглядываясь, чтобы не быть раздавленным или поглощенным ею. И этим качеством большинство из них отличалось в полной мере.

Теперь он двигался им навстречу, не теша себя иллюзиями о победе, а лишь с твердым намерением принять на себя всю безысходную тяжесть их торжествующего напора: пусть они хотя бы увидят в слепом своем упоении, как и с какой готовностью умеют умирать русские офицеры!

И лишь однажды, это случилось в Чите, на этом пути, в калейдоскопе мельтешившей вокруг него карнавальной вакханалии, перед ним внезапно, словно в один остановившийся миг, выделился из многоликой толпы знакомый, татарского разреза взгляд, походя опаливший его как-то вечером в коридоре владивостокской гостиницы.

«Господи,— мгновенно пронеслось в нем,— что это еще за наваждение, откуда она здесь?»

Вечером, за чаем, Адмирал не выдержал, поделился с Анной:

— Знаете, дорогая Анна Васильевна, как это ни странно, но у меня, по-моему, галлюцинации. Недавно я случайно столкнулся с одной женщиной во Владивостоке, в коридоре гостиницы, теперь вижу ее в толпе среди встречающих почти на каждой большой станции.

— Помилуйте, Александр Васильевич, милый, что за фантазии, вот уж воистину богатое воображение! — Она с материнской снисходительностью лукаво озарилась навстречу ему.— Все гораздо проще. В нашем составе едет много офицерских жен с семьями, направляются к мужьям в Омск и Екатеринбург, что же в этом сверхъестественного?

Ему стало неловко за себя, и он поспешил перевести разговор на другое, более привычное:

— А помните, Анна Васильевна, как мы с вами встретились в первый раз?

Он затевал эту ставшую уже ритуальной для них игру в минуты, когда хотел отвлечься от тяготивших его сомнений, но она всякий раз с заметным оживлением подхватывала тему будто впервой:

— Еще бы мне не помнить, Александр Васильевич, не так уж давно это произошло, вы были тогда такой важный.— Она озарилась еще снисходительнее, но теперь скорее к себе.— А вы помните, Александр Васильевич, как перед моим отъездом из Ревеля вы заказали мне по телеграфу ландыши? Целую корзину ландышей, мне было так жалко их оставлять, что я их все срезала и сложила в чемодан, а когда в Гельсингфорсе открыла его, то нашла свои ландыши уже мерзлыми, такой по дороге был холодище.— Она вдруг погасла, задумчиво покачала головой.— Что действительно странно, это случилось в последний вечер перед революцией.

— Вы думаете, Сергей Николаевич все еще сердится на меня? — бездумно спросил он, но тут же спохватился.— Извините нас, Анна Васильевна.

Она только пожала плечами:

— Не думаю. Сергей Николаевич всегда был слишком занят собой, он быстро поладил с большевиками, ездил куда-то по их поручениям, а теперь, по-моему, благополучно осядет где-нибудь за границей. Он легкий человек, этот мой бывший муж Сергей Николаевич, не нам с вами его судить, пусть живет, как ему удобнее, о нас с вами он, наверное, уже забыл.

Потом они долго молчали, стоя у окна и прижимаясь лбами к холодному стеклу. Там, в кромешной тьме, перед ними проносилась страна, на всем пространстве которой отныне не только для человека, но и для зверя не оставалось уже укромного места, где бы он мог передохнуть и отсидеться: в кровавом безвременье этой страны каждая живая тварь должна была сегодня заплатить свою цену.

В этом замкнутом кольце безысходности и продолжал кружиться их мысленный разговор:

— Ты знаешь, что нас с тобой ожидает?
— Знаю.
— Ты готова к этому?
— Я сама выбрала свою судьбу.
— Ты не пожалеешь об этом?
— Теперь уже поздно жалеть.
— Я верю в тебя.
— И я...

Едва поезд остановился в Омске, как Адмиралу доложили, что его хочет видеть депутация Директории Учредительного собрания во главе с Авксентьевым.

«Вот,— с горечью подумал он,— начинается совдеп на колесах, только слушай».

Авксентьев оказался белокурым, довольно молодым еще человеком с острой бородкой и живыми, но уклончивыми глазами. Видно, давно освоившись с ролью политического вождя, он не без преувеличенной значительности коротко перезнакомил Адмирала со своими спутниками и первым же заговорил:

— Я буду краток, ваше превосходительство. Мы уполномочены выяснить ваши дальнейшие намерения и предложить вам пост военного министра в правительстве Директории Учредительного собрания.

Еще перед этим до Адмирала доходило, что тот с самого своего

появления в Уфе поспешил окружить себя стаей адъютантов и приказал называть себя не иначе, как «ваше высокопревосходительство»: новоиспеченная власть, не успев еще опериться, сразу же вошла во вкус бюрократического церемониала. Голубые мечты вчерашних нигилистов и бомбометателей о «золотом веке» и «небе в алмазах» на поверку обернулись извечными вожделениями департаментских столоначальников.

«Стоило ради этого такой огород городить,— разглядывая гостей, горько иронизировал про себя Адмирал,— и лить столько крови?»

А вслух сказал:

— Мне нет нужды скрывать свои намерения. Я направляюсь к генералу Деникину, чтобы предложить ему себя в любом качестве, даже рядовым солдатом, сегодня у каждого порядочного человека один враг — большевизм. Разумеется, ваше предложение, господа, для меня большая честь, но вы не должны забывать, что я моряк и в сухопутных делах, в сущности, очень мало смыслю, ваш выбор может оказаться ошибочным.

— Адмирал,— высокий голос Авксентьева налился металлическим пафосом,— сегодня наша многострадальная родина не спрашивает у своих сыновей: «Кто вы?», сегодня она спрашивает у них: «Где вы?»

Сказал, торжественно вытянулся, но боковым зрением не забыл при этом отметить в сопровождающих произведенное впечатление. О, как они любили красивые слова, эти посредственные журналисты и никогда не практиковавшие адвокаты: в общем и никем не управляемом столпотворении им казалось, что наконец-то наступил для них тот самый звездный час, когда, будучи едва произнесенной, любая их фраза уже вчеканивается временем в нерукотворные письмена истории.

«Боже мой, Боже мой,— продолжал вглядываться в них Адмирал,— от какой только породы живородящих тварей вы отпочковались!»

И, чтобы более не затягивать аудиенции, подытожил:

— Во всяком случае, мне необходимо подумать, господа.

Отпустив гостей, он постучался в купе к Анне:

— Что вы обо всем этом думаете, дорогая?

— Александр Васильевич, милый, зачем вы меня об этом спрашиваете, я ваша тень.

Он порывисто опустился рядом с ней и упал лицом в подставленные ею ладони:

— Простите меня.

В ответ она лишь коснулась губами его затылка.

Была тишина.

Глава вторая

Егорычев

1

В слепящей белизне солнечной стужи все видимое вокруг — деревья, люди, даже россыпи редких деревьев над окоемом — казалось угольно-черным. Темной лентой тянулся армейский обоз сквозь сверкающий наст прииртышского редколесья, струясь из-за одного горизонта, чтобы где-то впереди стечь в другой. Со стороны могло пригрезиться, что у этого обоза давно не было ни конца, ни края и что извилистая вереница санных повозок уже опоясала всю землю и теперь вращается вокруг нее наподобие медленной карусели.

В жажде тепла и спасения люди в повозках тесно жались друг к другу, напоминая издалека бесформенные комья смерзшейся земли, и лишь по хрупким дымкам их дыхания да по исступленному блеску надежды в глазах можно было догадаться о тлевшей в них жизни.

Завороженным взглядом Егорычев следил за ползущей из-под саней мерзлой колеей, вслушиваясь в себя, в свою память, в свою короткую, но такую пеструю и хлопотливую жизнь.

Сколько Егорычев себя помнил, судьба швыряла его из стороны в сторону без отдыха и оглядки. Не успевал он вытащить ноги из одной передряги, как тут же попадал в следующую. Едва осознав себя и окружающий его мир, он уже трясся в переселенческом «столыпине» через всю Россию, мимо заволжских покосов, уральских круч и таежного бурелома к молочным рекам и кисельным берегам Приамурья, где ему тоже не суждено было пустить корни сколько-нибудь надолго.

Тишь в те поры стояла над Россией душная, обманчивая. Где-то под спудом, под грузной толщей ленивой земли, вызревал, все нарастая и нарастая, грозный нутряной гул, выплеснувшись наконец в июле четырнадцатого кратким, но режущим, как вспышка молнии, словом: война!

Уходя по мобилизации, отец ласково наставлял Егорычева на будущее житье:

— Жись, Филя, поперек нас пошла.— В заскорузлых клешнях его подрагивала махорочная самокрутка, а сам он смотрел прямо перед собой, не мигая, будто в огонь или во что-то другое, еще более завораживающее.— Хто знает таперя, когда кончится, а може, и вовсе не кончится. Придется тебе, Филя, без отца горе горевать, успевай только подпоясываться.— С жадностью затянулся, выдохнул вместе с дымом: — Убьют, калекой приду, все одно ты теперь в дому хозяин.

Но хозяйствовать долго Егорычеву не пришлось: в конце шестнадцатого вышел и его срок.

И снова, только в обратном порядке, потекла мимо него страна, пока путь его не уперся в бруствер окопного рва где-то под Черновицами.

Из прошлого в памяти осталось лишь вытянутое следом за ним виноватое от растерянного отчаяния лицо матери внизу за окном вагона да уплывающий в сумерки протяжный перебор гармошки: как родная меня мать провожала!

К тому времени, по всему видно было, война выдыхалась. Хоть и постреливали с обеих сторон, но больше так, не высовываясь, поверх головы, скорее для острастки, чем с умыслом. Окопники месили грязь во рву, покуривали, поругивались беззлобно, отсыпались коротко в чадных землянках в ожидании почты или скорого замирения. Небо над землей провисало низко и грузно, будто вот-вот собиралось рухнуть. По окопам и землянкам серыми голубями перепархивали листовки. Писалось в них по-разному — и попроще, и позаковыристей, и так себе, но обещали и — все: землю, волю, уважение и даже царствие небесное не далее, чем за ближней речкой, и не долее, как к четвергу.

Временами над окопами кружили немецкие «шерманы» и тоже осыпали солдатские головы печатными ворохами легких обещаний,

но в отличие от своего — заграничной выделки матерьял споро раскуривался, не оставляя во рту саднящей горечи.

Егорычев бумажки почитывал, благо в грамоте сызмала поднаторел, только посулами не прельщался, помнил отцовскую выучку: «Обещанного, Филя, три года ждут да еще тридцать три опосля чешутся!»

Так бы и дотянуть ему за окопным бруствером до первого братания, если бы случай не повернул его планиду еще на один полный оборот.

Надо же тому было статься, чтобы на очередной перекличке заполошный взгляд ротного упал на него и задержался пристально:

— Сибиряк, говоришь?

— Никак нет, вашбродь, тульские мы.

— Водохлебы, значит! — подмигнул ободряюще, осклабился прокуренными зубами.— Не прочь, думаю, по деревне с Георгием пройтись?

— Отказываться грех, вашбродь.

— Ишь ты, еще и говорок! — зовуще кивнул уже с полуоборота.— Айда за мной.

В землянке у ротного жилось не вольготнее, чем в прочих: та же темь, та же копоть, та же спирающая дух смесь табака и пота. Только на месте железной времянки вроде стола — деревянный щит на двух стоячих крестовинах с бумагами вразброс и остатками еды поверх.

Ротный с маху раздвинул бумажные вороха на столе, сдернул со стены флягу, из фляжки же ополоснул кружку, налил больше половины, пододвинул гостю:

— Угостись, солдат,— в упор уставился выжидающе,— разговор легче пойдет.

— Не балуюсь, вашбродь.

— Молоканин, что ли?

— Зачем — молоканин, отец не баловал и мне не наказывал.

— Ну, ну, неволить — грех...

Только теперь Егорычев по-настоящему разглядел ротного. На узком, горбоносом лице вразброс расставленные с лихорадочным отсветом глаза казались чужими, настолько не вязалась их яростная озабоченность с этим, будто выточенным лицом и ладной — широкая грудь конусом к талии — фигурой.

— Вот что, солдат, дело у меня к тебе проще простого,— из вороха на столе он вытянул чистый лист бумаги,— как у нас на Руси говорят: или грудь в крестах, или голова в кустах.— Карандаш в его извивчивых пальцах подрагивал и крошился.— Правда, кресты, солдат, прямо скажу, у нас с тобой под вопросом, зато кусты будут на каждом шагу. Слушай меня и на ус наматывай...

По речам ротного выходило, что получен приказ высмотреть поближе немецкие расположения для возможного прорыва на этом участке, а сделать это можно было только с торчавшей прямо против ротной позиции высотки, опушенной низкорослым кустарником. Высотка легко простреливалась со всех сторон, зацепиться на ней интереса никто не имел, и поэтому она считалась как бы ничьей.

В предрассветных сумерках им с ротным предстояло пробраться туда, днем нанести на карту конфигурацию немецких позиций и затем, с наступлением темноты, вернуться назад.

— Твое дело, солдат, в случае надобности прикрыть отход, остальное — моя забота.— Сдвинул глаза к переносице, насмешливо прищурился.— Не боишься, солдат?

— Перебоялся, вашбродь, притерпелся, страшней войны все одно не будет, выдюжу.

— Ну, ну,— ротный отвернулся и как-то сразу сник, ссутулился, стал меньше ростом,— иди отсыпайся...

Ночь настала — ни звезды, ни проблеска с безмолвной стужей, схватившей землю хрупким ледком. С хрустом проламывая под собой ледяной панцирь, Егорычев полз следом за ротным, и земная твердь гудела под ним от его груза и напряжения.

Там, в темноте кромешной ночи, впереди и вокруг Егорычева, жил, устраивался, клокотал взыскующий и мятежный мир. Люди в нем пили, ели, спали, влюблялись, путешествовали, наживали деньги и разорялись, молились Богу и богохульствовали, рыли окопы и отстреливались, но никому из них не было дела до него, рядового Филарета Егорычева, крестьянского сына тысяча восемьсот девяносто восьмого года рождения, уроженца деревни Губино, Бобрик-Донского уезда Тульской губернии. И только стылая земля, по которой он полз, прижимаясь к ней и в нее втискиваясь, понимала и принимала его исступленное одиночество, сливаясь с ним в эти тягостные для них минуты в одно целое. И лишь в ней он ощущал сейчас отклик и сострадание, и лишь в ней он прозревал теперь опору и спасение. И неожиданно, как бы помимо его воли, в нем вдруг с предельной отчетливостью сложилось: «Чего все не поделим-то?»

Когда продравшись сквозь колючую изморозь кустарника, они, мокрые и продрогшие, выбрались наконец на взгорье и перед ними возник нижний обзор, впереди занимался жиденький рассвет.

— Залегай, солдат,— не оборачиваясь, чуть слышно прохрипел ротный,— до ночи времени много.

День длился томительно долго. В серой промозглости зигзаги немецких траншей еле проглядывались, и, если бы не штопорные дымки над ними, можно было бы подумать, что там никого нет.

Ротный сначала долго колдовал над своим планшетом, чертыхался вполголоса, сплевывая в сердцах, резко поводя плечами, потом откинулся на бок, завернулся с головой в шинель и сразу, будто провалился в сон, затих, как сурок.

Егорычеву не спалось. Разглядывая внизу, впереди себя, смутный чертеж немецких траншей, он думал о том, почему на земле все так перепутано, что ему вместе с ротным приходится высматривать сейчас место, куда, может быть, уже завтра врежется их пехотный клин, чтобы стрелять, колоть и душить таких же людей, хотя и другой нации, не сделавших ни ему — Егорычеву, ни его ротному ничего худого? Зачем, отчего, за что?

Знать-то он, конечно, знал, много об этом кругом молвы кружилось, что каша заварилась из-за убитого кем-то австрийского наследника, но ведь хоть и жалко невинного, его не воротишь, сколько ни убивай и ни калечь друг дружку, сколько ни круши и ни жги чужого добра, сколько ни захватывай барахла или пленных! Чудны дела твои, человече!

В этом горестном недоумении его и настигла дрема. И снился ему знойный сенокос под Епифанью. Мать в белом платке, как в коконе, только одни глаза озорно светятся из-под него в сторону сына: «Что, Филенок, маленько силенок, умаялся?» Вилы в крепких, облитых солнцем руках матери казались почти игрушечными, так легко и споро вырастал перед ней стог.

— Филя-я-я! — кричал с соседней делянки отец, поблескивал потной чернотой лица, расплывался ласково, подзадоривал.— Подмогни маманьке, без тебя не управится!..

Егорычев подался было к материнскому стогу, но тот вдруг всей своей душной громадой обвалился на него, не оставляя ему времени, чтобы посторониться или выпростаться...

Он очнулся придавленным к земле грузной тяжестью чужого тела

и сразу же уперся глазами в мясистое лицо под каской, шепотно пахнувшее на него смесью никотина и спиртного:

— Рус капут...

Егорычев инстинктивно рванулся было из-под навалившейся поверх него туши, но услышал сбоку усталый голос ротного:

— Отбой, солдат... Ни креста тебе, ни куста, отвоевались...

Так, не успев начать, Егорычев и отвоевался. У судьбы, видно, имелись на него свои особые виды.

2

С пленом Егорычеву повезло. После множества проверок и допросов его, одним эшелоном с Удальцовым, чуть не через всю Германию — с юга на север — отправили в основной, как он назывался, лагерь военнопленных Прейсиш-Голланд, соединенный узкоколейкой с железнодорожной магистралью Берлин — Кенигсберг — Петроград.

С холмистой возвышенности, где располагался лагерь, распахивался широкий обзор на лежащую внизу долину, по другую сторону которой тянулась высокая горная цепь, поросшая лесом. По утрам горы струились вверх голубым маревом, а к вечеру, наливаясь чернью, зубчатой стеной подпирали небо над засыпающей долиной.

Одноименный городок внизу виделся Егорычеву почти невсамделишным, игрушечным, наподобие тех, что доводилось видеть ему на трофейных открытках: за крепостными, фигурной отделки стенами алые крылья остроконечных, под черепицей крыш, увенчанных темно-серым колпаком церковного собора. Маленькое зеркало Германии.

В лагере офицеры были отделены от нижних чинов, но общение между ними не возбранялось, и Удальцов, пользуясь привилегией старшего по званию, не обходил бывшего подчиненного своим вниманием. Плен как бы стер разницу в их положении, и отношения у них сделались если не товарищескими, то все же более простыми и душевными.

Лагерный быт удивлял Егорычева своей чистотой и упорядоченностью. Ему, выросшему в курной избе и оттуда сразу попавшему в окопы, были в диковинку отдельная кровать с простынею и одеялом, сытная еда три раза в день по звонку, строгое, но вежливое обращение охраны.

«Живут люди! — ободрительно отмечал он про себя, с сожалением вспоминая деревенское свое прошлое.— Нам бы вот так».

Работы по лагерю выглядели для него баловством: уборка бараков и территории, хлопоты с цветочной рассадой и саженцами, дежурство по кухне и прачечной. Со сладкой тоской смотрел он вниз, в долину, где закипала на ровных, будто разлинованных полях весенняя страда. Казалось, каждая жилка в нем ныла, стонала, корчилась от страстного желания взять в руки, пощупать, размять в пальцах эту дымящуюся под ликующим солнцем землю.

При следующем свидании Егорычев не выдержал, открылся напарнику:

— Говорят, Аркадий Никандрыч, теперь к хозяину выпроситься можно, хочу попробовать, а то я тут, как жеребец в стойле, совсем застоялся — глядишь, дурь в голову вдарит.

Тот было удивился, но, внимательно вглядевшись в собеседника, вдруг, словно подхваченный внезапной мыслью, просиял:

— А что, неплохая идея, Филя, может, и мне с тобой? Офицерам вроде бы и не положено, но думаю, что я сумею убедить начальство...

Хозяин фермы, к которому привел их конвоир, долговязый мосластого сложения крестьянин с рассыпчатой копной изжелта-белых волос на твердо поставленной голове, остался, видно, доволен, а когда Удальцов заговорил с ним по-немецки, то и вовсе повеселел и повел осматривать хозяйство.

— Зовут его Аксель Тешке,— вполголоса переводил Егорычеву по дороге Удальцов хозяйскую речь,— у него двести десятин, половина под картошкой, скот в основном рабочий, но и для себя держит на молоко с мясом, плата марка в день на его харчах, хочет, чтобы я был у него за разводящего, трудно ему с вашим братом без языка.— Хозяин свернул к двухэтажной пристройке, одной стеной примыкавшей к скотному двору.— Теперь хочет показать нам, где мы жить будем.

Крохотная комнатка с кроватью под одеялом и подушкой в наволочке, небольшим столом у окошка, притененного марлевыми занавесками с цветочным горшком на подоконнике показалась Егорычеву райской обителью.

«Дела! — мысленно представил он себе свою будущую жизнь здесь.— Как у барина!»

И потекла у Егорычева крестьянская маета на немецкий манер: вставал он по привычке раньше других, прибирался, шел на общую кухню, где уже заваривали завтрак для работников, садился за стол, степенно управлялся с едой и, обрядив лошадь перед конюшней, уходил в поле, без того, чтобы ожидать остальных.

Только здесь, среди зеленого разлива картофельной ботвы, дальним концом упиравшейся в лесистое взгорье, Егорычев чувствовал себя полноценным человеком. Дыхание земного естества вокруг него сообщало ему ощущение своей кровной принадлежности ко всему, что растет, дышит и размножается на земле вместе с ним.

Время до обеда проходило быстро, а после обеда еще быстрей, а вечером, отужинав, он отправлялся к себе, где, распластавшись на кровати, с блаженной истомой вслушивался в свое, гудящее от рабочего дня тело, в себя, в чуткую тишину за окном и думал не более чем о завтрашнем дне, когда трудовая страда вновь позовет его воедино слиться в поле с земным естеством.

Но дело делом, а молодость брала свое. Большинство работников на ферме составляли женщины: вдовы, солдатки, засидевшиеся без воюющих женихов девахи. Жадными глазами поглядывали они на русских лагерников, оделяя Егорычева, как самого молодого и здорового, особым вниманием. Внимание это парню, конечно, льстило, но ответно загореться к кому-либо из них ему мешала еще не изжитая им ребячья робость, и поэтому, встречаясь взглядом с зовущими глазами окружавших его женщин, он смущенно отворачивался, опаляясь в сердце удушливым жаром.

Настойчивее других появлялась Марта — совсем молодая еще солдатка с веселым, в россыпи темных веснушек лицом, на котором неизменно сияли в беззвучном смехе две озорные ямочки. Она не упускала случая, чтобы, находясь рядом с ним, показать ему грудную ложбинку в глубоком разрезе своего платья. И при этом с решительной откровенностью нашептывала парню на ухо:

— Русиш зольдат... Гут... Гут, русиш зольдат...

Несмотря на молодость, у нее уже было двое детей, мальчик и девочка, которых на рабочий сезон она оставляла у матери в городке, а сама ютилась в той же, что и Егорычев, пристройке, в такой же, как у него, комнатке, откуда по вечерам растекалось по коридору ее почти беспрерывное, на праздничный лад, пение.

Егорычев впервые в жизни потерял сон и аппетит, все валилось у него из рук, а по ночам он млел и обливался потом от переполнявшего его и еще не изведанного им желания.

Чем бы это кончилось, неизвестно, если бы однажды ночью Марта сама не пришла к нему и не легла рядом с ним, с властной опытностью определив их дальнейшие отношения.

И все закружилось в Егорычеве, облегчающе ввинчиваясь в опустошающую его воронку, а Марта, зарываясь в него распаленным лицом, благодарно шептала ему в подбородок:

— Гут, русиш зольдат... Гут... Зер гут...

И смеялась тихо, счастливо, самозабвенно...

Удальцов же вскоре накрепко сдружился с хозяином. Они всюду показывались вместе и по вечерам часто вдвоем уезжали в город внизу, откуда возвращались, как правило, заполночь и навеселе.

В таких случаях Удальцов обычно заглядывал в пристройку к напарнику, садился на край кровати и выкладывал услышанные в городе новости:

— Нет у нас больше царя, Филя, Временное правительство в Петрограде хозяйничает, кадеты, бомбисты и прочая сволочь,— он закрывал лицо ладонями, упирался локтями в колени, слегка покачиваясь из стороны в сторону.— Куда идет Россия наша, Филя, куда катится?

Но однажды, где-то уже под осень, зашел к нему сразу после ужина трезвый и сосредоточенный:

— Вот что, Филя,— заговорил гость, испытующе всматриваясь в Егорычева,— решил я уходить,— и поспешно уточнил,— домой уходить, там нынче каждый человек дорог, зазорно мне, русскому офицеру, в тепле и сытости отсиживаться, когда страна криком кричит.— И коротко закончил: — Если надумаешь, пойдем вместе.

От неожиданности у Егорычева голова пошла кругом. Все сразу лихорадочно перемешалось в его сознании: завтрашняя работа, Марта, дорожная неизвестность впереди, но из-под всей этой мешанины, с самого дна памяти вдруг всплыла перед ним епифанская даль с жидкими перелесками в сизой дымке полевого рассвета, одуряющие запахи летней косьбы в Приамурье, острый запах дымящегося навоза на дворовом снегу, и зашлась в нем душа такой разрывающей ее изнутри тоской, что только и сложилось у него в ответ Удальцову:

— Вестимо.

С облегченными глазами тот принялся деловито излагать ему свой план:

— Уходить надо теперь же, Филя, пока картошка еще на корню стоит, с ней мы с голоду не пропадем. Нам, главное, железнодорожную ветку из виду не терять, она нас прямо к Петрограду выведет, карта у меня есть, не заблудимся. Я ведь родом из Сибири, в лесу, как дома. Хозяин наш, Тешке этот, золотой оказался человек, он нам поможет, сам меня и надоумил, нечего, говорит, вам здесь больше делать, домой пора. Харчами на первое время нас снабдит и, как будем уходить, конвоира нашего еще с вечера напоит, а с утра опять накачает, так что у нас с тобой почти сутки для свободного маневра.·.

В решающий вечер, когда все уже было готово к побегу, Егорычева потянуло к Марте, хотя бы проститься по-человечески, но постучаться к ней он так и не решился, боялся неосторожным словом выдать себя и тем, может быть, испортить дело. Он вышел во двор, крадучись подобрался к ее окну и заглянул внутрь. Марта, по обыкновению напевая что-то себе под нос, штопала чулки, и веснушчатое лицо ее улыбчиво светилось чему-то глубоко затаенному, но радостному.

«Дай тебе Бог, Марта,— мысленно простился он с ней, подаваясь к воротам, где его уже ждал попутчик с хозяином,— детишек вырастить и мужа живым встретить!»

У ворот хозяин встретил Егорычева дружеским хлопком по спине:

— Леб воль, зольдат... Хильф дир Гот...[1]

И путники след в след шагнули в ночь.

3

Шли по ночам, а днем отсыпались в логах и лощинах, спинами тесно прижавшись друг к другу. Лес расступался пред ними — чистый, ухоженный, походивший скорее на заповедник, чем на дикорастущую чащу. Чуть свет им приходилось, завернувшись в прихваченные с собой одеяла, зарываться в опавшую листву, дремотным сознанием чутко вслушиваясь в звуки и шорохи вокруг себя, чтобы в случае малейшей тревоги успеть подобру-поздорову унести ноги подальше от места опасности.

Картошку пекли изредка и с запасом, чтобы лишний раз не разводить огонь, способный навести на их след погоню. Золу за собой тщательно соскребали, след от пепелища густо засыпали листвой и двигались вперед, по направлению к заветной границе.

По вечерам, в сумерках, снизу тянуло печным дымком, обжитым бытом, садовой прелью, доносилось эхо паровозных гудков в рассыпчатом грохоте проходящих составов, и тогда отзывался в них добрым словом и затаенным сожалением Прейсиш-Голланд, но всякий раз при этом тяга к тому, что определялось в их памяти понятием «родина», оказывалась в них сильнее заманчивого соблазна махнуть на все рукой и вернуться обратно к сытному теплу и надежной кровле.

Говорить им приходилось мало, тревожная дорога не располагала их к словоохотливости, они научились понимать друг друга с полуслова, полувзгляда, полунамека. Порою, правда, когда собственная заброшенность чувствовалась острее, чем обычно, между ними возникал односложный, по прихоти разговор:

— Держишься, Филя? — озабоченно спрашивал напарника Удальцов.— Дотянешь?

— Мне-то что, Аркадий Никандрыч, я мужик, у меня кость черная, земляная, вы-то как?

— Я постарше, Филя, меня фронт двужильным сделал, да и сам я в деревне, среди мужиков вырос, за меня не болей.

— А мне-то и вовсе трын-трава, Аркадий Никандрыч, как люди говорят: Бог терпел и нам велел.

— А раз так, давай спать, Филя.

— Спаси Бог, Аркадий Никандрыч.

— Спи, Филя...

Снилась обычно Егорычеву всякая всячина вперемежку: деревенские разности, солдатчина, Марта, барачная жизнь в лагере и опять Марта, а в промежутках — бредовая тьма или полное беспамятство. Просыпался он в сумерках, весь в отголосках недавних снов и видений. И снова, следом за Удальцовым, поднимался в дорогу.

Чем дальше они уходили, тем приземистей и гуще становились

---

[1] Прощай солдат... Помоги тебе Бог... *(немецк).*

леса, тем ниже небо и холоднее ночи. Картошка сошла, поля внизу дразнились сиротливой оголенностью. Путников спасала лишь дикая ягода, еще отживавшая в чащобах свой летний век.

Время от времени, по ночам перед ними вспыхивали внизу светящиеся острова больших станций, невольно приманивая путников усталых доступной близостью жилья, и однажды, вконец обессилев, они не вынесли искушения, потянулись к такому вот острову, хотя, по их же расчетам, до границы оставалось еще далеко.

У самого железнодорожного полотна они залегли в кустах, напряженно вслушиваясь в голоса и звуки на путях, в слабой надежде выловить оттуда какой-либо спасительный для них знак, весть, отклик. Сначала из мешанины станционной переклички к ним пробился отдаленный говор, в котором еще трудно было разобрать отдельные слова или фразы, но с приближением этого говора в нем все отчетливее обозначились знакомые окончания, а уже через минуту-другую обрывки слов слились в отчетливо русскую речь:

— Возни с этим порожняком, Михеич, будь он неладен, куда ни отгони, везде поперек горла.

— А, Васек, прицепим его нынче к скорому и с плеч долой!

— С начальством потом не развяжешься.

— Подумаешь, начальство, развелось их теперь на нашу голову, как собак нерезанных, всем не угодишь.

— И то правда.

— То-то, Васек...

Гулкая радость спасения подхватила Егорычева, оторвала от земли, бросила через кустарник, придорожный кювет и рельсовую паутину навстречу двум керосиновым огням впереди:

— Братцы!

Фонари резко качнулись и замерли во тьме.

— Кто такой? — растерянно отозвалось из темноты.— Осади назад! Откуда будешь?

— Из плена, братцы, из плена мы! — Егорычева трясло восторженной дрожью.— Я и ротный мой! Почитай, из-под самого Берлина идем!

Фонари снова качнулись и поплыли на сближение с Егорычевым.

— Ишь ты,— уже мягче прозвучало оттуда,— через всю Пруссию проперли и фронта не слышали, выходит, ну и орлы!..

— Где же мы?

— Дома, ребята, дома, на Питерской дороге.

Затем они все вместе сидели на гребешке придорожного кювета, подсвеченные керосиновым пламенем, жадно угощались предложенной путейцами нехитрой снедью.

— Отсудова до Питера уже рукой подать, верст триста с малым хвостиком,— объяснял им путеец постарше, сочувственно поглядывая на них глубоко запавшими, в кустистых бровях глазами.— Тут мы вам подмогнем, подсадим на первый попутный и с харчишками тоже сообразим. Только вашего брата нынче больше за шпионов держат, так вы, как схороним вас в порожняке, носу оттудова не показывайте, попадетесь спецу из нынешних, изведет, измордует, а то и в распыл пустит, тут теперь пропасть любителей развелось чужую кровь по земле размазывать.

— Вам бы, братцы, только до Питера добраться,— согласно кивал мальчишеским, в первом пуху подбородком молодой,— там нынче все кошки серы и у кого горло громче, тот и пан...

На рассвете путники уже тряслись в сторону Петрограда, наглухо закрытые в порожнем пульмане.

4

Из лагерных рассказов Филарета Егорычева

«Помню, заявились мы тогда с ротным в Питер, почитай, в чем мать родила, а брюхо к спине присохло, плюнуть на нас и по тому времени некому было, кругом народ сам по себе шатается, никому ни до чего дела нет, пьют да жируют, как перед концом света. Ротный мой кинулся было по родственникам, много их у него там числилось, а их уже и след простыл, разлетелись во все стороны, будто и не жили, благо, квартеры оставили, а то хоть на дворе ночуй. Забрались мы в одну такую, обжились малость, и давай по присутственным местам кружить, где нашим братом занимаются. Туда-сюда сунулись, хоть шаром покати, ни единой живой души нетути, одне бумаги по столам шелестят. Ротный мой в крик: «Сволочи! — трясется.— Отсиделись в тылу за нашей спиной, а когда паленым запахло, по щелям расползлись. Только со мной,— кричит,— шутки плохи, я до самого Главнокомандующего дойду! — и ко мне ястребом: — Айда, держись меня, Егорычев!» И понеслись мы с ним в Главный штаб у большого начальства правды искать. Только вышло, что в Главном том штабе еще пустее пустого, не токмо часового, офицеришки завалящего и того не встретили. «Куда же они, сукины дети, все подевались,— ругмя ругается ротный,— кто же фронтом распоряжается?» Носились, носились мы с им голым коридором, потом смотрим, большая дверь настежь, а за ней вроде кто-то над бумажками копошится. Ротный заглянул, сразу по швам вытянулся: «Ваше высокопревосходительство,— говорит,— разрешите?» Выглядываю и я из-за плеча евотного, смотрю, обличье вроде по газеткам знакомое: волосы ежиком и сам на ежа похож, тут мне сразу в голову вдарило: да это ж Керенский, собственной персоной! А тот, по-простецкому так, зазывает: «Чем могу служить?» Ну, ротный мой и выложил ему все честь по чести, а под конец попросил: «Отправьте нас, Ваше превосходительство, обратно на фронт, успеем еще до победоносного конца довоевать». Главнокомандующий только в колючем затылке у себя почесал: «Какой уж там,— говорит,— победный конец, поручик, последнее не потерять бы, да и фронта уже никакого нет, одна безначальная толчея. Мой вам совет,— говорит,— пробирайтесь на Дон, там, слышно, что-то затевается, может, и выйдет толк». С тем мы и ушли от Керенского, не солоно хлебавши, но только не на Дон, в другую сторону подались, на родину ротного потянуло, да и мне с им до дому сподручнее вместе было. Сколько нас по дорогам мотало, сколько снести пришлось, рассказать, не поверишь, с год колесили, пока до Омска добрались. Тут-то мой ротный и стакнулся с Адмиралом, на чем они сошлись, не мое это телячье дело, а только сделался у него мой ротный начальник конвоя, а я, что ж, моя доля подневольная, где приказывали, там и служил. Так-то вот».

Глава третья

Она

1

Ее закружило в одночасье, когда в огне и крике испепелялась Россия и невзнузданные кони метались по земле, как угорелые. Но сначала была музыка, очень много музыки, да и немудрено: отец — знаменитый артист, один из основателей Московской консерватории. Казалось, из этой музыки был соткан мир, в котором она себя однаж-

ды осознала. И еще — горы: синие по утрам и желтые — к вечеру, с ледяными шапками в отдалении и с низкорослыми зарослями у подножий. Так и срослось с памятью: музыка и горы, горы и музыка.

Семья даже по тем благодатным временам была огромная, со своим вроде бы упорядоченным, но все же слегка безалаберным укладом. За стол, вместе с гостями, которые, кстати, никогда не переводились, усаживалось обычно человек до тридцати, а зачастую и больше. Обносили с двух сторон, а то бы и в полдня не управиться. Ели, пили долго, многоречиво, шумно, а после разбредались по огромному, хотя и несколько нескладному дому, предаваясь чисто южнороссийской лени, чтобы, отбездельничав каждый по-своему, снова и в урочный час встретиться за тем же столом.

Почему это вспоминалось именно сейчас, спустя столько лет, в коммунальном ковчеге, где-то посредине мутного московского потопа? Ведь не тем же, не безмятежным своим детством или еще более безмятежной юностью переполняется теперь ее, готовая к отлету в иной мир, душа? Да, да, конечно же, разумеется, не этим, но все же без этого ей не под силу было бы связать концы и начала сомкнувшейся отныне вокруг нее цепи времен и событий.

Помнится, в те годы, как почти все девушки ее возраста, она увлекалась сочинениями российских «властителей дум». Читала запоем, все подряд, без разбору, безвольно втягиваясь в засасывающий омут их словесного самоистязания. Но со временем, исподволь, в ней нарастало чувство сопротивления, протеста как раз вот этому самому их кокетливому мазохизму. Каким-то подсознательным чутьем она улавливала, что в нем, этом мазохизме, при всей его легко узнаваемой достоверности таится некая неподвластная самим авторам, но разрушительная в своей потенции ложь. В чем это выражалось, ей едва ли удалось бы определить в словах, но фальшь прочитанного в конце концов стала ощущаться ею почти физически.

Один, к примеру (с гениальной, впрочем, убедительностью!), звал человечество вернуться к собственному естеству, к природе, прочь от разлагающей душу и тело цивилизации, но ей-то доподлинно было известно, что сам пророк без этой цивилизации шагу не мог ступить, строго соблюдал свой помещичий интерес, а для его, прославленного на всех мыслимых языках вегетарианского стола в доме держали специального повара, а от не менее прославленной крестьянской поддевки на нем неизменно исходил едва уловимый запах «Коти».

Герои другого, живущие в тоске по честному труду и мечтой о времени, когда небо непременно должно обрасти алмазами, почему-то всегда окружены толпой услужающей им челяди, которую они, без разбора пола и возраста, во всеуслышание «тыкают», заполняя тома волшебных по тонкости и мастерству повестей, рассказов и пьес пустопорожними разговорами о «золотом веке», долженствующем, по их мнению, наступить вот-вот, по крайней мере не позже следующего понедельника.

Третий же и вовсе от книги к книге тянул однообразный маскарад из философствующих во хмелю или после оного провинциальных купцов, реющих буревестников и благородных цыган с вырванными для осветительных целей сердцами, но при всем своем свободолюбии не стеснялся высокомерно облаивать всякого, кто хотя бы робко пытался возражать его расхожим пошлостям.

(Знать бы ей тогда, что пройдут годы и годы, после которых жизнь надолго, а вернее, до самого конца сведет ее в доверительнейшей дружбе с бывшей женой этого последнего, которая, схоронив своего, отравленного по-родственному собственными дружками,

мужа-правдолюба, станет до конца жизни ходатаем за подругу несчастного Адмирала! Вот уж воистину неисповедимы пути Господни!)

Прискучив книгами, она со всем пылом юной неофитки бросилась в светскую жизнь: портнихи, магазины, парикмахерские, балы и приемы, легкий, ни к чему не обязывающий флирт (однажды она, как ей вдруг показалось, даже увлеклась всерьез, но вскоре, к счастью, одумалась, рассудительно заключив, что овчинка не стоит выделки), но и это поприще оказалось в конце концов не для нее: вскоре ожидание чего-то неотвратимо тревожного вновь подступило к ее, уже готовому к страстям, сердцу.

Брак случился нежданно-негаданно. Суженый явился, как с неба свалился: герой, овеянный славой Порт-Артура, сорокалетний адмирал, весь в орденах и ослепительных позументах, было от чего сойти с ума восемнадцатилетней девчонке, жаждущей вырваться наконец из-под родительской опеки и зажить своей, свободной от родственных обязательств жизнью.

Но супружеского счастья хватило ей ненадолго. Уже вскоре после рождения сына жизнь опять показалась ей изнуряюще однообразной. Она честно тянула семейную лямку, растила ребенка, играла роль примерной жены, хозяйки дома, хотя заглохшее было на время разъедающее душу ожидание не оставляло ее теперь ни на минуту.

Но однажды на привычной прогулке по набережной Гельсингфорса муж, раскланявшись с проходившим мимо моряком, с нескрываемой уважительностью объяснил ей:

— Это Адмирал — Полярный, тот самый, вы, наверное, уже наслышаны о нем...

Разумеется, она была о нем наслышана. Адмирал был притчей во языцех в светских кругах Балтийского флота: тоже, как и муж,— бывший порт-артурец, еще и отведавший японского плена, талантливый флотоводец, полярный исследователь, именем которого даже назван остров в северных водах, блестящий собеседник. Водить знакомство с ним, а в особенности близкое, считалось в этих кругах весьма престижной привилегией.

Но тем не менее случайная эта встреча на гельсингфорсской набережной едва ли надолго задержалась бы в ее памяти, если бы на другой день она не оказалась на вечере у старого друга мужа, тоже порт-артурца Николая Константиновича Подгурского, где, очутившись лицом к лицу с Адмиралом, с внезапно оборвавшимся сердцем поняла, что такого с ней не было, что прошлого больше не существует и что впереди у нее уже не ожидание, а судьба.

(Мне еще много раз придется фантазировать в отчаянных попытках восстановить возможные разговоры между ними, хотя бы мысленные, и, разумеется, это будет лишь приблизительной имитацией тех, что имели место на самом деле, но за подлинность их первого диалога я готов поручиться головой.

Вот он:

— Я так давно искала тебя.

— Разве это было так трудно?

— На это ушла вся моя жизнь.

— Но у тебя впереди еще так много!

— У нас.

— Ты права: у нас.)

И жизнь сразу сорвалась с накатанной колеи и пошла в разгон во все стороны, только проносились мимо лица, улицы, голоса, сливаясь в одну ослепительную, хотя и звучащую ленту: от встречи до встречи и снова до следующей встречи, а в перерывах между встре-

чами его записки и письма, которые заполняли серую пустоту повседневного быта: «Когда я подходил к Гельсингфорсу и знал, что увижу вас,— он казался мне лучшим городом в мире»; «Я всегда думаю о вас»; «Я вас больше чем люблю» и еще, и еще, и еще до летящей в колдовскую пропасть бесконечности.

В этом головокружительном угаре— где им было замечать, как грозно взбухает вокруг них существующий мир? Город жил так, будто земля еще покоилась под ним на трех несокрушимых китах: сытно, размеренно, незамысловато. По вечерам все так же, как обычно, по набережной фланировала публика, в городском саду духовой оркестр разыгрывал одни и те же вальсы, на рейде даже не дымили, а эдак безмятежно подымливали боевые суда.

Война, гремевшая, казалось, совсем неподалеку, виделась отсюда почти невсамделишной. Кто-то ходил в трауре, у кого-то в доме объявлялись увечные, к кому-то приходили письма из германского плена, но все это не отражалось на спокойной глади городского круговорота, разве лишь придавало ему оттенок патриотической респектабельности.

Мало кто чувствовал, что в волглом февральском воздухе уже повеяло пронзительным ветерком угрожающих перемен: толпа на улице становилась все крикливее, прислуга несговорчивее, а извозчики наглее. Газеты же и того пуще: остервенялись с каждым днем в открытую и, разумеется, прежде всего против власть предержащих. Время Смуты Смут стояло от каждого на расстоянии вытянутой руки, но никто не хотел замечать его, глядя сквозь него или мимо.

В эти самые дни у нее состоялось ее первое объяснение с мужем. В один из его редких теперь наездов, за обедом, после долгого и тягостного для них обоих молчания, он начал первым:

— Вам не кажется, Анна, что письма Александра Васильевича к вам становятся слишком частыми?

— Нет, не кажется, Сергей Николаевич.

— Поймите меня правильно, Анна,— ладони его, тяжело лежавшие на столе, напряженно подрагивали,— я хочу лишь одного — ясности. Если вы увлеклись, то в вашем возрасте это извинительно, я постараюсь забыть об этом, если же вы любите друг друга, то нам надо расстаться, хотя из-за этого мне придется уйти в отставку.

И затравленными глазами в сторону и вниз на свои ладони, полузакрыв набухшие веки.

Она вдруг поймала себя на том, что не чувствует в себе ни волнения, ни растерянности:

— Дорогой Сергей Николаевич,— начала она и сама подивилась спокойной снисходительности своего тона,— решать я, к сожалению, могу только за себя, Александр Васильевич не брал по отношению ко мне никаких обязательств, во всяком случае, до сих пор, но...

Тот не дал ей закончить, внезапно потеряв всякое самообладание, он вскочил с места и заметался, закружил по столовой:

— Вот видите, Анна, вы еще и сами не отдаете себе отчета в том, что происходит между вами и Александром Васильевичем! Вы молоды, вас просто закружилась голова, я вас понимаю, Александр Васильевич — человек в своем роде необычный, в вашем возрасте нетрудно потерять голову, но, подумайте, чем все это может кончиться: у него жена, сын, у вас тоже семья, вы должны одуматься, хотя бы ради детей.— Он остановился перед ней и умоляюще протянул к ней руки.— Анна, дорогая, одумайтесь, еще ничего не потеряно, я попрошу перевода, мы переедем, и у вас это скоро пройдет.— Заметив ее нетерпеливое движение, протестующе заслонился от нее вытянутыми

перед собой ладонями.— Не будем больше об этом сегодня, Анна, у вас есть еще время подумать, поговорим окончательно в следующий раз, вы согласны?

Он отчаянно жаждал оттянуть неизбежное, а она не стала настаивать, слишком крепкий и запутанный узел предстояло ей разрубать одним махом, а к этому она была еще не готова.

Но события оказались неотвратимее их намерений. Когда в середине февраля муж получил отпуск и они собрались было в Петроград, выехать из города сделалось уже невозможным. Поезда были битком набиты отпускниками и дезертирами, вместе с которыми устремилась в спасительную столицу вся портовая накипь военных лет: спекулянты, уголовщина, проститутки. О нормальном выезде нечего было и думать.

Благодаря морским связям мужа им удалось вскоре получить каюту на ледоколе «Ермак», направлявшемся в эти дни в Петроград. На нем-то они в конце концов добрались до места, где и застала их февральская революция.

2

Из дневника Анны Васильевны:

«Уже плоховато было в Финляндии с продовольствием, мы накупили в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне отъезда я получила в день своих именин от Александра Васильевича корзину ландышей — он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять, я срезала все и положила в чемодан. Мороз был лютый, лед весь в торосах, ледокол одолевал их с трудом, и вместо 4-х часов мы шли больше двенадцати. Ехало много женщин, жен офицеров с детьми. Многие ничего с собой не взяли — есть нечего. Так что мы с собой ничего и не привезли.

А в Гельсингфорсе знали, что я еду, на пристани нас встречали — в Морском собрании был какой-то вечер. Когда я открыла чемодан, чтобы переодеться, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был последний вечер перед революцией».

3

Так и запомнился ей на всю ее долгую жизнь этот вечер перед мучительными родами невиданного еще в мире людского взрыва: февраль в Гельсингфорсе, торопливые сборы на вечер в Морском собрании и замерзшие ландыши в распахнутом чемодане...

Боже мой, как давно это было, а все кажется, что это было только вчера!

Петроград уже жил тогда по ту сторону бездны. Бездна разверзлась, отделив время от полвремени, за самый краешек которого уцепилась, исподволь обрастая гнилостной плесенью быта, какая-то невиданная еще и не понятная никому явь. Толпа на улицах приобрела почти карнавальное обличье: цилиндры, лапти, шубы, расхристанные шинели перемешивались со шляпками под вуалью, драными платками и кацавейками. Растекавшаяся повсюду языковая стихия вышелушила из себя несколько обиходных дотоле слов и укоренила их в людском сознании, как основу и цель существования. Главным среди них было понятие «достать». «Купить» уже ничего не означало, кроме чисто технического завершения операции по добыче самого насущного: хлеба, молока, масла или дров. И с каждым днем это самое «достать» становилось все более навязчивым, требовательным, жестоким.

Но рядом с этим — кабаки и рестораны на любой вкус и карман куролесили чуть ли не круглые сутки, печатный товар громоздился на каждом углу, а театры и кинематографы размножались, как грибы после дождя: количество зрелищ заметно преобладало над запасами хлеба.

Муж исчезал с утра, обивая пороги в многолюдных лабиринтах военного министерства, возвращался по обыкновению поздно и, наспех, в хмуром безмолвии выпив стакан жидкого чаю, запирался у себя в кабинете. Встречаясь за столом, к прежнему разговору они больше не возвращались: атмосфера тревоги и страха, царившая вокруг, не располагала к откровенности.

Днем, в мелочной суете и хлопотах, она отчасти забывалась, слегка отряхивалась от гложущего душу ужаса перед будущим, но по вечерам сердце в ней проваливалось и холодело в невыносимой тоске и темных предчувствиях.

Вести отовсюду слетались одна хуже другой: в Гельсингфорсе зверски убили сослуживца мужа — адмирала Непенина, того самого, что хлопотал для них о каюте на «Ермаке», офицеров кончали самосудом прямо на улицах, в Кронштадте у рва за памятником адмиралу Макарову без суда расправились с цветом командного состава крепости. Главного коменданта и генерал-губернатора города адмирала Вирена закололи штыками на глазах у толпы на Якорной площади. Лава слепой ярости, подогретая пролитой кровью, мертвой петлей стягивалась вокруг Петрограда.

(Знать бы в те поры разгулявшейся в безнаказанности кронштадтской матросне, что спустя всего четыре года у того же рва их будут забивать, как скот, те, кто выманил их на эту кровавую дорожку: как говорится, знал бы где упасть, соломки подстелил бы, да туго оказалось в ту пору с такой соломкой, ой, как туго!)

Редкие письма от Адмирала тоже не облегчали. В них, сквозь устремленное к ней обожание, с неизменно возрастающим накалом прорывалось негодование происходящим:

«Я хотел вести флот по пути славы и чести, я хотел дать родине вооруженную силу, как я ее понимаю, для решения тех задач, которые так или иначе рано или поздно будут решены, но бессмысленное и глупое правительство и обезумевший дикий (и лишенный подобия), неспособный выйти из психологии рабов, народ этого не захотел».

После прощания с Черноморским флотом Адмирала беспорядочно носило по свету, а следом за ним, нагоняя его в самых неожиданных местах, обваливалось событие за событием: Октябрьский переворот, Брестский позор, начало Гражданской войны.

И письма его из Америки, Японии, Сингапура, словно эхо этих, дотянувшихся до него событий, отраженным звуком возвращались к ней:

«Временами такая находит тоска, что положительно не могу найти места. Это много даже для меня».

«За эти полгода, проведенные за границей, я дошел, по-видимому, до предела, когда слава, стыд, позор, негодование уже потеряли всякий смысл и я более ими никогда не пользуюсь. Я верю в войну. Она дает право с презрением смотреть на всех политиканствующих хулиганов и хулиганствующих политиков».

«Вы, милая, обожаемая Анна Васильевна, так далеки от меня, что иногда представляетесь каким-то сном. В такую тревожную ночь в совершенно чужом и совершенно ненужном городе я сижу перед Вашим портретом и пишу Вам эти строки.

Даже звезды, на которые я смотрю, думая о Вас,— Южный Крест, Скорпион, Центавр, Арго — все чужое.

Я буду, пока существую, думать о моей звезде — о Вас, Анна Васильевна».

Запойное возвращение к этим письмам заполняло теперь ее свободное время. Не облегчая ей сердце, они освобождали ее от сосущего одиночества. Было отрадно сознавать, что где-то в мире существует дорогой для нее человек, который постоянно думает о ней и переживает вместе с ней все происходящее вокруг них.

Она завидовала своей старшей сестре Ольге, ощутившей себя в окружающем бедламе, словно рыба в воде. В сестре вдруг обнаружилось сценическое дарование. Ольга целыми днями пропадала в студии Мейерхольда, где ее занимали в небольших ролях, возвращалась за полночь возбужденная, счастливая, переполненная впечатлениями:

— Ох, Аня, если бы ты знала, как это прекрасно! — в восторженном изнеможении бросалась она на диван.— Такого еще на русском театре не было, по сравнению с этим Станиславский похож на пронафталиненный музей, в котором вместо людей двигаются ряженые куклы, а у Всеволода Эмильевича феерия, карнавал, фантастическая клоунада.— Сестра даже зажмуривалась от внутреннего упоения.— Это такой режиссер, Аня, это такой режиссер, он перевернет мировой театр! — и умоляюще устремлялась к ней.— Анечка, у нас на днях премьера «Маскарада», пойдем со мной, уверяю тебя, ты не пожалеешь...

И она пошла. Пошла скорее от все той же тоски, чем из любопытства. Имя Мейерхольд почти ничего не говорило ей, хотя и перед революцией до нее дотягивались сколки, отзвуки, словесная шелуха слухов о его скандальных выходках и спектаклях.

Но то, что ей довелось увидеть, по-настоящему поразило ее. Перед ней на сцене, в прорезях изреженного занавеса, двигаясь в карнавальном хороводе, корчились в муках, плакали и смеялись маски.

Это был действительно маскарад, превративший лермонтовскую мелодраму в пронзительную и, как это ни странно, удивительно созвучную стоявшей на дворе эпохе трагедию. Здесь театр обнаженно сливался с улицей, где разыгрывалась в ту пору самая, может быть, бесконечная в истории фантасмагория. Сценическая площадка лишь выхватывала из толпы наиболее броское, характерное, вызывающее, втянув заодно и зрителя в свое магическое действо. Казалось, в мире более не оставалось места для человеческого существа в его первоначальном состоянии. Отныне ему можно было спастись, спрятаться, скрыться только в предлагаемой обстоятельствами личине всеобщего маскарада.

После спектакля сестра чуть не силком потащила ее знакомиться с маэстро. Тот стоял в фойе, окруженный актерами и почитателями, бесстрастно внимал многолюдному восхищению, уверенно возвышаясь над собеседниками взлохмаченной головой.

Когда они наконец пробились к нему, сестра, сияя на него розовеющим от волнения лицом, вытолкнула ее впереди себя!

— Всеволод Эмильевич, это моя младшая сестра Аня, жена адмирала Сергея Николаевича Тимирева, сначала даже идти не хотела, теперь вот жаждет познакомиться.

Длинное, вытянутое книзу лицо Мейерхольда с резко выдвинутым вперед подбородком слегка оживилось:

— Весьма рад, весьма рад, когда-то я был накоротке с вашим отцом Василием Ильичем.— И снова, суше: — Весьма рад. Вам действительно понравилось?

— У вашего театра большое будущее...

Маэстро нетерпеливо прервал ее:

— У театра вообще нет будущего, революция сама по себе лучший театр в истории человечества, у театра остается лишь один путь — слиться с революцией, главное для меня не в том, что я режиссер и актер, а в том, что я большевик...

(Кто бы мог угадать тогда, что, по милости его единомышленников, ему придется заканчивать свои дни на лагерной помойке, а ей, по их же милости, то ли декоратором, то ли билетершей в городском драмтеатре в Рыбинске, ныне, извините, Андропове!) [1]

Разговаривать было больше не о чем.

Возвращались далеко затемно, а в городе уже постреливали. Пьянящее волшебство только что увиденного с каждым шагом выветривалось из памяти, снова оставляя душу наедине с чернотой, прошитой страхом ночи. Пронеси, Господи!

Утром Сергей Николаевич впервые за последние месяцы остался дома. За чаем он даже заговорил, но по нервной напряженности в голосе, по опущенным долу глазам и прерывистому дыханию можно было определить, чего ему стоила эта внезапная откровенность:

— Вы, разумеется, осудите меня, Анна Васильевна, но я вынужден был договориться с ними,— он вяло кивнул на окно позади себя, предоставляя ей самой догадываться, с кем ему пришлось договариваться.— Главное для нас вырваться отсюда, ради этого допустимо поступиться словом.— Здесь он наконец вскинул на нее затравленные глаза.— Да и что значит слово, данное узурпаторам, ведь они не считают нас за людей, в любую минуту им ничего не стоит поставить меня к стенке! Что тогда будет с вами! У них нет закона, они действуют по праву сильного, где гарантия, что они не придут сюда уже сегодня?

И, словно откликаясь на его вопросительный вызов, поздним вечером к ним нагрянули с обыском. Распоряжался всем рослый, флегматичной повадки латыш весь в коже и портупеях. Он лениво ходил по комнатам, особого интереса к работе подчиненных не проявлял, откровенно позевывал в кулак, а сталкиваясь с нею, всякий раз неуклюже, но галантно расшаркивался:

— Извините, мадам... Приказ, мадам... Миль пардон.. Искаем оружий... Приказ Чека, мадам...

Гости ушли за полночь, прихватив с собой в качестве добычи дедовский кремневый пистолет и лицейскую шпагу отца.

С их уходом Сергея Николаевича окончательно прорвало:

— Хамы, хамы, быдло! Не могу больше, не могу! Я им тысячу клятв подпишу, лишь бы от них подальше, хоть к черту на кулички, только не слышать, не видеть их, эти хамские рожи, я сам отвечу перед Богом и своей совестью! — он вдруг смолк, побарабанил костяшками пальцев по столу и уже деловито продолжил:— Я обязался им ликвидировать военное имущество Тихоокеанского флота, завтра мы уезжаем во Владивосток, я не хочу и не могу больше оставаться здесь даже лишнего дня.

Ей было одновременно и жалко мужа, и стыдно за него. Невольно всплыло из недавнего письма Адмирала: «Мы проиграли войну. Кто ответственен за это? Правительство! Да, но не оно только. Ответственность за это несут прежде всего военные, главным образом офицерство».

Она мысленно пыталась его поставить на место Сергея Николаевича: как бы он повел себя, оказавшись в таком положении, что предпринял бы, стал бы договариваться с теми, кто презрел все людские

---

[1] Городу Андропову возвращено его прежнее название. (*Прим. ред.*).

и Божеские законы, даже ради ее спасения? И в ответ все в ней негодующе протестовало: нет, никогда, ни при каких условиях!

Душной волной нахлынуло на нее все пережитое ею за последние месяцы: голод, холод, мытарства родных в Кисловодске, где их всей семьей несколько раз выводили на расстрел, требуя выдачи несуществующих у них драгоценностей, унижение мужа, поставленного новыми хозяевами на колени. За что? По какому праву? И где конец всему этому?

Забылась она уже под утро сном прерывистым и зыбким. Смутные видения роились перед ней, возвращая ей из глубин тревожной памяти все то же лицо и все тот же голос:

— Где тебя искать, Анна?

— Я сама найду тебя, милый!

— Так долго тянется время.

— Все когда-нибудь кончается, дорогой мой.

— И ожидание?

— И ожидание — тоже.

— Я боюсь потерять надежду.

— А я ею живу.

— Как мне благодарить тебя?

— Тоже — надеждой...

На следующий день поезд уносил ее на Восток, навстречу ему, спешившему к ней с Запада, и старая планета, скрипя на своей оси, величаво плыла под ними.

4

Чем дальше уносился поезд от центра России, тем заметнее оттаивала духом и обликом обитавшая за окном страна. Вчерашний день с его вечным страхом, недоеданиями, уличной злобой казался теперь отсюда просто дурным сном: после пайковой осьмушки — даровой хлеб в вагоне-ресторане, после липких очередей — на каждой станции базары со всякой съестной всячиной, после чадных «буржуек» — укачивающее и ровное тепло спального купе. Было от чего празднично ликовать!

Проплывавшая мимо земля набухала веселой тяжестью, курилась по утрам в прогалинах и чащах, выдыхая вовне сбереженное в зимней спячке тепло, вспыхивала в солнечный полдень оживающей зеленью, рдела на закате всеми цветами радуги, с каждым днем вымывая из памяти тяжесть вчерашней безнадежности.

Остановки зачастую бывали долгими, общие неурядицы дотягивались уже и сюда, но дорожные эти бдения не тяготили ее, наоборот, она жадно хваталась за любую возможность, чтобы побродить по незнакомому городу, узнавая и не узнавая в каждом из них то, что называлось раньше российской провинцией. Выросши в провинции, она, наверное, могла бы с закрытыми глазами пройти по любому такому городу, не заблудившись, настолько все они похожи друг на друга: канцелярская и купеческая кладка в два-три этажа, гостиница и церковь в центре, а вокруг сонная топь приземистых пятистенников под разномастной кровлей, где улицы, люди, жирные свиньи в грязевой жиже сливались в одно безымянное, но пестрое пятно.

И хотя внешне ничего вроде бы не изменилось в их знакомом с детства обличье, над каждым из них нависала теперь едва ощутимая, но забивающая дыхание, как зной в предгрозье, тревога. Окраины как бы отделились от центра и зажили своей особенной от остального города жизнью. Оттуда тянуло острым настоем гремучего раствора вызревавшей там ярости.

В первый раз прорвалось в Иркутске: взбунтовались угольщики

на Черемховских копях. На станции образовалась пробка, в которой застряли десятки составов без всякой надежды когда-нибудь стронуться с места. На Восток просачивались только литерные поезда, да и то под усиленным армейским конвоем.

К счастью, Сергей Николаевич был не из тех, кто теряется в подобных обстоятельствах. На другой же день он, вместе с их попутчиками по купе — двумя бойкими лицеистами в бегах,— ухитрились заговорить станционное начальство, представившись уполномоченными некоей японо-американской миссии, и к вечеру они вчетвером уже покачивались на диванах вагона специального назначения в сторону Читы.

Утро застало их на раскатистых виражах Амурской колесухи, построенной еще каторжниками вдоль извивчивой Шилки. Из окна взгляду открывались такие пади и взгорья в сосновых борах, как в мантиях, что порою дух захватывало, до того они казались ей сказочными, а в этих борах, словно птичьи гнездовья — россыпи деревенских дворов с маковками церквей на отлете, от которых растекались во все стороны мерцающие огоньки как бы плывущих по воздуху свечей. «Вербная,— вдруг догадалась она.— Со всенощной возвращаются».

Сразу же всплыла перед ней предпраздничная суета в их кисловодском доме: бабушка Буся, с прислугой за тестом на кухне, в который уже раз вспоминает завороженно взирающей на нее сафоновской поросли рассказ своей матери о завернувшем к ним как-то проездом Пушкине:

— Сидит он это, говорит, около меня на кухне, а я, говорит, только-только хлебы испекла, сидит себе, ковыряет когтищами своими вострыми хлебы мои, ест да похваливает, так всех их и исковырял, пришлось потом свиньям скормить, а то ведь, говорит, и обмирщиться недолго, старой веры была прабабка ваша, Царствие ей Небесное...

И при этом беззвучно смеется тонкогубым ртом чему-то своему, одной ей понятному...

По пути на случайной остановке она столкнулась на перроне с лейтенантом Рыбалтовским, служившим когда-то перед самой войной под командой ее мужа и явно в те времена влюбленным в нее по уши.

— Анна Васильевна,— бросился тот к ней,— здравствуйте, какими судьбами?

— А вы?

— Да как-то так вот попал,— продолжал заливаться радостным румянцем Рыбалтовский.— Хочу в Харбин перебраться.

— Зачем? — бездумно, лишь бы поддержать разговор, спросила она.

— А там сейчас Колчак.

— Вот как? — выдохнула она и сама не узнала своего голоса, звучавшего не изнутри, а словно бы издалека и со стороны.— И давно?

Видно, от него не укрылось ее внезапное смятение, он тут же смешался, погас и, торопливо пробормотав извинения, поспешил расстаться с нею...

Оставшуюся часть пути до Владивостока она не помнила себя. Вокруг нее роились голоса, перед глазами мелькали предметы и лица, мимо окон, в смене дня и ночи, проносился таежный простор, но все это только обволакивало ее со всех сторон, не затрагивая в ней ни слуха, ни зрения: она как бы забаррикадировалась в самой себе, в том самом прошлом, которое составляло с тех пор смысл ее существования. По малым крупицам — обрывкам фраз, отдельным жестам, сбереженной памятью улыбке — она мысленно восстанавливала его облик, растворенный было в быстротекущем и транжиристом времени, чтобы снова вернуться туда, откуда тянулся к ней один-единственный голос. Его голос:

— Я больше чем люблю вас...

Во Владивостоке, в отеле, едва оставшись наедине с собой, она написала ему письмо, а потом металась по городу в поисках оказии, пока ее не надоумили обратиться с этим письмом в английское консульство: после Бреста он все еще числился на английской военной службе.

Уже через несколько дней с нарочным ей был доставлен его ответ: «Передо мной лежит Ваше письмо, и я не знаю — действительность это или я сам до него додумался».

Связь времен, разорванная роковой катастрофой, сомкнулась в ней мгновенным решением: ехать, ехать, не мешкая ни дня, ни часа, ни даже минуты!

Казалось, Сергей Николаевич ждал ее с этим разговором. Едва выйдя и мельком взглянув на нее, он отвернулся и с заметным усилием выдавил куда-то в стену перед собой:

— Вы вернетесь?

Ей вдруг стало нестерпимо жаль мужа: для нее — женщины с головы до ног — не трудно было представить его состояние, но изменить она уже ничего не могла.

Она встала, подошла к нему, молча взяла его за руку и тыльной стороной ладони легонько прижала к своей щеке:

— Я должна его видеть, Сергей Николаевич!

Лишь тут он взглянул на нее, снизу вверх по-собачьи преданными глазами:

— Я не вправе удерживать вас, Анна Васильевна, к тому же это и бессмысленно, но если вы вернетесь, я буду счастлив.

И приник к ее руке с порывистой благодарностью.

5

В Харбине Адмирал не встретил ее, и у нее оборвалось сердце: должно было случиться что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы он не оказался на месте вовремя, тем более для свидания с ней.

После суматошных поисков и расспросов ей, наконец, удалось выяснить, где находится его салон-вагон. Она летела туда, не чуя земли под собой, но часовой на пороге тамбура, лениво позевывая сверху вниз, добродушно осадил ее:

— Его превосходительство на вокзал ушедши, гостей встречать, кажись, из Читы...

Кружа по лабиринтам станционных путей, она опять-таки разминулась бы с ним, если бы в просвете между двумя составами они не столкнулись лицом к лицу.

— Александр Васильевич, милый,— задохнулась она от неожиданности,— что за маскарад?

В английской, защитного цвета, форме он был почти неузнаваем: выглядел меньше ростом, суше, отчужденнее.

— А вы? —Он прижимал ее руки к губам.— Этот ваш траур?

— Зимой умер отец.

— Извините...

Они шли теперь наобум, куда глаза глядят, в полное пространство перед собой, где, кроме них двоих, не было никого, кто мог бы услышать слова, которые складывались между ними.

— Мы не виделись, по-моему, целую вечность, Анна.

— Мне кажется, больше.

— Неужели через день-два опять на целую вечность?

— Теперь каждый день — вечность, милый.

— А вы не уезжайте.

— Не шутите так, Александр Васильевич.

— А я и не шучу.— Он остановился и с вопросительной требовательностью взглянул на нее.— Останьтесь со мной, я буду вашим рабом, буду, к примеру, чистить вам ботинки, вы сами увидите, какой это будет удобный институт.

— Конечно,— ей хотелось и смеяться, и плакать одновременно,— вы можете уговорить кого хотите, но что из этого выйдет?

Он сжал ее руки в своих и отчеканил твердо, даже как бы с вызовом:

— Нет, уговаривать я вас не буду, вы это должны решить сами...

Затем дни и ночи слились для нее в одну ликующую полосу света, закружившего ее в своем хлопотливом водовороте. Они расставались только днем, когда ему приходилось заниматься делами в правлении дороги у Хорвата, откуда, вымотанный до предела, он возвращался к ней в гостиницу, садился рядом, припадал щекой в готовно подставленные ею ладони и тут же забывался в умиротворенной дреме. Она вглядывалась в его измученное дневной бестолковщиной лицо, боясь высвободить затекающие руки, чтобы не потревожить его, и сердце в ней сладостно обмирало от обессиливающей ее нежности, а губы сами по себе беззвучно складывали над ним вместо колыбельной слова заученной ею еще в детстве от бабки казачьей песни:

Долина моя, долинушка,
Долина широкая!
Из-за этой за долинушки
Заря, братцы, занималася.
Из-за этой ясной зореньки
Солнце, братцы, выкаталося...

В эти минуты она испытывала к нему такую щемящую привязанность, что казалось, нет и не будет на свете силы, которая бы могла когда-нибудь заставить ее отказаться от него. Но днем, наедине с собой, ей трудно было избыть из себя вязкие мысли о сыне и муже, составлявшими немалую часть ее жизни, от которой, оказалось, не так-то просто было отмахнуться.

Главной не оставлявшей ее болью был сын. В начале лета семнадцатого она отправила его к матери в Кисловодск, где он и затерялся с тех пор и откуда о нем не поступало никаких известий. Ей оставалось только теряться в догадках, корить себя и обмирать от страхов. Дорого бы она дала, чтобы сын теперь оказался здесь, рядом с ней. От одной мысли о том, что ей уже не доведется увидеть его, у нее холодело сердце.

(Ровно через тридцать лет сердобольный вертухай на Карагандинском лагпункте расскажет ей, как ссученные урки забивали ее сына насмерть в лагерной бане, как кричал он и рвался из-под их звериного нахрапа, как с номерной биркой на ноге сброшен был в общую яму за зоной, и она горько пожалеет тогда, что не сгинул он в самом начале и что вообще появился на свет по ее вине для подобной участи.)

Закончить с мужем оказалось тоже не так-то просто, как представлялось раньше. Его умоляющие письма, наподобие охотничьих флажков, тянулись за ней по пятам, опутывая ее, словно зверя, почти непроницаемым для нее загоном. И в каждом из них одно и то же: готов все простить (как будто она в этом нуждалась), забыть (словно такое забывается!), не губить ни семью, ни себя (а что могло их спасти?) и вернуться во Владивосток. Она слишком хорошо знала Сергея Николаевича, чтобы терзаться совестью за его душевный покой, он утешался так же быстро, как и расстраивался, но походя отмахнуться от прожитых с ним лет ей было невмоготу.

Отшелестел календарными листочками месяц в Харбине, пронизанный праздничной лихорадкой их встреч и ее ожиданий, а она все еще не переставала разрываться между «остаться» и «уехать». Остаться означало разом переиначить свою судьбу заново, уехать — оказаться в житейском капкане, из которого ей уже едва ли удастся вырваться.

С ним об этом она заговаривать не решалась, оберегая и без того быстротечные часы его равновесия и покоя, но однажды он сам вызвал ее на окончательную откровенность:

— Анна Васильевна,— по обыкновению подремывая на ее ладонях, он вдруг открыл глаза, повернулся к ней всем лицом, и она прочла в глубине его тревожных зрачков почти паническую мольбу.— Вы останетесь, не правда ли?

Эта рвущаяся из него мольба и освободила ее наконец от сомнений: отныне она, даже если бы и захотела, не могла, не имела права его оставить.

— Некуда мне от вас уходить, Александр Васильевич,— чуть запнулась, но затем выговорила твердо,— от тебя, Саша.

Весь разом озарившись, он вскочил, мгновенно расправился и закружил, замельтешил по комнате.

— Мы уедем в Японию, я уже попросил отставки, с Хорватом я, видно, так и не сговорюсь, он все еще живет в прошлом веке, одними призраками и химерами, ему продолжает казаться, что положение можно исправить с помощью лишней сотни нагаек или шпицрутенов. Ему, из его китайской тьмутаракани, события в Москве и Петербурге кажутся шалостями избалованных проказников, которым некому всыпать по первое число, а я-то через это прошел, знаю, что не порочные ребятишки безобразничают, а плотину прорвало, удержи теперь этот поток, попробуй, все на своем пути сносит. Пока мы здесь в политические бирюльки играем, огонь сюда подбирается, и почва кругом очень этому способствует, пороховая почва у нас под ногами, не только спички, искры крошечной хватит, чтобы вспыхнуть, а тогда, как в народе говорят, пришла беда — отворяй ворота, костей не соберем.— Он в изнеможении бросился опять на диван, закрыл глаза, успокаиваясь.— Да, да, в Японию, мне временно надо побыть в стороне, собраться с мыслями, поговорить с людьми, взвесить все «про» и «контра», решить, что еще не поздно предпринять.— И опять к ней, с той же мольбой: — Анна Васильевна, дорогая, прав ли я, а?

— Для меня — всегда.

— А мне больше ничего и не нужно! — В его излившейся на нее радости было что-то ребячье.— Нет, нет, Анна, я не шучу, кроме вашей поддержки, мне действительно ничего не нужно! Хотя,— он вдруг мечтательно расслабился,—иногда так хочется уйти, скрыться от всего этого, забыть о том, что творится на свете, запереться где-нибудь на краю земли в четырех стенах и заниматься наукой, одной только наукой, если бы вы знали, Анна Васильевна, сколько драгоценного материала накопилось у меня после моих северных экспедиций, все описать, жизни не хватит! — И тут же, спохватившись, одной лишь снисходительной усмешкой перечеркнул сказанное: — Но если не я, не такие, как я, тогда кто же?

И, словно отвечая ему, из-за окна к ним потянулся отдаленный звон колоколов. Долгий, протяжный, оплывающий звук словно взывал к кому-то издалека в надежде на отклик и возвращение. Звук тянулся так долго, гулко и маятно, что, казалось, ему не будет конца.

— Будто знамение! — невольно вырвалось у него, но тут же, смутившись, он поправился: — Странное совпадение, не правда ли?

Как и чем она могла ответить ему, кроме обращенной к нему молчаливой преданности?

А колокол гудел и гудел за окном, в комнате, в них самих.

6

Из дневника Анны Васильевны:

«Александр Васильевич увез меня в Никко, в горы.

Это старый город храмов, куда идут толпы паломников со всей Японии, все в белом, с циновками-постелями за плечами. Тут я поняла, что значит — возьми одр свой и ходи: одр — это просто циновка. Везде бамбуковые водопроводы на весу, всюду шелест струящейся воды. Александр Васильевич смеялся: „Мы удалились под сень струй...“»

7

Отложившись в них, гул этот затем вобрал в себя их путь через горы, долы и морской простор в сказочное захолустье японской провинции, где однажды снова возник вовне, пробившись к ней в гостиничный номер сквозь бамбуковые жалюзи единственного окна.

Возник, возвращая ее из ленивой дремы экзотической чужбины в гремучую явь оставленной, но так и не забытой ею земли: где-то там, на том берегу хмурого моря, осыпалась, обваливалась в пропасть земная твердь, еще хранившая следы ее ног, и плавился, выгорал воздух, которым она совсем недавно дышала.

В ней, как ожившая куколка в задубевшем было коконе, вдруг затеплилось, зашевелилось чувство боли, потери, горечи, растворявших наподобие щелочи панцирь сковавшего ее здесь обманчивого покоя: видно, не существует на земле места, где человеку удалось бы спрятаться от собственной памяти, настигающей его, будто тень — везде и повсюду, в какие бы медвежьи углы света он ни пытался скрыться.

Колокольный гул заполнял ее, оседая в ней обреченной уверенностью, что нет для нее в этом мире счастья ни с кем и ни в чем, пока остается в нем хоть один угол, в каком сохранились корни ее родства и душевной сути. Вспомнить, понять, обернуться, увидеть истлевающее в муках прошлое и обратиться в соляной столп— это, наверное, выше сил человеческих.

И тут же ей почему-то передалось, что там, за стеной, в соседнем номере, Адмирал думает о том же самом, и, уже не сомневаясь в этом, она заторопилась к нему, безотчетно охорашиваясь на ходу: он выслушает, он поймет, он решит.

А тот действительно, будто ждал ее, сразу же оживился, расцвел к ней навстречу:

— Анна Васильевна, дорогая, у меня к вам просьба, пойдемте со мной в русскую церковь! Слышите, благовестят!

Вышли и подались через весь город туда — на колокольный звон, гулкой струной свисавший с безоблачного неба. Затейливое кружево улиц и улочек, густо прошитое сверкающими в солнечном свету каскадами бамбуковых водопадов, в конце концов вывело их к подбористой, чуть выше кладбищенской часовни, церковушке, подпиравшей высь на городской окраине.

Внутри церковушка выглядела еще игрушечнее, чем снаружи, но и в этой малости прихожан собралось — по пальцам сосчитать, жались по стенам разрозненными группками, заученно повторяя вслед за священником вязь православных молитв по-японски. В душных сумерках людские силуэты и лица гляделись смутным продолжением стенных росписей, и оттого здесь казалось совсем пусто.

Тщедушный старичок священник, на котором колом коробилось новенькое, с иголочки, облачение, невнятно проборматывал неожиданным в нем басом стих за стихом Евангелия, дымил ладаном, помахивал кропилом по сторонам, похрустывал при каждом движении жесткой ризой, будто доспехами.

Она не видела Адмирала, он стоял у нее за спиной, но исходившее от него оттуда взыскующее напряжение передавалось ей, проныкая ее предчувствием скорой и уже решающей для них обоих дороги.

— Скоро предвари, прежде даже не поработимся,— беззвучно складывали ее губы, а душа исходила, источалась смертным томлением,— врагом хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби крестом Твоим борющие нас, да уразумеют, како может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче...

8

Из дневника Анны Васильевны:

«Когда мы возвращались, я сказала ему: «Я знаю, что за все надо платить — и за то, что мы вместе, но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, я на все согласна».

Что же, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата».

9

Некоторые сведения о А. В. Книпер-Тимиревой: [1]

Родилась в 1893 году в Кисловодске. В 1906-м семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна кончила гимназию кн. Оболенской (1911) и занималась рисунком и живописью в частной студии С. М. Зейденберга. Свободно владела французским и немецким. В 1918—19 гг. в Омске — переводчица Отдела печати при Управлении делами Совета Министров и Верховного правления; работала в мастерской по шитью белья и на раздаче его больным и раненым воинам. Самоарестовалась вместе с Колчаком в январе 1920-го, освобождена в том же году по октябрьской амнистии, в мае 1921-го вторично арестована. Находилась в тюрьмах Иркутска и Новониколаевска, освобождена летом 1922-го в Москве из Бутырской тюрьмы. В 1925 году арестована и административно выслана из Москвы на 3 года, жила в Тарусе. В четвертый раз взята в апреле 1935-го, в мае получила по ст. 58-10 пять лет лагерей, которые через три месяца при пересмотре дела заменены ограничением проживания («минус 15») на 3 года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верее, Малоярославце. 25 марта 1938 года, за несколько дней до окончания срока «минуса», арестована в Малоярославце и в апреле 1939-го осуждена по прежней статье

[1] Сведения эти взяты из исторического альманаха «Минувшее», № 1. (*Прим. ред.*)

на 8 лет лагерей; в карагандинских лагерях была сначала на общих работах, потом — художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за 100-м километром от Москвы (ст. Завидово Окт. ж. д.). 21 декабря 1949 года арестована в Шербакове как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950-го отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения, ссылка снята в 1954 году. Затем в «минусе» до 1960 года (Рыбинск). В промежутках между арестами работала библиотекарем, архивариусом, дошкольным воспитателем, чертежником, ретушером, картографом (Москва), членом артели вышивальщиц (Таруса), инструктором по росписи игрушек (Завидово), маляром (в енисейской ссылке), бутафором и художником в театре (Рыбинск); подолгу оставалась безработной или перебивалась случайными заработками. Реабилитирована в марте 1960-го, с сентября того же года на пенсии. В 1911—18 гг. замужем за С. Н. Тимиревым. Замужем за В. К. Книпером с 1922-го. До получения ответа прокурора о гибели и реабилитации сына, В. С. Тимирева (1956), носила двойную фамилию.

Глава четвертая

Удальцов

1

В июне красные снова прорвали фронт у Сарапуля и Бирска, а уже меньше чем через месяц взяли Пермь и Кунгур. Положение усугублялось разложением в войсках: 21-й полк перебил офицеров и в полном составе перешел к противнику.

Жара на дворе держалась адская, отчего вокруг плохо оборудованных лазаретов принялись расползаться эпидемии. Медикаментов и перевязочного материала едва хватало на иностранцев, со своими же обходились домашними средствами, а практически — стираным тряпьем, хлороформом и касторкой. Угрожающе чувствовалось, что наступает перелом, и чем дольше, тем безнадежнее.

В эти дни Адмирал, оставаясь внешне спокойным, терял последние остатки самообладания. Укоренившаяся привычка в минуты волнения врезаться перочинным ножиком для чинки карандашей в подлокотники кресла, заметно усилилась: на подлокотниках теперь, что называется, не оставалось живого места.

В такие минуты он предпочитал никого не принимать и встречался, и то по долгу службы, лишь с Удальцовым, а поздним вечером — с Анной Васильевной. Адмирала Начальник конвоя изучил давно и досконально, поэтому лишний раз ему на глаза не показывался, справедливо полагая, что, когда понадобится, его позовут.

К Анне же Васильевне Удальцов относился почти с благоговением, но понять ее до конца или хотя бы приблизиться к такому пониманию Удальцову было просто не под силу. Казалось бы, природа не обошла ее ни одним достоинством или замечательным свойством. Ум, красота, обаяние, умение держаться и владеть собой, но — вот поди ж ты! — она держалась от Адмирала всегда на расстоянии, словно оберегая этим что-то такое, только для них двоих важное и дорогое,

к чему не должно пристать ни одного, даже самого малого пятнышка.

Разумеется, Удальцов знал о них все или почти все, иного и быть не могло, каким бы он тогда оказался Начальником конвоя, но это его сокровенное знание лишь увеличивало в нем чувство самоотреченной привязанности к ним обоим.

Скажи ему, пожалуй: «Пусти себе, Удальцов, пулю в лоб ради них двоих!», кажется, пустил бы, не раздумывая. «Такое счастье, видно,— думал он,— на миллион двум выпадает, а то и реже!»

Поэтому, когда однажды Адмирал вызвал его и, виновато отводя от него издерганные глаза, предложил часть конвоя передать обескровленному фронту, он лишь вытянулся и с готовностью щелкнул каблуками:

— Когда прикажете выступить, Ваше высокопревосходительство?

Только тут Адмирал вдруг внимательно взглянул на него проникающим взглядом и, как бы впервые по-настоящему узнавая, совсем по-детски озарился откровенной радостью:

— Что ж мешкать, полковник, тотчас поступайте в распоряжение генерала Дитерихса, и с Богом!

— Я всего лишь ротмистр, Ваше высокопревосходительство.

— Старшие не ошибаются, полковник.

И снова озарился все так же: по-детски обезоруживающе.

Удальцова подхватила такая жаркая волна, смешанная из восхищения и сочувствия к этому большому ребенку, что все принятые в таких случаях уставные формулировки разом вылетели у него из головы.

— Благодарю вас, Ваше высокопревосходительство.— И уже на прощание, сквозь спазмы в горле, с порога: — Бог не выдаст, Ваше высокопревосходительство...

Во дворе плыл, плавился душный день. У коновязей, отмахиваясь хвостами от мух и шмелей, томились осоловевшие лошади. Воздух казался выжатым под прессом безоблачно-гремучего неба, отчего все живое укрылось в тени кустов и подсобных построек.

Но стоило Удальцову выявиться на штабном крыльце, как перед ним, словно из-под земли или вот этого, обессилевшего от самого себя воздуха, возник безмолвный, но, как всегда, ко всему готовый Егорычев.

— Такие дела, Филя, придется идти на фронт подпирать, Верховный обращается к сознанию своего конвоя...— Он хотел было продолжить, но, едва сойдясь с ординарцем глазами, догадался, что незачем, поэтому закончил совсем буднично: — Собирай молодцов, выступаем.

Тот, как появился, так и пропал, будто растаял в расплавленном воздухе...

У Дитерихса в кабинете, как в келье у послушника: икона на иконе, пахнет воском и ладаном. На столе — штабные карты вперемежку с молитвенниками. Если бы не генеральский мундир на хозяине, его можно бы тоже принять за схимника: лицо одутловатое, болезненно бледное, глаза полуприкрыты, пухлые руки лодочкой сдвинуты у подбородка. На вошедшего даже не взглянул, произнес неожиданно густым басом:

— Положение отчаянное, Аркадий Никандрыч, если не безнадежное, что делать — ума не приложу, в некоторых дивизиях по триста — четыреста боеспособных единиц, но когда положение безнадежное,— тут он поднял наконец на собеседника пухлое, в черных усах щеткой, лицо,— то, разумеется, зовут Дитерихса, а ведь я предупреждал, в самом начале предупреждал, что Пермь — это случайно

удавшаяся авантюра.— Он скорбно вздохнул и снова прикрыл веки.— Ох уж мне эти нынешние наполеоны из бывших статских фельдшеров и полицейских исправников! Драть их надо почаще, а не войсковые соединения доверять! — Тут он, будто с неохотой, поднялся лицом к иконе Божьей Матери в красном углу, истово, с известным даже экстазом перекрестился.— Не оставь матушку-Россию, заступница наша вечная, не допусти ее бесноватым на поругание! — И уже окончательно поворачиваясь к Удальцову, буднично поинтересовался: — Кони оседланы?..

Через час спешных приготовлений конная колонна со штабным значком Главнокомандующего впереди уверенной рысью двигалась на Ишим. Даже неопытному глазу представлялось совершенно очевидным, что никакого фронта вообще не существовало, фронт давным-давно исчез, расползся во все стороны, не зная да и не имея особой охоты знать, где у него какие-либо концы и начала. Еще труднее было отыскать в этом хаосе разрозненных повозок, пеших и конных, здоровых и раненых хоть какое-то подобие командования, которое пыталось бы управлять этим хаосом.

Единственное, что могло еще если не изменить ход событий, то, во всяком случае, собрать эту одышливую мешанину во что-то целое, был успех, пусть самый маленький, самый иллюзорный успех.

И Дитерихс несомненно зто понимал.

— Вот что, Аркадий Никандрыч,— генерал повернул к Удальцову вдруг заострившееся и почерневшее лицо,— видите ту деревеньку под самой рекой? Если сейчас же, с ходу нам удастся ее взять, полдела будет сделано, люди опомнятся, вид хорошего подкрепления — лучшее лекарство от паники, а там посмотрим, на войне случай — великое дело.— И сразу же скомандовал: — Развернуться двумя лавами... Ну, с Богом, братцы!

Удальцову никогда не приходилось участвовать в конной атаке. Поначалу у него даже дух захватило: сливаясь с крупной рысью передовой лавы, он всем своим существом чуял ее всесокрушающую красоту и мощь. И только у самой деревни, у ее окраинных садов скорее осознал, а не услышал, что их беспамятное «ура» перекрывает прерывистый лай пулеметов, но, прежде чем почувствовать страх, увидел перед собой искаженное ужасом лицо пулеметчика и, опускаясь всем корпусом вместе с шашкой к этому лицу, почти со звериным восторгом увидел, как стриженый череп у того разваливается надвое под ее острием.

Так близко, почти у себя под рукой, Удальцов видел смерть впервые в жизни. Наверное, оттого, когда схлынуло мгновение первого торжества, он вдруг ощутил в себе, во всем своем теле такое опустошение, такую, почти нечеловеческую, усталость, как если бы внезапно сделался совершенно полым. Тогда Удальцов впервые оглянулся, поднял глаза к знойному небу, и оно неожиданно увиделось ему изжелта-желтым. «Господи,— безмолвно взмолился он туда, в это небо,— по плечу ли мне такой груз! »

2

Из записок генерала Филатьева: [1]

«Удар был очень удачен: весь правый фланг красных был совершенно разбит и отброшен за Курган; на всем остальном фронте они спешно отходили за реку Тобол, бросая большую военную добычу. Заключительным актом этого удара и должен был служить натиск казаков в тылу красных для окончательного их разгрома. Тогда Омск

[1] Генерал-квартирмейстер штаба Адмирала.

действительно получил бы большую передышку. 10 сентября казакам назначено было произвести удар.

С началом успеха Адмирал выехал на фронт к казачьему отряду, и 10 сентября, вместо донесения о начале налета, Дитерихс получает от самого Адмирала телеграмму: «Ввиду переутомления войск и в особенности казаков, остановил войска на трехдневный отдых. Очень Вам благодарен за успех». Надо заметить, что до этих пор казаки ни в каких столкновениях не участвовали, а просто следовали походным порядком за левым флангом Дитерихса.

Остановка наступления, конечно, дала возможность красным одуматься и подвезти подкрепление в три дивизии, и в середине октября они сами сделали такой нажим, что 3-я армия генерала Сахарова неудержимо покатилась вдоль железной дороги на Петропавловск.

Не следует закрывать глаза, что в неудаче 10 сентября, точнее сказать, в невыполнении генералом Ивановым-Риновым поставленной ему задачи, значительная доля вины падает и на главнокомандующего генерала Дитерихса. Он знал, что полицейская ищейка Иванов-Ринов не имеет никакого понятия о командовании войсками, следовательно, под тем или иным предлогом он должен был не допустить его становиться во главе казаков в такую ответственную минуту, а если это было невозможно сделать по причинам внутренне-политическим, то ему самому надлежало быть при казачьем отряде. Во всяком случае, ему следовало энергично протестовать против вмешательства Адмирала в его боевые распоряжения и доложить, что остановить войска на трехдневный отдых в такую минуту является тягчайшим воинским преступлением. Но, увы, как общее правило, все наши старшие начальники страдали одним и тем же недугом — полным отсутствием гражданского мужества в отстаивании своего мнения. Это не так бросалось в глаза в нормальное время, как с первых же дней революции.

С неудачей под Курганом пробил предпоследний час Адмирала как Верховного Правителя, его правительства и всей Сибирской Белой борьбы. Пора было взяться за ум, перестать надеяться на чудеса и отказаться от навязчивой идеи о невозможности покинуть Омск. Время было обратиться к какому-либо осуществимому плану, чтобы спасти хотя бы то, что было доступно».

3

На другой день ввечеру в здании городской женской гимназии устраивался бал в честь победителей. И хотя Удальцов в некотором роде мог считать себя героем дня, особой охоты тащиться туда у него не было. В самой атмосфере этих балов, все учащавшихся по мере ухудшения общей обстановки, чувствовалось что-то обреченное, будто в бравурной музыке на официальных похоронах.

Каждый в таких случаях смотрел на каждого, и на себя самого в том числе, как на участника заранее отрепетированного маскарада, в котором следовало изо всех сил разыгрывать спокойствие и непринужденность, долженствующие свойствовать подобного рода сборищам вообще и во все времена. Но каждый в то же время прекрасно сознавал, что участвует в очередном самообмане, что никакими благотворительными балами уже ничего не поправишь и что лучше было бы не мучить себя и других, а побыстрее разойтись по домам, где, оставшись наедине с собой, взглянуть в свою душу, как в бездну, и если не задохнуться от собственного страха, то хотя бы попытаться в трезвом размышлении перед самим собой преодолеть его упованием на лучшее или молитвой.

Но узнав, что Верховный отправляется туда же, Удальцов счел

себя не вправе манкировать своими обязанностями даже в такой, на посторонний взгляд, житейской ситуации.

Первый, с кем он столкнулся, оказавшись в гимназическом вестибюле, был генерал Нокс. И хотя отношения их до сих пор оставались чисто официальными, тот, не чинясь, первый бросился к нему с поздравлениями.

— Рад вас видеть, полковник! — Почти незаметно усилив интонацию на последнем слове, он явно подчеркивал свою осведомленность.— Блестящая операция! Говорят, вы оказались в самом пекле? Скажите, полковник, что я могу для вас сделать?

У этого человека все было безукоризненно, от пробора до произношения. Он выглядел джентльменом с головы до ног, но понять, что же все-таки происходит в стране, где он представляет Королевство Ее Величества, ему, при всей его профессиональной наблюдательности, оказалось не под силу. Для него Россия представлялась чем-то средним между Индией и Непалом, проблемы которых решались в его ухоженной голове с простотой, достойной умственного уровня английского денди.

Но, надо отдать ему должное, Нокс старался, Нокс очень старался, а одно это заслуживало снисходительности.

— Благодарю вас, генерал,— как можно дружелюбнее откликнулся Удальцов.— Лично мне ничего не нужно, вот если бы вы помогли мне немного поприличнее обмундировать моих солдат, я был бы вам весьма признателен. По правде говоря, мне на них самому смотреть совестно.

Джентльмен мгновенно захлопнул раковину своего радушия, сделавшись сухим и чопорным:

— Постараюсь сделать все, что в моих силах.— Но тут же несколько смягчил свою, как, видно, ему казалось, слишком заметную холодность.— Тем не менее, полковник, что бы ни случилось в вашей жизни, вы можете всегда рассчитывать на мою помощь, слово английского офицера!

«Разведчика»,— мысленно уточнил Удальцов, глядя в натренированную верховой ездой стройную спину англичанина, но при этом Нокс так и не вызвал у него ни раздражения, ни, тем более, неприязни: не лучше и не хуже других иностранцев, прикомандированных к ставке Верховного, скорее, даже лучше!

К Адмиралу было не пробиться сквозь штабную свиту и дамское окружение, но наметанным глазом Удальцов сразу определил, что его молодцы из Конвоя расположились вокруг Верховного с таким точным расчетом, что сколько-нибудь опасной личности доступ туда оказался закрыт наглухо.

А бал тем временем закручивало все лихорадочнее. Гимназистки старших классов, впервые в жизни очутившиеся в такой волнующей близости с офицерским обществом, наподобие пестрых бабочек порхали по всему залу, бесцеремонно расхватывая смущенных их жадным напором кавалеров.

Вот тогда-то, в тот не по-сентябрьски душный вечер, Удальцов и выделил из этого роя обгоравших в своем первом взрослом восторге мотыльков одного — с тонким, почти еще детским лицом, добрую половину которого занимали распахнутые от восхищения всем происходящим, густо-василькового цвета глаза. «Боже мой, Боже мой,— обомлевая подумал он тогда,— неужели такое бывает да еще и наяву!»

Ему, конечно, ничего не стоило пригласить ее на любой танец, он был в центре внимания, и она была бы только счастлива разделить

с ним сегодняшнее торжество, но едва Удальцов решался, как что-то всякий раз останавливало его. Эта внезапная робость ему самому была в новинку: он — стреляный-перестреляный ловелас и гуляка — вдруг спасовал перед первой попавшейся ему на глаза гимназисткой. Он даже пытался посмеиваться над собой, но в конце концов ему пришлось признаться себе, что пасовал он все-таки не перед ней самой, а перед ее прямо-таки вызывающей беззащитностью. Наверное, эта хрупкая ее невесомость и служила ей лучшей защитой от слишком откровенных посягательств.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, скорее всего, очередным романтическим воспоминанием, если бы гимназистку не подвели к нему ее собственные родители:

— Вот полюбуйтесь,— тучный, страдающий одышкой, хотя и не старый еще, отец обливался смущенным потом,— жаждет познакомиться с героем дня, а собственного духу, простите, не хватает,— и под строгим взглядом довольно сухопарой жены поспешил с представлениями.— Простите ради Бога, полковник, в этом бедламе часом о простейших приличиях забываешь! Статский советник Иоан Аристархыч Катушев, по пароходной, так сказать, части, речной жук, извините, а это моя дражайшая половина Анна Петровна, урожденная Тальберг, а это, так сказать, наше единственное чадо Елена, прошу любить и жаловать.

Преодолев весь этот многоступенчатый период, Катушев наконец отдышался и поспешил ретироваться, но целенаправленно — в сторону буфета.

Во все время, пока мадам Катушева старалась занимать почетного гостя светским разговором, Лена смотрела на него еще шире прежнего распахнутыми глазами, будто силилась вобрать его целиком, без остатка в их густо-васильковый омут, чтобы уже никогда не выпустить оттуда.

(А ведь преуспела гимназическая пигалица! Долгие-долгие годы потом тянулся Удальцов за этим омутом по всему свету, но, по правде говоря, никогда и не жалел об этом!)

На прощанье мадам Катушева настоятельно просила не обходить их пристанище стороной, бывать запросто, в любое время, благо живут они не за тридевять земель, а в двух шагах от губернаторской резиденции, где размещалась ставка Верховного, в собственном доме.

Собеседницы уже отплывали от него, когда он, едва опомнившись от только случившегося, вдруг увидел, что адмиральская свита направляется к выходу, по привычке метнулся следом, но дорогою не выдержал, обернулся и тут же встретился с тем же, широко распахнутым в его сторону васильковым колдовством. «Неужто судьба? — растерянно озадачился Удальцов, вынося разгоряченную голову в сентябрьскую ночь.— Вразуми, Господи!»

4

Сентябрьский успех оказался для армии Адмирала последним. И, как всегда в таких случаях, паутина общего тлена принялась опутывать не одних только людей или предметы, но даже, казалось, самый воздух, которым приходилось дышать. Тьма, сплошной завесой двигающаяся с запада, виделась теперь даже незрячему окончательной и неотвратимой.

С каждым днем Адмирал становился раздражительнее и угрюмей. Всякая мелочь, любой пустяк, пошлая сплетня оборачивались для окружающих бурными сценами или молчаливым бешенством, что

было еще неприятнее. С министрами он вообще теперь разговаривал, как с опостылевшей дворней.

— Что! — кричал он, принимая одного из них с докладом.— Опять новый закон? Нет уж, увольте, дело не в законах, а в людях. Мы строим из недоброкачественного материала. Все гниет. Я поражаюсь, до чего все испоганились. Что можно создать при таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи! И министры, честности которых я верю, не удовлетворяют меня как деятели. Я вижу в последнее время по их докладам, что они живут канцелярским трудом, в них нет огня, активности. Если бы вы, вместо ваших законов, расстреляли пять-шесть мерзавцев из милиции или пару-другую спекулянтов, это нам помогло бы больше. Министр может сделать все, что он захочет. Но никто сам ничего не делает. Вот вы излагаете мне разные дефекты управления, ваш помощник их видел — что же вы сделали, чтоб их устранить? Отдали вы какие-нибудь распоряжения?

Потом горячо убеждал второго:

— Они могут взять Омск, если Деникин придет в Москву. Я знаю, что большевики обрушатся тогда всей силой на Сибирь. Я боюсь, что мы не выдержим... Вы правы, что надо поднять настроение в стране, но я не верю ни в съезды, ни в совещания. Я могу верить в танки, которых никак не могу получить от милых союзников, в заем, который исправил бы финансы, в мануфактуру, которая бы ободрила деревню... Но где я это возьму? А законы ерунда, не в них дело. Если мы потерпим новые поражения, никакие реформы не помогут. Если начнем побеждать, сразу и повсюду приобретем опору. Вот если бы я мог как следует одеть солдат и улучшить санитарное состояние армии! Разве вы не знаете, что некоторые корпуса представляют собой движущийся лазарет, а не воинскую силу? Дутов пишет мне, что в его оренбургской армии более половины больных сыпным тифом, а докторов и лекарств нет. Во всем чувствуется неблагоустроенная и некультурная окраина, которой напряжение войны не по силам. Устройство власти — это менее важный вопрос, чем ресурсы страны и снабжения. Я понимаю, что большевики действуют, как шайка, которая повсюду насадила своих агентов и не только дисциплинировала их, но и заинтересовала привилегией положения. Я не имею партии, никогда не соблазняю преимуществами и не верю в то, чтобы деньгами или чинами можно было преобразовать наше мертвое чиновничество, но если можно как-нибудь изменить систему управления, то я хотел бы этого...

Третьего пробовал уговаривать:

— Я знаю, вы имеете в виду военное положение, милитаризацию и так далее. Но вы поймите, от этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во время войны Алой и Белой Розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне. Если я сниму военное положение, вас немедленно переарестуют большевики и эсеры, или ваши члены Экономического Совещания, или ваши же губернаторы.

Частые смены его настроений смягчали только деникинские успехи на Юге, но и этого ему стало доставать ненадолго: ноша заметно начинала перевешивать его силы. Теперь, отпуская очередного докладчика, Адмирал просил Удальцова остаться, чтобы в очередной раз излиться перед ним в приступе внезапной откровенности:

— Прав был, тысячу раз прав был наш Пушкин, когда учил нас в «Капитанской дочке»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Впрочем,— мрачновато усмехнулся он,— другие не умнее и не добрей, разве что короче...

За те многие, почти в год длиною, месяцы, что Удальцов находился при Адмирале, он достаточно хорошо изучил его. В этом удивительном для него человеке сочетались самые, казалось бы, взаимоисключающие качества: отзывчатая доброта соседствовала с напускной суровостью, детское упрямство с безвольной уступчивостью, а редкостное великодушие с крайней жестокостью. Но — странное дело! — казалось, избавься он хотя бы от одной из этих черт, цельный облик его несомненно потускнел бы, а то и вовсе сошел на нет. В этой его мятежной противоречивости и таилась для Удальцова колдовская притягательность Адмирала. Такого человека он ждал всю жизнь, а дождавшись, предался ему отчаянно и самоотреченно.

Последняя поездка в Тобольск лишь окончательно утвердила в Удальцове его слепую привязанность к Адмиралу. Плыли на фронт, которого не было, и говорить с народом, который давно потерял охоту кого-либо слушать. Плыли по осенней, черного колера воде Иртыша мимо унылых топей и затаившихся пред зимней спячкой боров. Плыли утлым ковчегом среди раскаленного злобой и кровью потопа матерой российской смуты. И никто в нем не ведал, что ожидало их впереди.

Едва этот ковчег отчалил от берега, как все заполнившие его «чистые» и «нечистые» растеклись по каютам и затихли, затаились там наедине с собой и своим одиночеством. Видно, не существовало уже между ними никаких связей, что могли объединить их в разговоре или хотя бы в молчаливом общении. Пепел вещего извержения засыпал каждого из них по отдельности.

Проводив Адмирала и расставив охранение, Удальцов тоже заперся у себя в каюте, но одиночество было неведомо ему, тем более сейчас, когда в его жизнь вошла, ворвалась, вломилась девочка, подросток, женщина с незаменимым отныне для него именем — Лена, Елена, Элен.

Удальцов лежал и думал о ней, об их, ставших необходимыми для них обоих, встречах, о будущем, в котором — конечно, если ему повезет — он не мыслил себя без нее.

С тем он и уснул, чтобы, проснувшись, ошеломленно увидеть в окне каюты будто выступившие из воды белые стены града Китежа, увенчанные сквозными гнездами колоколен и церковных маковок: Тара! Не хотелось верить, что и там, за этой белизной и храмовым великолепием, тоже смердила земля сырой золой и людской падалью!

Но первый, кого встретил Удальцов на берегу, был пьяный до бессмысленного умиления офицер, который, отметив топким своим сознанием приближение старшего по чину, блудливо осклабился:

— В-вин-новваат... Вашеество... Н-на радостях... По с-случ-чаю прибытия... И т-ттомму подобное...

В ответ Удальцов только брезгливо поморщился, сплюнул в сердцах и повернул восвояси: глядеть городок ему сразу расхотелось...

Вечером в кают-компании за чашкой чая Адмирал с воодушевлением излагал собравшимся план Тобольской операции, разработанный его штабом:

— Сейчас основная группа красных идет на Омск кратчайшим путем — через Тюмень. Их преследуют наши отряды, создавая видимость фронтального наступления. Но когда через болота потрепанные части красных выйдут на Тобол, то сразу же попадут в окружение. Впереди окажется главная группа наших войск, идущая сейчас на Тюмень прямо из Тобольска, а сзади них — преследующие их отряды...

Адмирал прямо-таки сиял от предвкушения быстрой и верной уда-

чи, горделиво оглядывал присутствующих победительно уверенными глазами.

«Боже мой,— слушая его, не переставал удивляться ему Удальцов,— как он наивен, этот поразительный человек! Он думает, что маневрирует элегантной эскадрой, а не случайно набранным с бору по сосенке сбродом, которым командуют бестолковые дуроломы в генеральских погонах, но с мозгами полковых интендантов. Не говори нынче «гоп», а то завтра плакать придется!»

Так оно и случилось. Красные не пошли по кратчайшему пути отступления, путь этот оказался для них труднопроходимым из-за сильной распутицы. Вопреки всем ожиданиям они повернули обратно на Тобольск и по частям разбивали небольшие отряды преследующих.

Когда пароход Адмирала подходил к Тобольску, артиллерия красных гремела уже под самым городом. Окруженными в конце концов оказались не красные, а белые части, шедшие по Тоболу в Тюменском направлении. Только благодаря тому, что весь водный транспорт оказался в их руках, запертые в полукольцо войска удалось посадить на баржи и вывезти в безопасное место.

Так обескураживающе жалко закончилась операция, амбициозно задуманная адмиральскими штабниками. Словно сила солому, судьба упрямо ломила все замыслы Адмирала к земле, которая тут же предавала их огню.

В Тобольске их застало известие, что деникинское наступление захлебнулось где-то между Орлом и Тулой.

5

Из воспоминаний Г. К. Гинса [1]:

«Из Тобольска Иртыш так широк, что не похож сам на себя. У самой реки, на низком берегу — главная часть города, позади крутая возвышенность, а на ней белеют стены кремля и блестят маковки церквей. Там находится большая часть официальных учреждений и сад с памятником Ермаку. Всюду глубокая старина и патриархальность. В церкви, что на берегу, посреди татарского базара, интересная историческая надпись о том, как храм этот сооружали в самом нечестивом месте и как татары хотели помешать этому, но «победило православие».

В кремль ведет высокая и крутая каменная лестница. Подымаемся. Перед нами богомольная старушка, а навстречу спускается пьяный офицер. Он берет старушку за подбородок и говорит ей: «Иди, иди, старушенция, выпей».

Пьяных офицеров было, вообще, много.

А между тем, о красных никто дурно не отзывается. Расстреляли двух: одного за организацию противосоветского отряда, другого, еврея-«буржуя», за защиту своей собственности. В городе поддерживался порядок, пьяных не было. Когда уходили, увезли меха, городскую кассу и пожарный обоз, но никого не грабили.

В музее мы нашли комплект советских газет за период пребывания большевиков в Тобольске. Видно было, что газеты шаблонны и заготовлены заранее. В них разъяснялись задачи советской власти, приводились биографии выдающихся советских вождей, в частности, командующих, давались указания о необходимости уважать кооперацию, подымать производительность крестьянского хозяйства и т. д. Все было рассчитано на завоевание симпатий населения. Мотивы новые, незнакомые, не похожие на прежних большевиков.

Среди героев революции и красной армии особенно восхвалялся командующий красной дивизией, «товарищ» Мрачковский. Судя по газете, этот рабочий обладал необычайными способностями и железной волей. Одного взгляда на пленного белогвардейца было ему достаточно, чтобы определить, подлежит ли белогвардеец расстрелу или может быть принят на службу. Дисциплина у него строгая. В его дивизии каждый знает, что за малейшую провинность будет отвечать. Мы раньше не раз встречали фамилию Мрачковского в военных сводках. Возможно, что эта характеристика не отличалась преувеличением.

[1] Управляющий делами Совета министров в Правительстве.

(От автора: Возможно. Но только ровно через шестнадцать лет «этот рабочий», который «обладал необычайными способностями и железной волей», будет ползать в ногах у начальника иностранного отдела ОГПУ Абрама Слуцкого, слезно вымаливая у него пощады, но так и не вымолит. Впрочем, спустя год тот же Слуцкий, вызванный в кабинет своего ближайшего дружка и собутыльника Фриновского, примет из его рук цианистый калий, а через некоторое время и сам Михаил Фриновский отправится следом за ним. «Все-таки есть Бог! — воскликнет перед казнью их общий пахан Генрих Ягода,— есть!» Хоть перед смертью, но догадался-таки, сукин сын!)

Другой советский «генерал», Блюхер — тоже из рабочих. О нем мы много раз слыхали в пути. Крестьяне рассказывали, что всегда при трудных обстоятельствах красные говорили о Блюхере «он выручит», «он нас не выдаст». И, действительно, выручал.

(Снова от автора: Только когда пришел его собственный час, самого себя он выручить так и не смог: его не сохранили даже для того, чтобы расстрелять, забили насмерть на допросах. Увы!)

Наиболее интересным в газетах было, однако, интервью преосвященного Иринарха. О нем говорил весь город, который, кстати сказать, представлялся вымершим: так мало было в нем народа после эвакуации всех правительственных учреждений.

С архиереем говорили об отношениях советской власти к церкви и об его впечатлениях о большевиках. Он отзывался о них хорошо. Сказал, что удивлен порядком и доброю нравственностью, что он считает Омск Вавилоном и что колчаковцы вели себя много хуже, чем красные. Преосвященный, в свою очередь, посетил совдеп. Ему показали издания классиков для народа, и он пришел в восторг. Далее выяснилось, что все церковное имущество останется неприкосновенным, но только церковь не может рассчитывать на содержание от казны. Архиерей был доволен.

Теперь он встретил Адмирала с иконою и речью на тему: «Дух добра побеждает дух зла».

(Еще раз от автора: Воистину так, владыка! По этой причине ты и сгинешь ровно через десять лет, ограбленный до нитки поклонниками «порядка и доброй нравственности» где-то на безымянном станке под Туруханском, и окоченевший труп твой без покаяния и молитвы бросят в ближайший сугроб на съедение прожорливым в эту пору песцам! Так-то.)

Адмирал заходил в покои епископа. У крыльца его выхода ждала небольшая группа любопытных, преимущественно женщин и детей. Никакого воодушевления в городе не было».

6

Тобольск запомнился Удальцову не историческими местами и даже не губернаторским домом, где до отъезда в Екатеринбург содержалась императорская семья, а мимолетной встречей, случившейся с ним около одной из городских церквей. Растерянно потоптавшись перед ее наглухо закрытыми дверями, он вдруг боковым зрением выделил в затененной части ограды сидящего на лавочке рядом с церков-

ной сторожкой сухонького старичка в аккуратных лапотках и легкой поддевочке, устремленного в его сторону из-под затертого до лоска картуза темным, в густой бороде лицом. Старичок, будто ждал кого-то, всматривался в захожего гостя с вопросительным любопытством.

Удальцов повернул к нему, но тот, по мере его приближения, становился все отрешенней и равнодушнее, глядя куда-то поверх и через него.

— Здорово, отец,— опустился рядом с ним Удальцов,— не прогонишь?

— Сиди, коли сел,— бесстрастно ответил тот, продолжая слепо глядеть перед собой,— места хватит.

— Сторожуешь здесь, что ли?

— А чего тут сторожить, авось не убежит никуда.

— Утварь растащат.

— Не до утвари теперича людям, свое бы не потерять, а то и голову.

— Глядишь, пронесет.

— Нынче не пронесет, господин хороший, час земле пришел.

— Какой же?

— Урочный. Созрела земля наша грешная для большого мора и глада и для больших кровей.

— И что же будет, по-твоему?

— А будет, как в Писании сказано: новая земля и новое небо, все новое, а какое, один Бог знает. Знающие люди сказывают, кажинные тыщу лет эдак случается.

— Может, ты и прав, отец, только людей жалко.

— А чего их жалеть, люди что — Божья слизь, одну смоет, другая народится, чего жалеть, коли сами себя не жалеют, поглядишь на иного, а из него псиный волос прет, быдто из лесного зверя, а из ноздрей дым идет, хучь бери и запирай в замочную клеть.

— Я, отец, про невинных говорю.

— А иде ты их видал невинных-то, господин хороший?

— А Император, семья его в чем виноваты?

— Царь-то наш, господин, самый виноватый и есть. Упреждал его Григорий Ефимыч: не ходи на немца, нечего тебе с им делить, оба-два сгинете не за полушку, не послушал Божьего человека, по своему слабому разумению порешил, а Рассея таперича расхлебывай.

— Это Гришка-то Распутин Божий человек?

Только тут старичок резко повернулся к нему, с острой неприязнью проникнув его выцветшими, но не по возрасту зоркими глазами:

— Для тебя он, господин хороший, может, и Гришка, а для нас грешных — Григорий Ефимыч, святая душа, Царствие ему Небесное, за простой народ радетель перед царем и Господом.

— Видно, отец, мало ты о нем знаешь.

— А! — брезгливо отмахнулся тот.— Байки мне станешь сказывать о пьянках его да гулянках, об етом тебе тут всякий встречный-поперечный понарассказывает, ето усё шелуха, короста человеческая, от твари грех, а душа сама по себе живет, токо бы с Богом, а не супротив, а Григория Ефимыча душа с Богом жила, вот и дано ему было свыше, сподобился, святыми прозрениями озарен был.

— А с царем сладить не мог?

— Видал я этого царя, вот как тебя видал, нешто ему царем быть, нешто по плечам его такое-то царство, земля отцовская огнем горит, а он дрова пилит, царское ли это дело в эдакую пору?

— Что ж, по-твоему, ему делать было, отец?

— Не моего ума ето дело, но уж коли хочешь знать, то по моему убогому соображению, самому бы себя отдать катам на растерзание принародно, кровь бы его тогда по всей земле возопила, покойники и те услыхали, поднялся бы народ, ой как поднялся!

— Так ведь ты сам говоришь: срок земле пришел, может, и ему о том знамение было?

— Знамение знамением, а токмо в Писании сказано: Царствие Божие силой берется, Бог нам искуплением своим волю даровал выбирать себе судьбину, а не уповать на одне Его милости.

Старичок умолк, снова замкнувшись в своем выжидающем оцепенении. Удальцов, в свою очередь, задумался над только что сказанным, стараясь перебороть в себе соблазн продолжить этот опустошающий его душу разговор, но, когда в конце концов не выдержал искуса и вновь оборотился к собеседнику, того уже и след простыл, будто приснился, пригрезился наяву, не оставив после себя ни следа, ни отзвука.

«Вот так история,— смущенно озадачился он,— может, и впрямь пригрезилось: стареешь, Аркадий Никандрыч, стареешь!»

Вернувшись на судно, он подался было к себе, но, проходя мимо раскрытой двери кают-компании, услышал оттуда глуховатый голос Устрялова.

— Аркадий Никандрыч, не заглянете ли, у меня для вас имеется кое-что весьма занимательное!

Тот сидел за общим столом, обложенный со всех сторон целыми ворохами газет, брошюр и листовок самого разнообразного формата и величины.

— Вот полюбуйтесь-ка, Аркадий Никандрыч,— Устрялов протянул ему навстречу серый прямоугольник оберточной бумаги,— замечательный в своем роде документик, если хотите.

Это оказалась листовка из тех, что тысячами растекались тогда по самым глухим уголкам взбаламученной Сибири. Аляповатый набор, презрев какие-либо знаки препинания или правила синтаксиса, причудливо расплывался перед глазами. В тексте высокопарно сообщалось, что на Дальнем Востоке уже выступил Великий князь Михаил Александрович, что он назначил Ленина с Троцким своими министрами, что Семенов к нему присоединился и что осталось только общими силами добить Адмирала. Подписано все это было с исчерпывающей лапидарностью: Щетинкин.

— Бред какой-то,— досадливо поморщился Удальцов,— зачем только вы все это собираете, Николай Васильевич?

— Ох, не скажите, Аркадий Никандрыч, не так-то этот Щетинкин глуп. Сам он из мужиков, на германской пробился в офицерство, поэтому психологию своего брата-мужика знает превосходно. Он предлагает массе комбинацию, которая устроит всех. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Ведь главный вопрос для крестьянина сегодня один: за кем идти, чтобы не прогадать, а тут им в двух словах полная программа и думать больше не о чем. Вы не находите, Аркадий Никандрыч?

— Не так уж он глуп, наш мужик, Николай Васильевич, вы человек сугубо городской, а я вырос в Сибири, среди крестьянства, на такой мякине его не проведешь, он у нас битый, стреляный воробей, мужик-то наш.

— Вы полагаете? — В вялых губах Устрялова утвердилась скептическая усмешка.— Мужик наш, Аркадий Никандрыч, по-моему, не столько умен, сколько хитер, на эту его хитрость Щетинкин и рассчитывает.

— Не просчитался бы.

— Не просчитается, Аркадий Никандрыч, уверяю вас, мужицкое

царство нашему пахарю столетиями снилось, теперь он случая своего не упустит, с этой стихией Лейбе Троцкому вместе со всем его еврейским кагалом едва ли удастся справиться, перемелет она их, захлестнет и накроет с головой и навсегда, не по силам они себе задачу взяли, одними словами тут не обойдешься, а кроме слов, у них за душой ничего нет.

— А у Щетинкина?

— Щетинкины, Аркадий Никандрыч, знают, чего хотят, эта порода живуча, как дикая растительность, он-то сам, может, и сломает голову на своей партизанщине, но именно этот тип человека в конце концов одержит верх в нынешней драке, и ему принадлежит будущее. Крикуны и фанатики перегрызут друг друга в междоусобной драке, а щетинкины выждут своего часа и заполнят после них вакуум. Подлинные щетинкины даже не участвуют сейчас ни в чем, сидят себе по своим избам, покуривают да посматривают, им спешить некуда, чутье у них звериное, знают — время их впереди.

— В таком случае, что же вы предлагаете, Николай Васильич, у вас есть рецепт?

Скептическая усмешечка соскользнула с устряловских губ, он напрягся и отвердел:

— Драться до конца, перемолоть в этой драке как можно больше большевистской накипи, а после поражения идти на союз со щетинкиными, только с ними можно сделать Россию еще более могущественной, чем она была, другого пути у нас, истинных русских людей, нет.

(Скольких ты еще, Устрялов Николай Васильевич, соблазнишь этой романтической блажью, обрекши их на собственную Голгофу по всем девяти кругам гулаговского ада, пока, через пятнадцать лет, сам не сгинешь в той же беспощадной мясорубке: щетинкины, придя к власти, окажутся не большими патриотами России, чем Лейба Троцкий или Бела Кун!)

Удальцову вдруг почудилось, что в отечном и как бы сонном лице его собеседника проступили острые черты недавнего старичка, встреченного им у церкви: тот же зоркий взгляд, та же отчужденность от окружающего, та же упрямая уверенность в своей правоте. Но усилием воли он мгновенно стряхнул с себя возникшее наваждение:

— Чем со щетинкиными,— выговорил он, поворачивая к выходу,— лучше пулю в лоб.

И вышел.

7

По возвращении в Омск худшее подтвердилось: 20 октября распространилось известие о взятие Петрограда, но уже на другой день оно было опровергнуто: кровопролитные бои под Царским Селом и Гатчиной завершились победой красных. Юденич отступал по всему фронту. Деникин же продолжал откатываться от Орла.

В кабинете Адмирала шли беспрерывные заседания. Правительство и общественность разделились на две непримиримые группировки: одна стояла за немедленную эвакуацию, другая — за оборону города до последнего. Каждая из сторон приводила неопровержимые, по ее мнению, доводы, но они наталкивались на столь же убедительные возражения. И все требовали от верховного правителя решающего слова.

Адмирал бесстрастно выслушивал спорящих, что-то чертил в блокноте перед собой, невидяще смотрел впереди себя в глубь кабинета и лишь после того, как пыл оппонентов, иссякнув, сошел на нет, заговорил, словно бы размышляя вслух:

— Если генерал Сахаров считает возможным защищаться, я не вправе ему мешать, победителей, как у нас говорят, не судят, мы должны ему дать шанс и полную карт-бланш, тем более что эвакуация так или иначе равна поражению, почему не сделать последнюю попытку? Но я не возражаю против эвакуации желающих членов правительства и населения, в случае неудачи это облегчит отступление войскам. Лично я покину Омск только с войсками. Вы свободны, господа.

Отпустив присутствующих вялым кивком головы, он, как это уже повелось между ними в последние дни, предложил Удальцову остаться.

— По всему вижу, полковник,— проговорил Адмирал, когда за последним посетителем закрылась дверь,— что вы тоже считаете защиту Омска бессмысленной, но поймите меня: если я сам бессилен что-то предпринять, я обязан предоставить такую возможность любому, кто хочет сопротивляться!

— Ваше высокопревосходительство, ваши решения для меня — закон, я не могу и считаю даже немыслимым для себя обсуждать их. Считаю своим долгом следовать за вами, куда бы вы меня ни позвали.

Адмирал облегченно поднялся.

— Не знаю, как с кем,— темные глаза его празднично ожили,— а с начальником конвоя мне повезло. До завтра, полковник...

Заворачивая к себе, Удальцов зазвал за собой ординарца.

— Садись, Филя,— устало опустился он за стол против Егорычева,— есть у меня к тебе разговор, без чинов, как говорится, по-свойски. Человек ты молодой, но бывалый, вон сколько тебе пришлось пережить со мной вместе, скажи мне, положа руку на сердце, выдюжим мы или нет?

У того от неожиданности и напряжения даже испарина на лбу выступила.

— Наше дело маленькое, солдатское, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, начальству виднее.

— Да не прибедняйся ты, Филя,— подосадовал Удальцов,— знаю ведь я тебя, как себя знаю, у тебя на все свое суждение есть, мало, что ли, мы с тобой вместе хлеба-соли съели, чтоб друг от друга таиться?

Тот смущенно засопел, заерзал на краешке стула, заскучал глазами по сторонам.

— По правде говоря, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, не потянем боле, выдохся народ.

— А что говорят?

— Говорят, замиряться нужно, опять же комиссары в листках ихних землю сулят, а чего еще мужику надобно?

— Обманут ведь, Филя.

— Омманут, не омманут, а мужик верит, гадают, бабушка, мол, надвое сказала, а, глядишь, говорят, не омманут.

— Ну, а сам ты как думаешь?

— Мне и думать нечего, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, куда вы, туда и я, у меня с вами одне путя.

— А как посоветуешь?

— По мне, так часу ждать нельзя, уходить нужно, без задержки уходить, спасать Верховного и самим спасаться.

— И золото народное им оставить?

— А што золото, от народа уйдет, к народу и придет, не одним золотом жизнь красна.

— Куда уходить-то?

— А хоть к монголам или китайцам, не погибать же ни за что, ни про что, а там видно будет.

Удальцов встал.

— Ладно, Филя, иди, спасибо за правду.

Егорычев, поднявшись, потоптался было около стула в заметном смятении, словно собираясь добавить что-то к сказанному, но, видно, раздумал и тихонько, чуть не на цыпочках вышел из комнаты.

Лишь теперь, после разговора с ординарцем, Удальцов по-настоящему представил себе всю серьезность создавшегося положения. И первая забота, которая овладела им сразу вслед за этим, была связана с одним-единственным именем: Елена! Через полчаса он уже был в порту и звонил у двери Катушевых.

Ему открыл сам хозяин, еще более одышливый, чем обычно, и заметно опустившийся:

— Аркадий Никандрыч, голубчик, вас словно Бог к нам послал,— он пропустил гостя мимо себя, пахнув на него табачным запахом,— что делать, ума не приложу.— Катушев шел следом за ним, подсвечивая ему путь керосиновым ночником.— Дамы мои в совершеннейшей панике, хотят, жаждут бежать. Но куда и на чем, вот вопрос? На станции даже товарные поезда с боем берут, может быть, хоть вы что-нибудь посоветуете.

Слабо освещенная гостиная, в которой очутился Удальцов, походила на забитую до отказа камеру хранения, откуда навстречу ему устремились две пары вдруг загоревшихся надеждой женских глаз.

— Аркадий Никандрович, милый,— первой сорвалась с места Лена,— если бы вы знали, как я вас ждала.

И она, уже не стесняясь родителей, приникла к нему, голова ее оказалась на уровне его груди, и он, в восхищенном изнеможении склонившись над ней, бережно коснулся губами ее прически:

— Успокойтесь, Элен, прошу вас, все будет хорошо, я вам обещаю, вот увидите, все будет хорошо...

Потом в той же забитой кладью гостиной они сидели за наспех собранным чаем, за которым гость поспешил успокоить хозяев, поклявшись, чего бы это ему ни стоило, устроить им место в ближайшем спецэшелоне, с каким они доберутся хотя бы до Красноярска.

— Оттуда,— облегченно закончил он,— вам будет уже легче двигаться дальше, туда еще не докатилась общая паника.

— А вы? — Она внезапно вскинула на него полные слез глаза.

— Элен, дорогая, я офицер, мой долг оставаться с Верховным до самого конца, но если судьбе суждено меня миловать, я найду вас, где бы вы ни были.

В том кошмарном бедламе, в каком им выпало существовать в те дни, это выглядело официальным предложением.

Лена сама пошла провожать его, и на крыльце, доверчиво прижимаясь к нему, она, как заведенная, повторяла одно и то же:

— Вы, правда, меня не забудете, Аркадий Никандрыч?.. Вы, правда, не забудете?.. Правда?

В ответ Удальцов молча, обмирая от нежности, гладил ее по голове: теперь он знал, что ему делать.

8

Собрались у Брадзиловского. Двадцатишестилетний красавец, только что произведенный в генералы за блестящую операцию по выводу своей дивизии из окружения, первым с воодушевлением ухватился за идею Удальцова:

— Надо смотреть правде в глаза, господа, это не классическая война, где случай может повернуть фортуну на сто восемьдесят градусов, это гражданская бойня, в которой, к сожалению, все против

нас: и фронт, и тыл. Необходимо спасти хотя бы что есть. С атаманщиной у нас не может быть ничего общего, и у Семенова нам делать нечего. Остается единственный выход: отступать к восточным границам и там, в Монголии или Китае, попытаться воссоздать боеспособную силу.

Апоплексическое лицо генерала Зенкевича страдальчески передернулось:

— Господа, господа, зачем же смотреть на вещи так пессимистически, вы забываете, что за нашей спиной стоят союзники, у которых по отношению к нам есть известные обязательства, они помогут нам пробиться на Дальний Восток!

Но тут взвился с места обычно помалкивающий поручик Мельник, зять погибшего в Екатеринбурге вместе с Императором доктора Боткина:

— О каких союзниках вы говорите, генерал? Если английский король отказался дать убежище своему двоюродному брату, то неужто вы полагаете, что ваш английский коллега генерал Нокс рискнет хоть чем-нибудь ради нас с вами? Или, может, быть, вы надеетесь на другого вашего коллегу из бывших чешских костоломов — генерала Гайду, но единственное, в чем он поможет кому-нибудь, так это накинуть петлю вам же на шею, а о третьем вашем коллеге генерале Жанен мне даже говорить тошно, его давно по всем божеским и человеческим законам надо было бы вздернуть на первой же русской осине, как Иуду. Что же касается свободолюбивых американцев, то они давно братаются с красными во Владивостоке. Не следует самообманываться, господа!

(Знать бы, знать бы тогда поручику Мельнику, что пройдет без малого пятьдесят лет и будущий сын его, Константин Мельник, сделается начальником контрразведки в той самой стране, одному из генералов которой он намеревался подобрать в России вполне заслуженную этим генералом осину!)

— Молодо-зелено, господа,— вмешался в перепалку генерал Редько, только что прибывший в Омск с Тобольского фронта, где бросил свою Северную группу войск на волю случая и судьбы, да и оставалось ли там что-нибудь от этой группы, один Бог знал,— на зиму глядя в непролазную тайгу двигаться безумство; пока есть возможность, нам от Московской дороги ни на шаг нельзя отходить, только в ней спасение.

— Под железнодорожным конвоем союзников,— бросил кто-то безликий из притемненного угла комнаты.— До самых чекистских заслонов.

Видно, решив, что в один вечер договориться о чем-либо будет трудно, Зенкевич решил разрядить атмосферу, примирительно заключив:

— Сколько бы мы здесь ни спорили, господа, за спиной у Верховного мы не вправе делать какие-либо заключения, только он может разрешить наш спор. Поэтому необходимо, чтобы кто-то из нас взял на себя ответственность в подходящий момент доложить Адмиралу суть нашего сегодняшнего разговора. Предупреждаю заранее, господа, я отказываюсь.

Воцарилось красноречивое молчание: догадывались, что подобного рода объяснение с Верховным правителем могло окончиться для смельчака более чем печально.

После паузы, которой, казалось, не будет конца, поднялся Удальцов:

— Разрешите мне, господа?

На том и разошлись.

Глава пятая

Бержерон

1

Год восемнадцатый

«26 ноября. Никогда в жизни мне не приходилось вести хронологических записей. Я питаю к этому жанру почти непреодолимое отвращение. Что может быть глупее педантичной регистрации своих сиюминутных состояний. Нет ничего эфемерней этих состояний. Закрепленные на бумаге, они не становятся долговечнее или подлинней, а только усугубляют ложь пережитого. Видно, даже самой изощренной памяти не дано остановить мгновенье, чтобы затем вернуться к нему и вновь оказаться в его воскресшей реальности. По-моему, это занятие для мазохистов. Я всегда предпочитал жить, не казнясь и не умиляясь прошлым. Настоящее — лучшая гарантия существования в минувшем. Отправляясь в Россию, я никогда не предполагал, что события в ней заставят меня обратиться к перу. Перед отъездом мой непосредственный шеф — полковник Ренэ Леруа — предложил мне позавтракать с ним. Насколько я знаю, завтракать с подчиненными было не в правилах моего полковника, из чего я заключил, что разговор за столом предстоит необычный. Предчувствия не обманули меня: сразу после аперитива шеф перешел к делу. «Послушайте, мой дорогой друг,— этим непринужденным обращением он как бы подчеркивал внеслужебную интимность нашей встречи,— мне хотелось бы знать, что вы лично думаете о России?» Честно говоря, вопрос его застал меня врасплох. Что в действительности я мог думать о стране, которую изучал только по книгам и специальным учебникам? Для меня, во всяком случае до сих пор, это было понятие скорее географическое или политическое, если хотите, из чего я и исходил в своем отношении к ней, но над большим я не задумывался, искренне полагая, что большее не входит в мои обязанности. В этом духе, разумеется, в достаточно обтекаемых выражениях, я и ответил своему собеседнику. «Мой дорогой друг,— назидательно произнес полковник,— у прирожденного разведчика должна быть собственная историческая концепция, иначе он рано или поздно теряет профессиональную перспективу. В вашем случае разведчику необходимо знать, что хочет его страна от России, на какие ее силы нам следует опереться и какое развитие событий в ней было для нас наиболее желательно?» «Мне хотелось бы узнать это от вас, полковник,— осторожно позондировал я, боясь попасть впросак,— вы ближе к большой политике». Шеф многозначительно взглянул на меня и выговорил, словно процитировал по памяти чей-то текст: «С Российской Империей покончено отныне и навсегда, и возрождение таковой в ее прежнем состоянии для нас нежелательно». «Какова же роль разведчика в таких обстоятельствах? — удивился я.— Это работа скорее для дипломатов или политиков». В ответ мой визави снисходительно усмехнулся: «Хороший вопрос, мой дорогой друг, хороший вопрос! Что ж, плачу откровенностью за откровенность: французскому разведчику в таких обстоятельствах необходимо найти политическую силу, отвечающую нашим интересам, и наладить с ней долгосрочные отношения, предпочтительно негласные». Сопротивлялся я больше для облегчения собственной совести, чем из убеждения: «Но ведь Россия— наша союзница, полковник!» «В политике, Пьер,— окончательно перешел он на доверительный тон,— нет морали, а есть интересы, истина банальная, но тем не менее еще никем не опровергнутая». «На кого же вы предлагаете ставить, полковник? — мне уже нечего было терять, и я шел напролом.— Я не хотел бы бродить вслепую». Я чувствовал, что все больше и больше нравлюсь своему шефу, его благодушие становилось почти отеческим: «Я давно слежу за вами, дорогой Пьер, у вас большое будущее, поверьте мне, вы чертовски умны, наблюдательны, настойчивы, с вашими способностями вы можете далеко пойти, если вам удастся со временем изжить в себе один, впрочем, простительный в вашем возрасте, недостаток: поспешность в заключениях и выводах. Поэтому хочу заранее предупредить вас: никогда не связывайте себя общепринятыми оценками, полагайтесь больше на собственную интуицию, чаще всего общепринятые оценки на практике оказываются несостоятельными. Вы спрашиваете меня, на кого ставить? Это вы должны решить сами, на месте. Не скрою, наше правительство предпочитает кадетскую партию или, в крайнем случае, эсеров, но я бы на вашем месте пригляделся к большевикам. Не подумайте, ради Бога, Пьер, что я на старости лет становлюсь анархистом, у меня к этой публике абсолютно никаких симпатий, просто у так называемой демократической общественности нет никаких шансов, она проболтает свою революцию в бесконечных и бесплодных прениях, а в конце концов согнется перед каким-нибудь новоявленным Наполеоном из бывших поручиков. Другое дело большевики: они достаточно сильны и амбициозны, чтобы удержать власть, и недостаточно профессиональны, чтобы сделать ее сильной, таким образом, под их руководством мы получим ту самую Россию, которая нам нужна: политически вполне стабильную, что обеспечит нам надежный тыл с Востока, и абсолютно неспособную к какой-либо внешней экспансии. Впрочем, дорогой Пьер, я изменяю своему собственному правилу: даю советы. Повторяю, полагайтесь-ка прежде всего на себя». Признаюсь, я не скрыл своего удивления: «Но ведь их программа...» Беззаботно рассмеявшись, Леруа тут же прервал меня: «Полноте, мой дорогой друг, этой бумажкой они пользуются только для уличных митингов, в чем-чем, а в реализме им не откажешь, проследите хотя бы за их эволюцией в самые последние месяцы, еще и года не прошло со дня переворота, а от их прежнего радикализма остались одни лозунги, большевистская партия у нас на глазах превращается в обычную национальную камарилью со всеми атрибутами маленького самодержавия наизнанку, можно легко представить себе, во что они превратятся через пять-шесть лет, Россия есть Россия, мой дорогой Пьер!» Честно говоря, доводы шефа показались мне тогда убедительными, тем более что в первые дни моего пребывания здесь многое в окружающем соответствовало этим доводам. Страну, казалось, прорвало после трудного и затяжного молчания. Она заговорила торопливо и одновременно, на всех языках и наречиях, не вдумываясь в сказанное и не слыша самое себя. Слова в обществе стали жить сами по себе, вне всякого отношения с реальностью. Слова сделались средством жизни, пропитания, самозащиты. Люди лихорадочно спешили оглушить, ослепить друг друга словами, чтобы только отгородиться от окружающего безумия. Каждый человек в этом безумии представлял из себя отдельную партию, а порою, в зависимости от обстоятельств, даже две. Партии, которые плодились еженедельно, чуть ли не в геометрической прогрессии, умирали так же быстро, как и рождались, в потоках собственного словоизвержения. Могущественное совсем недавно государство расползалось на глазах, словно лишенное сдерживающей формы желе. Естественно, что у всякого заинтересованного наблюдателя возникала мысль о сильной руке, способной обуздать эту неуправляемую стихию и направить ее в созидательное русло. Руководствуясь напутствием Леруа, я уже с первых

дней во Владивостоке начал было изучение здешнего политического спектра, когда из Омска поступило сообщение об адмиральском перевороте. Имя самого Адмирала мало что говорило мне, а наспех собранные мною скудные сведения о нем свидетельствовали не в его пользу: потомственный морской офицер с научными наклонностями, далек от политики, амбициозен только в своей области, боевой опыт ограничен, вспыльчив, неопределенных политических взглядов. В столь судьбоносные для страны дни вождю, на мой взгляд, требовались несколько иные качества. Но, в конце концов решил я, послужной список у молодого Наполеона был не многим лучше. С тем большим нетерпением ожидал я по дороге в Омск встречи с новым диктатором России. Несмотря на неразбериху, царившую в городе после переворота, Адмирал принял французскую миссию в полном составе и вне всякой очереди. Вблизи он оказался небольшого роста сангвиником с быстрым, проникающим собеседника взглядом по-восточному темных глаз. Я и до этого слыхал о восточном происхождении предков Адмирала, но только увидев его, уверился в справедливости этих слухов. Восток, но не языческий, а магометанский, утонченный Восток едва заметно сказывался во всем его облике, в манере говорить, смотреть, двигаться, и лишь улыбка, по-детски откровенная и в то же время беспомощная, обнажала его глубоко славянскую сущность. «Кто знает,— подумал я,— что может таиться в этой гремучей смеси кровей, он ли взнуздает Россию или Россия раздавит его?» На коротком совещании после встречи с Адмиралом наш глава — генерал Жанен — со свойственной ему категоричностью определил для нас линию нашего поведения на будущее: «Мы будем поддерживать этого человека до тех пор, пока ему сопутствует успех, но идти ко дну вместе с ним не в наших интересах, в случае необходимости мы сменим ориентацию». «Что ж,— решил я,— это соответствует моей задаче». В этот же день я приступил к работе».

2

«23 декабря. Завтра Сочельник. Впервые в жизни я встречаю его вдалеке от родины. Сожалею ли я об этом? Нет! Эти несколько недель в России стоят целой жизни. За целый век мне бы не пережить во Франции того, что я пережил здесь с того дня, как вступил на русскую землю. Только поэтому мне удалось преодолеть свое отвращение к письменным воспоминаниям. Мне стало страшно, невыносимо подумать, что все пережитое уйдет, исчезнет, забудется вместе со мной. Может быть, мой опыт для кого-нибудь все же окажется поучительным. Сегодня, в канун Сочельника, мне захотелось подвести некоторые итоги происходящему. Месяц тому назад я начал с анализа ближайшего окружения Адмирала. Разумеется, меня прежде всего интересовали наиболее крупные фигуры. К сегодняшнему дню о большинстве из них у меня сложилось достаточно полное представление. Я не хочу пускаться здесь в пространные обсуждения этих личностей, приведу лишь их сжатые характеристики, переданные мною своему начальству. Первым в моем рапорте значился господин Премьер-Министр:

ВОЛОГОДСКИЙ

«Типичный провинциальный адвокат. Взглядов неопределенных, хотя, как всякий земский деятель, ближе всего к правым эсерам. Слабоволен, уступчив, весьма говорлив. Ничего индивидуального. Личность скорее репрезентативная, чем действующая. Безропотно скрепляет своей подписью любые решения Адмирала. Политически абсолютно бесперспективен. Долго не продержится. Рано или поздно ему придется уйти, или его уберут».

МИХАЙЛОВ

«Заметно выделяется среди ординарностей в Совете министров. Энергичен, быстро схватывает суть возникающих проблем, находчив в решениях, даровит от природы. Обладает несомненной харизмой, привлекающей к себе окружающих, чему в немалой степени способствует его биография: родился в каторжной тюрьме, в семье народовольцев, с отличием закончил юридический факультет Петроградского университета, при котором и был оставлен для подготовки к профессуре по кафедре политической экономии, после революции, совсем еще молодым человеком, назначен управляющим делами Экономического Совета при Всероссийском временном правительстве. Тяготеет к эсерам, но без определенной идеологической окраски. В условиях стабильной государственной структуры способен вырасти в фигуру общероссийского масштаба. Но для самостоятельной роли в Гражданской войне явно непригоден: не пользуется доверием военных кругов».

ПЕПЕЛЯЕВ

«Фронтовой офицер. После развала русской армии под Барановичами в чине полковника возвратился в Сибирь. Организовал здесь антибольшевистскую организацию, состоящую в основном из офицеров, которая весной 1918 года присоединилась к чешскому движению. Беспредельно храбр, популярен в войсках, но интеллектуально крайне ограничен. Политически близок к эсерам, но скорее психологически, чем идейно. Не лишен авантюрных наклонностей, поэтому в критической ситуации может оказаться весьма ненадежным. В отличие от своего старшего брата Виктора — бывшего члена Государственной думы, управляющего министерством внутренних дел в правительстве Адмирала,— чисто политической деятельностью никогда не занимался, хотя не лишен амбиций и в этой области. В известных обстоятельствах, при умном руководителе, способен сделаться решающей силой».

ДИТЕРИХС

«Убежденный монархист. Романтический мистик. Академически образован. Убежден в своем назначении спасти Россию, а с нею и весь мир. Политически консервативнее Чинхисхана. Тем не менее имеет довольно значительное влияние на Адмирала. Предки генерала чешского происхождения, бежавшие в Россию из-за притеснений со стороны немцев. В связи с этим пользуется поддержкой чешского корпуса. Огромный военный опыт: участие в русско-японской кампании, операции в Туркестане, в начале мировой войны — начальник штаба 3-й армии, блестяще показавшей себя в Галиции, затем — генерал-квартирмейстер фронта, командование дивизией в Македонии, отказ от поста военного министра в правительстве Керенского, штабная работа при генералах Корнилове и Духонине. Для ситуации Гражданской войны слишком прямолинеен, политически одиозен, высокомерен, несговорчив. Личность, принадлежащая историческому прошлому».

БУДБЕРГ

«Тип добродушного скептика. Почти невероятная наблюдательность, огромное чувство юмора, меткость суждений в сочетании с полной безответственностью. Плывет по течению с циничным безразличием к своему будущему. Прекрасный собеседник. Энциклопедически начитан. Очень удобный для Адмирала советник: его советы можно пропускать мимо ушей. Играет роль домашней Кассандры. С точки зрения наших задач абсолютно бесперспективен».

ГАЙДА

«Одаренный чешский авантюрист. Пользуется полным доверием Адмирала. Честолюбив не по способностям. Явно метит во всеславянские Наполеоны. Вульгарен, напорист, беспредельно самоуверен. Политически в высшей степени беспринципен, хотя кокетничает демонстративным радикализмом. Как личность неуправляем и ненадежен. Подобно всякому парвеню, по-детски тщеславен, падок на чины, знаки отличия, мундиры. Ради достижения своих эгоистических целей способен на все, не исключая прямого предательства. Опасен во всех отношениях и для всех, в том числе и для самих чехов, у которых пользуется непререкаемым авторитетом».

ТИМИРЕВА

«Просто женщина, и этим все сказано».

3

«Мне действительно почти нечего добавить к характеристике Анны Тимиревой. Редко в жизни мне приходилось встречать такое сочетание красоты, обаяния и достоинства. В ней сказывается выработанная поколениями аристократическая порода, даже если, как поговаривают, она по происхождению из простого казачества. Но я убежден, что аристократизм — понятие не социальное, а, в первую очередь, духовное. Сколько на своем пути встречал я титулованных кретинов с замашками провинциальных кабатчиков и сколько кабатчиков с душой прирожденных грандов! Порою в уличной девке можно встретить больше ума и тонкости, чем в светской шлюхе из Сен-Жерменского предместья. Я убежденный холостяк, но, если бы когда-нибудь меня привлекла семейная жизнь, я хотел бы встретить женщину, подобную этой. Как мне стало известно, она близка с Адмиралом еще со времени своего замужества, но даже теперь, когда сама жизнь освободила их от прежних обязательств и свела вместе, связь их никому не бросается в глаза, с таким тактом и деликатностью они оберегают эту связь от посторонних взглядов. Увидеть их вдвоем большая редкость. Она старается держаться в стороне от его дел. Чаще ее можно встретить в швейных мастерских, где шьют обмундирование для армии, или в американском госпитале, выполняющей самые непрезентабельные работы по уходу за ранеными. Но даже в этих обстоятельствах свойственная ей изящная царственность не покидает ее. Впервые я увидел ее рядом с Адмиралом на одном из приемов, и меня поразило их внешнее сходство. Если бы до этого мне не был известен характер их отношений, я принял бы их за брата и сестру или, по крайней мере, за людей, состоящих в близком родстве: тот же взгляд, та же осанка, та же порывистость, тот же Восток, облагороженный славянской мягкостью. Так зачастую начинают походить один на одного муж и жена после долгой жизни под одной крышей. Но у Адмирала и Тимиревой не только сходства, но даже явные различия удивительным образом дополняют друг друга. Глядя на них со стороны, невольно приходишь к мысли, что раздельно они просто немыслимы. Я еще, помнится, думал тогда не без сожаления: «Кто знает, что их ждет впереди: царство или бесславная гибель?»

4

«28 декабря. Сегодня меня вызвал генерал Жанен и попросил сделать беглый обзор моих первых впечатлений от омской обстановки. Однако, мой короткий доклад не произвел на генерала ровно никакого впечатления. Можно было подумать, что он меня вообще не слушал. Мои сведения его явно не интересовали. Судя по всему, наша встреча была лишь предлогом для разговора на совсем иную тему. «Вот что, капитан,— произнес генерал, едва я закончил,— все это превосходно, я ценю вашу наблюдательность и чутье, но мне хотелось бы, чтобы вы достаточно ясно осознали, для чего мы здесь и чего Франция ожидает от нас.— Его неподвижные глаза смотрели на меня с бесстрастной незрячестью.— Дела этого господина, которого вы называете Адмиралом, и его ближайшего окружения интересуют меня постольку, поскольку это соответствует задачам моей страны, нашей страны, капитан. Даже если ему будет сопутствовать военное счастье, оно должно быть направлено в желательное нам русло. Любой его успех не может выходить за предусмотренные нами рамки, причем никогда и ни при каких обстоятельствах мы не смеем допустить, чтобы он забыл, кому обязан этим успехом. Его необходимо сделать сговорчивым и послушным. Если же счастье ему изменит, нам придется ускорить его конец и пойти на союз с другим движением, но на тех же условиях. Поэтому, капитан, старайтесь не слишком вникать в подробности, займитесь-ка лучше поисками альтернативных возможностей, это сейчас для нас самое важное. Честь имею». Признаюсь, разговор с генералом Жаненом озадачил меня. Его ординарность в армии была общеизвестна, он слыл типичным военным чиновником, бюрократом в мундире, звезд с неба не хватал и большим умом не славился. В беседе со мной он, конечно же, только повторял мысли, вложенные в него со стороны. Здесь впервые меня обожгла догадка, что в мире существует сила, которая незримо стоит за спиной и генералов вроде Жанена, и стоящих за ним политиков, и даже за руководимыми этой публикой правительствами. И цепкая паутина этой силы дирижирует самыми, казалось бы, спонтанными людскими стихиями на земле, направляя их к какой-то никому не ведомой, но роковой цели. Ухватиться хотя бы за единственную ниточку этой паутины, пусть мысленно распутать весь ее дьявольский лабиринт — сделалось отныне моей идеей фикс».

Окончание следует

НОВЫЕ СТИХИ

●

Знай, мама, даже ты меня теперь
Понять не сможешь, жалобам внимая.
Я сам в себе не разберусь, поверь,
Я сердца своего не понимаю.

Ты за голову схватишься, отец,
Узнав, о чем моя душа томится...
Смогу ли разобраться, наконец,
В том, что сегодня на земле творится?

В больнице

В темном, как копирка, кабинете,
В помощи нуждаясь и в совете,
Распознать стремясь болезнь свою,
Перед аппаратом я стою.

Врач мне говорит: «Больной, дышите!»
И потом: «Дыханье задержите
До тех пор, пока я не скажу...»
То дышу я, то я не дышу...

Сердца ритм ослаблен и нарушен,
Да недуг мой всё не обнаружен.
И хоть мне желают всяких благ,
Не уловят боль мою никак...

Как и я, земля моя родная,
Под рентгеном ежишься, больная...
Пронизали и тебя лучи,
У экрана — разные врачи...

Пульс твой бьется то слышней, то глуше.
Говорит один: вдохни поглубже...
А другой: дыханье затаи...
Как болезни распознать твои?

Третий вновь: глубокий сделай вдох!..
Разберешься ль, кто хорош, кто плох? —
Если ты и в гуле и в тиши
Слышишь: то — дыши, то — не дыши.

Не дыши — и не сочти за труд...
А лекарства всё не подберут.
На экране же — тревожный знак:
Раны не рубцуются никак.

●

Ступка пожаловалась барабану:
«Бьют и не платят... А бьют постоянно...»
«Бьют и меня, — барабан ей в ответ, —
Бьют и не кормят, — и выхода нет...»

Поставим памятник

Давайте памятник поставим
Всем пересохшим родникам,
И вырубленный лес восславим,
Воздавши честь былым векам.

И кладбищами обозначим
Мы водопады в дебрях гор,
По каплям канувшим поплачем
Недавно сгинувших озер.

Могилы выроем — чего там! —
Без колебаний, поскорей
Реке, что сделалась болотом,
А также — совести своей.

И выразим вершине горной
Сочувствие от всей души,
Где снег ложится только черный,
С небес слетающий в тиши.

Поплачем по последней капле
Потока, что сорвался вниз,
По брошенной отцовской сакле,
Где ветви намертво сплелись...

Как зеркало блестящей далью
Твоей, мой Каспий, сколько раз
Разбойники овладевали
И разбивали в черный час.

Твое раскалывали чрево,
Безжалостно пускали кровь...
В бессилье праведного гнева
Ты волновался вновь и вновь.

Большую рыбу пожалеем, —
Ей красною не зваться впредь.
Птиц перелетных пожалеем —
Они боятся к нам лететь...

Помянем, им воздав сторицей,
Коней убитых, племенных,
И увезенных за границу...
Как возместить утрату их?

Давайте памятник поставим
Охотникам и, кликнув клич,
Стрелков-добытчиков прославим,
В горах не упустивших дичь.

Давайте памятник построим
Молитве, песне, языку,
Забытым мастерам, героям
И амузгинскому клинку.

Давайте вспомним, бросив вызов
Всем сочинителям чудес,
Залив, что в Аграхане высох,
И у Самура мертвый лес...

Какой Ермолов иль Паскевич
Воздвиг завод, несущий яд?..
Грустнее не встречал я зрелищ,
Чем зараженный виноград...

Поставим памятник убитым
Годам и дням — не на войне,
А на собраниях, открытых
Пустой трескучей болтовне...

А может быть, еще не поздно
Всем на защиту встать стеной?
Над высью гор очистить звезды
От черной накипи земной?..

Все силы, всю любовь, весь разум
Собрать, чтоб с солнца снять нагар,
Чтоб свод небесный над Кавказом
Сиял, омытый, миру в дар...

О горцы!

О горцы, объясните, что стряслось?
Я с Шамиля начну — не обессудьте:
На роль его актера не нашлось, —
Похожих нет ни внешне, ни по сути...

В Америке грузинский режиссер
Готов искать аварского наиба:
Тогда Хаджи Мурата люди гор
Хоть на экране увидать могли бы.

Друзья, кто вас без боя победил?
На Ахульго взберетесь вы едва ли!
Не высоту — низину, Ахбердил,
Твои потомки для себя избрали.

Пред скачками испытывая страх,
К коням подходят юноши робея...
Чем больше электричества в горах,
Тем свет любви и совести слабее...

О горцы, мы спустились с высоты...
Но неужели не найти аварца,
Чье сердце бы от женской красоты
Вдруг не способно было б разорваться?!

Скажите, горцы, это ли любовь,
Что ни в стихах, ни в песнях не воспета?
И песня ль это, если вновь и вновь
Не источает ни огня, ни света?

О горцы, что случилось с нами вдруг?
Ведь было же когда-то всё иначе?!
Того, кто пашет, усладит ли слух
По радио мяуканье кошачье?

Мои нагорья, что произошло?
Хоть вы космических коснулись пашен,
Но ваше озабочено чело:
Внизу — надежды и тревоги ваши.

О край мой горный, на детей взгляни,
Они — твоя надежда и основа.
Но дети не ответят, чьи они:
Они не знают языка родного.

И дети виноваты без вины,
Не ведающие отцовской славы...
За храброго отца не мстят сыны,
Иными стали времена и нравы.

О горы, может, сверху вам видней,
Куда везет нас всех арба без страха?..
...За голову хватаюсь... А на ней —
Велюровая шляпа — не папаха.

Перевела с аварского Елена Николаевская

Сергей Бардин

ПАСТОРАЛЬ

ПОВЕСТЬ

Несколько лет тому назад инженер Полуянов решил переменить судьбу и надежду, бросил хорошую должность в исследовательском институте и перешел работать на договор в маленький научно-популярный журнал, на чем потерял рублей сто в месяц, но зато приобрел возможность не ходить на службу и не тратить время на дела, для него уже неважные, о чем здесь не имеет смысла распространяться. Его новая работа заключалась в том, что два раза в месяц он брал пачки писем и рукописей, а второго и шестнадцатого сдавал их вместе с ответами в бухгалтерию журнала, где в засыпанной бумагами комнатке старая астматичка начисляла ему, вздыхая, сдельную оплату: сколько оприходовал листов, на сколько рукописей, предложений, прожектов, статей и благоглупостей он ответил — столько и получал. Выходило в общем-то сносно, хотя принуждало заниматься унизительным для сорокалетнего мужика делом — заклеивать и отправлять пятьдесят, скажем, писем кряду. Маленькие конвертики приходилось лизать, отчего язык становился липким и перченым. Большие брали много времени, пока одна добрая душа не обучила его делать, «как в райкоме». Оказывается, заклеивая конверты, следовало выложить их лесенкой, отвернуть клапаны наружу, разлить и размазать много клея, а потом быстро, подряд, заклеить все конверты и разбросать их на столе, чтобы они не слиплись.

После отправки почты Полуянов умывал руки и был свободен на две недели. Вообще-то полагалось еще и дежурить, принимать посетителей, отвечать на звонки — но тут Полуянову повезло. У него случился напарник, человек по фамилии Долгопол, тоже по неявной причине выброшенный центробежной силой жизни и зацепившийся за маленький журнальчик. Долгопол был высоченный кудрявый цыган, ходил пузом вперед, курил дешевую «Астру» и гасил окурки в цветочных горшках редакции. Говорил о себе: «Зело чреват», при встречах: «Здрав будь», а при прощании: «Благослови тебя Бог, милый!» Он был собирателем старинного русского охотничьего оружия и антиквариата по мелочи. Частью его коллекция досталась ему от отца, частью он прикупил ее, частью приворовал по разным провинциальным углам. При своей страсти к оружию он был не охотник, природу не терпел, исключая цветы в горшочках, которые использовал с известной целью, чем вызывал ярость всей редакционной братии. Долгопол рассеянно брал деньги в долг и не отдавал месяцами, зато охотно платил за других в пивных и в магазинах. Город он любил вместе со всеми его грязями, дымами, вместе с асфальтом, кривым переулочком и маленькой редакцией на третьем этаже бывшей гимназии с одной уборной для мужчин и женщин, с лестницами и щербатыми их ступеньками. Он был между тем очень толковым инженером и цепким работником — от таких на производствах избавляются быстро. Дежурства ему были не в тягость — выкурив в день пачку дешевой дряни, он успевал заколотить двадцатку ответами на письма и рецензиями. Полуянова он не донимал, потому что не знал идеи, из-за которой Полуянов вылетел на окраину жизни; но в душу не лез. Они сговорились быстро. Долгопол соглашался дежурить все лето и осень, а Полуянов всю зиму и весну.

Теперь, осенью, Полуянов смог уехать в деревню, осесть и заниматься своими делами, о чем здесь, как было замечено, не имеет смысла рассказывать. Деревня его называлась смешно — Кукареки, располагалась она в че-

тырех часов езды от маленького научно-популярного журнала, посредине замечательного русского пейзажа, осеннего, раннего. Русская осень так превосходно описана классиками, что описывать ее здесь снова, значило бы посягать на золото чистой пробы — менять червонное на самоварное. Проще обойтись литературной ссылкой: протянуть руку, снять с полки книгу и, полистав, с любого абзаца переписать картины русской погожей осени.

Для точности укажу лишь, что деревня Кукареки находится в К....ской области, стоит она на маленькой речке Двери, к миру обернута задом, к лесу передом. Особенность ее в том, что дорога входит в нее не с торца, как во все прочие деревни, а с тыла, с огородов. Она врезывается в середину деревни и сразу же уходит в дикое поле. Деревня и дорога встречаются и расходятся, как двое прохожих, — не замечая друг друга, не разузнав ничего нового — каждый сам по себе. Дорога делит деревню Кукареки на две половины. В первый же день Полуянову шепнула певуче соседка Анечка:

— Хорошую вы половину выбрали, верную. А та-то, пьяная.

В этом напеве Полуянов услышал отголоски древнего конфликта, который к рассказу отношения не имеет. Следует заметить лишь, что в каждой половине деревни шесть домов, перед домами выстелен низкий луг, потом зарастающий в болото пруд, потом идут два поля — и потом леса до горизонта, леса.

В деревне жизнь Полуянова проистекала так: по субботам жена и сын привозили провизию и книги, пачки писем и рукописи, оставались на воскресенье и следующим вечером уезжали в город — доучиваться и работать. Бывало, добирались они сами, но чаще их подвозили бесчисленные Полуяновские приятели, которых жена его, мученица Варя, целую неделю тонко соблазняла грибами, русскими пейзажами, картошкой с огорода и яблоками из сада. К субботе кто-нибудь, как правило, «дозревал», ссорился с женой или тещей, и все устраивалось наилучшим образом — они приезжали.

Полуянов тогда растапливал печку, жарил картошку на постном масле, открывал тушенку. На грунте он встречал машину, потом бежал по траве и жнивью в неясном свете фар, раскинув руки, указывая, как и где проезжать. И все заканчивалось ужином, водкой, курением на крылечке и всегдашним непозитивным разговором под осенними звездами, который в описании не нуждается, потому что, как всякий русский разговор, он невоспроизводим.

На неделе же Полуянов бывал один. Упоительное чувство свободы дополнялось здесь тем, что он немного строил забор, немного копал, немного солил грибы, переписывал, чинил полы, топил печь. Деревенские старухи, отвыкшие от вида молодого мужчины вообще и от вида мужчины трезвого в частности, наполняли его существование странным и значительным смыслом. Стоило Полуянову вскопать грядку, как две или три из них слетались на его огород и поднимали крик.

— Гляди-ка, вскопал! — кричала грубая и прямая баба Нинка Копылова.

— Надо ж, пять лет никто руки не поклал. А он пришел и образит, — так подкрикивала Полуяновская нежная соседка Анечка, крохотная, старенькая и голубоглазая.

— Молодец, Валерька! — кричала тетя Маня, грозная старуха, согнутая в дугу и привыкшая орать от общения со своей глухой и строптивой коровой Дочкой. — Не спить, не пьеть, а все работаеть.

Сами они вкалывали с утра до ночи в том прямом значении слова, которое уже приобрело в России, — как и все, что относится к работе, — иронический смысл. Иронии в жизни этих старух, однако, не было. Полуянов как-то вечерком подсчитал: три дойки, дорога туда и обратно на ферму через лес четыре километра. Получалось у него, что за свою геройскую жизнь бабки набегали каждая по одному экватору, то есть, по сорок тысяч километров.

Полуянову трудно было оставаться плохим в лучах такой славы и душевной поддержки. Хотелось поделать что-нибудь путное: забор починить, сарай поправить. Сперва как-то это не выходило, и день разваливался, все норовил пройти стороной, пролиться теплым дождичком. К примеру, пойдешь в сарай за отверткой, чтобы лампы в комнате починить, задумаешься, а там, глядь, уже вечер, и день прошел. Время здесь текло по-другому, и словно сносило Полуянова по тихой и темной осенней реке вместе с опавшими листьями — то по основному своему руслу, а то по стоячему боковому рукаву. Когда приезжали люди из города, Полуянову казалось, что он их обманывает, проживая в одиночестве неодинаковое с ними время, какое-то свое, другое, не такое же, как у них.

Скоро Полуянов втянулся в деревенскую жизнь, и дела его пошли на лад. Он догадался, что бабки на всякий случай применили к нему — к новому, опасному для них человеку — старинную, ныне забытую педагогическую систему воспитания похвалой. Бабки загоняли его лестью в такие оглобли добра и «всеобщего полного одобрения», что выскочить Полуянов из них уже не мог. Через две недели он обнаружил, что разобрал старый сарай, вкопал столбы для забора, выкосил траву, вырубил сорняки, насушил полную сумку грибов на зиму и написал статью... — впрочем, последнее уже не имеет значения.

Косу ему отбил Веня, а косить учила окраинная Валя. Она его вообще-то терпеть не могла за то, что он дал за дом деньги, которых она собрать не сумела. Однажды она увидала, как косит Полуянов, подошла своей каменной походкой, будто вбивая больные ноги по колени в землю, и отобрала косу.

— Смотри, как косят, мудрила, — сказала она и принялась ровненько стричь траву, катая косу на пятке, как на ролике. — Коси как надо.

И Полуянов учился косить как надо.

Вечерами он ставил в доме мышеловки, которые все бабахали с оглушительным грохотом, норовя оттяпать ему первые фаланги пальцев. Наступали осенние холода, и хитрые мыши полезли в избы. Под тихое мышиное хрумканье он садился работать, отвечать на письма, зарабатывая хлеб свой насущный, о котором он ни в коем случае не должен был забывать в этой тиши и глухомани. Его грела и поддерживала при этом мысль, что он почти ничего не стоит своей семье, потому что питается в основном картошкой с огорода, грибами и привозной «пластмассовой» вареной колбасой по два двадцать, которой он одаривал и бабок. Бабки знали в ней толк. Сперва Полуянов есть эту колбасу не мог, но потом, пожив в деревне, полюбил ее страстно. Он подолгу сидел на лавочке перед домом и обсуждал с Анечкой достоинства колбасы.

Бывало это на чистом и нежном закате. Крик совы доносился из леса очень близко, словно ребенок кричал под ножом. И вдруг дважды из леса ударял большой колокол.

— Что это? — спрашивал испуганно Полуянов.

— Это? — переспрашивала Анечка, — это филин кричит или сова плачет. Ага. Ну вот, потом поджаришь ее на масле, лучку туда покрошишь, и картошку можно, можно даже вареную, ага. И так тогда хорошо, у меня малой вон ее как трескает, только кричит: «Бабка, дай колбасу!»

— Да нет, — перебил Полуянов, — вот словно били в рельс в лесу.

— В лесу? — с сомнением спрашивала Анечка, — чтой-то я не слыхала. Откуда ж там рельсы?

— Ну колокол...

— Может, из телевизора? Он у меня включенный. Не слыхала я, значит, Валер, но ты не удивляйся, у нас тут бывает.

Отвечая на письма, Полуянов приносил своей семье «чистую прибыль», которая целиком попадала в руки его жене, терпеливой Варваре. По доверенности зарплату его она получала в городе. За лето накопились кое-какие денежки, и Варя призналась ему, что стала подумывать о приобретении синтетического дутого пальто финского или французского производства. Этим сообщением она согревала его вечера у лампы. Появилось вдруг чарующее ощущение связи прохладных сентябрьских и октябрьских вечеров, дармовой картошки, грибов, печного тепла с несуществующей, разумеется, Финляндией, с дутыми ее пальто из синтетической ткани, и с еще более несуществующей Францией. Тут была какая-то тонкая мысль, неуловимая грань, описать которую под силу лишь настоящему писателю, но уж никак не научному консультанту в должности, каким представлялся Полуянов. Во всяком случае, разговоры о Финляндии и Франции сразу же напоминали Полуянову рассуждения его старого приятеля Измайлова о

том, что никакой заграницы вообще нет, что вся заграница выдумывается в подвалах КГБ и что выезжающих просто гипнотизируют среди декораций, а для остальных снимают художественные фильмы. «Ты пойми,— кричал подвыпивший Измайлов.— Советская власть она уже везде, по всей земле, и даже, может быть, по всей Вселенной. Но люди должны надеяться, что где-то есть хорошая жизнь. Раньше этим местом был рай, а теперь Бога отменили, религию отменили и рай похерили. Пришлось выдумать капиталистическую заграницу, все эти Америки, Франции, Финляндии, чтобы население имело для себя тайную надежду хоть издалека знать, что где-то есть райская жизнь. Америки нет — все это делается в КГБ! Работают целые секретные фабрики по производству шмоток, автомашин и прочего — почтовые ящики от Минлегпрома, Минавтопрома и других министерств. Делают мало, дефицит, но вот этой малости как раз и хватает для «привоза с Запада». Это когда командировочных загипнотизируют, им суют эти шмотки. И так называемые иностранцы — это все сплошь сотрудники КГБ, но загипнотизированные на чужом языке. И «голоса» вещают с Лубянки. Ты сам подумай, голова: как бы ты смог жить, если бы понял, что эта вот действительность и есть ВСЕ? Ты думаешь, за границу посылают самых проверенных? Чудила, туда посылают самых гипнотизируемых. Поддашься дрессировке — поедешь, нет — нет. Давай еще выпьем водки — за дикий Запад, а?»

Вечерами Полуянов работал допоздна. Соседка его Анюшка, у которой доброта и мягкость были как-то неявно связаны со слезящейся голубизной глаз, говорила, зевая: «Отсмотрю телевизор, а у него свет горит. Работает, значит, бедный». И Полуянов вспомнил, как в детстве он читал у писателя Паустовского, что лоции то ли Гаронны, то ли Луары включали в себя «окно господина Флобера», имевшего привычку работать по ночам. Полуянов представлял, как со стороны леса в черноте деревеньки светится и его единственное окно, и от этого делалось хорошо на душе и немного тревожно. Хотелось погасить свет, стать невидимкой, раствориться в этой ночи. Хотелось думать про места, в которых люди не боятся горящего в ночи огня своей лампы, хотелось думать, что ты тоже смог бы чего-то добиться и достичь. После Анечкиных слов он чувствовал, как по спине бегают мурашки удовольствия, и давал себе юношеские зароки. Он обещал себе трудиться, трудиться долго и беспощадно и добиться в конце концов того, чего ждут от него жена, сын, отец, мама и мама его жены.

Рецензии обычно начинались фразой: «Уважаемый имярек! Ваша рукопись (статья, письмо) прочитана в редакции журнала». Дальше в пяти-шести вариантах шли мотивировки отказов, разбор несостоятельного изобретения, ответ. Иногда порядок нарушался, попадалось что-то дельное: предложение, научная работа, просто человеческий голос или идея. И тогда из-за бумаги перед Полуяновым появлялся человек. Виделось далекое такое же окошко, и тоже лампа, и листы бумаги, склоненная фигура и лицо, которого всегда было не разобрать:

...с улыбкой женскою и детскою заботой
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.

Тогда писалось в ответ много и горячо, хотелось убедить, помочь, и, наверное, дело было именно в желании помочь — дальняя эта и невидимая связь между консультантом и его адресатом часто срабатывала.

В один из таких дней, в пятницу, Полуянов пошел в баню с дядей Веней, в деревню Чернавки. Идти надо было через кладбище, за два поля, по тонкой стежке, по которой доярки бегали на ферму: маленькая, как девочка, Зойка и сестра ее, широкая и пожилая Саня. «Здрасьте»,— кричала ему Зойка, пробегая на своих легких ножках. Она трезвая была и веселенькая, и миленькая. А Саня тяжело проходила мимо и говорила:

— А, приехал. Ну здравствуй, барин.

В тот день Полуянов шагал за дядей Веней, позади, стараясь не влезть в грязь и не поскользнуться. А дядя Веня уверенно и упорно шагал впереди него, ставя сапоги крепко прямо в самую непролазную грязь, выворачивая носки. Шел плотно, цепляясь за землю, по-плотницки, по-солдатски. Веня и со спины, и спереди, и сбоку, и издали больше всего походил на серого волка, поставленного на задние лапы. Он по ровному ходит так, будто лезет в гору. Он и трезвый-то странен, заморожен, как будто искусственный, неживой. Ему сперва надо увидеть,— это целое дело — потом понять, потом понять, что понял. А уж тогда он станет здороваться или отвечать. Таков он, странный человек. А выпив, он впадает в какой-то оскал изумления, рот у него отваливается, кожа стягивается. Образуется у него улыбка, страшнее которой Полуянову видать не приходилось. Глаза у дяди Вени горят, и, желая выказать человеку величайшую великодушную дружбу, он отводит мускулы рыжих худых щек и обнажает глубокий оскал серых и голубых зубов, которые в полуяновском детстве назывались «улыбка скелета». Он прожил трудную жизнь, дядя Веня, о которой тут не место говорить, горел в погребе мальчишкой, был раскулачен, сидел в детприемниках, голодал в ремеслухе на Урале, бежал, сидел и снова сидел. Жизнь заставляла его улыбаться каждому встречному, но улыбаться его разучила — как и многих других. И потому глаза его горят, как угли в темноте, от ненависти, а после трех стаканов он начинает видеть духов и петь гимны.

В тот день, в пятницу, они славно попарились в пустой деревенской бане. Прежний председатель построил ее для себя и для участкового, с которым они любители были париться, и прихватывали на это дело нестарую завфермой и сестру ее Катю. Оба они уже отлетели, а баня в память по ним осталась. Народу, чтобы помыться в ней, приходило так мало, что мылись по очереди в банный день то мужчины, то женщины — кто первый захватит. Крикнут с порога: «Кто это там моется?» И если свои, однополые, то заходи.

Мылись долго, с остервенением, с отдыхом, с перекурами. Полуянов приметил, что рассуждения городских людей о деревне имеют мало цены. Особенно убедился, когда зажил тут с ними вместе. Париться ни дядя Веня, ни пастухи Колька и Леха, ни печник Александр Александрович, по прозвищу Сварыч — никто из них париться подолгу не мог, задыхались. Они все были пьющие и сердечники. А Полуянов знал, как парятся в городских банях, много крепче. И там же хвалят деревню. Хвалят, стало быть, по памяти. И все, что помнится беглой, бывшей деревенской нации про ее деревню — это стилизация прошлой жизни, дачное это, пейзажное и наносное. Полуянов заметил, что как советскую жизнь придумали в газетах и журналах, так и деревенскую жизнь придумали себе тоже. Особенно же придумывали, как нарочно, то, чего деревня не хочет знать, не любит и стыдится. Никто в деревне Кукареки не замечал красоты закатов и рассветов, звездных и туманных ночей, тишины. Если хвалили природу, то только поддакивая своим городским детям и племянникам. Хвалили неуверенно, без сердца, как чужие. Стыдились же осени, неприбранности, поганых дорог, одиночества. Зимы стыдились, как болезни.

Дядя Веня был как бы и вовсе нерусский человек. Никакой широты души в нем не было и помину. Почти как все мужики, был он уже давно растянут словно на веревках и жгутах. Вечно все звенит в нем, трясется и дрожит. Нигде не встречал Полуянов такой истеричности в людях, как в русских чернавских и кукарекинских мужиках. Трезвые они клокотали все время, хрипели, готовы были завизжать, брызнуть слезами, замахнуться чем попало. На таком накале жить невозможно — они и не жили. Они пили каждый свое и общее вместе, и, качаясь на крепких петушиных ногах, работали работу, гоняли на мотоциклах, заготовляли сено, давали поросю, уткам и гусям, ставили заборы, копали, охотились и матерились.

Из бани вышли потемну, дядя Веня опять впереди, и когда они попали в рощу, на кладбище, когда светлая темнота поля сменилась березовыми сумерками среди крестов и немоты немногих могил, дядя Веня вдруг сказал чинно, не останавливаясь и не оборачиваясь:

— Спокойной ночи тебе, Валер. С легким паром.

Полуянов остановился. Его поразило, как ласково все это сказал Веня. Деревенская вежливость осталась в Кукареках мягкой и нетронутой, как древние папоротники в лесу, такой же простой, как бедность, как матерщина и как повальная пьянка по субботам. Дядя Веня пошел вперед, казалось, чуть быстрее. И вдруг страшно быстро завертелся и исчез, словно сквозь землю провалился.

— Эй,— крикнул Полуянов слабо,— дядя Веня, ты чего?

И тут же по неопределенной пустоте лесного звука понял, что здесь, на лесном кладбище, он совершенно один. До деревни было рукой подать, и ночь еще не наступила.

Все еще светилась слабая полоска заката, и на том конце деревни хлебнувшая после бани Зинка пела про то, что «Алеша с войны возвратился, а ребеночку Катину — год». Полуянов вышел с кладбища и пошел посидеть с Анечкой на лавке перед ее палисадом. Аня говорила о том, что вот Зинка не выходит доить свою группу коров, и что они теперь стоят там и орут, а она валяется по избе вся пьяная. Что приезжал участковый и зоотехник, нашли бидон браги и что будут теперь ее оформлять в ЛТП.

— А кто ж доить-то будет?— спросил Полуянов.— Ты Веньку не видала?

— Нет,— отвечала Анечка.— А кто будет? Пенсионерка какая-нибудь и будет. Они ведь эту ферму переделать решили. Некому доить. Будут у них там телочки на откорме.

Полуянов понял, что Анечка уже согласилась доить Зинкину группу.

— Что это Венька, всегда так? Шел и исчез,— спросил он и не дождался ответа.— Доить пойдешь, значит?

— А и пойду,— сказала Анечка.— Ведь платят-то в месяц по четыреста рублей. Как не пойти. Надо Люльке платье и пальто новое.

— Ты ж сказала, что теперь на пенсии, хватит. Дочке твоей пусть муж помогает.

— А кто ж будет заботиться?— сказала она, не слушая вопроса.— Она дочка, я ей помогаю. Должно, Валера. Пошли по домам, а то свежевато что-то. А вы с Венькой разве не вместе из бани шли?

Она зевнула, тяжело поднялась и пошла в дом смотреть телевизор. И Полуянов пожалел, что расстроил ее немного этим разговором. Он побрел к себе. Когда взялся он за ручку двери, по траве мимо зашоркали тяжелые, упорные шаги. В полумраке он уже не враз и понял, кто идет.

— Спокойной ночи тебе, Валер. С легким паром,— точно так же, как в лесу, ласково сказал голос Веньки, и человек прошел, не останавливаясь, не прерывая тяжкого своего хода.

Полуянов даже ответить не успел. Он вошел к себе, осмотрелся, зажег огни, поставил мышеловки, запер дверь и принялся за работу.

Когда человек живет один, сам по себе, он замечает, как некоторые чувства в нем стушевываются, уходят в тень, а другие, наоборот, выпячиваются, вылезают. Ну с чего бы, к примеру, мог в голос хохотать или плакать, или испугаться одинокий мужчина, живущий осенью без телевизора в деревне? Смех, например,— дело коллективное, один редко посмеешься, а трогательные шутки деревенских старух вроде: «Не пьешь? а по голове бьешь, что ли?»— это присказки. Но что-то такое в человеке копится, копится, а потом как прорвется— словно ливень слез, хохота или страха.

К ночи Полуянов исписал уже стопку бумаги ответами, устал и дошел до притчи «Миру— мир». Конверт был большой, голубой, самодельный. В нем тетрадка и письмо. Автор просил в случае отказа прислать ему рукопись обратно— и больше ничего. Начиналась притча так:

«Треугольноголовые спустились с гор, их жуткий вой разносился далеко над равниной. Жрецы Горных Духов не пожалели для своих воинов будоражащего кровь зелья из наркотического корня. Лиловые сумерки рассвета укрывали треугольноголовых, придавая их могучим толпам вид слитного воедино потока. То тут, то там из катившейся к деревне вопящей массы взметались кверху боевые дубины. Привычные к горным склонам крепкие кривоватые ноги топтали теперь ровную почву низин. Треугольноголовые спешили: еще немного, и деревня, полная добычи, будет их.

Князь Майк, повелитель квадратноголовых, собрал своих на площади перед храмом Квадратного Бога. Его воины имели вооружением длинные копья с каменными наконечниками. Служитель храма и его помощники вынесли связки синих сушеных стеблей, собранных ими на Великих Болотах. Каждый воин, получив свою долю, принимался жевать сладкую мякоть. Теперь и у квадратноголовых закипела кровь».

«Чушь какая-то»,— подумал Полуянов, глянул в черное окно, но, вздохнув, решил все же дочитать рассказ. Он взял рукопись, прилег и стал читать дальше.

Проснулся он рано-рано утром оттого, что по деревне Кукареки прогрохотал мотоцикл, а потом стал реветь и вертеться на задах, за огородами. У Полуянова спросонья мелькнула мысль, что кто-то приехал к нему из города, но потом он понял, что нет— это мотоцикл с коляской застрял на липких глинах. Уже перекрикивались баба Маня и Анюшка, потом подошла Нинка. Через несколько минут они все шли от домов через полуяновский огород к дороге. Шел кто-то еще от дальнего дома, Полуянов догонял бабок, и всем было видно, что это мотоциклист, имеющий в коляске пассажира в дождевике и шляпе, пытается раскачкой выволочь мотоцикл из грязи.

Утро стояло туманное, сентябрьское, из всех труб валили клочья дыма, сползали вниз. Мотоцикл ужасно надымил своим синим моторным выхлопом. Мотоциклист и пассажир сидели в нем и не вылезали, чтобы толкнуть мотоцикл. Бабки издали, подходя, кричали, чтобы они слезли и вытолкнули свою машину, но их не слышали. Приезжие сидели в мотоцикле, вертелись и качались в синем дыму.

— Ты чего?— сказала баба Зинка мотоциклисту.— Не выедешь, что ли?

— Не идет,— перекрикивая мотоцикл, орал парень, Володька из правления. С чисто русским остервенением он кидал и кидал его на маленькую стеночку грязи, которую он нагреб уже за четверть часа непрерывных усилий.

Полуянов с бабками в минуту вытянули его на жнивье, и он машину заглушил. Стало очень тихо, и слышно было, как за дорогой ревут коровы и матерятся длинно и протяжно пастухи. Мужчина в дождевике, с которым бабки вежливо и весело поздоровались: «Здрасьте, Лексей Сеич!»— сонно поглядывал из-под полей серой шляпы. Он покивал головой на приветствие и велел бабкам и Полуянову выходить на работу.

Бабки, почти все пенсионерки чернавской молочной фермы, на которую они всю свою жизнь в ночь и слякоть, в ледяные январские ночи, в волчью осень, в метель и в жару трижды в сутки ходили на дойки, начали охать и отнекиваться, словно всю жизнь не гнули спину на колхоз, на уполномоченного, на райком, словно всю жизнь не выполняли самую тяжелую, страшную и грязную работу на чужом поле и чужом скотном дворе. Но в глубине души они были польщены. Сонный же агроном, очень немалого ума мужчина, тоже всю жизнь проработавший в колхозе «Верный путь», переживший десятки председателей, сотни раз видевший, как на Доске соцобязательств, показателей соревнования и Доске почета перед названием колхоза появляется приписочка «ск», превращающая его в «скВерный путь», он суть колхозника, этой советской бабки понимал весьма тонко. Он дал бабкам отпричитаться, а потом сказал:

— Все три операции оплатим. Сейчас трейлеры придут, будете капусту грузить. Вы тоже помогите, если сможете.

Последнее обращено было к Полуянову. Он был здесь никто, и его местожительство стояло очень в зависимости от местного начальства. Лексей Сеич знал это, он вообще много чего знал, хотя наружу этого не показывал.

Мотоцикл скоро уехал, начал накрапывать маленький дождь, и все разбрелись по домам делать свои необходимые утренние дела. А через час, согнувшись, брели по капустному полю, по грядам, подбирали кочаны и кидали их за высокие борта трейлера. Работа эта недурно оплачивалась, и бабки считали, сколько им выпадет за это поле: у каждой из них при всей их видимой заброшенности были в городе дети, племянники или внуки и правнуки. Немногие родственники приезжали им помогать по субботам и воскресеньям, перекрывали крыши, ставили стенки в погребах, копали огороды и косили, помогали по хозяйству. Приезжали, как замечал Полуянов, однако, только те, что не могли без деревни жить. Приезжали по простоте своей— спасаться. Увозили в город картошку, огурцы, яблоки, компоты, самогон. И еще получали все понемногу денег. Себе на нужды и на покупки бабкам, потому что купить в деревне Лошадееве, на центральной усадьбе, было нечего, разве что брать каждый день серую

вермишель и рыбный паштет в банках, накладывая все это в гнутые алюминиевые тазы.

Полуянов брел рядом с бабками, накидывая кочаны в грузовик с высокими бортами. Полуянов давно заметил, что, работая вместе с ними в этой деревенской внешне неторопливой, но непрестанной работе, он успевал втянуться и сделать много больше, чем если бы «наваливался». Бабки словно знали какой-то секрет, при котором работа была не в тягость, а в необходимость, и натуги не было, и дело делалось себе.

Трейлер накидали с верхом, и все продолжали кидать, а присланный шофер все покуривал и покуривал и назад не смотрел. Ему было все равно, чем там они у него занимаются за спиной. А когда он попробовал тронуть машину с места, то она вдруг вся как-то прогнулась, как кошка, присела, колеса ее завертелись и глубоко зашли в мокрую землю. Шофер наддал газу, и колеса пошли крутиться еще более весело и быстро. МАЗ стал оглашать округу жутким воем, продолжая стоять на осях и даже не качаясь. Из-под колес, трением сушивших грязь и глину, шел белый колесный пар. И шофер, вдруг очнувшийся от сна, стоял на подножке и матом оглушал окрестности, перекрывая рев мотора, покрывая поля и леса родины, бабок, Полуянова, капусту и вообще тот неправильный образ действий, который привел его к этому огорчительному финалу.

Бабки сидели на кочанах в кружок, грызли капусту, разрубая кочаны заточенными полосами железа, и слушали шофера. Как всякий русский житель, на которого обрушивается град мата, они понимали, что это не имеет лично к ним никакого отношения. Просто очередная одинокая человеческая душа кричит и мается, корчится и бьется под грубой рукой жизни.

Потом шофер замолк, выключил двигатель и спокойно пошел за трактором.

Сборщики сидели вокруг машины и ждали. Можно было бы в принципе натащить капусту домой, потому что дом был в трехстах метрах. Полуянов взял кочашок, заточил его на конус и съел. Кочан для засолки ему был ни к чему. Ну а бабки давно накрали себе капусты. Они проделали это с той естественностью, с какой принимались и соглашались работать всякую непосильную работу, но также брали то, что у них под рукой лежало,— колхозное, как свое. Зойка про это однажды выразилась бойко и определенно: «Кто мужик в колхозе не вор, Валера, тот в доме не хозяин».

Дождик кончился, солнце легко вышло из облаков, в мари туманной и печальной кочаны заблестели, как стеклянные. Жидкая грязь залучилась и заиграла. Минут через двадцать на поле пришел гусеничный трактор, притащивший тракториста и шофера грузовика. Шофер бодро соскочил на землю, стал показывать, куда разворачиваться, вообще оживился, как всякий лентяй, которому предоставилась возможность покомандовать. Он отмотал лохматый и запачканный в навозе трос, кинул его на клыки МАЗа, а сам бодро полез в кабину.

— Давай! — крикнул он в окошко.

— Не потянет,— сказала опытная Аня, кусая мокрый зеленый капустный лист смачно и хрустко, как овца.

И верно — как ни рычал двигатель МАЗа, как ни крутился и ни елозил трактор, машина только раскачивалась и все не могла выскочить из ямы. Скоро шофер и тракторист закончили свои механические усилия по вытаскиванию грузовика и стали оживленно на привычном языке обсуждать проблемы машин и техники:

— Полную... накидали,— орал шофер.— Ну на кой... вы ето накидали? А? У ней грузоподъемность... тонн восемь.

— А? — так они с верхом накидали? Тонн тринадцать будет, да? — кричал тракторист.— На кой вы накидали столько, бодлива мать?

Он вдруг сел в трактор и уехал за более сильной помощью, а шофер сел с ними в кружок, достал перочинный ножик и тоже вдруг стал быстро есть капусту, а потом закурил. Он начал рассказывать и интересно рассказывал о многом: о движении на дорогах и своей невесте Любке, которую так любил, что когда приезжал к ней, сразу кричал с порога: «Раздевайся, Любка, сейчас буду тебя распиливать пополам!»

Вообще бойкое происходило дело, как всегда, впрочем. С увеличени-

ем техники на этом участке работы как-то все равно не прибавлялось. Не чувствовалось, что «она себя окажеть», как говорила тихая Анечка. Наоборот: чем больше тут набиралось всего, тем более чувствовалось, что ничего этого для дела не нужно.

Они тут друг дружке были нужны не для работы, а для сочувствия и рассказывания разных историй — вот вроде тех, что рассказывал шофер. Скоро председательская «Нива» прилетела по дальним опушкам и вырулила к ним. Председатель, мужчина быстрый, или, как Зойка скажет, «деловой», разжалованный в колхоз прямо из ПМК за пьянку и инициативу, Виталий Васильевич, начал кричать было, но тут увидел, что на поле катят уже два трактора.

— Эй, а может, скинуть эту капусту к этой..? — кричал тракторист и не успел договорить, куда предлагает скинуть капусту.

— Я те скину! — крикнул председатель.— Подавай трос, лимитундра.

Завели два троса, и трактора встали в затылок друг другу. Трактористы полезли в трактора. Шофер занял свое место за рулем МАЗа. Председатель отошел и приготовился дать отмашку шляпой. Отдельно стояли живописной группой бабки и Полуянов. И все это на одну секунду вдруг замерло, словно услышавшее полет тихого ангела или запуск космической ракеты.

Машины взревели и взвились. Бабки подошли поближе, чтобы не упустить ничего. Кто-то что-то кричал, советовал, но его не было слышно за ревом двигателей. Председатель встал впереди всей тракторной колонны и дирижировал. А трактора старались вместе с машиной вырвать ее из грязи. И им это почти что удавалось. Но то ли тракторист второго трактора был с большого похмелья, то ли просто он этого делать не умел, но враз у них это никак не выходило.

Все оглашалось ревом и воем, и визгом механического трения, горения нефти в цилиндрах, грохотом выхлопов и дожиганий. Все что-то кричали. И вдруг им вроде удалось взяться вместе, но тут Полуянов заметил, что бабки начали медленно отходить, пятиться от тракторов, потому что металлические ниточки одного из тросов начали тихо кружиться, тужиться, раскручиваться, а потом в воздухе произошел большой звук, словно сыграла и лопнула басовая струна. Трактористы сразу заглушили моторы, МАЗ затих, и стало относительно тихо, как бывает в осенний ветреный день в лесу. Только воздух посвистывал в ушах, и какая-то пичуга заливалась в перелеске.

Белый от страха тракторист выпрыгнул из кабины на землю и обошел трактор. Лопнувший в могучем натяге трос концом ударил в кабину я оставил там такой след, будто его вбили в толстое железо металлическим кулаком — сантиметров на восемь. Тракторист осмотрел МАЗ, который почему-то не пострадал. Потом подошел к другому трактору и потрогал его зачем-то руками. Потом молча отсоединил троса, громко и размашисто выматерился — словно перекрестился,— бросил трактор и ушел.

Больше в тот день не работали. МАЗ простоял на поле до обеда, а после его вытащил какой-то жуткого вида армейский тягач с двумя кабинами, приземистый и страшный. Его приближение узнали в деревне по дрожанию посуды на полках, по осыпающимся из железных дымоходов кусочкам глины. Военная эта машина с веселым солдатиком на броне лихо развернулась по капусте, зацепила грузовик смазанным и ухоженным тросом с зеленым набалдашником на конце. Шофер не успел сразу завести МАЗ, а веселый солдатик застучал по броне сапогами, тягач рванул и выдернул МАЗ словно морковку из земли. Мелко дрожали дома, поле и лес, шофер что-то кричал из МАЗа, махал руками, а МАЗ прыгал по полю вслед за тягачом, едва не оставляя оси в земле.

Капуста же, из-за которой и разразился весь сыр-бор, посыпалась с бортов и валялась, отмечая путь геройской связки. После обеда пошел дождик и долго отстаивалась тишина.

Полуянов снова принялся за рецензии. Он не сразу вспомнил оставленный с вечера забавный рассказ про квадратноголовых и треугольноголовых. Тут начала брезжить какая-то новая мысль. Он догадался еще вчера: дело идет к браку треугольноголового сына вождя с квадратноголовой девицей, и что в финале у них что-то должно родиться. Вот почему он хохотал накануне вечером. Автор по простоте и наивности предлагал

скрещивание геометрических голов. Главное тут было — это Полуянов ухватил — кто у них должен родиться? Семиугольноголовый? Это развеселило его чрезвычайно, и он уже в уме составлял ответ, потому что дело было легче легкого: журнал фантастику не публиковал. Ответ мог выглядеть примерно так:

«Уважаемый читатель! Мы получили и прочитали Ваш рассказ. К сожалению, мы вынуждены его отклонить, так как наш журнал вообще не печатает фантастику. Кроме того, если следовать Вашей логике, то следует ожидать, что квадратноголовая Ирма должна родить от треугольного Марка дитя, очевидно, семиугольноголовое? Но это многовато даже для научного журнала. Возникающие же в воображении сцены поцелуев и прочих сексуальных контактов между треугольноголовыми и квадратноголовыми — так сказать, вписывание треугольника в квадрат — вызывают такие буйные картины и приводят в такое могучее состояние смеха, что начинаешь понимать великого вождя Майка, запрещавшего смешанные браки. Мы возвращаем Вам рукопись и желаем всего доброго».

Полуянов уж совсем собрался написать ответ — все ему было ясно, — как вдруг из-за последнего прочитанного листка выпало маленькое письмо, которого он не видел раньше. В письме говорилось, что рассказ «Миру — мир» посылается в редакцию сестрой трагически погибшего молодого человека. И что сестра брата просит сказать ей — ни на что, впрочем, не претендуя — было ли в нем, в этом единственном оставшемся от мальчика сочинении, которое она сама перепечатала «для вашего удобства» из его школьной тетрадки, есть ли в нем (она исправилась: «была ли») искра божья, искра таланта. Полуянов читал письмецо, и его заливала краска стыда за свое хамское насмешливое равнодушие, за проект отказа, который он уже сочинил. Ну и еще царапало уже изнутри какое-то сложное предчувствие узнавания, которое посещает нас во сне, когда приближаешься к страшному месту сна и уже знаешь наперед, как там все будет, но боишься этого и не веришь, и идешь.

Полуянов быстро отыскал конверт с адресом: г. Видное, ул. Ленина, дом, квартира.

За окном снова начал сыпать мелкий дождь, ветер кинул пару горстей воды на стекла, намочил куст сирени, и листья заблестели. Маленькая любопытная пичуга запрыгала и забилась у стекла, стуча крылышками. Полуянов вспомнил старое поверье о том, что если птица рвется и залетает в комнаты, это к покойнику.

Он вышел на крыльцо и встал под козырьком, наблюдая плоские полосы дождя, яркий, тихий и зеленый мир, замкнутый в сферу поля, леса и травы. Нигде не было никакого другого цвета, кроме зеленого. Деревня словно плавала в чашке с зеленой водой дождя, пряталась от мира, отгородясь заборами, деревьями и кривым полем.

Полуянову надо было хоть с кем-нибудь поговорить. Потому что одному ему было не вынести. Нельзя было не сойти с ума, пережить этот адрес, вынести это совпадение чисел и судеб. Нельзя было и поверить, что спрятавшийся от мира и жизни человек так был угадан и именно ему попал этот дурацкий рассказ.

Сашка появился в его группе случайно. Он был молодой, до армии ему было далеко — полтора года. Родители его умерли, он был сиротой, и некому было с ним возиться, кроме сестры. Вырос он на ее руках, и, наверное, поэтому он был такой всклоченный. Некоторые просто считали его ненормальным. Полуянов взял его, потому что попросили знакомые.

Особенность Сашки была в том, что если он «загорался», то от него не было спасу. Он начинал носиться с какой-нибудь идейкой пустяковой схемы и не давал Полуянову покоя до тех пор, пока тот не сажал его с собой рядом и два часа не доказывал бесполезность этой работы.

Смешной такой был парень, кудрявый, на Пушкина в детстве чем-то похож. Глаза голубые, рот приоткрыт. Его всегда дразнили лаборантки, что это у него от аденоидов. А он носился, осененный новой идеей. Он сразу попал на большую фирму. Люди, работа, дело вообще — все это потрясло его. Он стал готовиться в институт, но с наскока, и пролетел.

С властями у него все время были столкновения. В последний раз его

послали в Белоруссию за приборами. Он приборы получил, но стал грузить их в пассажирский вагон — крупные деревянные ящики. Проводница раскричалась, сбежались начальник станции, дежурная по вокзалу. Стали его ящики выбрасывать. «Это секретное оборудование, — заорал Сашка, — это секретные приборы. Снимаю с себя ответственность!» Милиционер отказался иметь дело с секретным оборудованием. Гвалт стоял страшный. Потом появился какой-то милицейский начальник и ящики все-таки выбросили из вагонов. Дали отмашку на отправление поезда. Сашка плюнул в стекло милицейской машины — прямо в глаза главному милиционеру, прыгнул под вагон и лег на рельсы. Поезд задержали на двадцать минут. Ящики он не привез, но зато привез громадную «телегу» на себя. Полуянов сразу рванул туда же в командировку, помогли ребята с завода — за три литра спирта железная дорога и милиция согласилась бумагу забрать назад.

И вместе с тем Сашка был отличным малым. Целыми днями — это даже как-то приметил отдельно Полуянов — слушал он разговоры о литературе, о театре, которыми так полна на работе жизнь технарей. Многие из полуяновских пописывали в научно-популярные журналы, обсуждали политику, ругали советскую власть. Он все это слушал жадно. И был какой-то лихорадочный блеск в его глазах. Когда он провалился в институт, то Полуянов сказал ему: «А надо ли тебе идти в технический?»

А под конец в лаборатории Сашку многие просто ненавидели. Каждую глупость — но привычную, обычную, терпимую — он умудрялся доводить до абсурда. Он стал просто каким-то кривым зеркалом, юродивым. Он этого не понимал, лез ко всем, как щенок лезет к большим собакам. Полуяновские воротили от него морды и ждали, когда же он уйдет в армию.

И еще одно: он был пригородный, сирота и брался за любую работу, даже и самую грязную.

Дождь прошел, и зелень стала более тусклой. Анюшка вышла в огород порвать укропа и набрать в ведро лука. Она издалека поклонилась Полуянову, а он помахал ей рукой. Солнце подогревало и сушило землю, но так было недолго. Снова потемнело. Полуянов хотел выйти на огород, перекинуться с Аней, но вдруг очень понял, что даже рассказать об этом никому не может.

В комнате он погасил желтую, тусклую лампочку, жалко горевшую в свете сумрачного дня, зажег настольную и быстро, жадно стал читать:

«...Сколько помнили себя старики обоих племен, вражда была всегда. Всегда треугольноголовые спускались с гор с боевыми дубинками громить деревни равнинных жителей, чтобы завладеть собранными там корнеплодами, ягодами, изделиями из кости. Квадратноголовые, в свою очередь, поднимались к пещерам горцев, чтобы отобрать теплые шкуры животных, угнать скотину, унести красивые разноцветные камни, от которых не могли оторваться взоры женщин. Кровь лилась потоками, так было всегда...»

И дальше шло про то, как девушка Ирма из треугольноголового племени полюбила четырехугольноголового Марка, сына вождя, как они скрывали свою любовь, как бежали от жестоких родителей. Это был научно-фантастический вариант Ромео и Джульетты, но, как всегда в научной фантастике, героям было, куда бежать. И конец предлагал автор, конечно, счастливый. У них рождался младенец, которому суждено было всех со всеми примирить. Да и какой еще мог придумать конец Сашка, мальчишка, в его-то семнадцать лет?

Полуянов тогда пропустил выход Сашки на стройку. Людей брали на новый корпус института убирать мусор, таскать носилки с раствором. И как всегда, было жалко отдавать кого-то из толковых ребят. Сашка же и был у них как бы на все случаи, когда надо кинуть человечка в колхоз или на стройку, послать в командировку, в которую никто не хочет ехать. И когда Полуянова приперли в профкоме, он сказал, что даст одного человека. Профсоюзник был зануда и язвенник, переросток из комсомольцев тридцатых годов. Легче было дать ему человека на стройку, чем терпеть его болезненную физиономию, сопящую над старым гроссбухом, в который он вписывал работников умственного труда. Стройка была предметом амбиций одного из замдиректоров, средств на нее не было, она тянулась лет десять.

Полуянов уехал в командировку, и ребята сказали: «Саша, давай, старичок, вперед! Покажи им, как это делается!»

Стояла зима, слякотная, с ростепелью. Но вдруг резко ударил мороз, на новом корпусе было особенно холодно. Полуянов вернулся, начал вертеться с документами, оформлялся в Венгрию, ему сказали, что Сашка на стройке, и он пропустил это мимо ушей. Это такая нынешняя манера не заботиться о том, кого ты послал в колхоз или на стройку. Уехал, ушел, с глаз долой — из сердца вон. А в Сашкином случае это было очень верно — все устали от него.

А потом — как это всегда бывает ужасно — в маленькой и поганой столовой института, когда Полуянов выходил с подносом скучной жратвы в обеденный зал, он краем уха услышал: «Слышали, парень разбился на третьем ризолите?» Вонь от варки костей, от кислой капусты стояла по всему этажу, какая-то музыка пиликала из репродуктора. Подавальщица Паня, большая и тупорылая воровка, обтирала кулаки передником. На кассе гремела худосочная Тамарка, подолгу и нудно ссорившаяся с едоками за копейки и пятаки. В задней комнате столовой рубили мясо с хаканьем и придыханием. Полуянов даже не вспомнил, что там, на стройке, есть кто-то из его людей.

Потом он бежал по ледяному ветру в одной рубашке, бежал в новый корпус, но Сашку уже увезли. И только худой, кашляющий прораб мотал на горле шарф, размахивал руками в вязаных варежках и кричал, стараясь выиграть время и прочахнуть с похмелья.

— Я говорил, что надо тихо с носилками ходить. А он побег и оскользнулся. Огородка была, как же, так он же аж под нее. А огородка была, была огородка. И технику безопасности он подписал.

Полуянов поднялся на третий этаж и увидел, как плотники по-быстрому лепили ограду вокруг дыры в полу. Внизу, в проеме этой двухметровой дыры, десятью метрами ниже, на первом этаже валялись доски, арматура, кучи битого кирпича и бетона. На это все Сашка и упал спиной.

Полуянов поехал в городскую больницу. Мест там не было, и Сашу положили в коридоре. Он был в сознании. На дворе спустились быстрые зимние сумерки; в коридоре больницы света еще не зажигали, и только красиво горела стеклянная лампа на посту медсестры. Сашу положили высоко, на подушки, и Полуянова поразило, как он молчал и как смотрел. Хирург буркнул Полуянову, что при переломах позвоночника сознания не теряют. Саша лежал высоко, внезапно показалось, что он очень красивый: смуглое тонкое его лицо, цыганские кудри темнели на подушке и яркие, светившие изнутри, глубокие его синие глаза. Он как-то тихо, снисходительно улыбался, нежно, как человек, узнавший уже главную тайну. Сашка казался очень чистым и юным.

Полуянов поехал домой, начал крутить диск телефона, чтобы устроить Сашку в клинику. И все охотно откликались на его просьбы, когда узнавали, что в больницу попал его человек. Они сразу схватывали именно эту сторону дела — ту, что знал прораб, и ту, о которой не подумал Полуянов. Никто не имел права посылать Сашку на стройку. Ему не было семнадцати лет. Всем было начихать, всем надо было выполнить никому не нужное предписание дирекции или там райкома — всем было все равно, лишь бы их не трогали. И именно этот момент все сразу понимали, потому что звонил Полуянов людям своего круга. Каждый знал, что может легко оказаться в положении Полуянова. Это все он скоро и ясно осознал: никто, никто решительно не интересуется самим Сашей.

Профессора нашлись, и нашлись ходы, но к утру все это уже оказалось ненужным. Ночью, часа в три, Саша умер в полном сознании, так сказала дежурная сестра. Это была молоденькая, робкая, какая-то еще не остервенившаяся от больничной жизни, практиканточка. Она тихо плакала, стоя перед Полуяновым, но это уже, кажется, было через два дня, когда он отыскал ее, чтобы узнать подробности, в следующее дежурство бригады.

В белом халате она напомнила Полуянову ангелов, которых можно видеть на старинных католических кладбищах. Ангелов, стоящих босыми пятками на засыпанных снегом памятниках и оплакивающих улетевшую душу. Полуянов стоял перед ней, крупный, рослый, в лабораторном белом халате, и проходящие больные огибали его, здоровались, думали, что это строгий врач распекает провинившуюся медсестру. Потом одна старуха сказала:

— Доктор, вы не ругайте нашу Нелечку, она очень хорошая...

Полуянов слепо посмотрел на нее, кивнул и пошел длинным больничным коридором.

В тот же день Полуянов взял отпуск за свой счет и принялся Сашу хоронить. Это оказалось не очень хлопотно, потому что Саша с сестрой жил в пригороде. Безобразий большого города тут не было. Перевезли Сашу в морг, убрали, приготовили. Хоронили в будний день. Народу собралось немало — подходили посторонние, особенно старушки, горячо интересующиеся всякими похоронами, в особенности же молодыми похоронами. В этом была для них высшая несвоевременность и загадка, которую разрешить они были не в силах; и тянуло, тянуло старух прикоснуться тайны ранней смерти, которой в их жизни уже не могло быть.

Когда Сашу выносили, все было очень буднично. Серый снежок будто сыпал с неба, гроб погрузили в автобус, поехали на кладбище — недалеко.

Хорошее место, это кладбище в Видном. Край поля, подлесок и уголок березовой рощи. Земля не замерзла, и вскопали быстро — те морозы, в которые погиб Саша, быстро отошли, земля не успела промерзнуть и была тяжелой и рыхлой. Гроб сперва поставили на землю, попрощались бегло и легко, опустили в яму, кинули по горстке земли, постояли на ветру, забросали землей. Было зябко и хорошо в природе. Рядом какая-то чужая вчерашняя могила вся была завалена казенными тяжелыми венками, кто-то сказал рядом с Полуяновым: «Завалили, чтобы не поднялся, вишь?»

Шли к автобусу, и маленькая, и вообще какая-то нерослая сестрица его хватала всех за рукава, заглядывала в глаза и звала обязательно зайти. Она говорила все одно и то же тихо: «Зайдите к нам, выпейте за Сашину память». И полуяновские, лабораторские, которые собрались сразу удрать с этих поминок, глаза поотвели и обещали остаться. Многие из них просто струсили... На поминках многие знали, как бывает, когда наливший по брови дальний родич с маминой стороны, этакий какой-нибудь дядя Сеня, как перегнется через стол, да как даст по столу, да как на глазах у всей родни и вывалит, как начнет ворошить в душах по русскому обычаю:

— Так что ж вы его, едрена ваша мать, на погибель послали, а сами-то не пошли?

И тут слезы, крик, хватание за руки — и не ответишь ничего, и не смоешься. Очень уж у нас площади малые жилые для такого похоронного застолья: живым жить хватает, а мертвых поминать мало. Как сельди в бочке на этих поминках, честное слово.

Ходом прошли через старое кладбище и попали к могиле, которых теперь много: полированный черный камень, а с темной его глади серым глядит бравое лицо лейтенантика. Фотокарточка, с какой делали, должно быть, выпускная, браво смотрит вполоборота. И сидит трясущаяся старуха, подметает снег веничком, возит им по полу. «Будьте прокляты с вашей войной», — сказали за Полуяновым, и пошел там негромкий разговор про то, что вот послали бы Сашку в Афганистан, угрохали бы там за милую душу — какая разница? От судьбы не уйдешь — это кто-то из полуяновских себя уговаривал, чтобы дальше жить было можно. Полуянов оглянулся: кто? Быстров. Многие вспомнили, что и у них мальчики подрастают. «Если моего убили бы, я бы жить не стал», — сказал Ленчик. И так что-то стиснуло душу. И захотелось выпить водки, чтобы опомниться и согреться. Все пошли на поминки, не стали сбегать.

Длинный стол, две лавки, стулья. В этой квартирке и двоим тесно было бы, потому что она была как-то безобразно разгорожена шкафом, а за шкафом, как сказала сестрица, и был выделен этот уголок его, Сашкин кабинетик. Все это поняли и по тому, что столы были так поставлены, чтобы все видели это пустое пространство. И действительно: было полное ощущение — от тесноты за длинным и узким столом, и оттого, что в углу было маленькое, но пустое место, казалось, что он здесь, среди нас, что он вышел и вот теперь войдет. Полуянов удивился такому сестринскому мастерству. Сидели на лавках боком, тетка трясущимися руками подавала блины.

Блинов хватило по первости не всем, но водки всем хватило. И тогда приподнялся один из тех, что постарше, и так, стоя на полусогнутых, сказал тихо: «Вот так, погиб, умер наш Саша, Сашенька. Теперь вот мы тут все, которые его знали и любили, собрались, значит, и за это спасибо всем, кто пришел, чтобы его помянуть, пусть спит с миром, пусть будет ему земля пухом». И в том конце всхлипнули женщины. А на этом краю зашелестели: «не надо... не чокайтесь, Иван... так... не надо». Все выпили медленно и чинно, не чокаясь.

А потом вразнобой зазвенели вилки, потому что вилки у них оказались какие-то разнокалиберные. Блины приносили и снова ели, и пили водку. А потом женщины как-то вдруг быстро заставили стол очень хорошей едой и закуской, всеми этими колбасами, кетой, семгой, салатами, крабами, огурцами свежими, ярко-зелеными и блестящими, грибами, мясом и рыбой. Стали доставать еще бутылки, родственницы ушли от стола помогать на кухню, раздвинулись локти, развернули плечи, и кто-то уже тайно тащил папиросину из пачки «Беломора», а тут как раз и на другом конце стола щелкнула зажигалка и завилось синее колечко табачного дыма.

И пошел, набирая скорый ход, разговор про то, откуда и как водку доставали, и про то, что городок маленький, и потому про Сашку многие знали, что очередь молчала и пропустила, когда вывозили ящики с водкой из магазина, и кто-то спросил испуганно: «Из Кабула, что ли, привезли?» И снова пили, не чокаясь, а слова про покойного говорили уже и те, кто говорить не собирался, и все смотрели после таких слов в его «кабинетик» — одну секунду, молча, в пустое это пространство, где оставалась на столе недопаянная схема, две книги, тетрадка в зелененьком переплете.

Леня мигнул Полуянову через стол, и они стали, вся их команда, тихонько выбираться. За окном уже чуть засинели зимние русские сумерки. В прихожей разбирали пальто, шубы и кожухи. И Сашина сестра увидела Полуянова из кухни и быстро, на ходу обтирая руки о передник, подошла. Полуянов отдал ей конверт с тремя сотнями, которые насобирали и выбили из профкома. Она взяла молча, ничего не возражая, положила деньги в карман передника, отерла тылом ладони пот на лбу и убрала прядь волос. Потом быстро вынула из-под передника бутылку водки, и Полуянов почувствовал, как она тяжело скользнула в карман его пальто. А потом медленно и чинно сестрица Сашина всех их поцеловала — по-женски, крепко, влажно. Она была уже пьяненькая, глаза ее светились влажным блеском, и было странно, что на этом будто сжатом судорогой некрасивом лице так сияют Сашины красивые синие глаза.

Они шли к станции по сугробам, Измайлов стал бубнить про то, что надо им теперь Сашку по-человечески помянуть и чтобы, значит, Полуянов сам место выбрал. Они отошли по боковой тропе и у маленького химического ручейка, не замерзающего, черного, курившегося от черной воды паром и инеем, на обледенелом мостике стали быстро пить, передавая бутылку водки по кругу. Потом кинули пустую бутылку в ручей, и она поплыла, качаясь среди серых волн, к розовому снежному пласту над ручьем. Полуянов был не пьян, но его как-то знобило. Измайлов же крепко выпил, и какая-то лихорадочная мысль мелькала у него во всех движениях — он искал глазами, не зная, что теперь делать и как теперь быть. Полуянов даже пригляделся: Измайлов очень в этот момент покойного Сашку ему напомнил. В эту минуту он словно был в этом облике явлен. И Полуянов подумал, не в этом ли смысл русских поминок: чтобы мелькнул в облике пьяненького гостя последний след образа — точно так, как он запечатлелся в памяти.

Они выходили на широкий снежный простор откосов и оврагов, и Измайлов первым приметил огонек на горке, приятный даже теперь, на ветру, в этот зимний вечер, теплый огонек среди голых стволов березовой рощи. Это было старое кладбище, церковь стояла в роще. Вороны, уже почти невидимые, покаркивали над березами, далеко внизу пробегали электрички, сверкая и переливаясь чудесными электрическими огнями. А на горе, в роще, белая на белом, стояла над снегом и среди белых стволов церковь. Из ее окон шел тихий и неприметный свет. Полуянов давно знал эту церковь, ездил с матерью сюда, и ему как-то страшно ревностно не хотелось, чтобы ребята сейчас заметили ее.

Однако церковь так была поставлена, что пьяненький Измайлов ее увидал и воодушевился. И как ни держал своих Полуянов, как ни грозился уйти, они повернули к кладбищу. Леня вдруг сказал Полуянову очень ровно и трезво: «Не хочешь с нами — уходи», — пожал плечами. Полуянову было не до обид, стыдно было пускать пьяных в церковь. Но они, словно одной рукой поднятые, пошли туда — народ пугать. Полуянов двинулся сзади, рассчитывая на то, что сторож их не пустит. Но в церкви шла служба, и во дворике, чисто выметенном от снега, никого не было.

У входа в церковь они как-то подобрались, потоптались на снегу, а когда вошли, то без напоминания, все разом сняли шапки и разбрелись по углам. Полуянов следил за ними, боясь их потерять в толпе молящихся, но краем глаза увидал тихие, почти новогодние огни в лампадках, услышал, как горели и трещали свечи под образами. Было очень душно с мороза и тяжко от ладана. Теток и старичков в церкви скопилось изрядно. Полуянов испугался, что ребят развезет в тепле и сладости душного воздуха. Их тогда надо тащить наружу. Но стоял позади него Измайлов, моргал благожелательно и весело. И тихо притулились, стесняясь, в уголке Леонид с Мишей. Певчих не было, но кое-какое слабое бабье пение раздавалось в толпе, то рядом, то где-то впереди. Полуянов постоял недолго и совсем уж собрался их вытаскивать, но пропустил тот момент, когда вышел священник и стал читать по книге. Он прошел через разошедшийся ряд народа и встал почти у входа, с ним был еще какой-то облаченный в церковное человек. Уйти стало совсем невозможно. И становилось все теплее — в церкви было хорошо натоплено. Полуянову пришлось расстегнуть пальто.

Поп был молодой мужик, лет под сорок, черноволосый, гладкий, блестящий и быстрый, как крот. Читал он хорошо поставленным голосом, словно диктор на радио. Поэтому, наверное, слова не доходили. Полуянов их с голоса не понимал. Поп говорил как-то слишком быстро, словно на нерусском каком наречии. Но вдруг он сбавил ход, снизил обороты и сказал очень просто:

— Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших.

И эту тихую фразу он как бы вбил Полуянову в лоб, как топором врубил. Полуянову стало вдруг сладко во рту и горько, и горячо в груди. Он очень пожалел себя, и ему захотелось поплакать. Вдруг он понял, что Саша действительно умер, и теперь он закопан в эту сырую, тяжкую и холодную землю, и что в этом холоде и тяжести он лежит. И над ним будет проходить время, будут времена года сменяться — тепло и холод. Но что и после него долго-долго будет реять ясный голос в мире, который непременно скажет в маленьком храме на вселенском холоде и ветру: «Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших!»

Его развезло, он подхватил Измайлова, который тоже вовсе раскис, все пребывая в умильном и радостном настроении и все повторяя: «Отпоем Сашеньку, а?» Они выбрались на холод, а за ними выскочили другие, надевая на ходу шапки.

Спускались по длинной отлогой дороге к электричке, к платформам. Измайлов шел впереди, размахивая руками, расстегнувши пальтецо и бросив шапку, которую они подобрали. И вдруг он засмеялся весело на ветер, оглянулся и побежал вниз. Он бежал быстро, выкидывая свои журавлиные ноги, и все разгонялся, разгонялся. Длинные волосы его развивались и летели. Они не сразу поняли, что его уже несет под уклон, что он ничего не соображает, потому что пьян и не может остановиться. А когда поняли, то все сразу закричали, потому что увидели, что он сейчас убьется прямо у них на глазах. Измайлов словно летел, делая шаги все больше, шире, чаще, подпрыгивая, загибал ноги в коленках, словно вот-вот должен был оторваться от земли и полететь. Все кинулись догонять его с гиком. И Леня почти догнал, но прямо с разбега Измайлов вдруг не удержался на ногах и в самом низу, у платформы, сорвался головой вперед и полетел в обледенелые сугробы, ударился и затих в снежной пыли.

Они вытащили его за ноги, стали сбивать с него налипший снег, а Измайлов вдруг повернул к ним какое-то звериное лицо, снежную маску, полную крови и слез, из которой глядели на них два темных немигающих

глаза и в которой был разверзнут красный большой рот с кривыми зубами, полный пьяного воздуха — он посмотрел на них, захохотал и заплакал, идиот!

В пятницу вечером в Кукареки к Полуянову приехала целая депутация: мама, жена, сын Ванька — их привез на своей машине бывший полуяновский начальник и сокурсник Гена Жорник. Гена приехал за яблоками. Он был сыроед, вегетарианец, йог, член КПСС, секретарь про иностранным делам института и процветал в жизни, как никто другой из полуяновских сокорытников.

Сад же ломился от яблок. Антоновка с пятнадцати яблонь уже лежала на траве. По утрам бараны бабки Мани забегали в сад, легко и грациозно, по-горски перемахивая низенькую садовую калитку. Эти удивительные животные с внимательными глазами быстро пробегали по саду, пробуя сладкое яблоко, и подолгу стояли под яблоней и ели. От их укусов на плодах оставались следы, похожие на человеческие.

Сперва они стояли под красной румяной анисовкой, под большим старым деревом с редкими красноватыми листьями на ветках; потом под деревенскими штрифелями, потом под тонколистой и густой коричневкой, потом под славянкой — мощной и бледной, потом перешли на кислую и твердую антоновку. Если Полуянов хлопал в ладоши, они легко слетали с места, проносились по саду изящным антилопьим аллюром, перелетали через изгороди и исчезали в осеннем тумане полей.

— У-у, проклятые! — кричала баба Маня громко и протяжно. — Чтоб вы подохли, сволочи окаянные.

Геннадий Петрович Жорник приехал за яблоками, но еще и потому, что ему было любопытно посмотреть на ушедшего от мира Полуянова. И посему Полуянов сперва ничего ему не сказал про рукопись, про Сашу.

Жорник особенно Сашку не любил. Жорник был «деловой» — в том самом оскорбительном смысле, который вкладывают в это слово нынешние девушки, когда к ним клеятся на улице. Жорник «умел крутиться». Ему так повезло в жизни, что у него научная карьера вызывала интерес и энтузиазм. Наука платила ему взаимностью. Он не лез в звезды, не погружался в глубинные тайны мироздания. Защитился он мгновенно, возглавил лабораторию и теперь метил в большие научные воротилы. Сам он, казалось, не имел ни времени, ни желания задумываться о себе и о жизни, тем более что жизнь ему повода для этого не давала. Когда-то он усвоил вполне достаточный набор студенческих шуток (Гашек, Ильф и Петров, Стругацкие), способов зарабатывать (ученики, диссертация), отдыхать (байдарка, Карелия), целый набор масок поведения и способов жить. Недурно женился по любви, родил двух детей. Вместе с тем он не был ни дураком, ни пройдохой. Как всякий человек, долгое время погруженный в дело, требующее сосредоточенности мысли, он был способен на неожиданные ходы и умел действовать.

Жорник был оригинал: летом на работу он ездил на велосипеде. За здоровьем своим следил пристально — это первое, чему он научился в загранкомандировках. Дети его отродясь не ели мяса. Он и приехал для того, чтобы до весны запастись яблоками. Впрочем, при своем сыроедении и вегетарианстве Жорник мог по старинной студенческой привычке — и, кажется, только и именно следуя ей — мертвецки напиться. В последние два года он трижды работал за границей, то есть был отмечен высшей советской наградой: не жить в родной стране.

Саша был ему очень не нужен, вреден, Жорник обвинял Полуянова, ссорился с ним, они разругались из-за Саши, когда тот выгворил очередную штуку с высоковольтными вводами. Но после гибели Саши, в сущности, именно Жорник спас Полуянова от тюрьмы. Так что Полуянов решил ему пока про Сашину рукопись не говорить. Да и как было объяснить, оправдаться перед прагматиком и дельцом Жорником?

Было уже поздно, когда они приехали, темно. Полуянов сам сел за руль и привел «жигуленок» к дому. С разгона он выскочил из осеннего ночного тумана, который все клубился впереди в свете фар, и выехал под длинный косой луч, падавший из-за занавесок веранды на мокрые редеющие кусты сирени. Полуянов заглушил мотор, женщины пошли разгружаться и готовить ужин, а они вдвоем немного посидели в тишине, покурили, помолчали.

— Ну, здравствуйте, — сказал Жорник громко.

Полуянов как-то уже догадался, что Жорника может привести к нему в скит не жадность до яблок, а какая-нибудь личная неудача или житейская несправедливость. В темноте светился огонек сигареты, но Гена молчал и вздыхал.

Потом вполне чинно посидели, поужинали деревенской картошкой с солеными грибами и московскими консервами, выпили разбавленного спирта из пузырька, который привез с собой Жорник. Спирт был жуткий, желтоватый и крепко драл горло.

— Ой, что это? — спросила мама и передернулась.

— Это из морилки, — сказал Полуянов.

— Из морилки? А это не вредно?

— Двойная химическая перегонка из морилки для морения дерева. Она спиртовая. Есть еще на изопропиловом, но есть и такая.

— Но это не отравлено?

— Весь химический факультет вырос на этом народном напитке, — любезно объяснил Жорник, по привычке слишком низко наклоняясь над мамой, точно так, как он наклонялся над молоденькими девушками. — Свадьбы игрались, первенцев крестили. Нет, это не вредно.

Мама таяла. Для нее люди жорниковской породы так навсегда и остались тихой, недостижимой мечтой. Она всегда хотела блестящей легкой карьеры для сына. И странно: его всегда окружали такие парни, каким она хотела видеть Полуянова. Но сам он словно уклонялся от предназначенного для него мамой пути, отстранялся. И этим страшно бесил, ссорил их. Мама смотрела на Жорника с нежностью — в нем все было наружу: модная профессия, хороший оклад, перспективы роста, положение в обществе, его ранняя партийность, выездная внешность и анкета. Она, кажется, уже тихо опьянела от спирта, слушая короткие, хорошо построенные Генины рассказы о жизни за рубежом. Мама вежливо задавала ему вопросы, на которые знала ответы, и Гена отвечал, хотя знал, что ответы известны заранее. Слегка закосевший Полуянов с наслаждением слушал эту беседу.

— Геннадий, а почему вы ездите в Америку? Это вам необходимо по работе?

— Скорее всего, да, — говорил задумчиво Жорник и бросал быстрый взгляд на Полуянова и на Варю. — Когда потом возвращаешься, то можешь оценить свежим взглядом, что же сделано здесь.

— И это, наверное, относится не только к работе?

— Конечно, так и природу начинаешь ценить по-другому, и памятники культуры, многое.

Все это напоминало телевизионные диспуты, в которых были заранее распределены роли: вежливая и доброжелательная мама, высокий, с косой прядью, падающей на лоб, с этим аспирантским смешком в углу красивого рта и веселыми глазами, Жорник. Он был профессиональный обаяшка, нравился и любил нравиться, и теперь он говорил быстро, легко, нешироко размахивая руками. Он даже чуть покачивался на стуле и закидывал голову набок — очаровывал.

Варя тоже негромко смеялась и говорила:

— Жорник, вы пижон.

Потом мужчины курили на крылечке. Было очень темно, налетевшие с ветром облака прикрыли сумрачные звезды осенней ночи. Свет падал только из боковых окошек, и туман отошел.

Жорник говорил, остывая от своего застольного успеха:

— Оформляли хоздоговора, отчеты писали, то да се. Ничего толком сделать не смогли — ну ты знаешь. Не в котлы же было лезть. Спрашиваем Холоднова: как писать отчет? Он остановился в этой своей профессорской позе — как на кафедре, помнишь? — и говорит так задумчиво: «Отчет пишите. А цифры будем ставить в о л е в ы м образом».

Полуянов засмеялся. Он оценил: Жорник все еще числил его своим, предлагал ему выход, отход назад; он показывал, что с ним все еще можно

говорить о делах так же, как они говорили каждый день, когда были вместе.

— Как там дела-то?— спросил Полуянов.

— Нормально. Помаленьку. Я в Японии был.

— Знаю.

— Насмотрелся всего: телевизоры цветные на стенке, в кармане, в машине. Воздух чистый, между прочим,— это все сказки про то, что там засоряют. Чище, чем в Европе. Компьютеры какие хошь. Самолеты и эстакады— жуть просто.

— Светлое будущее,— сказал Полуянов.

— Не знаю, наверное. Но только я бы там жить не хотел. Если бы сюда все это— другое дело.

Полуянов все ждал. Не для таких разговоров приехал к нему Гена Жорник. Жорник закурил еще одну, стал затягиваться, как-то обиженно засопел. Полуянов понял, что Гене надо пожаловаться, но он не умеет, а от Полуянова он все-таки отвык. Что ему надо сказать одну фразу, а сказать он ее не умеет. Не получается. Но ведь и у него не получалось рассказать про Сашкину рукопись.

Жорник как-то свял, поскучнел.

— Ну что, пойдем спать? — спросил Полуянов.

— Да, пора,— Жорник выкинул окурок.

— Ты что, с Нинкой собрался разводиться?— спросил Полуянов.

— Ты откуда знаешь?

— Все несчастные семьи похожи друг на друга, все счастливые счастливы по-своему,— сказал Полуянов.— Коренное, между прочим, отличие двадцатого века от века девятнадцатого.

— Да-да,— сказал Гена.— Все смешалось в доме Жорников.

Он помолчал.

— Я встретил женщину... Удивительная... Но там двое детей, она замужем, счастлива, любит мужа. У нас с ней такое завертелось... Нет, не это. Только разговоры, и один раз целовались в машине. Плачет, но не могу оторвать ее от себя. Две несчастные семьи. О разводе не может быть и речи. У нее муж, обожает детей, ее любит, молится на нее. Дети там — свет в окошке. И полное доверие— карт-бланш на любые действия. И потому обмануть она его не может. И я не могу обманывать. Полная катастрофа.

Полуянов молчал и курил.

— Мы словно попали в обвал. Вот жизнь: она построена, размечена. Уже внутри все перебродило, устоялось. Какой-то там даже уже внутри человек расположился в тебе— ты сам. Со своими привычками, со своими болячками совести— но уже устроился. И тут как лавина, как судьба. И нельзя, нельзя. Ничего нельзя.

— Встречаетесь?— спросил Полуянов.

— Очень редко. Даже звонить не имею права. Уже получается обман. А она абсолютно чистый человек— плачет, мучается. А когда встретимся, молчит. Час, два. А я тараторю, тараторю, что под руку попадется. Если на нас со стороны посмотреть— и не понять ничего. Двое знакомых, и все. Но как расставаться, это взрыв. Прижимается, дрожит и даже поцеловать себя не дает— боится себя. И не может уйти, говорит: «Не емко».

— Не емко?

— Да, «не емко» — мало, значит. А по телефону голос холодный, радостный, ровный. Когда вижу ее, руки трястись начинают, ледяной водой окатывает. И такое чувство непоправимого счастья. Я ей из Японии подарок привез— не взяла.

— А вообще чего привез-то? Видак?

— Да, разное, его тоже. Загнать— мне он не нужен.

Уже по деревне Кукареки погасили огни, повыключали телевизоры. Из соседнего дома был негромко слышен зуммер конца программы, и тихо свет голубел в окошке. Анюшка опять уснула у телевизора. Полуянов знал, что она проснется через скорое время по своей давнишней привычке— к утренней дойке. И тогда сама, зевая и потягиваясь, выключит телевизор, сходит на двор, пощупает щеколды. Собака Тайка полает для порядка и тоже выйдет и потянется, длинно выгибаясь всем телом и ложась на передние лапы. Куры завозятся в сарае, хрюкнет поросенок. В Лошадееве залает дурная собака и смолкнет. Осенняя ночь будет длиться и стыть.

— Ты с ней познакомился до поездки в Японию, что ли?— спросил Полуянов.

— Да, давно уже тянется. Я ж говорю, подарок вез ей— не взяла. Муж — настоящий, близкий друг до такой степени, что ни одну новую вещицу нельзя внести в дом, чтобы не объяснить: откуда она, кто привез, почему подарили. В общем— тупик. Общие друзья, общие мысли, дети. А тут я со своими чувствами. И она со своими. Некуда нам это все девать, что делать, ума не приложу.

В темноте исчезли очертания яблоневых веток, но свет из окна стал казаться резким и стало заметно, что электрический он, желтый, грубый. Полуянов усмехнулся: он правильно угадал, что Гена приедет, только если крепко тряхнет его. Знать он не хотел Полуянова после его бегства, называл его пренебрежительно «дезертиром», «ушельцем», острил. А как прижало, так и нашел к нему дорожку, приехал. И понимая, что думает нехорошо, не по-товарищески, не мог Полуянов отделаться от радостного чувства, что его-то люди все рядом. Что в доме идет тихий разговор двух родных ему женщин, что сын спит на стареленькой кровати, закрываясь от лампы ладошкой. И что покой царит в этом строго обязательном мире. И что как все счастливые семьи, они счастливы совершенно по-своему — очень даже странно они счастливы.

Вдруг потянуло рассказать Жорнику о Сашкином сочинении. Именно теперь рассказать. Полуянов слушал Жорника и думал: ведь попади Сашка на другое место, он бы жив остался. Он бы так не тянулся, не корежился, не старался доказать себе и всем. Он бы не старался подражать Полуянову и Жорнику побеждать во всем. И это его посмертное сочинение только о том и кричит: «Я могу, я могу.» Все думали— и Жорник тоже,— что вот бегает мальчик, придурочек. А он со своим пригородным десятиклассным образованием старался сравняться с такими, как Жорник, догнать и перегнать. Жить ему приходилось в бешеном напряге. Он и фантастику потому же начал писать. И его плющило, корежило.

Он это чувствовал. Единственное, чего он не знал и что Полуянов понял только здесь, в темноте, на крылечке,— что в мире натянутых струн и пружин и нервов нет ничего проще, чем управлять таким человеком,— посылать его на стройку, забыть о нем, отдать его.

Полуянову вдруг показалось, что этой мысли нужно какое-то подтверждение. Он сказал:

— Помнишь, как Сашкину первую установку запускали?

Жорник промолчал— это так было принято, при упоминании Сашкиного имени секунду молчать. Полуянову показалось, что Жорник улыбнулся в темноте.

Сашка по заданию Жорника паял первую высоковольтную установку. Ее вроде проверили— все было на месте. А потом вечером, уже часов в десять, когда все ушли, решили запустить. Включили в сеть, дали напряжение. Тихо замычал трансформатор, загорелась большая лампа— баретр на пятьсот ватт, зацокало реле. Они вдвоем с Жорником зажали уши ладонями— ждали, не бабахнет ли сразу. Ничего не произошло, только лампа светилась внутри металлического короба желтым светом. И тут Жорник сказал: «Смотри, сопля». Это был провод сброса, он висел неприпаянный. Жорник машинально даже протянул руку к установке, но Полуянов схватил его за запястье. «Я в этой комнате ответственный по технике безопасности,— сказал он шутя.— Уж если лезть в установку, то лезть отверткой. А то убьет— мне отвечать». Он выключил тумблеры, реле зацокали, лампа погасла. Потом протянул Жорнику отвертку. «Уж если лезть отверткой,— в тон ему ответил Жорник,— то лезть отверткой с высоковольтной изоляцией»,— и показал Полуянову длинную отвертку с наборной прозрачной ручкой. Он прикоснулся металлом к железной стойке и стал подводить конец отвертки к тому висячему проводу. Иного выхода не было проверить, разрядился ли конденсатор. Иначе можно было ждать сутки.

Как провод коснулся жала отвертки, Полуянов не увидел. Видел он только ослепительный шар взрыва, алый шар огня, который на миг возник внутри корпуса. А потом они вдвоем сидели на полу и молчали. То есть Жорник все время что-то говорил, губы его двигались, но Полуянов ничего

не слышал. Это было уморительно, видеть Жорника сидящим на полу с оплавленным огрызком отвертки в руках, видеть шевелящиеся червячки его безмолвных губ. Слух возвратился через день. И смотрели на мир они искоса, потому что в середине глаза стоял зеленый круг слепоты. Через неделю и это прошло.

— Помню, — сказал Жорник. — Он вообще был малограмотным, Сашка. Потом я проверил, он все «земли» в воздухе оставил, думал, что так нужно. Он и погиб-то из-за неграмотности.

Версия была официальной. Полуянова убедили, когда он приходил на работу и молча целыми днями курил у окна. Комиссия была строгая, но так и показали: по халатности. Выговор влепили всем и по всей строгости.

Эта история была именно потому гнусью, что кончилась таким выводом. И Жорник первый с ней согласился. Полуянов промолчал и, стало быть, тоже согласился. Да и кому нужны были бы его вопли — детям того прораба, который получил бы срок?

Снова Полуянов почувствовал, что вдруг между ним и Жорником словно натянулась пружина, виток ее напрягся.

— Спать идем, — сказал он. — Поздно уже. Завтра много работы.

Конец Сашиного рассказа был таким:

«...Новорожденный был похож на Ирму и на Марка одновременно, только гораздо меньше, и кожа его была нежная, светло-золотистого цвета. Глаза смотрели так же, как у Ирмы, большие, темные, с влажным блеском, а нос и линии полных губ принадлежали Марку. Но самое главное — у него оказалась почти идеально круглая голова. Никаких шишкообразных выступов, придававших обычно сходство с треугольником или квадратом. Если раньше и Ирма, и Марк посчитали бы это несомненным проявлением уродства, то теперь малыш им казался верхом совершенства. Словно необычная форма головы сулила мальчику иное, лучшее будущее.

— Марк, — серьезно сказала Ирма. — Надо как-то назвать его.

Марк озадаченно посмотрел на подругу, такое ему не приходило в голову.

— Надо назвать его как-нибудь необычно, — вдохновенно продолжала Ирма. — Придумай что-нибудь, ведь ты же мужчина.

— Давай назовем его... Мир.

— А что это за имя? — удивилась Ирма, первый раз слыша подобное звукосочетание.

— Ну, это будет значить то, когда нет вражды, когда не надо никого убивать, когда всем людям хватает пищи и земли, не надо драться друг с другом за место под солнцем, ну, квадратноголовые с треугольноголовыми... и наоборот... — Марк еще хотел что-то добавить, но смущенно умолк.

— Кажется, я поняла... Ты хорошо придумал, муж мой. Пусть будет Мир!»

До завтрака набирали яблоки в большие красные сетки, которые Жорник украл на овощной базе. Утро было солнечное, но заспанное, мокрое. Листья блестели на открывшихся яблонях, под ногами пружинил сплошной мокрый ковер из листьев и падалицы. Варя подбирала яблоки с земли, аккуратно укладывала их в ящик. Полуянов и Жорник стояли на лестницах и снимали мокрую, желтую и твердую, как деревянный брус, антоновку.

Жорник был возбужден, он выспался в деревенском доме среди живой шуршащей тишины и холодного ночного тумана.

— Ты знаешь, — говорил он, — совершенно дурацкий сон: просыпаюсь среди ночи в поту, потому что понял, что поменял собрание сочинений Пушкина в книжном магазине на собрание советских детективов. И прямо холодный пот прошиб — нет у меня больше Пушкина! Испугался страшно, чуть не заплакал. «У лукоморья дуб зеленый...» Негде больше прочитать. Нету. И так, поверишь ли, одиноко мне стало без Пушкина — как без матери. Чуть не заплакал от обиды, ей-богу.

К обеду сеток накидали полную машину. Жорник сослался на дела и уехал. Мама уехала с ним — не хотела оставлять отца надолго одного.

А Варя с Ванькой остались. Наконец-то они все были вместе. Целый

день они провели на огороде и в саду, копали картошку, сажали кусты смородины, окапывали яблони. Ванька, правда, больше кидался гнилыми яблоками, вздыхал, бродил по саду с лопатой.

С той поры, как Полуянов купил дом в деревне, он решительно и твердо объявил на всей своей территории абсолютизм, ввел просвещенную абсолютную монархию, а себя назначил монархом. Власть свою Полуянов называл идеальной в том смысле, что она призвана поддерживать в его владениях равновесие сил: не давать никому тиранить другого. Кодекс такой власти он вычитал в какой-то книге, где была приведена программа русской анархической группы. Звучал этот кодекс так:

«1. Каждый делает, что хочет.

2. Пункт первый ни для кого не обязателен».

Соединив абсолютизм с анархией, Полуянов добился выдающихся результатов. Стоило кому-то сказать: «Иди и покопай в саду» — как Полуянов сердился вполне серьезно. Он жестко говорил, что здесь, в Кукареках, только он может навязывать свою волю другим, а если это кому-то не нравится, то — скатертью дорожка.

Первое время мама и отец еще пытались заставить Ваньку копать или теща заставляла Варю чистить картошку, но после бурных объяснений, начинавшихся вроде бы в шутку, а кончавшихся ссорой, уходом в лес, долгими вечерними обидами, перестали. И все происходило чудесно само собой. Копался огород, чистилась картошка, хорошо и свободно ходилось в лес, на реку, а то и просто можно было валяться на глазах у всех в саду, в гамаке. Приезжавшие гости сразу спрашивали: «Наверное, надо покопать?» — и с мукой в голосе предлагали они свои вымученные услуги. Полуянов пресекал эти глупости с жестокостью истинного абсолютного монарха — сразу же знакомил гостей с кодексом. И какое облегчение читалось тогда в их глазах! Они начинали резвиться как дети, а потом тайком вылезали в сад и... копали в охотку на припеке, и сажали, и обрезали, укрепляли забор. Если делали плохо, то Полуянов только посмеивался.

Днем прилетел ветер с юго-запада, принес тепло и влагу. С яблонь опять полетели листья. Они с Варей обрезали ветки, разговаривали, а Ванька, умаявшись от безделья, теперь окапывал третью яблоню. Потом обедали, пили чай на веранде, говорили о клематисах, о диком винограде — и вообще делали те легкие обязательные дела, мелкие, но важные, которые и составляют суть и плоть отношений любящих друг друга людей, которые счастливы так самостоятельно, так по-своему.

После обеда пошли в лес по грибы, по знакомым местам. Сперва шли по озимым, по проторенной тракторной колее, по которой возили хлысты бабкам на дрова. Ваньке задали в школе учить кусок «Слова о полку Игореве» на вторник, и сперва было решили не идти, остаться, но потом Варя предложила учить вслух, на ходу, и это Полуянову чрезвычайно понравилось — учить «Слово» среди полей и дорог. Ванька сперва похныкал, но потом согласился и он, потому что очень хотел по грибы и знал, что без него не пойдут.

— Давай по-честному, — сказал Полуянов. — Будем учить вместе, за компанию. Мы с тобой. Только условие: учить не перевод, а старый текст, старославянский. Зато это верная пятерка.

Они шли под тяжелым, мокрым ветром к лесу. Мелкие брызги и водяная пыль тянулись с неба. Над ними низко гудели и пели провода высоковольтной линии. Ванька, как все эти нынешние дети, выпестованные советской школой, не любил и боялся всяких нестандартных ходов. И они немного поссорились и поругались, но потом дело у них пошло.

«Уже бо, братие, — спотыкаясь, на ходу читал Ванька, — не веселая година въстала,

уже пустыни сил прикрыла.
Въстала обида в силахъ Даждьбожа внука,
вступила дѣвою на землю Трояню,
въсплескала лебедиными крылы
на синѣмъ море у Дону;
плещучи, упуди жирня времена.
Усобица княземъ на поганыя погыбе,
рекоста бо братъ брату:
«Се мое, а то мое же».

И начяша князи про малое
«се великое» млъвити,
а сами на себѣ крамолу ковати.
А погании съ всѣхъ странъ, прихождаху съ победами
на землю Рускую».

Они шли, учили, запинались, снова и снова повторяли фразы. И все это как-то кисло шло, потому что не было живой связи между тем дальним веком и нынешним днем жизни здесь, в Кукареках, на поле, засеянном тем же древним злаком, между теми же полями и перелесками. Не было у Полуянова слов, чтобы объяснить сыну, как это все близко ходит из века в век, что «упуди жирня времена» — это тоже и наши бедные времена, как ни жалуйся на жизнь.

Варя уже вошла в лес и палочкой разгребала листья, искала в березнячке. А Полуянов рассказывал Ваньке про конных и пеших, про князя Игоря, который был просто завоеватель, который хотел чужого грабануть. И который в первом бою чужими награбленными одежками болота гатил, чтобы провести войско. Говорили про храброго Мстислава «иже зарѣза Редедю предъ пълкы касожьскыми»:

— Редедя был очень сильный, большой — он потому и вызвал Мстислава биться перед полками один на один. И он начал было его одолевать, но тут Мстислав взмолился Богородице, чтобы дала силу и за это обещал ей церковь поставить. И поимел такую силу, что сбросил Редедю на землю. И так сильно бросил, что Редедя не смог подняться. И тогда богомольный Мстислав спрыгнул с коня, вынул нож и его, лежачего, «зарѣза».

Ванька как-то оживился, дело пошло лучше. Он любит, как Полуянов рассказывает. Он чувствует, что есть за военными его рассказами какая-то правда. Валера Полуянов родился после войны и много-много наслушался военных историй, и детской своей памятью схватил многое так ярко и сильно, что потом оба его старика сильно удивлялись, что он помнил такое, что сами они забыли. Тут намечалась целая линия, о которой говорить Ваньке не имело смысла, наверное.

Целое полуяновское поколение послевоенных мальчишек было под завязку полно военных воспоминаний, рассказов, фильмов и как-то всю свою будущую жизнь строило на том, что им войны не миновать. И не было на земле людей, больше ожидавших будущей войны, чем мальчишки послевоенных лет рождения. Они ждали ее со всем пылом русской провинциальной романтичности. Но потом войны не случилось, жизнь как-то прошла мимо. Целые поколения офицеров выросли, отслужили и ушли в отставку.

Полуянов вспомнил, как его старик, кадровый военный, отслуживший всю войну на передовой, говорил, брезгливо щурясь, о нынешнем разладе и застое:

— Издержки мирного времени, — говорил он, твердо ставя слова, и Полуянов не мог его сбить с этой мысли.

Обо всем этом мальчику не скажешь, а Варя не любит говорить на эти темы. Как многие женщины, она так устает от работы, дома и всяких занятий, что больше говорить об этом не имеет мочи. Они давно обо всем договорились: дома эти темы не трогать. Тут какая-то чисто женская, материнская защита. Потому что говорить об этих наших делах общей жизни — только душу рвать и себя травить горечью. Это дом разрушает, огорчает, отвлекает от человеческого, частного, интимного, и Варя запрещает это. Лицо ее кривит такая мученическая судорога, что нет желания продолжать начатый разговор.

— Расскажи еще что-нибудь, — попросил Ванька.

— А учить когда?

— Да выучу я, — сказал он и, запинаясь, сосредоточенно отбарабанил кусок, — ну как?

— Плохо, — сказал Полуянов. — Ну, ладно... Вот слушай. Дело было в году пятьдесят шестом уже, дед твой тогда служил на самой границе, в маленьком городке, окружавшем старинную скобелевскую крепость, в которой размещался артполк. По стенам крепости мы, пацанва, бегали как по дорожкам стадиона — на этих стенах могли разъехаться две машины. На углах стояли широкие бастионы. С севера можно было видеть скалистый хребет, серый такой и голубой. А на юге гор не было, там текла

мутная река, желтая, находившаяся в погранзоне. Берега ее заросли тугаями, острова на ней год от года меняли очертания, и за ней на полях копошились маленькие фигурки. Они были маленькие, цветастые, это были дехкане из чужой страны, Афганистана, но нам они казались как будто из восточной сказки с картинками. Нам казалось, что там все сказочное, за рекой.

— А в крепости?

— А в крепости было тоже замечательно. Там стояли такие маленькие пушки, трехдюймовки, словно специально сделанные для мальчишек.

— Ты из них стрелял? — спросил Ванька.

— Нет, сам не стрелял, а рядом стоял.

— Громко бьют?

— Да, мне твой дедушка сказал, чтобы я рот открыл, тогда не будет так громко. Вот я и стоял с открытым ртом — и ничего, хорошо. Но там были и гиганты гаубицы-пушки, 152-миллиметровые. То есть у них дыра была в стволе — во! Снаряд огромный, его подавали только два человека, очень крепких артиллериста из обслуги. Дед рассказывал, что когда она стреляет, то ствол откатывается назад, а удар весь уходит в две колонны с пружинами — они стоят по бокам. Эти пружины берут на себя энергию выстрела. Они сжимаются внутри колонн вверх-вниз, гаубица подпрыгивает и, словно слон, топает страшно в землю двумя сапогами разом. Всякая техника, она, знаешь, похожа на зверей или на людей. Гаубица эта похожа на огромную рогатую лягушку, которая страшно кричит и стреляет.

— Гаубица, — сказал Ванька, — похожа на гусеницу.

Полуянов глянул на него искоса и удивился. Он читал где-то, что в сходстве, в рифме проявляются давно забытые значения слов и смыслов. «Гаубица» действительно похожа на «гусеницу».

— А ведь верно, — сказал он. — Я видел на Бородинском поле короткие стволы рогатых гаубиц, шведских, очень похожих на гусениц. На них было написано: «Последний довод короля».

— Что такое «довод короля»?

— Это значит, что если король не сумел убедить кого-то на словах, то он поручает договориться гаубицам. Они бьют большими ядрами навесным огнем и убеждают.

— Я понял, — сказал Ванька.

— Ну вот. Нас, мальчишек, взрослые часто брали в полк, когда не с кем было оставить. И мы играли около «сорокапяток». А дома у нас у всех были разряженные болванки снарядов. Мы их с грохотом катали из угла в угол. А вечерами, если родители уходили в Дом офицеров в кино, а мы оставались в доме, запертые, то мы эту болванку брали с собой — она нас охраняла. Я, помню, все боялся пожара, потому что твой дядя, мой братик, спал в постели — он был маленький. А у нас на окнах были решетки — и я все ходил проверять, пролезет ли сквозь них моя голова в случае пожара. Потому что знал, что если голова пройдет, то и весь человек пролезет. Но все-таки мне, как старшему, было страшновато. И снаряд, который стоял на полу посреди комнаты острием вверх — блестящий белым металлом, тяжелый снаряд, — очень хорошо меня защищал в эти длинные вечера. Я засыпал около него на полу, и потом отец переносил меня в кровать.

Дело, о котором рассказывал дальше Полуянов, случилось на учениях. Солдат, водитель тягача, взял влево, гаубица на прицепе повалилась под откос, левая колонна у нее подогнулась, сталь лопнула на месте изгиба. Дело было чрезвычайное. Выпрямить колонну почти невозможно — пружина распирает. Вынуть ее, изогнутую, тоже не могли. Оставалось доложить по команде и ждать. Но именно этого они и не могли сделать.

В каждой воинской части бывает, как в жизни человека, тяжелое время. Три несчастных случая подряд подорвали у офицеров и солдат веру в удачу. Командир был на волоске от трибунала. Сплетение человеческих, служебных, семейных линий, которое всегда тащит за собой неудача, уже начало разъедать полк. Бабы по домам судачили о том, что командир на полку не жилец. Все повторялось, как сто и тысячу лет назад, когда удача князя ценилась выше всего и когда от неудачливого бежали свои и чужие. Полку нужна была удача.

За несколько дней до этого на ночных учениях молодой офицер взял

неверный прицел, солдат добавил ошибки, снаряд попал за зону оцепления и разорвался у костра чабанов. Двух чабанов и собаку убило, мальчишка остался цел. Потом через неделю чинили засоренную канализацию, выкачивали глину, движок заглох. Солдатик полез его чинить, и задохнулся от выхлопных газов. Его вытащили, он умер в госпитале.

Отец был молодой командир, полк он принял за месяц до этих событий. Но по полку уже забегали военные прокуроры. Никому не было дела до вины или безвинности нового командира. Он был неудачлив, и этого было достаточно, чтобы его сочли плохим князем. Он расхлебывал ошибки прежнего командования. И полк разлезался, рвался по швам, как гнилое обмундирование — незаметно и неслышно.

И тогда отец вывел полк на ночные учения — подальше от баб и пересудов, от военных прокуроров, чтобы делать то военное дело, ради которого существовал полк. Люди подобрались, вся ткань отношений окрепла. Две недели они совершали марши, стреляли, водили тяжелые машины, кормили и снабжали себя водой. Наводили переправы, строили мосты. То есть делали обычное на войне или учении дело, в котором быстро выветривается настроение зимних квартир и наступает строгое, сухое и трезвое военное действие — поход.

Покореженная гаубица была для отца страшно некстати. Полк окреп: он вернулся боевой единицей. Военная работа — одна из суровых, но честных и справедливых работ — переделала людей. Отцу нужна была удача. Чтобы в него поверили, чтобы поверил в себя он сам. Поэтому он не доложил про гаубицу с покореженной колонной. Ночью он с заместителем по технической части, со старым своим другом, выпивохой и хохмачом, по милостью божьей зампотехом пошли смотреть, что там можно сделать. Все оказалось несложно: надо было выпрямить колонну и прихватить сваркой. А потом вынуть пружину и менять колонну.

Труба колонны держалась на сантиметрах стали. Трещины бежали по трубе. Удар многотонной пружины мог выбросить ремонтника — или его останки — за стены высокой скобелевской крепости.

Ночью они переоделись в черные танковые комбинезоны, надели шлемы с ларингами. При свете прожекторов закрепили гаубицу металлическими петлями на бетоне, завели на колонну трос с хомутами. Подцепили артиллерийский тягач. Отец полез на гаубицу, а зампотех сел за рычаги тягача. Отец подал знак, зампотех качнул тягач на миллиметры вперед. Колонна скрипнула, дрогнула, чуть выпрямилась. Тонкие лапки трещин бежали к месту слома. Но сталь еще держала. Только оставалось ее очень немного — вот что плохо было.

Раз двадцать подавали они тягач, и всякий раз подавалась, попискивала, поскрипывала сталь. Отец держал поднятой правую руку и старался не глядеть на тот лоскут металла, что держал пружину. Он знал, что в случае неудачи не успеет ничего почувствовать. Он был опытный артиллерист, воевал и видел, как это бывает. Через час они поставили колонну на место, сваркой схватили разлом, потом отпустили пружину.

Глубокой ночью отец разбудил Полуянова, а младшего братишку не будил. Он сидел клевал носом, гладил сына по голове. Он вообще был смешной, когда выпьет — как многие непьющие люди. Он все встряхивал головой, засыпал снова, смеялся.

Потом через много-много лет он рассказывал Полуянову — и в этом вся соль истории, — что, стоя на гаубице, он вдруг почувствовал, что будто ток разлился в воздухе от той пружины. Словно гроза подошла или провис провод высокого напряжения, и как на острие или на шпиле, стало покалывать в глазах, в голове и в кончиках пальцев. И что-то такое словно плющилось и корежилось, словно крутилось и стонало в тихом воздухе невидимо и неощутимо. Будто далекий гул такой от землетрясения, чужие голоса, брызги грома и первые колкие капли дождя на лице. И прожектор — золотое перо, направленное ему прямо в глаза.

Под вечер в воскресенье жена и сын Ванька уезжали. Их подхватил сосед на «Москвиче» и обещал подбросить до станции. Жена велела Полуянову вести себя хорошо и на неделе приезжать. Полуянов поцеловал своих в толстые щеки. Потом залез по приставной лесенке на крышу, и стал махать рукой, и с конька смотрел, как, переваливаясь, уходил

«Москвич» за большое поле, мимо трех дубов на дороге, а потом исчез, покатил по грунтовке.

К этому послеобеденному воскресному часу все гости уже отбыли из деревни Кукареки, все машины уехали, и Полуянову сверху было как-то особенно хорошо видно, как сразу опустела и затихла деревня. Какое-то сиротство спустилось на селение, когда городские уехали: никто не копался в огородах, никто не бегал по соседям. Все затихло и переживало отъезд.

Сверху были видны желтые сады, игрушечные крыши изб, погребов и сараев, прудок, старые вербы на косогоре. У леса на озимых паслись две коровы. Они были черно-белые, словно составленные из разных кусков. За ними начинался редкий лес, слоями, как на марлю, наклеенный на сизый осенний воздух.

Анюшка сидела на лавочке у своего палисада, выкрашенного новой ядовитой сине-зеленой краской. Вставки новых желтых, коричневых, зеленых раскрасок очень забавно оживляли привычный осенний вид деревни.

— Уехали? — спросила Аня.

— Уехали, — сказал Полуянов. — Смотри, Аня, а коровы-то!

— Ага! — ответила она в быстрой своей манере. — Колюнька пропил.

— Кого пропил?

— Да он браги нагнал, нализался и спит теперь где-то. А они вон отбились. Теперь раскусили и будут шастать. Пропил, словом, пастух херов.

Как все бабки деревни Кукареки, она умела вставлять мат во всякий самый невинный семейный соседский разговор. И нимало не стеснялась — она была очень чиста, Анечка.

Колька, второй мужик деревни Кукареки, был он совсем не то, что дядя Веня. Он добрый: мордастый, опухший от браги и насмешливый. «Здорово, Валерьга» — кричал он Полуянову. Когда из деревни уезжали гости, то Колька подходил ко всем, просил привезти вина и водки, клялся матерью и божился, что у него есть знакомый начальник склада ГСМ, и обещал две канистры бензина за бесплатно. Все это знали, водку не обещали, смеялись и Кольку похлопывали по плечу. Он считался в деревне не пропащим мужиком. Лет ему за пятьдесят.

На этот счет в деревне Кукареки свое строгое правило. Если кто «затирает» брагу и гонит самогон — для себя и для дела — тот не пропащий, хороший человек. Тот, кто «затирает» и пьет брагу без выгона — тот пропащий, «пьяница». Колька еще гонит, но уже «пьяница», пропадает.

— Ну теперь он их пропьет, — сказала Анечка Полуянову. — Вот эти две, которых он проспал пьяный, пропил, они теперь сюда на озимые дорожку выучили, и уже они со стадом ходить не будут. Так и будут теперь отбиваться и по кустам сюда драпать.

— Придется ему по кустам за ними побегать, — сказал Полуянов.

— Ой нет, что ты, Валер! Пастухи так не сделают. Он ее в лес заведет, одним кнутом рога запутает, к дереву привяжет. Ватником своим голову накроет и начнет вторым кнутом стукать.

— Чтобы не бегала

Анечка не поняла его.

— Вот так стукать начнет, — она показала как. — Чтобы и следов само главное не было. А у них рука сильная, они умеют. У них корова, бывает, с одного удара на колени падает. Потом он подождет, когда она подымется, и снова ударит.

— Так она ж подохнет!

— Не, они с такого боя — каждый день если — доиться перестают. А он их так будет бить каждый день, вот этих, которые бегают. У них молоко уйдет, они станут самые худшие в группе, и их спишут на мясокомбинат. Вот их, глядишь, через месяц и нету — которых он проспал, пустил на озимые, пропил то есть по-нашему.

Она сидела на тихом осеннем солнышке и болтала в воздухе ногами, простодушная, как девочка. А Полуянов смотрел за пруд, за две большие ветлы, что стояли перед пустошью, на зеленое поле и на двух коров, которых прозевали, пропили.

Баба Маня, в три погибели согнутая, подошла и глянула своим чистым и ясным взглядом. Она согнута и скрючена, как старое дерево, и словно из

дубовой коры, из коричневого ее истерзанного временем лица смотрят лучистые маленькие глаза. Это главный человек в деревне, потому что говорит всегда умно и верно. А когда кричит, то голубые глаза горят голубым огнем. Зато когда улыбается, то словно кривая молния пролетает над ее опаленным лицом — все оно освещается и гаснет. Зимой она поймала в курятнике и руками убила коршуна.

— Валер, — спросила она, — а верно ли, что цены будут поднимать? Говорят, а?

— Говорят, говорят, — ответила за него Анечка быстро и встала напротив бабы Мани. — На сахар, на хлеб, на масло и на муку.

Подошла немая и стала застенчиво улыбаться — так она здоровалась со всеми. Он была худенькая и плохая, словно недоевшая, недополучившая-ся. Жила одиноко и молча с злобной и заливистой сучкой Пулькой, которую за злобный нрав все уважительно звали Пулей.

Стали подходить бабки. Ждали машину хлеба, ту, которая привозила буханки. Брали для свиней, их тут зовут только поросятами и откармливают до небольших размеров, на полцентнера.

Бабки стали вставать в тот же кружок и говорить по очереди. В брошенной миром деревне Кукареки все работают целый день, возятся на виду друг у друга, но как сойдутся, то так затараторят быстро, что кажется Полуянову: не по-русски они говорят. А будешь мимо проходить, и не поймешь, про что речь. И вот говорят, тараторят, тараторят, а потом вдруг как-то разом сбросят обороты и разбегутся.

Говорят же все разом о том, что они уже знают из разговоров друг с другом. Но какая-то нужда гонит их говорить об этом же, знакомом, всем вместе.

— Цены повысят на сахар. Это главное дело — будет трудно гнать.

— И варенье, и варенье, — сказала Анюшка.

— Председателя надо спросить.

— Ага, он для того и приезжал, а они вон с Колькой, Зойка — все в избе пьяные лежат, на полу валяются.

— Так они в газике трое были. Председатель, уполномоченный и участковый.

— Да, это она все. Она приехала на ферму и сказала: «Я, говорнт, найду тут управу на вас. Чья эта группа недоеная?»

— А Зойка, сучка, второй день группу держала недоеной.

— Она говорит: «Это Илюхиной группа? Ну, сейчас...»

— И поехала к участковому.

— Взяли они председателя, сели на газик его и на «Ниву». Приехали. А те пьяные лежат. Ну тут она кричит: «Все, оформляем протокол». Написали протокол, Зойка проснулась. Они ей говорят: «Подписывай, будем тебя отправлять в ЛТП».

— А Зойка в халате нараспашку, голая. Говорит: «Ничего не буду подписывать, потому что я ничего не пила!»

— Ой, зараза какая наглая, да?

— И как вдруг стреканет из сеней на улицу. И побежала огородами.

— А они за ней на «Ниве» и на газике мчалися!

— Убежала? Нет, не убежала. Поймали и заставили подписать. Вот так!

На этом они неожиданно кончили, расцепились и разошлись. Даже как бы усталые от этого мгновенного разговора. Анюшка спокойно повела с Полуяновым плавную беседу о малине — будет ли, мол, окапывать и рассаживать. А баба Маня и Нинка пошли посмотреть на беспокойную овцу, которая все бегала на привязи по кругу, как секундная стрелка по циферблату, и равномерно блеяла на двенадцати часах.

Ночью на двух машинах милиция гонялась по огородам за голой Зойкой в развевающемся халатике, которая мчалась по огородам босиком, а за ней по траве и по пахоте неслись газик и «Нива» с зажженными фарами. Полуянов и бабки все эту историю знали, потому что выскочили из домов ка свет фар и рев двигателей. И стало быть, разговоры про известное были чем-то иным еще, чем просто разговорами.

Тема цен возникала у них часто. Про новые цены они ничего не знали и не могли узнать в своей глухомани, в Кукареках. Но они собирались, говорили и стало быть, как-то питали друг дружку этими слухами и разговорами про известное. А может быть, эти разговоры были тенью того далекого городского ветра, который заносило сюда их детей и который выметал отсюда людей и приносил новости далеких отголосков общей жизни.

Вечер ложился на поля, сад затемнел, закурился, задышал в красном пламени заката. Звезды осторожно блеснули и исчезли. Большое облако с темного края легло на небо. Тайный колокол медленно и звучно дважды ударил из леса.

Полуянов прислушался. Он как-то незаметно привык и странностям, звукам, знакам деревни. Он настругал лучинок, наколол плашек, бросил в печку ленту бересты, старые рукописи, поджег. Печка быстро растопилась, и в темноте его дома пламя играло и билось во тьме, отражалось в окнах и грело лицо и руки. Печь загудела, и в доме сделалось тепло, мирно и очень хорошо.

Полуянов послушал новости по «Би-Би-Си», приемник выключать не стал и сел работать. Стол его, покрытый старой клеенкой, стоял между двух окон, и когда он поднимал лицо от бумаг, то видел, как в темном окне шевелились листья сирени прямо у стекол окна. На миг его охватывало детское чувство сладкого ужаса одиночества. Казалось, что вот сейчас с той стороны стекла в темноте встанет незнакомое лицо, прижмется к стеклу лбом и жутко посмотрит тебе прямо в глаза.

Он глянул в окно.

Маленькое лицо с той стороны прижалось к стеклу, быстрые, словно стеклянные и неживые, глаза смотрели ему прямо в зрачки.

Полуянов обмер. Сознание продолжало молотить: невозможно, невозможно... Но руки лежали на столе без движения. Ни один мускул не двинулся, и только кровь ровно и сильно била в виски, набегая по каналам и сосудам тела. Он хорошо видел и различал черты этого маленького белого лица.

Оно походило скорее на маску с маскарада, и можно было думать, что кто-то в шутку поднял ее с той стороны в темноте на палочке, чтобы напугать Полуянова. Как-то враз он понял, что глаз у этого лица нет — именно немигающая пустота глазниц делала взгляд таким невыносимо пристальным, скорбным и глубоким.

Лицо было мертвое — женское или детское — с изящным носиком, белым и припудренным. По лбу шла нервная косая линия жемчужных и серебряных точек, правое ухо, щеки и брови были золотисто-серые, в каплях. Голубые губы презрительно улыбались в двойной мути старых стекол.

Полуянов двинулся от стола. Лицо исказила гримаска, оно схватилось судорогой, брови задвигались, щеки опали, оно переменилось и рассыпалось.

Полуянов выскочил в сени, потом во двор и обогнул дом. Окно светилось тихо и влажно в туманном сыром воздухе. Он подался к окну. Большая, белая ночная бабочка, осыпанная сырой пыльцой, распласталась по стеклу. Полуянов поймал ее в горсть и кинул в траву. Бабочка пала, как кучка пыли, и затрепетала в ногах.

Полуянов вернулся в дом и долго не мог собраться с мыслями. Он принялся было отвечать на письмо Сашиной сестры. Но это оказалось очень трудно. Он понял это и отложил письмо. Если человек свободен — ему ничего не мешает и он все может. Полуянов сидел и думал, что как ни прятался он от мира, а свободным не стал. Тоскливый страх человека, который сидит на свету и виден всем со всех сторон из окружавшей дом темноты, — этот страх томил его. Вдруг вспомнил он детские рассказы про «попрыгунчиков», которые пугали людей до смерти, до обморока, и улыбнулся. Он опустил занавески на окнах, выключил верхний свет, подбросил дров в печку.

— Собаку надо завести — вот чего, — сказал себе Полуянов. Громко, чтобы услышать свой голос. Потом поиграл ручкой радио, поискал в эфире, нащупал голос Ватикана. Умный иезуит толковал о борьбе за мир. Странное сочетание слов: «борьба за мир», — говорил он. Ведь если есть борьба за мир, то есть враги мира. Есть враги — есть ненависть к врагу, иначе как бороться? Но если есть ненависть — то какая может быть, к шутам, победа? Победа всегда оставляет одних обиженными, ненавидящими победителей. Победа «дела мира» есть Пиррова победа. Ненависть будет, а не победа — вот что. Мира надо добиться в душе. Надо хотя бы научить-

ся не ненавидеть своих близких, сограждан. Надо себя полюбить и полюбить дела других людей. Вот и все. А мир — он сам наступит. Мир — это Божье дело. Твое дело ненависть не увеличивать. Ты, главное, не увеличивай зла в мире, береги то, что рядом, а мир, он сам наступит.

Полуянов вспомнил Сашку, его рассказ про круглоголового по имени Мир. И подумал, что «Слово о полку Игореве» и Сашкина чепуховина — это одного ряда вещи, как ни странно. Из века в век одно и то же... Он потерял мысль, испугался этого, но тут же успокоился: это уже бывало с ним в Кукареках, но всегда в свое время все возвращалось. Если жить спокойно и без лишнего, то мысли всегда возвращаются на свой круг.

У Анюшки светилось голубым окно. Полуянов почувствовал, что может пойти по деревне и поговорить с любым, что он тут как раз и не останется один. Его всегда ждут. Голубой свет дал ему знать, что Анюшка тихо спит около телевизора. Телевизор ее как-то разом усыплял. Она говорила об этом робея, но с радостью, как говорила обо всем на свете. И все в деревне знали, что он сидит под лампой и что-то такое себе пишет или думает. И это тоже успокоило его.

Иезуит все бубнил, и Полуянов подумал, что если бы он сунулся к бабкам со своими рассуждениями про борьбу за мир, то они бы просто его не поняли. «Борьба за мир» для них, как для всех, кто на этом денег не гребет — политика. А политика — это недомашнее, неличное дело. Ее слушают с умным лицом, но в голову не берут. И что делить Полуянову с Анечкой, зачем им бороться за мир? Или такой же, положим, итальянской бабке? А следовательно, вся эта борьба за мир для того только и нужна, чтобы забивать головы мальчишкам, вроде Сашки покойного, да большим дядям, вроде Жорника, чтобы сладко пить, вкусно кушать и мягко спать.

— Фуфло, — как говорит его сын Ванька. — Полное фуфло.

Ночью по дому шастали на тихих лапках мыши или крыса, будили его, и проснулся он какой-то дурной. Крыса и мыши приходят к поздней осени, когда пусто на ферме и на полях. Ночами они ищут еду по дому, роняют мелкие предметы. Полуянов тогда просыпается, зажигает свет и с кочергой гоняется за ними по углам. Гиблое дело! Неторопливые, жирные осенние твари все равно его ловчее. А кота у него еще нет.

Утром он работать не стал, а пошел в лес. Печка была растоплена с вечера, надо было принести грибов, чтобы посушить на зиму. Он шел по полю, шел той самой тропой, на которой учили с сыном «Слово», и думал, почему ему так легко опиливать сад, копать землю под огород, ходить за грибами, топить печь, готовить еду, убирать и чинить дом, сажать кусты и картошку, убирать урожай? И почему так тяжело и подневольно ему писать ответы на письма, жить среди людей, ходить на работу, посещать общие и профсоюзные собрания, заполнять анкеты, ездить в дома отдыха, ходить на овощебазу?

День был пасмурный, но очень ясный, ровный, спокойный и строгий. Деревья, не шелохнувшись, замерли в потеплевшем воздухе, трава замерла и окостенела. Только теплая земля словно тихонько издавала маленькие низовые звуки — кряхтенье, потрескиванье, шепот. Листья беззвучно сходили с берез.

Полуянов пошел краем леса, и в душе его было какое-то легкое беспокойство, которое всегда появлялось после отъезда гостей. Он постепенно слышал в речах друзей этот упрек, в каждом слове. «Сбежал, — думал о нем каждый. — Мы все тут ломайся, а он сбежал. Устроился, на работу не ходит, место нашел. Хоть и за малые деньги, а бросил эту жизнь. Значит, ты не хочешь с нами жить. Презираешь».

Он вспомнил, как сказал ему инженер Аркаша Аксанов:

— Это он из-за Сашки дурит. Одумается, возвратится. Возвращайся, Полуянов. Нечего строить из себя...

И всякий раз это задевало Полуянова. Он шел к лесу и думал о том, как страшно жить без духовного подвига, когда одну веру потерял, а другой не нашел. Каждый тянет к себе и кричит: «се мое, то мое же». В людях рождается напряжение ненависти. И тогда война рождается из борьбы за мир так же естественно и просто, как уничтожение людей рождается борьбой за всеобщее счастье.

Здесь, в деревне, куда он спрятался от всего, не зная еще, как ему

жить дальше, — и здесь его достает. Никуда он не ушел. Но что ему теперь дальше делать со своей жизнью — здесь, где бродят деревенские бабки, расталкивая палками траву и выкапывая из листьев толстые, как кукиши, белые грибы и похожие «на сам знаешь чего» — как говорит баба Нинка — подосиновые челыши? Хотя здесь-то все природой защищено: этим полем и этим лесом. И как кажется ему, здесь всякая одинокая жизнь спрятана и улажена. И непонятно — отчего так не жить всем?

Он шел опушкой леса, среди маленьких, еще слабых берез и высокой травы. Кукарекинские леса тем удивительны, что грибы тут растут в самых красивых местах. Такое вот чудо — как ни проверяй, а всегда оно так. Уходит человек в глухомань — ничего. Выходит на светлые поляны, туда, где ласковое солнце вдруг пробьется из облаков, где ветер сыграет в кронах, трава приляжет — и вот они там и сям: подберезовики со светлыми шляпками, твердые оранжевые, словно чернилами перепачканные подосиновики. Полуянов увидел вдали незнакомых двух женщин с кошелками через плечо. Они были слишком далеко, чтобы их разглядеть, они тоже шарили палками в траве, и он подумал, что надо спросить у бабок — чьи это приехали?

Когда он вернулся, старухи сидели на теплом крылечке у заколоченного дома деда-марксиста, единственного штукатуренного дома в Кукареках. От этого дом казался всех хуже, разломанным и косым. День разошелся, и с теплой солнечной стороны на завалинке было необыкновенно тихо и хорошо.

Анечка говорила:

— Набрал? А мы сидим. У вас так в городе не бывает вольно, а? Тихо так.

Полуянов поставил корзинку и присел.

— Раньше, Валера, опушки у нас окашивались. Сколь грибов было!

— Ага. С фермы идешь, так полное ведро нахватаешь. Только наклоняйся.

— А потом самолеты стали летать. Вон ту рощицу у дороги стали они сводить для мелиорации. Посыпали чем-то. Березы пожухли, а грибов больше не стало. И березы не стали рубить — они потом погнили все в одно лето.

— А раньше опушки у нас были, как у вас санатории. Осенью идешь — все подрублено, кустов нет, только березы стоят, и все выкошено чисто-чисто, как в доме. И стоят подосинники рыжие. Красота.

— А вот ты скажи, Валер, народу много было, скотину все держали. Молока давали больше, чем теперь. Куда теперь-то все это подевалось?

Они повели быструю свою беседу, из тех, что Полуянов прослушал уже множество. Но эта была интереснее. Они вспоминали про посиделки. И то, как лунными ночами ходили из деревни Кукареки в Левшино, а из Лошадеева в Кукареки, а оттуда в Черняйково. Как шли они по теплой пыли босиком, а уж около деревень надевали обувку. Раньше Полуянов думал, что деревни стояли здесь, как и теперь, оторванными от мира, одинокими. А из рассказа он понял, что вся Россия была покрыта сетью маленьких этих дорог, в узлах которых стояли на расстоянии пешего хода деревни, а в больших узлах — города. Словно ласковая сеть общей жизни была наброшена на землю. И не было такой пустоты на земле и такого разорения, как теперь.

— Ты слушай, — сказала баба Маня. — Дочка учительницы из Черняйкова, Лидка, ты ее знаешь, она тебе шкап обещала отдать на временное пользование и кровать из пустой материной избы. Возьмешь? А ты ей как-нибудь колбаски привези. Возьмешь?

— Возьму, — сказал Полуянов.

— Ты тележку, коляску возьми у Веньки и привези, я ему укажу.

Полуянов кивнул. Анечкин внучок возился в траве: яркий комбинезон был на нем, импортный, и вязаная шапка. Детей бабкам подкидывали часто — подальше от дурной городской жизни. Делали это, когда дети начинали болеть диатезом или астмой или простужаться — тогда везли в Кукареки. Простые девахи, дочки кукарекинских бабок, Руссо и Толстого не читали, про Торо не слыхали, но знали и говорили это часто: не мы спасемся, так пусть хоть дети наши полечатся. Когда особенно много набивалось сопли-

вых, золотушных детей, то грубая баба Нинка кричала: «Эвакуация, едрн вашу мать — как в большую войну».

Солнце грело. Все тихо сидели у мазанки, в которой еще пару лет назад жил Акимов, интересный дед-марксист. Ему было лет под девяносто, он был городской. Жил он со старухой, которой тоже было под восемьдесят, но которая померла раньше него. Дед этот был активный, он поднимал первые пятилетки, воевал, строил железные дороги, служил топографом, он был легкий на ногу, ходячий человек. В Кукареки он повадился ездить лет двадцать назад. Как приедет в апреле, так и живет до холодов. Дед-марксист был человек с интригой. Он бабкам объявил, что собирается дожить до ста лет. Ходил по деревне и постоянно говорил об этом. Сперва ему оставалось дожить до ста девятнадцать лет, потом пятнадцать. А он все ходил и говорил про свой счет. За это ему бабки варили всякую еду, и он с кастрюлей, бывало, шел по траве от края деревни к своему белому, косому, серединному домику. Потом ему оставалось дожить тринадцать лет. Тут с ним что-то стряслось, и на него напала разговорчивость: то ли ворота памяти отворились, то ли совесть, то ли понос слов кровавый. Он стал всех ловить и говорить каждому про свою жизнь. Сперва бабки были страсть как рады. Ничего они так не ценят, как новое. А тут новое повалило на них прямо из старого, давно проверенного и известного им старика Акимова. Брызгая слюнями, он пугал их, кричал хрипло про то, что прокладывал новые топографические просеки по тайге за Тайшетом. И про то, что с ним было два зэка и солдат с винтовкой. Как они спали все вповалку на трассе новой железноветки, которую когда-то тянули зэки. Эту ветку должно было залить водохранилище, и потому Акимову поручили разведать новую трассу. Людей на постройке этой ненужной, бесполезной ветки полегло страшно много. Мертвых зэков охрана не хоронила, а оттаскивала недалеко от полотна дороги и бросала. Появились медведи, которые привыкли жрать человечину. Вот от этих медведей и предупредили Акимова. Когда они шли по страшному пустому лесу из пней и чахлых деревцев, по полотну и по старым просекам, то дед Акимов сказал солдату-сопляку, чтобы он не зэков караулил со своей винтовкой, а медведей высматривал, потому что сожрут, проклятые. Он орал бабкам свои долгие и страшные истории, и бабки сперва охали и ахали, а потом бросили бояться и только плевались и варили ему суп.

Потом ему осталось дотянуть двенадцать лет, потом одиннадцать, и тогда этот интересный яростный старик вдруг дал сбой. Он стал ездить в город, просил всех его подвезти, и все обещал каждому расплатиться дубовыми столбами, которые стояли у него в сарае, — на что все давно махнули рукой, потому что дед Акимов был жмотом. Именно на финишной прямой он вдруг полюбил полнтику, но как-то странно: он перестал рассказывать про свою жизнь и стал влюбляться в вождей.

Тут-то и застал его Полуянов. Дед Акимов проходил по деревне медленный, сгорбленный, обросший щетиной и казался Полуянову уже не человеком, а воплощением многих теней, которых он застал в жизни и которые теперь давно умерли, но запечатлелись, как в живой фотографии, в этом сгорбленном, но внутренне прямом Акимове с кастрюлей в руке и слюной на трясущихся губах. Этот спасающийся старик Акимов помнил и Егорова, дом которого стоял много лет заколоченным на краю деревни и в котором поселился теперь Володя — «пятисотрублевик» (он дом купил за эти деньги, так его бабки и прозвали). И повесившуюся спьяну Настю, в доме которой жил теперь Полуянов. Когда Полуянов приехал смотреть этот пустой дом, много лет стоявший среди громадных бурьянов и репейников, когда проломился в сени, то и увидел, что столы как стояли под поминальным застольем, так и стоят, объедки усохшие и поеденные мышами были везде, бутылки на столах: словно шесть лет продолжался в этом доме пир мертвецов.

Дед-марксист Акимов помнил и Кукарекинское болотце большим прудом, а до того — озером, в котором на Илью-пророка — престольный праздник со всех окрестных деревень приходили мужики и ловили карася и жарили его потом на больших противнях у воды.

В его доме была большая стена, оклеенная газетами, на которых много можно было чего прочесть. Дед Акимов собирал о Сталине и Маленкове. И выставка газет на его стене, желтой, закопченной, была страшная. Боль-

ше всего — некрологов и портретов мертвых вождей. Может, это и был его главный изъян — любовь к вождям. В старости он стал любить их страстно, не по возрасту. Он подходил к каждому, кто попадался, и горячо, по-партийному, обсуждал очередного руководителя. Слюнявя губы, утираясь рукавом, он часами мог говорить, хвалить нового руководителя, подолгу разбирать и ругать старого.

Здесь ему как-то не повезло. Если бы не умер Брежнев, то, может быть, дед миновал бы эту полосу старческой мужской любвн к властям и продержался до ста лет. Но тут они пошли помирать один за одним, и разговору и страсти деда-марксиста Акимова было где разгуляться. Он как-то быстро сгорел на этом: слишком быстро замелькали перед ним перемены лиц. В нем чувства захлебнулись — он не успевал разлюбить и полюбить снова. Когда он цеплял кого-то из новых или приезжих гостей, когда принимался говорить с ним, бабки разгибались от работы, прикладывали ладошки к глазам, чтобы разглядеть, кто попался деду. Взгляд у них делался сочувственный, потому что они давно разгадали деда-марксиста дураком, полным политической дури. Полуянов сперва не понимал, а потом понял: вся их жизнь, весь старый кукарекинский уклад научили их ставить заслон на пути этого способа разрушить человека. И дед Акимов тоже только по старости и слабоумию попался — и разрушился, погиб. И что бабки давно отпели деда Акимова, а кормили его из милости. До ста лет ему никак было не дотянуть — сюжет его кончился.

Сидя на лавочке у белой мазанки, Полуянов снова подумал о Сашке: вот так же не уберегся. Включился, полез и погиб. А здешние примнтивные и смешные старушки, которые отказывались в эти глупости телевизионные верить, спавшие сладким сном под гром программ новостей, спорта, политики и новаторства, они, в сущности, и были спасаемые люди. И не важно, что у Зойки племянник служил в Германии в вертолетных войсках прапорщиком и учился на офицера, и приезжал, и привозил подарки, рассказывал. И то, что сынок его, малой, которого все бабки звалн «немец», был во всем белом и синтетическом. Вертолетчик приезжал и сперва рассказывал много, а потом меньше, а потом снижал обороты до нормальных, холостых. А потом глядь — натянул отцовскую ушанку и пошел в сад копать. И снова тихие утра с дождичком, мокрая трава, и только копает в саду вертолетчик, а потом сидит с Полуяновым, курит на корточках. И если и заговорит о чем, то вот о том, как много орехов было на вырубке в прошлом году, или о том, что не пойти ли им да и не трахнуть ли «по маленькой» — сливовым вареньем подкрашенного теткиного самогона?

Старухи остались дожидаться машины, а Полуянов пошел к себе. Все что-то царапало его изнутри, пощипывало совесть. Надо было отвечать Сашиной сестре, а отвечать было нечего. Ему казалось, что ответить как попало — это словно еще раз Сашку похоронить. Ответить личным письмом он не мог. Этого не одобряло начальство и даже прямо запрещало.

Полуянов долго ходил по скрипучим половицам, по вязаным деревенским мягким дорожкам. Потом выбрал два поленца с белоснежной берестой и кинул их в печь. Они легко и сразу подхватились желтым дневным пламенем от тлевших углей. Он вышел на крыльцо, и дневная пустота деревни, как всегда, успокоила его. Темный дом и мелкие переплеты стекол на веранде, два куста сирени, уже почти облетевшие, тополь, маленькое поле, осока у заросшего пруда — все молчало так, как будто в другое время имело бы свой голос и могло говорить на языке движений, раскачиваний, шума и шелеста. Полуянов перестал думать о письме и принялся за грибы.

Сразу же из-за дома выбежала кудлатая собака Муха, густо поросшая свалявшимся черным волосом. Эта редкостная уродка была известна в округе: за ней вечно таскалась свора кобелей всех мастей и расцветок — текла она непрерывно, что ли? Муха выбежала из-за куста, и по ее пробежке Полуянов тотчас же понял, что следом идет человек — это как-то всегда по собакам видно. Он отложил нож, вытащил сигареты и закурил.

Из-за дома вышел незнакомый мужичок. Он был одного с Полуяновым возраста, одет, как охотник или грибник, в потертые брюки, видавшую виды штормовку, яркие резиновые югославские сапоги, свитер. На голове у него была шапочка с надписью «SKI». Он был в бородке и усах, модных в годы полуяновской юности. Если бы надо было обозначить его од-

ним словом, отметив главное, что можно обозначить с одного взгляда, то Полуянов сказал бы: «Прохожий».

Они кивнули друг другу, как знакомые. Прохожий оглядел все быстро, легко и весело, ломая при этом в руках стебель поповника. Огляделся, как сосед или хозяин, не останавливая на чем-то специального внимания. Совсем не так — натужно и равнодушно — оглядывали полуяновское поместье городские гости. Он давал Полуянову привыкнуть к себе, и по одному этому Полуянов определил его как привычного к деревне горожанина.

Он смотрел на прохожего с тревогой, которая раньше так удивляла его самого, когда он проезжал через деревни. Разгибается человек и долго глядит вслед проходящим с напряженным вниманием, которое есть во взглядах животных. Так же точно сейчас, конечно, смотрели на прохожего бабки, ожидающие машины с хлебом, потому что он никак не мог миновать их. И потом дружно здоровались.

В большом городе человек — невидимка, он неразличим, как отдельный муравей в муравейнике. В городе ему безопасно. На нем от ударов нарастает панцирь, мозоли от трения со слишком многими людьми. От этого он стирается, как монета, проходящая через тысячи пальцев, и приобретает поверхностный тусклый блеск, становится неразличимым в толпе.

В деревне человек открыт, обнажен, он «в руке Божьей», как говорит Анечка, словно птенец на ладони. Если он и спрятан, безопасен, то только тем, что отодвинут от людей, убран в глушь, ушел в леса, в поля, потерялся в пространстве дорог. И потому каждого нового человека встречают в деревне испугом и тревогой.

— Здравствуйте, — сказал прохожий. — Шел мимо, познакомиться зашел. Я вот тут в Левшине холостякую. Как и вы.

Он махнул рукой в сторону Левшина, далекой лесной деревеньки, затерянной среди клюквенных болот и гарей. В окрестности уже почти все было раскуплено горожанами, но до осени тут оставались не многие. Полуянову не понравилось, что про него уже знают.

— В отпуске? — спросил он коротко.

— Да, грибы тут солю, картошку на зиму запасаю. То да се.

Он улыбнулся хорошо, и Полуянову показалось, что это лицо он уже видел где-то. Потом понял, что ошибся, просто отражение в стекле мерцало. Они были похожи внешне, и только.

— Много грибов? — спросил прохожий.

— Утром вон походил, — отвечал Полуянов.

— Долго?

— Часа два. Да уж нет ничего, — сказал Полуянов по новой своей деревенской привычке приуменьшать всякую удачу.

— Газет не получаете?

— Местные? Соседка получает. А центральные почтальонша с опозданием приносит.

— У нее муж в тюрьме, — сказал прохожий. — По пьянке телевизор от соседей вытащил. Она гуляет много, молодая девка. А живет со свекром. Он на автобусе работает.

— Володя Старый? — спросил Полуянов.

— Да, на автобусе. — Прохожий тоже улыбнулся и снова словно в зеркале отразился. — И вот как они поругаются, он ее не возит, и нет газет.

Они посидели молча. Полуянов снова взялся за грибы.

— Сушить будете? — спросил гость. — Или солить?

— Я много уже насушил, — сказал Полуянов, но ничего о себе больше добавлять не стал. Гость сказал:

— Теперь все запасаются. Но в основном летом, когда отпуск. У вас отпуск? — снова спросил гость.

— Вроде, — сказал Полуянов, и прохожий усмехнулся.

— Я про газеты потому спросил, что тут, говорят, какая-то авария была? Не слышали?

— Где? В Чернобыле? Так то давно.

— По «Голосу Америки», по «Би-би-си» сказали. Вы, что ж, врагов не слушаете?

Полуянов глянул на гостя внимательно.

— Просто у меня батареи сели, — сказал прохожий, — в приемнике. Не берет ничего, что ты поделаешь. А вы давно обосновались?

— Да уж третий год, — сказал Полуянов.

— А-а. Два года? Я тут, пока радио не сломалось, все вражьи голоса слушал. Уезжают евреи, которых выпускают. А другие «в отказе» — годами, говорят, ждут. Вы, случаем, не в отказе? Да ну, шучу. Просто удивляет меня, когда люди уезжают.

— Почему удивляет? — спросил Полуянов. — Сами видите, что делается. Скоро не только евреи побегут. Скоро всем придется сниматься. Спасайся, кто как умеет. Литовцы вон с землей побежали.

— Когда с землей, понятно. Меня удивляет, когда люди уезжают и бросают все. По голосам говорят — они даже пенсии от родного правительства не имеют. А пенсия всей жизнью заработана. И скарб весь бросают.

— Руки на этом кто-то греет хорошо. Квартиры люди бросают, барахло.

— И армяне уезжают, — сказал прохожий. — И тоже без ничего.

— Так я ж вам сказал, скоро все побегут.

— И русские?

— И русские побегут. Было б только куда бежать.

— Русские не побегут, — возразил прохожий.

— Почему ж это? Бегали уже — в гражданскую войну, в отечественную.

— Времена не те. Не нужны мы никому. Армяне нужны, евреи нужны, а русские нет. Раньше надо было думать. Надо было место иметь, куда бежать. После революции миллионы народу с России съехали. И богатые, и умные, сильные, злые. А толку что? Где они? Рассеялись по миру.

— Жизнь спасали, не до грибов было.

— Э, извините, — сказал прохожий. — Они были и семейно связаны с родовитыми на Западе, и денежки у них водились, и вожди имелись. А рассеялись, не смогли собраться в одно место.

— Ну, это многих удивляет, — сказал Полуянов. — Евреи, торговый народ, сумели себе государство оттяпать. А русские эмигранты со своей загадочной русской душой не смогли. Все переворота ждали. Нет бы в какой-нибудь Океании создать новый русский Гонконг или Сингапур.

— И название есть, — сказал прохожий, — с ходу!

— Какое?

— Санкт-Петербург, ясно же.

Оба засмеялись.

— А может, еще и будет, — сказал Полуянов, — маленькая такая Россия где-нибудь у Мальдивских островов.

— Не будет! — сказал гость убежденно.

— Не дадут, думаете? Скажут, вы в своей одной шестой разберитесь сперва, прежде чем в других землях новую Россию встраивать?

— Это тоже, но главное в другом. Отталкивание в нас сильнее, чем притяжение. Шуточки! Ежели столько русских людей за столько лет не смогли создать нормальную страну ни здесь, ни там, то, значит, и не могли создать. Не имели мо́чи.

— Оскорбительно это как-то у вас получается, — сказал Полуянов, — обидно.

— А то, поди, не обидно! Вы хоть по всему миру пошарьте — на каждый язык найдется несколько способов жить. У англоязычных это ясно, у французских — пожалуйста, у испаноязычных — полмира. У китайцев и то есть Тайвань. Даже у корейцев вон есть. Одни мы сироты бездомные.

— Мы уживаемся только здесь, — сказал Полуянов, — на этой одной шестой, да и то слабо. А за границей соотечественников терпеть не можем. Я это по себе замечал.

— Причина потому что есть, — сказал прохожий. — Вы бы уехали?

— А с чего это я должен ехать? — отвечал Полуянов с неожиданной злобой. — Пусть вся эта сволочь катится.

— Кого имеете в виду? Нынешних беженцев, армян, евреев?

— При чем здесь эти-то?

— А кого тогда?

Полуянов внимательно поглядел на гостя.

— Долгий разговор, — сказал он. — Да и не выпустит меня никто. Хотя меня барахло не удержало бы тоже. Да и что у нас есть?

— Это точно,— поддакнул прохожий,— не накопили мы палат каменных.

— Едет человек без барахла,—сказал Полуянов,—это как развод. Чувствуешь, что ничего поделать не можешь, что бы ни сказал—одна ненависть вокруг, бросай все и уходи. Ничего не нужно. Потому и бегут без вещей. С отчаяния они. Ничего поделать не рассчитывают здесь больше. Не нужны. Немцы не нужны, евреи не нужны, никто не нужен.

— Не бывает так, чтобы ничего сделать было нельзя,—сказал прохожий, словно поддразнивая Полуянова.—Если, конечно, законов природы не нарушать.

Он как-то странно хмыкнул. Они сидели на лавочке рядом. Легкий ветер прошел по саду и хлопал куском полиэтилена на крыше теплицы. Полуянов смотрел вниз, под ноги, и улыбался. Он не имел возможности вести такие разговоры с незнакомым человеком. И, однако, не было места, где бы лучше было вести такие разговоры, чем в Кукареках. Одинокий, открытый всему человек, в полузаброшенной деревне, не в должности и беззащитный, именно из-за этой своей беззащитности мог он позволить себе такой разговор. Полуянов понял вдруг окончательно, что он беглец, изгой, не хуже всякого иного в отказе, страдающего и беспомощного.

— Они, когда уходят, род спасают. Народ,—сказал он.

— Да, да, вы правы!—вдруг очень быстро и совсем в ином ключе проговорил гость.—Я тоже об этом часто думаю.

— О чем?

— О человеке, роде, народе. И вообще даже о виде человека разумного. Я, вы знаете, доказал одну теоремку: дело в том, что человек вообще обречен на вымирание как вид. Рассказать?

— Ежели пойму.

— А чего же? Поймете обязательно. Ход такой. Человеку, как и всякому другому зверю, дан был инстинкт самосохранения. Инстинкт—заметьте,— который в уме не нуждается и действует раньше ума. Он и у волка есть, и у зайца. Вы шарахаетесь от опасности, не успев и подумать. Инстинкт! Есть и еще один инстинкт—сохранения рода. Мать под машину бросается за дитем, не думая. Волчица идет под выстрелы, чтобы логово спасти. И это—предел природы. Дальше нет ничего.

— Не понял,—сказал Полуянов.

— Ну как не поняли? Инстинкта-то сохранения вида нет! Не задумала природа, что так будем размножаться и так много нас будет. Людей. Мне нет дела до умирающих эфиопов в Африке. То есть умом-то я понимаю и готов материально участвовать. Но вот инстинктивно не могу. Надо мозги включать. Стало быть, природой это не было задумано. Мы вышли за пределы задуманного ею. Нет у человека инстинкта сохранения вида, а значит, он обязательно либо атомной бомбой себя угрохает, либо химней задушит. Тупиковая мы ветвь эволюции.

— У меня возражение,—сказал Полуянов.—Вот ведь армяне, евреи уходят. Значит, есть инстинкт, можно спастись.

— Только что говорили же,— ответил прохожий.— Это просто род у них сильный. Родовое чувство. Они род спасают. Инстинкт сохранения рода.

— А нация? Она же больше рода. Воюет, защищается—с этим как? Россия вот.

— А что нация? Сборище родов — больше ничего. А Россия — это и не нация, это сбор народов, согласных жить по одной исторической схеме. Из-за этого и за границей создать маленькую Россию невозможно. Уже тысячу лет Россия все воспроизводит и воспроизводит одну и ту же утомительную схему истории: народ внизу, а вверху царь и интеллигент-мученик. И между ними непримиримая борьба. Это огромная наша квашня, это желе, которое выталкивает наверх определенное число талантливых человеков. Талантливые негодяи идут в начальники, тиранить свой народ, править им, презирать его; а честные становятся страстотерпцами, поэтами, мучениками. Путь негодяев в этой стране—наверх. А путь честных—в Сибирь, на Кавказ, в могилу или в загранку, в изгнание. Другого нет.

— Что-то я не разберу,— сказал Полуянов.— Начали про человечество и вдруг про Россию пошли.

— Как же?—вскричал прохожий.—Потому что русская жизнь оказалась самой устойчивой по своей схеме. У нас в России жизнь еще пока более биологическая, нежели социальная. Это на Западе все иначе, там каждый сам себе голова. Там другая схема. Нам она не подходит, мы еще не запустили личного человека. Этот механизм в России спит сладким сном. Вы посмотрите: даже немецкие теории Карла Маркса не поколебали этого нашего российского распорядка.

— Да что вы? — засмеялся Полуянов.— А революция, гражданская война? Кажись, не они, а мы все начали. И не в Марксе дело, а в том, что русские пошли своим путем. Революция — одно название, а суть-то другая. У нас тут не по теориям живут. Но все же мы первые двинулись, хотя и под музыку немецких теорий. Чего хотели — того и получили, но сами.

— Нет, они все ошибаются, и вы ошибаетесь,— сказал прохожий, не объясняя, какие такие «они»,—это величайшая ошибка, поверьте мне. Революцию считают чем-то новым, каким-то движением вперед. Нет, это ошибка, ошибка. Это именно и есть самая что ни на есть биологическая оплошность—это движение назад. Слишком много умников выдвинулось наверх в начале века. Вы историю-то полистайте.

— Листал уже,—сказал Полуянов. Прохожий не услышал.

— Слишком много выбилось наверх, и требовалось их всех к норме привести. К извечной российской норме.

— К ногтю. И тут случилась революция?

— Ну, конечно! Если бы все—серенькие, то никакой революции бы не надо было: схему менять бы не пришлось. Вы вот не верите мне, а вы подумайте: какая высшая сила не давала в России никому ни с кем договориться? Это ведь извечный русский вопрос. Никому и ни с кем!

— Большевики-то сговорились между собой и с эсерами.

— На мгновение, и какой ценой! А потом снова пошла резня и вычистка—гражданская война, борьба в партии, потом террор. Опять что-то там в схеме не сработало. Слишком много умников. Всех этих Свердловых, Троцких, Лениных, Сталиных и так далее. И что? Тут же пожрали сами себя, чтобы установить извечное российское равновесие.

— Неувязочка выходит,—сказал Полуянов.—Схема российская, а русофилы вон твердят, что революцию евреи делали, а им помогали немцы.

— Это «патриоты» —вы их не слушайте. Сила российской обывательской схемы в том и состоит, что она привлекает к себе множество народов, отдельных личностей, инородцев, согласных жить в этой нашей российской квашне. Вы подумайте, почему нам так эти немцы, шведы, шотландцы при Петре пришлись ко двору, а еще раньше татары, а потом евреи, азиаты, казахи, якуты и Бог знает еще кто? Потому что скопом или поодиночке были согласны с нашей замечательной—говорю не шутя—российской жизнью. Потому-то немец Романов, арап Пушкин, еврей Мандельштам, грузин Сталин, татарин Державин—это и есть самые отборнейшие наши русские люди. Дураки эти, ура-патриоты, не понимают простых вещей, они племя русичей спутали с россиянами.

— Смело,—сказал Полуянов.—Если бы они вас послушали, то вам бы живым ноги не унести. Вы против правых, что ли, так я вас понимаю?

— Я ни против кого. Я сам по себе. Я просто вам говорю, что они, дураки, перепутали российское и русское. Вот Федор Михайлович Достоевский эту разницу хорошо понимал. Сталин был более русский человек, чем Николай Первый, а Лазарь Моисеевич Каганович, может быть, более, чем граф Толстой. И любой наш классик, будь он хоть сто раз Бабель, русее любого русака. Потому что русский — это не тот, кто в Рязани родился, а тот, кто жить согласен по-нашенскому.

— Петр Чаадаев считал, что это от огромности пространства.

— Петенька Чаадаев? Да он просто сбрендил. У него главная идея, что у русских не было до Петра своей истории. Тут он здорово угадал, хотя и писал все свои сочинения по-французски, чтобы выразить поточнее русские мысли. От этого он, кстати, никак не может считаться французом. Он, бедолага сумасшедшая, полагал, что теперь, после него, история начнется. Но мы-то с вами прожили после Чаадаева еще сто с лишком лет. И что же видим? Что вся советская, к примеру, история—вранье. «Краткий курс», и более ничего. И теперь ее снова надо переписывать. Вы задумайтесь: отчего это в России такая страсть не иметь своей истории? Не может это быть случайным, если нация непрерывно уничтожает, перемарывает

историю, не дает ей устояться, войти в национальное сознание. Тут глубокая причина должна быть.

— Ну и в чем она? — спросил Полуянов.

— А причина в том, что российской схеме жизни нужен только один день, сегодняшний или вчерашний. Ей нет дела до истории. Да и что нам считать своей историей? Запрещенную на Украине «Историю украинского казачества»? Придуманную ссыльными сталинскими каторжанами историю казахского народа? Историю Соловьева? Варягов? Что?

— Страсть у нас уничтожать свою историю — это точно. Да ведь не одни мы такие дураки.

— Дело в том, что система российская, как я уже имел честь доложить вам, биологическая. А в биологии живое натекает на живое и своей истории не имеет. Так что мы и не люди пока, мы лес беспамятный.

— И сколько же еще этот лес будет расти? Скоро ли собираетесь стать человеком?

— Вот чего не знаю, того не знаю! — отвечал прохожий. — Некоторые считают, что наше болото стоячее весь мир переживет. Японцы тыщу лет сидели под императором, как замороженные, а потом оказалось, что они для человечества в двадцатом веке самые важные люди: у них и электроника, и чудеса всякие, и компьютеры.

— Я в самолете однажды летел ночью через Хабаровск, и мне приснился сон, — сказал Полуянов. — Мы там в командировке не выспались, работали по наладке перед пуском. И это все наложилось, перемешалось — каша. И снились мне какие-то люди и большая такая балка. Я потом понял, что это не балка, а маятник. Люди внизу копошатся среди разнообразной техники, чего-то лепят, делают. А маятник над ними огромный со скрипом все отводится, поднимается, поднимается. И как всегда в снах, — мне было ясно, что он там держится на соплях. В любой момент готов сорваться. А маятник с блюминг размером — он в мокрое пятно их размажет. Я кричу им, чтобы уходили, бросали все. А они ко мне повернулись, озабоченные такие, машут руками, что, мол, слышат меня, улыбаются — и продолжают.

— Обычный кошмар, — сказал посетитель. — Это вы плотно покушали за счет «Аэрофлота».

— Я потом долго не спал, сидел и думал об этом сне. Вот вы говорили про инстинкт...

— Ну?

— Про то, что человечество погибнет из-за отсутствия инстинкта. Я подумал тогда иначе: все в природе стремится к равновесию — все стремится разложиться, распасться на простые элементы. А человек — сам неравновесная система. Он сам есть отклонение от равновесия.

— Ну, это старая идея и не ваша вовсе, — начал прохожий.

— Это-то да. А я вот что еще... Ведь мы сами же продолжаем отклонять маятник. Мы создаем все новые вещи, которые в природе, по теории вероятностей, появиться не могли. Ну все эти самолеты, вертолеты, магнитофоны, телефоны, — вся эта техника. Мы собрали рассеянные элементы радиоактивности и получили атомную бомбу, реакторы и все прочее. Ведь сам по себе цветной телевизор, скажем, в природе появиться не мог. Вероятность такого сочетания элементов в природе ноль.

— Иначе телевизоры бы уже сами стали расти на деревьях и показывали футбол, — засмеялся прохожий.

— Зря шутите. Не выросли телевизоры на деревьях — значит, без человека не могли вырасти. Человек стал элементом эволюции. Он создает все более и более маловероятные вещи. Особенно на Западе.

— Ну и что?

— А то, что природа стремится к равновесию! И значит, кто мешает установлению равновесия, тот, кто все время отводит маятник, — пропадет, сорвется, — вот какая у меня мысль появилась.

— Я бы сказал, не маятник отводит, а пружину взводит.

— Неважно, — ответил Полуянов. — Все больше оттягивается пружина в сторону невероятных событий и явлений. И мы этим гордимся, считаем это правильным, нам это нравится. Мы хотим подражать больше всего Америке, Японии, хотим магнитофонов, самолетов, фильмов, того-сего. Но

пружина не выдержит, она сорвется и ударит со страшной силой, и размажет нас всех по стенке.

— Имеете в виду атомную бомбу? — деловито спросил прохожий.

— Ну почему? Не знаю, наверное. Или Чернобыль. Или прорыв плотин, или СПИД. — Полуянов достал сигарету и зажег ее от пьезозажигалки. — Вот и эта зараза из той же серии.

— Но ведь удобно, — сказал прохожий. — Трением не станешь добывать огонь. Да и навык утерян. Хотя русские до невозможности изобретательны именно из-за своей великой схемы. От лени. Может быть, если им дать волю, то они бы додумались до каких-нибудь деревянных телевизоров, глиняных компьютеров и экологических автомобилей на дерьме.

— Это как посмотреть, — отвечал Полуянов. — Скорее мы себя и весь мир раньше угрохаем, чем понадобимся миру с нашей ленью, как японцы понадобились миру со своей японской аккуратностью. Чернобыль-то у нас случился, а не у них. Нам бы техникой вообще надо запретить заниматься и не давать баловаться с оружием.

— Мои слова повторяете, дорогой, — сказал прохожий. — Нам не атомную бы бомбу делать, а только тиранов плодить да гениев, чтобы они совместными усилиями, надругательством друг над другом, манифестами, камерами, розгами да бомбами извлекали бы для всего человечества великие духовные ценности из нашей загадочной русской души. Нам эксперименты не над природой ставить приказано, а над самими собой, вот суть.

— Ну, тут нас не упрекнешь, мы над собою такие эксперименты поставили, что нам человечество должно памятник поставить золотой.

— В виде золотого нужника! — сказал гость. — И знаете почему? Потому что наш эксперимент, например, построения социализма показал, что как раз социальное имеет в России самое десятое значение.

Он странно закинул голову и вдруг громко захохотал. Собака Муха вскочила и громко залаяла.

— А это уж ахинея. Социализму тут хорошо, — возразил Полуянов.

— Потому социализму тут хорошо, что удобно лег он на эту нашу разварню — лучшего и желать было нельзя. Раньше на тиранов хоть какие-то побочные соображения влияли, дворянство там, традиция, а тут уж нет, шалишь: все в чистом виде. Тиран, так уж самый страшный, мученики, так уж самые бесправные и даже от Бога не имеющие защиты, потому что Бога в квашне отменили тоже. И знаете, кого ждут теперь самые большие сюрпризы? Перестройщиков наших. Всех этих, кто левее нашего Михаила Второго. Если введут они капитализм в России или нэп — что уже было, — то окажется, что этот капитализм ихний такой же говенный, и даже хуже любого социалистического социализма. Видали, что мы с безвластьем сделали? Сумгаит, Фергану, Баку. Сразу же кровкой умылись и ручки даже ополоснули. А как же? — согласно схеме. Так что какой тут ни введи строй — жратвы в магазинах все равно не будет. Демократия тут может кончиться только большим мордобоем с кровянкой. И какая команда тут ни победи, через три дня всеобщего ликования с водкой и — опять-таки с мордобоем — установится все тот же родной татаро-монгольский, иваногрозновский, петро-павловский, ленинско-сталинский российский стиль.

— Ну уж, я вижу, тут все в кучу пошло, — сердито сказал Полуянов, — все под откос. И Петр, и Ленин, татары и жратва. А кто сказал, что раньше на Руси жить было плохо? И живали-то, кажется, неплохо, и едали недурно. И разве цель жизни — поесть? Давно уже накипело у меня, потому скажу — мне позорны все эти разговоры. Взрослые люди и таким делом занимаются. Даже если и не быть коммунистом, то и все равно — не к этому же шли семьдесят лет, честное слово? Можно подумать, что кто-то кому-то обещал колбасный рай. Правда, свобода — это еще куда ни шло, но не барахло же и не жратва.

— Кончили? — спросил прохожий. — Я вам на это отвечу. Вы правы — позор, когда лучшие умы нации решают, как добиться колбасы или гарнитуров мебельных. Но в наше время — не только в России, а и где хотите — было ровно настолько хорошо с жратвой, насколько в ней было хорошо со свободой. Аксиома! «Колбаса растет на дереве свободы». А теперь все концы перепутаны — надо за свободу бороться, а они борются за гарнитуры.

— А вдруг случится чудо? — спросил Полуянов насмешливо. — И все само собой появится?

— Чудо? Какое чудо? Ведь было все уже, было. Каких тут еще ждать чудес, когда после зверского убийства одного царя они тут же сразу же ставят на его место нового, еще более гнусного. «Старые большевики», прибившие в Свердловске Николашку, тут же с песнями поставили над собой царствовать Иосифа Первого, убивца.

Полуянов забыл чистить грибы. А прохожий воодушевился и размахивал руками. В деревне никого не было, кто мог бы послушать этот разговор, а то бы Полуянов постеснялся так по-городскому тут орать. Но бабки ждали машины и вряд ли за своими разговорами слушали их. Только большие липы с южной стороны сада тихо шумели, лопотали.

— Все-таки вашей российской схемы принять нельзя. Есть же те, кто против, — литовцы, эстонцы, латыши.

— Поляки еще, — сказал прохожий. — Поляки. Лучший пример. Славяне, казалось бы, братья. Ан нет, всегда между нами война. Вся эта вековая свара только по тому одному и происходит, что они нашего уклада не хотят принять. Хотя мы и по языку близки, и по образу жизни, и по славянству. Но они, как и литовцы, к примеру, не хотят становиться участниками российской схемы. Между нами не национальный, не социальный — этнический конфликт. Не нравимся мы им, и все. Не хотят ляхи проклятые иметь царя наверху, внизу болото и мученика посередине. А вот узбеки со своим Рашидовым хотят. Очень им нравится наша схема жизни. Они потому теперь на нас и в смертельной обиде, что нам поверили, согласились стать русскими — это при отличии-то языка, культуры, веры, всего-всего, — а мы теперь их же и по мордам: «узбекское дело».

— Опять неувязочка выходит, — сказал Полуянов, которому понравилось дразнить красноречивого прохожего. — А евреи? Уж они-то как были вписаны в систему! Они почему бегут?

— Потому что они-то и есть самое главное мое доказательство. Они и вправду составляли множество большевистских фигур, они первыми из местечек выбились в инженеры, врачи и так далее. А то, что они бегут, означает одну страшную вещь — они догадались. Поняли! Они поняли, что в этой вязкой российской среде им нет места, что она будет по своему непредсказуемому плану и праву воспроизводить людей. Ее задача не «прогресс», не «перестройка», как я уже доложил, не бизнес, а извечное воспроизведение схемы жизни — то есть самой себя.

Полуянов засмеялся.

— А знаете, вы ведь на Троцкого похожи. Ваша теория в некотором смысле означает победу мировой революции. Только наоборот.

— Конечно! — прохожий даже не удивился ничуть. — Страны «третьего мира», они почему большие друзья советского народа? Только те из них и друзья, кто шкурой принял нашу схему. Им понятно, что под пальмой лучше лежать, чем вкалывать на заводе в Детройте. Они правильно понимают, что социализм, реальный российский социализм был построен в СССР. Он от человека ничего не требует. И потому всякая социалистическая Эфиопия или там Мозамбик это и есть самая настоящая Россия, наполненная глубоко российскими черными обывателями. И в этом смысле никакой разницы между Тамбовом и Аддис-Абебой нету. Я это вам решительно говорю — поверьте, я там бывал.

Полуянов уже хохотал. Солнце выкатилось из-за тучи, бегло все осветило, словно осыпало, показало этот ласковый мир и снова ушло.

— Поймите, милочка моя, — кричал прохожий. — В Россию столько приезжало иностранцев и в наше время тоже, всех этих коммунистов, социалистов, испанцев, черт знает кого. Они тут же в лагеря садились при Иосифе Виссарионовиче Первом, расстреливали их, а вот живут же в России. Потому — нравится. Рыба ищет где глубже, а человек, он прост — видит, что ему тут душевнее, проще, приятнее, вот и живет. И бабы тут самые красивые, и добрые, и дают. Ведь и вы тут, миленький, осели в деревне не против воли, а?

Полуянов насторожился.

— А может, и вправду квашня эта спасется? Мы то есть, — спросил он сухо. — Хотя нет, по вашей теории, нет. Если бы жили тихо, то тогда еще можно было бы рассчитывать. Но мы-то природу свою загадили, извиняюсь, хуже, чем на Западе. Они вон нас резонно спрашивают: «Мы ценой природы создали цивилизацию. А вы-то свою уничтожили зачем?»

— А уничтожили ее ради схемы опять же. Потому что нашим новым царям и начальничкам теперь приходится природу отдавать. Приходится атомные станции строить, заводища, нефтепроводища, иначе нашим тиранам нечего будет жрать, нечем будет руководить, а нашим блаженным не с чем будет бороться. И потому сообща нас они и себя загубят. Нету инстинкта сохранения вида, как я уже вам говорил, милашка моя.

— Ну, тогда остается только одно, — сказал Полуянов.

— Что? Ну-ка?

— Вера, — сказал Полуянов. — Религия, Бог.

— Вот! — сказал прохожий и ласково посмотрел на Полуянова. — Хорошо соображаете! Это первая общность, которая выше рода. Причем, если подумаем, то увидим, что религию можно придумать: верить можно во что хочешь. В Сталина, в Гитлера, в гроб Пророка, в Христа или в Моисея. Главное верить. И в каком-то смысле это единственный шанс, скажем, для природы. Ведь опять-таки нет инстинкта охраны окружающей среды. Ну разве что чувство красоты. Но оно такое слабенькое. Это не инстинкт, это культура, пленочка, а не кости, не мясо. Не может человек машинально, от головы, бороться за экологию. Ему говорят, что вредно химией травить природу. А он слушает и травит. Леса гибнут, ну и черт с ними. Ему говорят, что все подохнем от ядов этих, от радиоактивности, а он думает: «Когда это еще будет!»

— И выходит из этого всего, что даже веруя, не спасемся, нет у нас никакого шанса?

— Никакого! Никакого нет, дорогой мой. Потому что нет силы инстинкт. Такого, как инстинкт продолжения рода. Ведь если бы не инстинкт, никто бы не заставил ни тебя, ни меня, извините, на бабу лезть; ни ей рожать и мучиться. Давно бы вымерли. Согласны? — и, не ожидая согласия, сказал: — Если бы был инстинкт сохранения вида, то ни один человек другого убить бы никогда не смог, как волк волка убить не может. А уж о смертной казни и речи бы не было.

— С верой у вас не получится, — сказал Полуянов.

— Почему? — сказал прохожий. — Получится. Вся история религии — это история борьбы человека с природой. Когда был человек почти зверь, он природы боялся. Она была для него набором страхов. И он придумал себе многих богов. Потом он стал справляться с ней, стал приходить в равновесие со средой обитания, и Бог у него стал один. А теперь человек разрушает природу, и это эра гибели богов. Религия — всего лишь способ измерения равновесия со средой. И больше, миленький, ничего, ничаво, как говорится. Адье, финита ля комедия! Вот как!

Полуянов уж несколько минут назад заметил, что гость его говорит как-то странно. Да и сама речь словно была уже отрепетирована и не раз произнесена. Интересно, перед кем он все это уже проговаривал? Полуянов отложил корзинку с грибами, обтер руки, снова вынул пачку сигарет.

— Трудно судить, — сказал он.

— А чего тебе судить? Тут делать нечего. Может, они там, на диком Западе своем христианском, и поделают чего, или буддисты эти хреновы на Востоке. А нам, в царстве справедливости, ни черта не видать, что делать. Или — в эмиграцию с корабля — шмыг! Или вон как ты — на природу бежать, или как хозяйка твоя прежняя: петлю под потолок, шею сунула — и айда. Честь имею кланяться!

Он встал, неуверенно взмахнул рукой и, сильно шатаясь, но крепко ступая, пошел от Полуянова вон. Полуянов с ужасом заметил: что он мертвецки пьян, что ли?

Это он уже видел в деревне Кукареки. Приходит Колька, трезвый вроде с виду, только глаза блестят. А сам уже дома стакана полтора вмазал. И вот по ходу разговора и курения на приступочке, он все более и быстро быстро пьянеет. И уже через пять минут не вяжет лыка; и тогда брякнет что-нибудь вроде: «Будь проще, Валерик, и народ к тебе потянется!» — и сваливает выписывать ногами кренделя по мягкой траве.

Муха потрусила вслед за пришельцем, а Полуянов еще долго сидел на ступеньках, чистил грибы и думал, что только тут можно встретить проповедующего странствующего философа, пьяницу и ископаемого вполне.

Вечером Полуянов зашел к Анечке. Она сидела в горнице и не слышала, как он прошел через сени, через жарко натопленную кухню. По телевизору диктор государственным голосом рассказывал про какую-то аварию, Полуянов не стал прислушиваться. Анечка проснулась, чуть со стула не скатилась, а потом долго извинялась, смущалась и отмахивалась.

— Аня, а что за мужик сегодня приходил?

— А какой мужик? — живо спросила вмиг проснувшаяся Анечка.

— А вот днем приходил ко мне. В сапогах такой, в свитере...

— Не помню я чегой-то,— сказала Анечка.— Может, Колька Седов?

— Да нет, какой Колька... Из Левшино, там дом, сказал, купил.

Анечка смотрела на Полуянова, открывши рот.

— Что ты, Валер,—сказала она, немного опомнившись,—Левшино сгорело лет восемь назад. Его сперва бесперспективным объявили, переселили всех. А потом летом там или баловался кто-то, но все сгорело. И болота там погорели. Вот мы ж даже за клюквой туда не ходим. Что ты?

— А может, из Лошадеева?

— Нет, это вряд ли. Потому что дачники оттудова съехали давно. Ты один тут во всей округе живешь.

— Да ну такой, в штормовке, мужик,—сказал Полуянов.—Он мимо вас обязательно должен был пройти. Вы ж хлеб ждали.

— Конечно, ждали. Ждали. Но только никто не проходил. Хоть Нинку спроси—мы там все сидели.

— Ладно, пойду,—сказал Полуянов.—Да, давно хотел спросить, а чего жена Витьки, который дом мне продал, она чего?

— Да, Валер, она пьяница была. Ты не думай про это.

— Про что?

— Ну, про это. Она повесилась у себя в доме. Но это давно было. Дочку ее отдали в детдом, а сам он съехал отсюда на центральную усадьбу. А как ты ему деньги за дом тогда отдал, оформил, он попил-погулял и совсем смылся. Ты не думай про это.

Полуянов вышел. Он шел по черной, черней черноты осенней ночи к Зининому дому. Хотел взять молока на завтра и поговорить. Около дома кургузый, маленький ее кобель Бимка зашелся в хриплом лае. Из окон слышна была тонкая песня. Полуянов понял, что старушки снова загуляли, и не пошел, воротился.

Пойду я в море утоплюся,
Пускай мене вынесет волной...—

кричали старухи.

Ветер шумел в кронах и обдирал умирающие сады.

В доме было уютно, и Полуянов почувствовал, что теперь сможет ответить Сашиной сестре. Он вставил лист бумаги в машинку и написал:

«Уважаемая Н. И.!

Я получил и прочитал рассказ Вашего брата «Миру—мир». Говорят, что писателя надо судить не за результат, а за смелость попытки, за тот прорыв к свету, который он старается выразить в своем произведении. Неудача Вашего покойного брата велика — рассказ очень уж слабый,— но велика и попытка. Кто знает, в какие бы формы отлилась эта молодая душа, если бы случай не отнял у Вас близкого человека. С точки зрения литературы его рассказ весьма слабый. Но ведь Вы не об этом спрашиваете. Вас интересует, нельзя ли его опубликовать в память о брате. Я должен Вас огорчить: опубликовать этот рассказ невозможно. И не только из-за качества, но и из-за направления нашего журнала. Поверьте, это не для отписки говорю, а по чистой правде. Не мучайте себя и не обвиняйте журнал.

А душа Вашего брата, душа, пытавшаяся на все откликнуться, была замечательная. И человек был замечательный. За все болел сердцем, во все вмешивался. И если в рассказе он повторяет затертые мысли о борьбе за мир, то это потому, что мы все такие: только то и можем сказать, что в нас вбили. Наверное, через годы он научился бы отличать свое от чужого, не поддаваться на обманы, не ходить по опасным, обманным коридорам... Примите от меня самые главные слова соболезнования и сочувствия.

Я возвращаю Вам рукопись—эту дорогую для Вас реликвию.

Жму вашу руку.

Научный консультант Полуянов».

Два дня стоял густой туман, и поздними вечерами, пока еще не ложился на этот туман ночной холод, было видно, как свет сквозь щели веранды, электрический свет от лампочек, бросает длинные полоски на светящийся пар. Травы под ногами уже не чувствовалось в темноте, змеилась парная поземка. Дом качался в облаке сырой влаги вместе со стеклами, полными света, мокрыми бревнами стен и кустом сирени под окном.

Наутро третьего дня туман дружно двинулся. В воздухе пахнуло морозом, и солнце сталистой полированной плитой прокатилось в небе, среди взлетающих облаков. Туман поднялся, оставил на земле утренние белые следы мороза на травинках, репьях, на паутине и тонких ветках кустов у дома. С каждой минутой цвет возвращался. Иней парил. Горели в солнечных лучах стеклянные изоляторы на столбах, белые провода провисали.

Часам к одиннадцати все очистилось. Туман отошел в поля, и клин ближнего леса выступил вперед. Среди осенней мокрой природы он стоял совершенно зимний, березы сияли снежными кронами. Тонкие льдинки висели в паутинах. В низине, у пруда, дышалось легко, как дышится в горах на кромке таяния льда или у моря, у большой воды. И все новые ветки, засохшие бурьяны, крапива—еще сильная, молодая,—очищались ото льда. Горел на солнце и за окраинами пруд. В лесу каждая ветка была во льду, каждый волос был оперен инеем. Все это таяло, ломалось, и вдруг все как-то разом посыпалось вниз, не стаивая: падали с шумным стуком листья все еще твердые, веточки, ножки желудей. Скоро стук прекратился, туман все отходил в просеки, и видно было, как лес вслед за всей природой размягчается, капает, мокреет. А когда солнце выкатилось на мгновение из-за клочьев туманной пыли в небесах, вдруг он вспыхнул золотыми и серебряными зимними огнями. Седые ели таяли и лились, поле высохло под легким ветром, и стерня затвердела и высветилась.

Днем солнце вышло и стало ровно светить в низком голубом небе. Ни листьев, ни плодов в саду на деревьях уже не было. Их положил ночной мороз и утренняя оттепель с ветром. Только два яблока «славянки», большие белые плоды с черными пятнами, висели на тонких ветвях, пригибая их к забору.

После обеда Полуянов пошел в лес—посмотреть, что там осталось после морозов. С берез потекли листья, быстро и бесшумно, словно в прозрачной лесной реке. Опушки еще не оголились, но уже потеряли свой грозный вид единой массы листьев. По яркой, пронзительной синеве как-то особенно чувствовалось, что скоро зима и скоро снег пойдет.

Полуянов вышел на небольшое круглое поле, через которое шла тракторная дорога на сгоревшую «неперспективную» деревню Левшино. Он стоял на краю этого лесного поля, спиной к тихому осеннему солнцу, а лицом туда, где темная полоса тени разделила поле на лес—на синее и рыжее. Ветер дул ему в спину тоже ровно и спокойно, подхватывал листья на лету и уносил в поднебесье. Они носились сперва низом, черные, как сор, как горелые порошинки, а потом, попав в лучи солнца, на грань света и теней, взмывали в вольном потоке ввысь. И тут вспыхивали вдруг длинными золотыми искрами, как в жаркой печи вспыхивают мусор и пыль.

Полуянов заметил двух женщин, которых видел давеча. Они вышли из рощицы и брели теперь по краю просеки, щупая зеленой палкой землю. Одна подавала провод, а вторая несла квадратный ящик защитного цвета на ремне. Полуянов сразу узнал этот прибор, с которым много лет работал в институте и на военных сборах. Это был дозиметр, а женщины были дозиметристы, они мерили уровень радиоактивности в поле. Полуянов вспомнил толки об аварии, все понял разом и вдруг подумал, что все это не имеет уже никакого значения.

Потому что есть только этот лес и поле. И какие-то вон голоса слышатся в шелесте и скрипе берез, лепет, беготня и смех. Скоро снег пойдет, который уже собирается в холодном воздухе. И что бы ни случилось с ним, всегда останется это холодное жнивье маленького поля, это ласковое солнце, это небо, и эта золотая канитель березовых листьев на ветру.

Юрий Кублановский

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

●

Дарье

Миллиметровая стружка
месяца, словно с крыла
перышко, в стужу
раскалена добела.
Если б не черные рядом
дыры в слепящем снегу,
стало бы новым Царьградом
больше на том берегу.

Плакала там бы над воском
жарким Пречистая,
чья цельбоносная слёзка
чуть маслянистая.

Месяц один впотьмах
перебивается.
Впрок вороньё в ветвях
преумножается.

Где они — отклик сыновий,
верность дочерняя...
Луковки русских зимовий —
жертва вечерняя.

1989

●

г. Тутаев (бывш. Романов-Борисоглебск), на Волге...

1

На отшибе за красным лабазом
тут — в медвежьем углу
солнце смотрит вмороженным глазом
в голубиную мглу.
Волга вся — ледяные торосы.
На ветру оглянусь.
От мороза в глазах настоящие слезы...
Подневольная Русь!
— где соборные окна, ржавея в железах,
пропускают метель
и тутаевских головорезов
запредельную трель.

2

Отстрелялся Некрасов, бурлацкой ушицы
похлебал на веку.
А теперь что за дичь — воробьи да синицы
в голубином снегу.
Да буксир по весне убегает скорее.
Годовалая власть
о мятеж ярославцев, дуря и совея,
окровавила пасть
и теперь отдыхает в морозной постели
у крестьянских лачуг.
Не разбудят ее запредельные трели
колченогих пьянчуг.

3

Крючья барок... закатов бурлацкая сага...
астраханский калым...
Уж давно распрямился в земле бедолага.
Только розовый дым
над избой от воздушных колеблется сшибок.
Водянистый чаек.
Да в рубиновой чашечке, ранен и зыбок,
у икон огонек.
Еле видно повязку на распятом теле,
Богородичный лик.
Да к оконцу зеленые травы метели
прирастают впритык.

4

...Что косишься на черствый ломоть, привереда?
Отвечай по суду.
Где-то тут твоего и ограбили деда
в тридцать пятом году.
Расспросить бы хозяйку про это убийство,
кто гулял в эти дни.
Да боюсь, что повсюду одно кровопийство
и убийцы — одни.
Больно пресен замес у ее каравая,
больно соль солона.
И бесшумное небо до дна освещая,
индевеет луна.

5

...Да и сколько с тех пор испеклось, затерялось
в голубиных снегах!
Может быть, на земле никого не осталось.
На родных берегах
только я да старуха с сухими руками,
потускневшим кольцом.
Вот и будем чаевничать с нею веками,
молодея лицом,
коротая деньки, как во время осады
этих гибельных мест,
— да глядеть на багряные стигмы лампады,
окаймившие Крест.

11 февраля 1978

Возвращение

В уксусе пламя жемчужное
— солнце варяжское, вьюжное
в пору затмения.
Площадь с трусящей волчицею.
И над безлюдной столицею
райское пение.

Дома! Взбегу-ка по лестнице
к милой (и славно, что в плесени
ручка дверная),
забарабаню костяшками,
как там у ней под рубашкою
крестик, гадая.

В лампы с фарфоровым парусом
и потускневшим стеклярусом
круге зелёном
дай, словно маленький, силу испробую,
сжав в затупившихся щипчиках с пробою
сахар пилёный.

Память — река с ледяными заторами,
если уехал — тони под которыми
впредь до подъёма
в знобкое утро Второго пришествия
с преданным привкусом счастья и бедствия,
стало быть, дома.

Стёкла с крупицами.
Кладбище с птицами
за снегопадом
с ветками липкими,
тропами скрипкими.
Родина рядом.

3 января 1986

Под снегом тусклым, скудным...

Под снегом тусклым, скудным
первопрестольный град.
Днём подступившим, судным
чреват его распад.
На тёмной, отсыревшей
толпе, с рабочих мест
вдруг снявшейся, нездешний
уже заметен крест.

Но в переулках узких
доныне не погас
тот серый свет из русских
чуть воспалённых глаз.
И у щербатой кладки
запомнил навсегда
я маленькой перчатки
пожатье в холода.

Москва, ты привечала
среди своих калек
меня, когда серчала.
Почто твой гнев поблек?
Кто дворницкой лопатой
неведомо кому
расчистил путь покатый
к престолу твоему?

...Напротив бакалеи
еще бедней, чем встарь,
у вырытой траншеи
нахохленный сизарь
о падаль клювик точит,
как бы в воинственной
любви признаться хочет
к тебе, единственной.

Январь 1990

Д. Затонский

В ДНИ ВОЙНЫ

РАССКАЗ

В сентябре 1942 года майора Никишина забросили в глубокий немецкий тыл. А через двадцать три дня он под именем полковника генерального штаба фон Ганского появился в главной квартире Имперского Верховного Командования. Никишин имел задание разведать планы немецкого весеннего наступления. И хотя это было довольно опасно, он старался присутствовать на всех важных военных советах и совещаниях. Беглую немецкую речь Никишин понимал не очень хорошо. Кроме того, все генералы почему-то говорили с баварским акцентом, даже если они были пруссаками или рейнландцами. Терминология была сложной и запутанной, карты помечались порой (и не так уж редко) малопонятными значками. Очевидно, здесь что-то изменилось с того времени, когда его преподаватель разведшколы капитан Браун сам изучал штабное дело в Потсдаме. Но Никишин старался внимательно слушать и по возможности запоминать.

6 октября на совещании присутствовал Гитлер. В этот день Никишину было легче. Генералы говорили короче, более внятно и разъясняли даже некоторые значки на карте. Гитлер все время вертел головой и то и дело менял положение руки, которой опирался на стол. Один раз их взгляды встретились. Но Гитлер тотчас отвернулся и стал внимательно смотреть на карту. Слишком внимательно. Гитлеру, наверное, было скучно. Никишин его понимал. Ему тоже, наверное, было бы скучно, если бы не было так страшно.

Никишин плохо спал по ночам, ему снились дурные сны и все время — даже днем — казалось, что его уже разоблачили или выдали и кто-то в большом пустом кабинете отдает приказ: «Пойдите и притащите сюда этого Никишина». А потом в подвалах на Принцальбрехтштрассе под большим красным флагом со свастикой его долго и молча будут бить тяжелыми сапогами. Никишин, конечно, знал, что если все это будет, то будет совсем не так. Во-первых, от Минска очень далеко до Берлина и, следовательно, до подвалов гестапо на Принцальбрехтштрассе. Во-вторых, его, вероятно, станут допрашивать в канцелярии местного абвера интеллигентные пожилые офицеры с аккуратными косыми проборами, допрашивать, терпеливо и спокойно, улыбаясь и угощая длинными турецкими сигаретами. Такую сигарету вчера на его глазах разминал адмирал Канарис, начальник абвера. Но Никишин когда-то, много лет назад, прочел «Твой неизвестный брат» Вилли Бределя, и прочитанное помимо его воли вытесняло непосредственные впечатления.

И еще во время совещаний Никишину представлялось — и это тоже мешало слушать и запоминать услышанное,— что вот сейчас подойдет к нему сзади Кальтенбруннер или тот же Канарис, положит руку на плечо и скажет: «Вы арестованы, товарищ Никишин». Так

четыре года назад взяли преподавателя разведшколы Брауна. Прямо во время занятий, когда все они, вроде как здесь, стояли над немецкими картами. Взяли и увели. Только «товарищем» не назвали, потому что он оказался фашистским шпионом, подлец, а прикидывался коммунистом («Рот фронт!») и сидел в фашистском лагере Дахау, и там ему выбили все зубы и отбили печенку, так что он был весь желтый и какой-то скрюченный.

Кальтенбруннера и Канариса Никишин боялся. Ну и, конечно, еще Гиммлера, который тоже иногда приходил на совещания. А Гитлера не боялся. Гитлеру не было дела до разведчика Никишина. И брать его он не стал бы. Гитлер был выше этого. Он был очень большим начальником.

В следующий раз Гитлер появился через семь дней. Он неожиданно вошел, когда совещание уже началось, и стал не во главе стола, как в первый раз, а сбоку, недалеко от Никишина. Один генерал и два эсэсовца, кажется, обергруппенфюрер и группенфюрер (в их чинах Никишин разбирался хуже, хотя Браун учил его и этому), расступились, и Никишин оказался почти рядом с Гитлером. Их разделяло только сантиметров семьдесят пять пустого пространства. Гитлер снова вертел головой, меняя положение руки и плохо слушал говорившего генерала. А потом вдруг повернулся к Никишину и вполголоса сказал:

— Меня сведет в могилу проклятый берлинский акцент этого Гальдера. Все они хотят свести меня в могилу.

И хотя, по мнению Никишина, это был вовсе не берлинский, а настоящий баварский акцент, он очень хорошо понял Гитлера и, вытянувшись и чуть-чуть прищелкнув каблуками, сказал, как учил его делать в подобных случаях Браун:

— Полковник фон Ганский, мой фюрер!

Ни Браун, ни множество вызубренных Никишиным наизусть инструкций для разведчиков, конечно, не предусматривали случая непосредственного общения с Гитлером, но Никишин тут уже сам сориентировался, подставив вместо «господин генерал» или «господин генерал-фельдмаршал» (и этот случай был предусмотрен инструкциями) обращение «мой фюрер».

— Я раньше вас здесь не видел, полковник,— сказал Гитлер.

— Так точно, мой фюрер,— ответил Никишин,— восемнадцать дней тому назад я прибыл из Цоссена на должность офицера связи при начальнике штаба ОК генерал-полковнике Йодле.

Никишин сказал это и тут же подумал, что Гитлер и сам знает кто такой Йодль. Он даже увидел укоризненно скривившееся желтое лицо капитана Брауна. Но Гитлер не обратил внимания на промах Никишина. Его заинтересовало нечто другое.

— Послушайте,— сказал он,— вы здесь единственный человек, полковник Гансен, который умеет сносно говорить по-немецки. Откуда это у вас?

Никишин начал было излагать Гитлеру свою «легенду», из которой следовало, что он сын гольдштинского помещика Гельмута фон Ганского и урожденной Амалии фон Нидероде (полковник Карпенко, составлявший «легенду», особенно гордился этой фамилией: в ней было что-то истинно немецкое), но потом понял, что ни безукоризненная служба отца в качестве фанен-юнкера в австро-прусской войне 1866 года, ни его последующие подвиги при Седане, ни даже его трагическая гибель от большевистской пули в районе Винницы в 1917 году ничего здесь не объясняют. Поэтому он неожиданно добавил:

— Я изучал немецкий язык по «Майн кампф», мой фюрер!

Никишин был в тот день в ударе. И Гитлеру его ответ тоже понравился. По крайней мере он потрепал Никишина по плечу и сказал:

— И нашим генералам было бы небесполезно проштудировать мою книгу. Но, к сожалению, они ничего не читают.

И тут Никишин неожиданно для самого себя стал рассказывать Гитлеру анекдот о генерале, который, увольняясь в отставку, проходил медицинскую комиссию и, оказавшись у глазника, упорно молчал, даже когда ему показывали самые большие буквы. Врач спросил генерала: «Неужели вы и этой не видите?» — «Да нет,— ответил генерал,— вижу, я только забыл, как она называется».

Лишь кончив рассказывать анекдот, Никишин понял, что говорил, вероятно, слишком громко. Гальдер умолк. Совещание прервалось. Было очень тихо. Некоторые из присутствующих смотрели на Никишина с ужасом, другие — с гневом или омерзением. И только один — мужчина средних лет в темном штатском костюме — с нескрываемым интересом (позднее Никишин узнал, что это был Вальтер Шелленберг, начальник внешнеполитической разведки). Никишин ясно сознавал всю безысходность своего положения: он свершил нечто непоправимо непристойное, столь же непристойное, как если бы громко испортил воздух. И ища хоть какой-нибудь поддержки, он жалко улыбнулся штатскому. А тот улыбнулся ему в ответ.

И вдруг Гитлер рассмеялся. И тогда все стали громко смеяться или по крайней мере улыбаться. Все, даже генералы. Гитлер смеялся долго, утирая уголки глаз большим клетчатым платком. Анекдот ему, очевидно, понравился. И неудивительно. Он его никогда не слышал. Анекдот был русский.

На следующее утро красивый молодой подполковник разыскал Никишина в канцелярии Йодля.

— Фюрер приказывает вам явиться, полковник,— сказал он строго.

Но Никишин не испугался. Он твердо знал, что Гитлер не станет его брать. Он даже не очень удивился.

Гитлер сидел в огромном кабинете, положив руки на стекло совершенно голого стола. Даже письменного прибора на этом столе не было. На стене за спиной Гитлера висел портрет Гитлера, изображенного во весь рост, в низко надвинутой фуражке с высокой тульей. Гитлер за столом был похож на Гитлера на стене. Но не очень.

Никишин молча вытянулся. Подполковник вышел на цыпочках, тихо притворив за собой дверь. Гитлер долго не шевелился, уставившись в среднюю пуговицу на мундире Никишина, а потом вдруг сказал, будто Никишин только что вошел в кабинет:

— Я позвал вас так, не по службе. Да и какие у меня могут быть с вами дела. Делами я занимаюсь с другими...— и после короткой паузы,— другими людьми. Я подумал, что вам, может быть, будет интересно взглянуть на новое издание моей книги. Пойдемте.

Он провел Никишина в смежную с кабинетом комнату. Она была значительно меньше кабинета. Тут они сели в кресла и долго молчали. Но Никишина не тревожило это молчание. Ему было спокойно. Может быть, в первый раз по-настоящему спокойно с тех пор, как он получил от генерала Грузина это задание. Можно было сидеть и ни о чем не думать или думать о Кате и Ларочке и вспоминать мягкую белую Катину грудь с большими коричневыми сосками. Ему захотелось к Кате. Нет, Никишину не было тревожно. Да и о чем ему говорить с Гитлером — этим палачом, извергом, этим фашистом!

Здесь он поймал себя на том, что уже давно слышит голос Гитлера. Гитлер говорил о бремени власти, о своем одиночестве, о Германии, о людях, окружавших его, людях, которым он не доверял

и которые только смотрели ему в рот. «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха»,— подумал Никишин и вспомнил еще строчки из стихотворения, кажется, поэта Александра Блока, которое учил когда-то в школе:

...Теперь стою один, величьем упоен,
Я — вождь земных царей и царь Асархаддон.

Наверное, Гитлеру надо было что-то возразить. И, дождавшись паузы, Никишин возразил, что Гитлер является ведь вдохновителем и организатором всех побед. Сказал и тут же обомлел, даже, кажется, немного побледнел. Но в немецком переводе все сошло благополучно. Гитлер ничего не заметил или не обратил внимания. А потом, когда опасность уже миновала, Никишину стало очень неприятно, что он так сказал Гитлеру, хоть никто посторонний и не слышал. Перед собой неприятно. Будто самому себе в душу наплевал. Член партии, называется!

Новое издание «Майн кампф» Гитлер Никишину так и не показал. Забыл.

С тех пор Гитлер часто вызывал Никишина к себе, каждый раз, как у него выдавалась свободная минута.

— Гинце,— говорил он очередному дежурному адъютанту,— никого не пускать. Телефонной трубки не снимать. Я занят.

Часы, проведенные наедине с Гитлером, были для Никишина самыми счастливыми часами за все время его пребывания в германском тылу. Сюда никто не мог войти и, значит, взять Никишина. И он отдыхал, отдыхал, что называется, телом и душой. Невольно он даже стал испытывать к Гитлеру что-то вроде симпатии, хотя, конечно, его отношение к фашизму, да и к самому Гитлеру нисколько от этого не изменилось. Тем не менее с каждой новой встречей он чувствовал себя в обществе Гитлера все свободнее и свободнее. Играли здесь роль и некоторые другие обстоятельства. Он не испытывал к Гитлеру ни малейшего уважения. Гитлер был фашист, а поэтому — дурак. Правда, Гитлер был очень большим начальником, но не его, Никишина, начальником. Никишин просто не мог себе представить ничего такого с генералом Грузиным или даже полковником Карпенко. А капитан Браун, тот вообще никогда не пил — ему отбили печенку в Дахау. Впрочем, Гитлер тоже не пил. Он только иногда наливал бокал Никишину. Белого вина под названием «Радебергер Бабельсберг». Оно было кислым.

Как-то Гитлер спросил Никишина, был ли у него когда-нибудь друг, только настоящий, который все понимал бы с полуслова; или ему вообще ничего не надо было говорить, он и так понимал. Никишин чуть было не сказал о Петьке Иванове, но вовремя спохватился и, поскольку ничего не сумел придумать на ходу, ответил, что, кажется, нет.

— А у меня был,— сказал Гитлер.— Младший унтер-офицер Якоб Ландрес. Мы служили с ним в 16-м полку. Он был старше в чине, но не зазнавался.

И Гитлер стал рассказывать о Якобе Ландресе. Они ходили тогда вместе к одной девочке. Звали ее Лизелотта. Когда они приходили, она сразу раздевалась догола и так приятно шлепала босыми ногами по дощатому полу мансарды. («У нее был большой белый зад в маленьких пупырышках».) Ландрес был душевный и веселый парень. Он обучал Лизелотту всяким этим штучкам. А Гитлер в это время рисовал их углем на больших белых листах ватмана. Было хорошо. И пиво было вкусным, хотя шла война. Особенно в жару. Тогда грудь и живот у Лизелотты становились потными и блестели, точно смазанные маслом. А Ландрес никогда не снимал мундира, потому

что Гитлер этого не любил. Только пояс снимал. И Лизелотта вешала его себе на шею, когда Ландрес обучал ее всем этим штучкам. А Ландрес и Гитлер смеялись потому, что она была тогда похожа на австрийского солдата в нужнике.

В 1918 году Ландреса убили, и Гитлер уже больше не ходил к Лизелотте. Больше у него уже не было такого друга, а только партийные товарищи. Может, если бы Ландрес был жив, он бы не чувствовал себя таким одиноким. У него был бы друг...

— Нет,— внезапно Гитлер прервал самого себя,— хорошо, что Якоба нет. Теперь я бы его сделал рейхсфюрером СС или гауляйтером Вены. Не мог бы не сделать. И он только тем и занимался бы, что вешал. Они теперь только все и делают, что вешают. И я не могу им помешать. Разве им можно помешать?

Никишин поинтересовался, что стало с Лизелоттой. И Гитлер рассказал, что в тяжелые годы инфляции бедная девочка занялась проституцией в Зальцбурге. Один раз она написала ему в Мюнхен. И он послал ей деньги. Хотя у него самого их тогда было не много. Совсем не много. Пришлось на время отказаться от завтраков. Он сам хотел к ней поехать. И, может быть, даже женился бы на ней. После Ландреса она была единственным, по-настоящему близким ему человеком. Но поехать нельзя было. И он, и его партийные товарищи опасались, что Гитлера могут потом не пустить обратно в Германию. А что было бы тогда с партией, с движением, с родиной? И Никишин согласился, что дело прежде всего, хотя и очень ему жаль было эту Лизелотту.

— Я ее в Мюнхен звал к себе. Но она почему-то не приехала и не ответила,— сказал Гитлер.— Потом, верно, жалела, если жива. Могла бы стать руководительницей Союза германских женщин. Форма красивая. И она бы ей пошла. Особенно широкий кожаный ремень...

Только один раз, нарушив строжайший запрет, в кабинет к Гитлеру, беседовавшему с Никишиным, вошел генерал-фельдмаршал Кейтель. Это было 20 ноября. Кейтель явился доложить, что почти вся 6-я армия и часть сил 4-й танковой армии окружены в районе Сталинграда. И тогда на Гитлера нашло.

Он выбежал в большой кабинет, стал посредине и начал пророчествовать. Огнем и мечом покорит он Европу и весь мир, зальет землю кровью и будет ступать по трупам, по трупам, по еврейским трупам, польским трупам, русским трупам, английским трупам... Глаза его выкатились из орбит, остекленели, застыли, на губах появилась пена. Никишину стало не по себе (хоть он и очень обрадовался победе наших войск) и сделалось даже немного страшно. Это был не тот страх, какой охватывает человека в момент непосредственной опасности, а страх неясный, тупой, расплывчатый. Ему было страшно за Гитлера, что он сейчас что-то с собой сделает, и в то же время стыдно за него, как было бы, наверное, стыдно, если бы Гитлер начал при нем заниматься онанизмом. И еще было Никишину страшно за людей, и за деревья, и за небо, и за городские дома. Но почему-то не за себя.

Ему вспомнился Циолковский, хотя Никишин и не понимал, почему. Никишин родился и рос в Калуге, где почти всю жизнь прожил Циолковский. Никишин даже учился в той самой школе, в которой Циолковский долгие годы преподавал физику. Часто Циолковский водил их после уроков в свою лабораторию — большой ветхий сарай, наполненный ржавым железным ломом. По углам и прямо с потолка там свисали какие-то блестящие железные цилиндры и конусы. Мальчишкам было очень интересно. Но не потому, что их интересовали

ракеты, ракетами тогда никто не интересовался. Циолковского считали в Калуге городским сумасшедшим. Было очень интересно, когда он рассказывал, стоя среди этих смешных и непонятных вещей в своем сарае, интересно, хотя и чуть-чуть жутко. Девчонки даже легонько взвизгивали, когда Циолковский к ним приближался, начиная вдруг быстро-быстро двигаться среди развешенных повсюду конусов и цилиндров. Его глаза становились круглыми, а реденькие волосики на голове стояли торчком. Он забывал о детях в сарае и говорил, говорил, говорил... О мчащихся ракетах, о космических полетах, о холодных планетах, о далеких мирах. Позднее Никишин узнал, что Циолковский — великий ученый, и его к нему отношение, конечно, изменилось. Но непосредственные детские впечатления остались.

Генерал-фельдмаршал Кейтель был бледен и молчал, а Гитлер обзывал его изменником и грозил бросить в концлагерь. Но Кейтель, очевидно, привык к такого рода угрозам и никак не реагировал. Только когда Гитлер сказал, что назначит на его место генерал-фельдмаршала фон Рунштедта, а его самого отправит на фронт, Кейтель вышел из оцепенения:

— Не виноват, мой фюрер,— угрюмо сказал он.— Это генштаб и Канарис проглядели русских. И откуда у них эти свежие войска? А танки? Не может быть, чтоб у американцев купили...

— Генштаб, Канарис...— язвительно, но уже более миролюбиво передразнил его Гитлер.— Ваше дело, само собой разумеется, только бензин делить. Чем же еще занимается Главное командование вооруженных сил? А русские, русские, конечно, тоже хороши. Сталин имел низость, полковник,— повернулся он к Никишину,— назвать нас «вероломными», когда мы в июне сорок первого прибегли к нордической хитрости. А сами они кто? Затеяли эту идиотскую войну с Финляндией, чтобы обмануть нас, показать, что они как будто очень слабые, чтобы я оставил в покое Англию и устремил мои дивизии на Восток. Это все происки Черчилля. Но я покажу им, покажу им всем. Я превращу Россию в пустыню, я сделаю Лондон грудой развалин!..

Но Никишину больше не было страшно и противно слушать это. Он думал, что ведь финская кампания, та финская кампания, за которую ему и его товарищам тогда было так мучительно стыдно, наверное, и в самом деле была гениальным стратегическим ходом Сталина, с помощью которого он обвел вокруг пальца фашистов.

Однако свидетелем подобной сцены Никишину пришлось быть лишь один раз. Чаще в его обществе Гитлер был усталым, немного вялым, но любезным и приветливым. Никишин так привык к нему и настолько освоился, что стал даже делиться с Гитлером своими взглядами на жизнь. Не политическими, разумеется, взглядами. Здесь они с Гитлером были полными антиподами и никогда бы не смогли понять друг друга. Гитлер был фашистом, извергом, людоедом, маньяком и преступником. Взгляды, которыми Никишин делился с Гитлером, были его, так сказать, частными взглядами. Кое-что в них было результатом личного опыта и воспитания в пионерах и комсомоле, но в большинстве своем они были внушены ему еще в раннем детстве отцом — слесарем ЖКТ.

И с этими взглядами Никишина Гитлер обычно соглашался. Иногда спорил, но обычно соглашался. Никишин знал, что отец Гитлера или, во всяком случае, муж его матери (потому что по этому поводу ходили всякие слухи) был лесником. И Никишин думал, что, вероятно, потому Гитлер разделяет многие его, Никишина, взгляды на жизнь, что оба они, Никишин и Гитлер, происходят из трудовой семьи, а простые рабочие люди повсюду в мире думают об одних и тех же вещах одинаково.

Все это настолько их сблизило, что Гитлер однажды показал Никишину то, что, как он сам сказал ему, еще никогда никому не показывал. Это был большой тяжелый альбом в простом сером переплете без виньеток и вообще каких бы то ни было украшений. Любимым занятием Гитлера, которому он до сих пор посвящал свой одинокий досуг, было вырезать цветные картинки из журнала «Берлинер иллюстрирте» и наклеивать их в этот альбом. Картинки — в основном фотографии — были очень хорошие, яркие, четкие, на плотной глянцевитой бумаге. Никишин рассматривал их с интересом. А Гитлер в это время молча стоял за его стулом и тоже глядел в альбом. Дыхание Гитлера было горячим и чуть-чуть зловонным. Надо полагать, у него портился зуб. Но Никишина это не удивляло. Все-таки шла война.

В январе Никишину передали приказ генерала Грузина немедленно возвратиться на Родину. Задание его было выполнено, и он уехал. А через пять дней был уже в Москве. Усталый, с гудящей головой и ощущением ваты в ушах (Никишин плохо переносил самолет) доложился он у полковника Карпенко. А потом пошло по цепочке: генерал Грузин, генерал Евстафьев, начальник главного разведывательного управления генштаба и, наконец, маршал Василевский. Все были Никишиным довольны. И он действительно сделал очень большое, очень важное для Родины и для Победы дело, «сработал за два корпуса, а может, и за целую армию», как сказал генерал Евстафьев. Пока Никишин дошел до генералов и до маршала, он успел отдохнуть, отоспаться (его поместили в гостинице при ЦДКА, в отдельном номере) и начинал докладывать звонким, бодрым голосом, с удовольствием поглядывая на надраенные пуговицы своей зеленой гимнастерки, на которую сменил теперь ненавистный серый мундир. Гимнастерка сидела ладно, мягкие, шевровые сапоги с узкими низкими голенищами слегка поскрипывали. Никишин был красив и нравился самому себе. Его рапорт неизменно прерывали, усаживали его на мягкий диван, клали мясистую руку ему на колени, угощали дорогими душистыми папиросами, от которых он отвык и поэтому часто закашливался. Рассказывал Никишин подробно, но не длинно, очень толково, хотя и немного стеснялся генералов, особенно того, что они обращались с ним без чинов, по-простому. Но о Гитлере Никишин ничего не сказал. Даже сам не понимал, почему. То ли из осторожности, то ли из деликатности. Скорее второе. Никишин чувствовал, хотя и не мог себе объяснить этого, что генералам и маршалу история с Гитлером не понравилась бы, даже если бы он рассказал им не все, а только самое важное и нужное. История эта как-то нарушила бы весь стиль его докладов. Появилась бы натянутость. На него бы посмотрели неодобрительно, отчужденно, с холодным удивлением, возможно, даже стали бы обращаться к нему на «вы». А в то же время он знал, что то, чего ему удалось достигнуть с Гитлером (хотя и без всякой с его стороны заслуги, а следовательно, и без всякой вины), было наивысшим достижением разведчика, может быть, самым высоким из тех, которых достигал когда-либо какой-либо разведчик. Но, с другой стороны, то, что произошло с Никишиным в Минске, разрушило бы какие-то представления слушавших его генералов о мире, о жизни. И Никишин знал, что сохранить эти свои представления для них было много-много важнее, чем получить от Никишина те сведения, о которых он умолчал. Однако в самом Никишине это ничего не разрушало, и он мог молчать. Даже должен был молчать. Из уважения к генералам и маршалу, из искренней преданности им, из верности тому великому делу, которому все они вместе служили, ну и, конеч-

но, немного из вполне понятного в данном случае опасения помешать своему продвижению по службе. Правда, совершенно честно говоря, это опасение стояло у Никишина на последнем месте.

На восьмой день пребывания Никишина в Москве (теперь он уже работал с оперативниками, такими же майорами и подполковниками, как он сам; они просто работали — спокойно, деловито, буднично,— и все-таки все время чувствовалось, что они гордятся и восхищаются Никишиным, и ему это было очень приятно), на восьмой день его вызвал Карпенко.

— Иди к Евстафьеву,— только и сказал он, но как-то так улыбнулся, что Никишину стало ясно: предстоит нечто особенное, из ряда вон выходящее.

Даже когда сияющий генерал Евстафьев сказал ему: «Тебя хочет видеть Верховный, форма одежды парадная»,— Никишин не сразу понял, о чем идет речь, потому что привык про себя называть Сталина «Иосифом Виссарионовичем», и это холодное слово «Верховный» вовсе не вязалось с его отношением к Сталину — родному, близкому, отцу (слова «учитель» Никишин не любил, оно напоминало ему о Циолковском). А когда наконец Никишин сообразил, что сейчас вот его поведут к Сталину, то испугался. Потому что родным и близким, тем человеком, с которым Никишин в мыслях часто разговаривал и советовался, Сталин был для него на расстоянии. А при приближении к Сталину в силу должны были вступить совсем другие законы — безмерное преклонение простого человека перед величайшим гением человечества. Как он будет говорить со Сталиным? И сможет ли выдавить из себя хоть слово? Никишину начисто отказало воображение. И тут Никишин с ужасом вспомнил — и это сразу вернуло его к действительности,—что у него нет парадного мундира.

— Как — нет парадного мундира? — спросил генерал Евстафьев, и на лице его отразилось такое удивление, что Никишину стало стыдно.

Рука генерала Евстафьева потянулась к телефонной трубке. Он звонил начальнику разведуправления. Начальник, судя по ответам генерала Евстафьева, был очень недоволен. Рокотание в трубке и рассерженные взгляды, которые Евстафьев по временам бросал на Никишина, означали, что начальник кричит на Евстафьева, который, как со стыдом признавался себе Никишин, не был ни в чем виноват. Потом обсуждался вопрос о возможности послать к Верховному вместо Никишина подполковника Ложкина (Ложкина очень любил начальник, и поэтому, как говорили, он никогда не выезжал на задания и всегда был под рукой). Но поскольку до встречи со Сталиным оставалось всего полчаса и должным образом проинструктировать Ложкина все равно не успеют, вариант этот пришлось отставить. Порассуждали и о том, нельзя ли надеть на Никишина чей-нибудь чужой мундир. Но Никишин был так мал ростом (говоря это, генерал Евстафьев смерил его с ног до головы), что о чужом мундире и думать нечего было. В конце концов начальник обещал справиться дальше и перезвонить. Евстафьев и Никишин ждали этого звонка ровно восемь с половиной минут. Может быть, это и не были самые трудные и страшные минуты в жизни Никишина, но, наверное, самые неприятные. Молчали. Генерал, отвернувшись, глядел в темнеющее окно, а Никишин, стараясь не шевелиться и не привлекать тем самым внимание генерала к себе, глядел на пуговицы своей гимнастерки, которая не казалась ему больше ладно сидящей. «Послали бы уже этого Ложкина, послали бы Ложкина, и дело с концом. А мы уж, серенькие, в гимнастерочках, так и будем. Наше дело в говне копаться. И чтоб никто нас не знал, никто не знал...» И вперемешку с этими

мыслями в голове Никишина вертелись другие, что он врет, врет даже самому себе, что ему обидно и хочется, очень хочется попасть к Сталину.

Наконец зазвонил телефон.

— Слушаюсь... Есть... Есть... Понятно, товарищ генерал-полковник... Точно так... Мигом, товарищ генерал-полковник.·. Есть...

Никишин по выражению лица генерала Евстафьева силился угадать, что говорит начальник на том конце провода. Но у генерала Евстафьева лицо было каменным. Он бережно и осторожно положил трубку на рычаг и лишь после этого вскочил и крикнул:

— Бегом на выход к машине начальника генштаба. На самом верху сказали, что можно и в гимнастерке.

Мотор черного ЗИСа уже работал, когда Никишин мимо расступившихся часовых вылетел на ступеньки крыльца.

— Сюда, майор! — тяжело дыша, он ухватился за открывшуюся перед ним заднюю дверку, забрался в машину, присел на кончик сиденья. Рядом с шофером сидел маршал Василевский, сзади начальник разведуправления, на откидном сиденье — адъютант маршала.

— Поехали,— сказал маршал шоферу,— чтоб через пять минут ты был у меня у Спасских ворот,— а потом, чуть повернувшись к начальнику разведуправления и почти не делая паузы, продолжал: — Мудрит ваш Евстафьев. Боевой офицер, понимаете, только вернулся с такого задания, а ему подавай вицмундир, шпагу и треуголку... У вас ведь нет шпаги и треуголки? — Это уже относилось к Никишину.

— Так точно, нет, товарищ маршал Советского Союза,— сказал Никишин.

— То-то и оно, что нет,— мрачно сказал маршал.— А он, понимаете, панику поднял. Я Поскребышеву черти чего звонил. Маленкова беспокоил. И вы тоже хороши. Ничего сами решить не можете. Привыкли, понимаешь, чуть что — Василевский. Скоро захотите, чтоб Василевский за вас воду спускал.

— И я тоже думал,— вставил начальник разведуправления.

— И вы тоже думали,— еще более мрачно сказал маршал.

На этом разговор оборвался. Дальше ехали молча. Хотя все как будто обошлось, Никишин волновался еще больше, потому что встреча со Сталиным стала неотвратимой. Когда машина остановилась, до этой встречи оставалось только двенадцать минут. Но когда они поднялись по лестнице внутрь дворца и оказались в огромной комнате со многими дверьми и роскошным лепным потолком, Никишин совсем неожиданно для себя начал успокаиваться. Генералы, лампасы, ордена, золотое шитье, звон шпор, штатские в полувоенном платье, застывшие у каждой двери часовые — вся эта обстановка главной квартиры, Ставки, где управляли армиями, фронтами и странами, где пульсировал мозг и билось сердце великой державы, оказалась знакомой Никишину. Он уже успел свыкнуться с этим за минувшие три месяца. Генералы и высшие политические функционеры, взятые каждый в отдельности или даже по двое, по трое, смущали его, потому что были начальниками, но здесь, взятые все вместе, они были только деталями колоссальной, хорошо работающей машины, только фоном, на котором существовал вождь. Там, в Минске, он был с вождем, а не растворялся в фоне, и поскольку фон здесь был похожим, Никишин перестал бояться. Это не были ясные мысли, это было лишь какое-то особое чувство. Ясная же мысль, за которую держался Никишин, была совсем иной. Он только сейчас до конца вдруг понял, что находится среди своих и что ему не только не нужно скрывать, что он советский разведчик, но что именно как советский разведчик,

гордясь этим, он и пришел сюда и что все вокруг него тоже этим гордятся. И Никишин подумал, что потому-то он и перестал бояться генералов и даже предстоявшей встречи со Сталиным.

Когда Никишин вместе с Василевским и начальником разведуправления входил в кабинет Сталина, он улыбался — маленький, не очень заметный между двумя крупными генералами (они легонько держали его под руки). Кабинет Сталина был еще больше, чем Никишин ожидал, а письменный стол меньше, и на столе двумя стопками лежало несколько книг — как позднее узнал Никишин, это были сочинения Ленина и самого Сталина. Над столом висел портрет Ленина. Сталин тотчас же встал из-за стола и пошел им навстречу, как-то выворачивая ноги носками наружу. Было видно, что ходить Сталину трудно, и лицо у него напряженное и чуть-чуть брезгливое. И еще поразило Никишина, что Сталин мал ростом, хотя и немного выше Никишина, и волосы у него не черные, а рыжеватые и сильно поредевшие, и лицо в заметных рябинах. Но когда Сталин подошел ближе, то Никишин увидел, что глаза его смеются — лукаво, иронически, с прищуром. Это была знакомая сталинская улыбка, хорошо знакомая всем по фотографиям и кинохронике, улыбка добрая и мудрая, и только теперь Никишин окончательно убедился, что перед ним действительно Сталин, хотя и раньше знал, что это Сталин.

Сталин подошел прямо к Никишину, подал ему левую руку (правая была как-то неудобно согнута) и, глядя в глаза, сказал:

— Значит, говоришь, нет у тебя гвардейского мундира?

Никишину, разумеется, было известно, что Сталин говорит с грузинским акцентом, но он все-таки поразился, что акцент этот так заметен. Однако еще больше поразило его то, что Сталин знал об этой истории с мундиром. Конечно, Сталин знал все. Должен был знать все. На то он и Сталин. Но как? Когда он успевал? Ведь такая война, такая страна. Столько людей. И у каждого свое горе, свои радости, свои трудности, даже свои глупости. Никишина обдало горячей волной радости, что есть он — Сталин, который обо всех думает. Но в то же время Никишину стало жалко Сталина, что он вынужден обо всех думать, даже о нем, Никишине, и исправлять все ошибки, которые делают другие люди: и генералы, и маршалы, и члены Политбюро. И ему опять стало стыдно, что нет у него мундира и что этим он доставил Сталину столько хлопот.

— Виноват, Иосиф Виссарионович,— сказал он.

— Что ты оправдываешься, что ты, понимаешь, оправдываешься, разведчик,— сказал Сталин.— Боевой офицер. Прямо с такого задания. А они, понимаешь, панику поднимают, боятся мне его в гимнастерке показать. А он, видишь, какой орел...

Сталин внимательно и оценивающе посмотрел на Никишина.

— Послушай,— вдруг сказал он,— посмотри, какой он маленький. И Буденный побольше тебя будет. Позовите Буденного,— бросил Сталин, ни к кому прямо не обращаясь, но и Василевский, и начальник разведуправления быстро побежали к двери.

— Видал, какие шустрые,— сказал Сталин, когда они остались одни.— Ты их не бойся, они послушные. Ты не бойся, что без мундира. Ты гордись, что ты простой человек. Мы здесь с тобой два простых человека.

Лишь сейчас Никишин осознал, что Сталин одет необычно. Не в маршальский мундир, в котором Никишин привык видеть его на фотографиях последнего времени, а в наглухо застегнутый зеленоватый френч с отложным воротником и без всяких украшений, который был приметой довоенного Сталина и вошел в моду у партийных, советских, а также многих торговых работников под названием «сталинка». Но брюки на нем были значительно светлее, и не гражданские, а с лампасами, только заправленные в сапоги.

В голове Никишина промелькнула дикая мысль, что это ради него, Никишина, чтоб он не чувствовал себя неловко в простой гимнастерке, Сталин в последний момент сменил мундир на «сталинку», но брюки сменить не успел (или других под рукой не оказалось) и только заправил их в сапоги. Он даже невольно пошарил глазами по кабинету, ища где-нибудь на стуле мундир. Однако заметил слева от портрета Ленина маленькую дверь и понял, что мундир, если он здесь есть, где-то там. И сердце его наполнилось благодарностью и даже нежностью к Сталину. Он посмотрел ему прямо в глаза и сказал:

— А я вас себе совсем не таким представлял, Иосиф Виссарионович.

— А каким? — немного настороженно спросил Сталин.

— Строгим,— сказал Никишин.

— Я и есть строгий,— смущенно буркнул Сталин.— Ну, что ж это мы с тобой стоим, разведчик, давай сядем.

Они прошли рядом несколько шагов и сели — Сталин сначала, Никишин потом — на маленький диванчик, точно такой же, а может быть, и тот самый, на котором Сталин сидит с Лениным на той знаменитой фотографии.

И так как Сталин молчал, а Никишин совершенно не представлял себе, что бы ему такое сказать или о чем спросить его (они были еще так недавно знакомы), он спросил:

— Иосиф Виссарионович, вы знаете анекдот о глухом фельдфебеле?

— А что? — подозрительно спросил Сталин.

— Ничего,— смутился Никишин,— я просто хотел вам его рассказать.

— Анекдот? — удивился Сталин.

— Анекдот,— совсем тихо ответил Никишин.

— Зачем? — спросил Сталин.

— Просто так. Для смеху,— ответил Никишин.

— Для смеху, говоришь,— сказал Сталин и вдруг улыбнулся не своей доброй и мудрой улыбкой, а совсем другой, и лицо его при этом точно помолодело,— ну давай, рассказывай, разведчик.

Собственно, Никишин не любил анекдотов, не понимал их и потому плохо запоминал. Но этот запомнил, потому что этот был любимым анекдотом Гитлера, и Гитлер часто ему его рассказывал.

Сталину анекдот понравился. Он начал смеяться, но досмеяться не успел, так как в кабинет вошел Маленков, а за ним Буденный, Василевский и начальник разведуправления.

— Ты чего его привел, Георгий? — спросил Сталин Маленкова, указывая на Буденного.

— Вы мне явиться велели, товарищ Сталин,— выкрикнул Буденный, приподнимаясь на носках, так что звякнули шпоры.

— А тебя не спрашивают. Ишь, шустрый какой. Ну ладно, иди сюда. Становись. С разведчиком мериться будешь, кто выше.

От неожиданности Никишин немного растерялся, и потом ему было очень нелегко стоять, упираясь спиной в острые старческие лопатки легендарного героя гражданской войны.

— Ты, Семен Михайлович, не тянись, не тянись,— сказал Сталин с какой-то грубоватой лаской.— Все равно ты выше. Я так и говорил. У меня глазомер есть. Ну иди, иди, дорогой, работай там себе, куй нашу победу.

Буденный вышел, и Сталин повернулся к Василевскому:

— Нет у вас политического чутья. Стратеги выискались. Боятся мне разведчика без мундира показать. Вы что, от меня агентурные сведения, может быть, скрыть хотите? На Гитлера работаете?

Сталин все еще сидел на диванчике, поглаживая левой рукой жесткие льняные волосы на голове у Никишина, которого снова усадил рядом с собой. Остальные стояли. Сталин не кричал, а говорил тихо и медленно, но веско и убедительно. На верхней губе Василевского появились капельки пота. Он хотел что-то сказать и уже шевельнулся и приоткрыл рот, но Маленков движением руки остановил его и заговорил сам:

— Всю ответственность, товарищ Сталин, за создавшееся нетерпимое положение целиком и полностью несет генерал Евстафьев. Он будет строжайшим образом наказан. Я уже распорядился.

— Что ты там распорядился! — сказал Сталин.— Все тут скоро распоряжаться начнут. Отправить этого генерала на фронт, на передовую. Дивизию дать. Не справится — расстреляю. О человеке думать надо, понимаешь, надо о живом человеке. Ему со Сталиным встретиться надо, а его не пускают. Тебя кормили, разведчик? — повернулся Сталин к Никишину, так и не снимая руку с его головы.— Пойди, дорогой, возьми себе апельсин вон там в вазочке. Съешь. Апельсины вкусные, сухумские.

Никишин хотел было поблагодарить и отказаться, но увидел, как Маленков двинул бровями, что могло только означать: не ломайся, мол, пойди и возьми апельсин из вазочки.

Большая хрустальная ваза с апельсинами стояла на подоконнике задернутого светонепроницаемой шторой окна. Апельсины были большие, золотистые, тонкокожие, и на каждом стоял синий чернильный штемпель «Jaffa». Никишин выбрал себе самый маленький, вернулся к диванчику, но сесть не решился и начал чистить апельсин стоя. Шкурка поддавалась плохо, потому что, вернувшись в Москву, Никишин коротко обрезал ногти. Все молча смотрели, как он чистит апельсин, кладет сочащиеся соком дольки в рот и глотает их, почти не разжевывая. Никишину было очень неприятно есть на людях да еще в одиночестве, но все-таки он был очень благодарен Сталину, что он, единственный, подумал о том, что Никишин, может быть, голоден, не успел поесть во всей этой суматохе. В сущности, так оно и было, но только апельсин не утолял голода, а раздражал пустой желудок.

Василевский и начальник разведуправления чуть ослабили напряжение тела и стояли теперь полусмирно-полувольно. Маленков держался еще свободнее — он сложил руки на животе, прикрывая ладонями нижнюю пуговицу своей серой «сталинки».

Глядя на жующего Никишина, Сталин сказал:

— А мундир ему сшейте. Самый хороший мундир. Из такого сукна, как у тебя.

Сталин потянулся к рукаву начальника разведуправления, и тот, чтобы дать Сталину возможность, не поднимаясь с места, дотянуться до своего рукава, сделал быстрый шаг вперед и застыл по стойке «смирно».

— Хорошее сукно,— одобрительно сказал Сталин, пощупав рукав,— хорошее сукно. (Хотя это было не сукно, а коверкот.)

Никишину показалось очень трогательным, что Сталин, который знает все, держит в голове все государственные и военные дела, думает за всех, помнит обо всех и всех поправляет, не может отличить коверкот от сукна и не знает, что ему подают на стол не сухумские, а яффские апельсины.

Никишин дожевал свой апельсин и шкурки незаметно сунул в карман, а липкие пальцы вытер сзади о галифе.

Сталин повеселел и снова улыбался своей доброй и мудрой улыбкой.

— Апельсины все-таки не еда,— сказал он.— Как ты думаешь, Георгий, какой солдат лучше, сытый или голодный?

— Думаю, что сытый,— ответил Маленков.

— Глупый ты человек. Голодный будет злее бить фашиста. Диалектически рассуждать не умеешь. Но мы, однако, не на фронте, хотя и стоим в Москве, как стена. Поэтому, разведчик, поехали на дачу обедать.

Никишин сначала удивился, что Сталин обедает так поздно. Потому что было, наверное, около одиннадцати вечера (взглянуть на часы Никишин не осмелился). Но потом вспомнил, что в мире ведь идет война. А что Сталин везет его к себе обедать — не удивился. Он уже как-то начал привыкать ко всему этому.

Сталин поднялся:

— Спасибо вам, товарищи, за умную и содержательную беседу. Особенно много умного и поучительного сегодня нам рассказали вы.— Сталин посмотрел на начальника разведуправления.— Да и вы тоже,— он перевел взгляд на Василевского.— И чтобы у меня этого больше не было.

И хотя не совсем ясно было, что именно Сталин имеет в виду, Василевский и начальник разведуправления оба ответили:

— Так точно, товарищ Сталин.

— Ну, шагайте, генералы,— сказал Сталин.— А ты, Георгий, можешь поехать с нами.

До глубокой ночи они у Сталина на даче (это был большой, но странно и нелепо обставленный дом) пили красное вино «Киндзмараули». Оно было сладковатым, и Никишину понравилось. Маленков быстро опьянел, и его куда-то увели какие-то люди. Но Сталин не пьянел, хотя пил много. Никишин тоже держался. Их тренировали на этот счет в разведшколе. Сталин посмотрел на Никишина через стол и сказал, снова наполняя бокалы:

— Люблю настоящих людей. Настоящие мужчины должны уметь пить. Настоящие мужчины только грузины. Царь Ираклий Второй был тряпка и изменник. Продал страну. Но я его ошибку исправил... Исправил ошибку.

Ход мыслей Сталина был Никишину непонятен, тем более что в голове все-таки стоял туман. Кроме того, он не знал, кто такой царь Ираклий Второй. Но подумал, что кому же еще исправлять ошибки царей, как не Сталину. Всех царей всего мира. И всех людей всего мира.

А Сталин продолжал:

— Вот, возьми хоть Георгия. Имя грузинское. А не грузин. Два бокала выпил — в кусты. Он не пьяный. Больше прикидывается. Но пить не может. Не грузин. Потому должен служить грузину. Нет, они ребята хорошие. Настоящие большевики. Стойкие. Но подхалимы. Все поддакивают, понимаешь. А сами смотрят, где чего урвать. Даже Берию в Москве испортили. А что поделаешь? Не подмажешь — не поедешь, не обманешь — не проживешь. Я их понимаю и прощаю. Пока. Но, конечно, не те люди, что раньше были, революцию которые делали. Железная гвардия. Рыцари без страха и упрека. Джапаридзе, Шаумян, хоть и армяшка... Орджоникидзе... Багиров... Нет, этот еще живой. Вот. Щорс, Чапаев, Фрунзе, Дзержинский Феликс Эдмундович... Рудзутак,— Сталин задумался.— Постой, что-то с Рудзутаком не так... Руд-зу-так, так, так, так.

В эту минуту в комнату вошел Молотов (Никишин вспомнил, что

за ним послали с полчаса назад, когда стало ясно, что Маленков пьянеет).

— Садись, Вячеслав, гостем будешь,— сказал Сталин,— знакомься. Славный наш разведчик. Герой. Орел. Из фашистской Германии вернулся. Твоего кунака Риббентропа видел. Или не видел?

— Риббентропа не доводилось, Иосиф Виссарионович,— ответил Никишин.— Но всякой другой нечисти повидал. Даже Гитлера самого.

— Гитлера, говоришь? А он Молотову привета не передавал? Это Молотов. Самого Черчилля перепить может. Председателем Совнаркома работал, может, знаешь? Да, Вячеслав, Рудзутак у тебя, кажется, заместителем был. Ты же должен знать, что с ним стало. Умер он или...

Наступила пауза. Молотов снял пенсне, медленно протер его, снова надел и спокойно заговорил:

— Рудзутак, товарищ Сталин,— при этом он строго посмотрел на Никишина, будто осаживая его, указывая, как дòлжно обращаться к вождю всех народов,— Рудзутак изменил великому делу социализма. Был связан с оппозицией. Потом окончательно разложился и в период обострения классовой борьбы продался иностранным разведкам. Трибунал приговорил его к высшей мере наказания.

— Что ты меня учишь, что ты меня учишь, Вячеслав,— оборвал его Сталин.— Я говорю — разложился, значит, разложился. Они все очень быстро разложились. Вот только Вячеслав стойкий, потому что проспиртованный.

Сталин рассмеялся, потом задумался и наконец заговорил снова:

— А он хороший парень был, этот Рудзутак, до того, как разложился и продался, конечно. Помню в девятнадцатом, здесь, в Москве...

И Сталин стал рассказывать, что кто-то принес Рудзутаку сулейку чистого спирта (большая по тем временам редкость), и Рудзутак позвал его, Сталина, распить с ним этот спирт. Они заперлись в одной из комнат Кремля (какой именно, Сталин уже не помнил) и пили гранеными стаканами, не разбавляя (этому Сталин научился в ссылке в Туруханском крае) и закусывали хлебом с луком (стояло лето). А потом Рудзутак сказал (на ногах они еще хорошо держались), что знает один княжеский дом на Арбате. Папашу-генерала там расстреляли в семнадцатом за контрреволюцию, и осталась княгиня, уже старуха, и две дочки, ничего себе барышни. И они поехали туда на линейке Рудзутака, запряженной буланой лошадью (свою машину Сталин не взял, потому что немного побаивался шофера, старого питерского фельдфебеля с седыми усами). Линейка громыхала по булыжнику, а они сидели, оба в кожанках, перепоясанных ремнями, как два настоящих чекиста. Они, в общем, ничего плохого не замышляли, а хотели только немного попугать контру и посидеть в красивой чистой комнате и, может быть, послушать игру на рояле (Сталин очень любил вальс «На сопках Маньчжурии» и знал, что во всех офицерских домах его играли).

Но их растрясло на линейке и потому они, наверное, слишком громко колотили в дверь ногами. Так что, когда вслед за горничной вышла сама княгиня, она была очень бледная и сказала, что господа комиссары, верно, ошиблись адресом, так как самого Иннокентия Андреевича забрали еще два года назад, а других боеспособных мужчин в доме нет, и золото у них уже несколько раз искали, но никогда не находили. Сталина очень рассердило, что их не считают за людей, потому что они ведь хотели только послушать музыку и посмотреть на барышень. И он оттолкнул старуху и спросил, где барышни. Старуха сказала, чтобы господа комиссары сжалились, потому что они совсем еще девочки. И это еще пуще разозлило Сталина, потому что он ничего от этих барышень не хотел. И они прошли в дом и нашли барышень — бледных веснушчатых замухрышек с косичками. Старшую они усадили за рояль, чтоб она играла «На сопках Маньчжурии», а младшую Сталин все-таки попробовал щупать (так только, от злости), но у нее совсем не было груди. Горничная принесла наливку, но они ее пить не стали. Барышням Сталин понравился («они обе ко мне на колени сесть хотели, даже Рудзутак обиделся»). А потом за дверью кто-то шушукался, и княгиня кого-то о чем-то просила, довольно громко. Дверь отворилась, и вошел какой-то горбатенький мальчик в гимназическом кителе. Княгиня сказала, что это ее младший сын, но он небоеспособный. Горбатенький оттолкнул мать, сказал, чтобы они оставили в покое его сестер и немедленно покинули дом. Сталин очень смеялся над этим защитником России. И вдруг горбатенький вытащил из-за спины «смит-вессон» и стал целиться в Сталина. Сталин совсем не испугался и не двинулся с места. Но Рудзутак выбил ногой у горбатенького револьвер. Горбатенький заплакал. И Рудзутак хотел его застрелить. Но Сталин не дал. Конечно, Рудзутак хотел сделать как лучше, и он, может быть, спас Сталину жизнь. Но он не был грузином и не понимал, что такое честь рода. Сталин стал утешать горбатенького и сказал, что они ничего не хотели сделать плохого девочкам. Горбатенький перестал плакать, и Сталин забрал его с собой. Он был грамотный, знал французский и немецкий и работал у Сталина. Даже в партию потом вступил, но в двадцать третьем умер от туберкулеза. А Рудзутака Сталин много лет любил и поддерживал, пока тот не разложился.

Дым от сталинской трубки собирался под большим абажуром из красного шелка. А Молотов и Никишин не курили. Никишин слушал и думал о Сталине, и Сталин, такой простой за этим столом, все рос и рос в его глазах.

«Вот этот Рудзутак,— думал он,— изменник, злобный враг, а Сталин рассказывает о нем, помнит о нем только хорошее. Даже забыл, что Рудзутак потом изменил партии, стал врагом народа. Сталин любит людей, хочет верить в самое лучшее в них. А они его обманывают. Но разочаровать не могут».

И еще думал Никишин, что только большой государственный ум способен на такую человечность, на такую широту, чтобы простить горбатенького. Он честно признался себе, что вряд ли сумел бы простить. Прощать трудно, очень трудно. И видеть дальше, неизмеримо дальше своего носа, еще труднее.

Что делалось у них в школе, когда забрали капитана Брауна, а потом еще начальника школы. Боже мой, что делалось! Никишин вспомнил выступление комиссара на партсобрании: «...у нас есть три вида слушателей: враги, пособники врагов и ротозеи, всех надо уничтожить». Сколько было в этом личной злобы, глухой ненависти, страха. Никишина тоже таскали тогда, чуть не исключили, как пособника капитана Брауна. Спас его только комиссар Госбезопасности Кобулов, строгий, но справедливый человек, тоже, как и Сталин, с Кавказа.

Никишин даже усмехнулся, подумав, что бы сделал тогда с любым из них комиссар разведшколы, если бы они говорили о капитане Брауне так, как Сталин говорит о Рудзутаке. И все-таки все было на свете правильно. Не случайно комиссар — только комиссар, исполнитель, а Сталин — вождь. Иначе просто и быть не могло бы...

— Слушай, Вячеслав Михайлович,— сказал Сталин,— полей, пожалуйста, цветы, а то они, боюсь, завянут. Тут еще вы так накурили.

Только сейчас, оглядевшись, Никишин заметил, что на каждом окне (а было их шесть) стояли цветы в горшочках, все больше герань и алоэ.

Молотов медленно встал, одернул черный пиджак, поправил галстук и вышел.

— Видал,— сказал Сталин Никишину,— не шатается даже. Молодец. Но и ты тоже в порядке. Уважаю тебя.

Молотов вернулся с пузатым металлическим кувшином в руке и стал поливать цветы. Но он не дошел и до третьего окна, как Сталин сказал:

— А теперь спать!

Никишин вернулся в город в машине Молотова. Но проснулся он не в гостинице ЦДКА, а в роскошном трехкомнатном номере «Националя», с балконом, выходившим на угол улицы Горького и Охотного ряда. Как он попал сюда, Никишин не помнил, значит, все-таки был пьян. Однако глупостей он никаких, очевидно, не наделал, потому что с того дня Сталин стал часто звать его к себе.

Никишина разыскивали, где бы он ни был: в гостинице, в управлении или даже в театре — и везли по тщательно очищенной от льда и снега дороге на дачу Сталина. Там они беседовали, обедали, иногда гуляли по заснеженному парку. Маленков, Молотов, Берия и Жданов входили к Сталину почти без спросу, но это не мешало Никишину, ведь здесь ему нечего было бояться разоблачения и ареста, здесь он был среди своих. Зато общение со Сталиным избавляло его во многом от общения с непосредственными и прямыми начальниками, которых он по-прежнему стеснялся, хотя они относились к нему теперь с большим уважением, даже называли на «вы», и в этом не чувствовалось ни натянутости, ни холодности, ни отчуждения.

Вначале Никишин думал, что в управлении на него, может быть, будут косо смотреть из-за того, что он — хоть и безо всякой своей вины — явился причиной ухода генерала Евстафьева. Но Никишин ошибся. Оказалось даже — чего раньше он не знал,— что Евстафьева в управлении не любили и считали бездарным. Немного беспокоило Никишина лишь то, что его в последнее время все чаще оставляли в покое, и он, если не был занят у Сталина, без дела стоял у окна своего номера в «Национале» и смотрел на зимнюю военную Москву. Иногда бывали налеты, но теперь уже все реже и реже, и Никишин в бомбоубежище не спускался. У него было все. Возвращаясь от Сталина или с короткой прогулки, он каждый раз находил на столе что-нибудь новое: то цикламены в голубой высокой вазе, то две бутылки «Киндзмараули», то несколько банок крабов или тихоокеанского лосося в собственном соку — все вещи по тем временам почти сказочные. Но женщин Никишин к себе не водил. Стеснялся. Хотя у него и не раз звонил телефон и приятный гортанный голос справлялся, не очень ли он скучает. Только два раза, когда совсем уже стало невмоготу (писать Кате письма Никишину не разрешали), он наскоро, по-походному переспал в дежурке с горничной Люсей, женщиной немолодой, некрасивой, но жалостливой, потому что у нее самой был муж на фронте. Во второй раз Люся, видно, плохо закрыла двери, потому что в комнату вошла дежурная по этажу Анна Аркадьевна. Она очень смутилась, ничего не сказала и сделала вид, что вообще ничего не заметила. И Люсе она потом ничего не сказала. Только ее перевели на третий этаж, а в никишинский коридор назначили Наташу, девушку молодую и очень красивую, которая старалась убирать номер Никишина, когда он был дома. Но после того случая с Люсей он уже боялся.

Следующий раз Никишина привезли в Кремль, в служебный кабинет Сталина, когда показывали образцы новой формы для генералов. Там были все члены Политбюро, которые оказались в Москве, многие маршалы. Пояснения давал начальник тыла Вооруженных Сил генерал Хрулев. Осмотр тянулся долго. Сталин был серьезен и придирчив. А когда наконец все кончилось, отпустил всех, кроме Хрулева и Никишина.

— Теперь будем мерить форму на меня,— сказал Сталин.

Выяснилось, что все образцы шились по мерке Сталина, хотя и без примерки. Но у портных, очевидно, был манекен, в точности повторявший сталинскую фигуру, так как все мундиры сидели исключительно хорошо.

Хрулев подавал мундир, Сталин примерял, а Никишин, сидя на диванчике, должен был высказывать свое мнение. В «сталинке» Сталин ему больше нравился. Но он не сказал этого, а хвалил мундиры и то, как они сидят на Иосифе Виссарионовиче.

Когда Сталин отпустил и Хрулева — мундиры так и остались висеть на манекенах, выстроенных в ряд посреди кабинета,— он уже казался усталым. Сталин сел к столу и усадил Никишина на стул сбоку (тогда-то Никишин и увидел, что книги, двумя стопками лежащие на столе,— это сочинения Ленина и самого Сталина).

— Знаешь,— сказал Сталин,— это очень скучно — мерить мундиры. Но что поделаешь? Это работа, как и всякая другая. И я должен делать ее. Я должен делать то, чего они от меня ожидают. А они ожидают, что я буду ходить в красивом мундире, потому что сейчас идет большая война. А мундиры и правда красивые,— сказал он, поглядев на выстроившиеся в ряд манекены.— Посмотри, сколько золота. Хрулев постарался. Интендант. Понимаешь, я раньше не любил интендантов. Когда моложе был. Кухня. Вещевой склад. Что в них толку? Другое дело — кавалерист. Клинок наголо — руби. А потом понял, что все мы интенданты. Все обслуживаем. Себя. Других. Все. Человечество обслуживаем. А не обслуживает только тот, кто не работает. Капиталист, буржуй, помещик. Так для чего же мы живем, разведчик? Чтобы обслуживать себя, а потом умереть? Скучно...

Только через два месяца, когда на дворе уже стояла весна и в доме Сталина впервые открыли окна, Сталин показал Никишину то, чего Никишин подсознательно уже давно ждал — свой альбом. Альбом был большой, с простенькой виньеткой в левом верхнем углу, коричневый. Сталин собирал картинки из «Огонька» за многие годы. Качество картинок было много хуже, но сами они были интереснее, потому что ближе и понятнее. Кроме того, Сталин, перелистывая альбом, сам давал пояснения.

— Вот это — старый Тифлис. Вот тут за углом стоял дом Ашота Мамедяна. Он был полуазербайджанец-полуармянин. Богатый человек. Сначала управляющим у князей Орбелиани служил. Потом свое дело открыл. Сапожную фабрику. Хорошо дело вел, с умом. И жил на широкую ногу. Дочка у него была — Сулико. Очень я ее любил когда-то. Очень скромная была. Никак платье снимать не хотела. Но все-таки отдалась до женитьбы. А ты знаешь, что значит для девушки на Кавказе до женитьбы отдаться? Без памяти меня любила. А женитьба не вышла. Старый Мамедян за голодранца дочку отдавать не хотел. Однако просчитался старый Мамедян, ох, просчитался. А впрочем, кто его знает, куда бы судьба повернулась, если бы женился я на Сулико и из семинарии меня не выставили. А выгнали меня из семинарии из-за нее. Старик Мамедян пожаловался наставнику, отцу Георгию. Ну, конечно, выгнали меня за революционную деятельность в Закавказье. Это только повод был — Сулико. За одну Сулико отец Георгий не выгнал бы. Он справедливый был. А тут уж ничего поделать не мог. «Джугашвили,— сказал он мне,— люди рождаются, страдают и умирают — вот и вся человеческая история». (Это он у одного француза вычитал, очень хорошо французский язык

знал.) «А ты,— сказал мне отец Георгий,— хочешь это изменить. А разве ты сможешь это изменить?» И ошибся старик. Но в одном был прав: нельзя революционеру с такой женой, как Сулико. Очень ее сильно любить надо. А Сулико мне дочку родила. Правда, ее насильно женили на Заурия, коммерсант такой был в Тифлисе, так что дочка за ним числилась. Потом их всех при меньшевистском правительстве расстреляли, изверги проклятые, предатели пролетарского дела...

Еще много чего рассказывал Никишину Сталин, листая альбом. Говорил, что хотел бы жить тихо, где-нибудь вот в таком, как на картинке, лесу, но нельзя, потому что не пристало большевику прятаться от борьбы и от ответственности, и вообще, не одолеют без него Гитлера.

Никишин, как только увидел альбом, понял, что уже не сможет не рассказать Сталину о Гитлере, а когда Сталин сам заговорил о Гитлере, сообразил, что и повод нашелся.

Сталин слушал внимательно, не очень удивлялся и даже не спросил, почему Никишин об этом раньше молчал.

А на следующий день Сталин вызвал Никишина в Кремль и сказал:

— Вот что, разведчик, придется тебе снова отправляться в логово фашистского зверя.

И хотя Никишин прекрасно понимал, что этим все равно когда-нибудь кончится (правда, он не думал, что получит на этот раз задание от самого Сталина), он испугался и немного огорчился — слишком уж спокойно жилось ему в последнее время.

— Понятно, товарищ Сталин,— сказал Никишин и впервые за три месяца вытянулся перед Сталиным.

Сталин достал из ящика стола большой плоский пакет.

— Здесь двадцать семь вырезок из «Огонька». Дубликаты, разумеется. Передашь их Гитлеру, а у него возьмешь чего-нибудь из его коллекции. Только проследи, чтоб не меньше было. И хорошие, интересные фотографии, художественные.

Никишин растерялся. Совсем растерялся. Даже рот у него раскрылся, как на той фотографии Алексея Стаханова, около которой он сейчас стоял.

— Но как же, Иосиф Виссарионович? — спросил он.

— А вот так,— сказал Сталин,— задание правительства надо выполнять, майор, и не рассуждать слишком много.

Никишин перебил Сталина:

— Но я же не могу сказать ему, что я...

— Почему не можешь? Даже очень можешь. Думаешь, он тебя съест? А может, и не съест. Риск, конечно, имеется. Но как же можно без риска? А воевать — не риск? Что делает сейчас весь советский народ? Встает на смертный бой, справедливый бой, священный бой. А там пушки, пулеметы. Тоже убить могут. Но никто не плачет, разведчик. Нужно любить свою Родину.

У Никишина возникло чувство, будто ему уже отрезали голову и примериваются играть ею в футбол. Но он тут же подавил в себе это чувство. Гитлер — враг номер один, самый коварный, самый страшный, самый хитрый, самый опасный. И знать, что делает Гитлер, что думает Гитлер, как настроен Гитлер, именно сам Гитлер, а не кто-нибудь иной из его окружения, для Сталина важнее всего. Важнее, чем любые фашистские военные планы или любые секреты нового германского оружия. А как же знать все это, если не вступив с ним в такой вот контакт. Невинный, казалось бы, контакт, который не будет разжигать у него подозрений, усыпит его бдительность.

Нет, Сталин просто не мог не воспользоваться странной слабостью, которая возникла у Гитлера к Никишину, не мог. Но для этого нужен Сталин, чтобы оценить все возможности. И Никишин уже нисколько не жалел, что рассказал Сталину о Гитлере. И хорошо, что рассказал он именно ему и только ему. Теперь он будет личным эмиссаром Сталина. Его доверенным лицом. Собственным агентом. Сознавать это было хотя и страшно, но приятно, и Никишин сказал:

— Я готов выполнить любое задание Родины, товарищ Верховный Главнокомандующий.

Эту ночь Никишин совсем не спал. Ему было жутко, тревожно. Но это уже не был низменный страх, а какое-то чувство экстаза, при котором холодная дрожь стекает по позвоночнику.

«Великий вождь всех времен и народов,— думал он,— подарил тебе свою дружбу, и ты должен быть достойным этой дружбы».

В подвиг Матросова Никишин не верил. Потому что хотя и не был на фронте, видел, как бьет станковый пулемет, и понимал, что он несколькими пулями разрежет тело напополам, а не захлебнется в нем. Это должен был знать и Александр Матросов. Но не мог же он делать то, бессмысленность чего понимал наперед?

«Но другие были. Другие действительно были,— говорил себе Никишин,— китайские товарищи, которые, обвязавшись гранатами, ложились в гражданскую под бронепоезд, и наши матросы, которые с бутылками лезли под фашистские танки, и Зоя Космодемьянская, и капитан Гастелло. И ты будешь таким же, как они... Ты будешь лучше, потому что тебя посылает на смерть сам Сталин».

Ровно две недели спустя Никишин был уже в Берлине, где в то время находился Гитлер. Проникнуть к Гитлеру здесь Никишину было много труднее, чем в Минске, практически и вовсе невозможно. Но ему повезло. На третий день в одном из помещений имперской канцелярии, более или менее открытом для офицеров его ранга, Никишин столкнулся с дежурным адъютантом Гинце. Гинце был только штурмбаннфюрером. Поэтому Никишин раздумывал, стоит ли первым к нему подойти. Однако Гинце сам подошел к Никишину.

— Хайль Гитлер, господин полковник. Фюрер часто спрашивал о вас. Я сейчас же доложу, что вы вернулись с фронта. Прошу вас побыть где-нибудь здесь.

А через пятнадцать минут его уже вели пустынными, тщательно охраняемыми коридорами (через каждые десять—двенадцать метров здесь стояли по два эсэсовца в стальных шлемах и с автоматами) в личные апартаменты Гитлера. Последняя пара эсэсовцев хотела отобрать у Никишина пистолет и пошарить по его телу в поисках другого оружия, как это здесь, очевидно, было принято. И в голове Никишина промелькнула паническая мысль: «Пропал». Но Гинце покачал отрицательно головой, и эсэсовцы безмолвно расступились. Позднее Никишин узнал, что в Берлине к Гитлеру без досмотра пускали лишь десятка два человек из самого ближайшего окружения. Они считались личными друзьями фюрера или высшими сановниками империи. И это, как сказал ему однажды Кальтенбруннер, была такая же честь, как та, что оказывалась испанским грандам, имевшим право стоять в шляпе перед испанским королем. И Никишин подумал тогда, что жизнь все-таки очень сложная и несуразная штука, потому что людей, пособачьи преданных вождю, разоружали, а его, советского разведчика, который вполне мог бы получить задание убить Гитлера (и, не задумываясь, сделал бы это), пускали так. И все же Никишину была приятна такая честь, и радовало, что не приходилось обманывать оказываемое ему доверия. Однако все это было потом. А сейчас Никишин с облегчением подумал: «Пронесло»,— и тут же вспомнил, что тем са-

мым устранены последние препятствия к чему-то еще гораздо более опасному.

Берлинский кабинет Гитлера был гораздо больше и великолепнее минского. Но над столом висел тот же портрет Гитлера (может быть, Гитлер всегда возил его за собой). Гинце даже и не входил вслед за Никишиным, а просто плотно притворил дверь снаружи.

Гитлер казался очень радостным и оживленным.

— Куда же вы запропастились, полковник? — сказал он.— Уехали, даже не простившись. Так не делается среди добрых знакомых.

Гитлер рассказал, что наводил справки, и из канцелярии Йодля сообщили, что полковник фон Ганский (теперь Гитлер правильно произносил фамилию) отбыл на фронт. Гитлер даже очень распекал Кейтеля и Йодля, что они отпустили Никишина без его ведома. Но те сослались на генерал-майора Кольбенмайера, который, по их словам, внял настоятельным просьбам самого фон Ганского, желавшего, очевидно, отличиться в боях за рейх. Кольбенмайера пришлось строго наказать и отправить на фронт командиром дивизии. Теперь эта скотина в плену у русских. Сдался под Сталинградом.

Никишин никогда не слышал о генерале Кольбенмайере. Но сообщать об этом Гитлеру воздержался. Он вообще еще не проронил ни слова.

— Я понимаю,— сказал Гитлер.— Вы хотели сделать мне сюрприз и получить от меня рыцарский крест. Но креста я вам не дам, потому что вы огорчили своего фюрера,— добавил он шутливо и чуть капризно.— Ведь вас могли там убить или вы могли оказаться в положении этого Кольбенмайера. Нет, я не хочу сказать, что вы бы сдались намеренно. Но чего не бывает в наше время? Очень, очень тяжело...

Однако тут же Гитлер предложил оставить в покое эти мрачные темы и поговорить о чем-нибудь более приятном.

С одной стороны, было, конечно, хорошо, что Гитлер так ему обрадовался, потому что это облегчало Никишину его трудную миссию, но, с другой стороны, это было и не очень хорошо, потому что, как это ни смешно, Никишину было немного совестно огорчать человека. И все-таки нужно было сказать, сказать сию же минуту. Ведь и приговоренный к смерти хочет, чтобы уже стреляли поскорее. Так Никишину по крайней мере рассказывали, и такое он видел несколько раз в кино. Свою речь Никишин приготовил заранее. Выучил ее наизусть. Но теперь немного задумался над тем, как обратиться к Гитлеру. Обращение «мой фюрер» было бы в этих условиях ужасно неуместным, а «господин Гитлер» — слишком будничным и вовсе не соответствующим моменту, потому что Никишин чувствовал себя сейчас чем-то вроде дипломатического представителя своей страны, парламентером света в царстве тьмы. Поэтому он остановился на обращении, которое показалось ему наиболее подходящим.

— Господин имперский канцлер,— начал Никишин,— я должен передать вам нечто чрезвычайно важное...

И он сказал все, что должен был сказать, сказал спокойным, ровным голосом, очень ясно и очень коротко, и немецкая речь нисколько ему не мешала. Гитлер производил впечатление человека ошеломленного и, казалось, не уяснил себе еще до конца смысла того, что говорил Никишин.

— Как это? Вы — шпион Сталина?

И только произнеся эти глупые и обидные слова, Гитлер наконец понял все.

Он очень быстро, хотя и не спуская глаз с Никишина, обежал

вокруг письменного стола, стал под своим портретом так, чтобы стол разделял их, и взвизгнул:

— Оружие на стол!

Никишин ожидал всего, чего угодно, только не этого, потому что ему и в голову не пришло бы воспользоваться оружием против Гитлера. Ведь он уже объяснил Гитлеру, что его задание было совсем-совсем иным. Никишин пожал плечами и сначала вытащил «вальтер» из кобуры на поясе, а потом «браунинг», прилаженный под мундиром у левой подмышки (из-за этого «браунинга» он и испугался обыска у дверей кабинета Гитлера). Пока Никишин вытаскивал пистолеты, Гитлер пригнулся за своим столом, а когда Никишин положил пистолеты на стол, схватил их и направил на Никишина. В эту минуту Гитлер был похож на одного американского артиста из ковбойского фильма, который им показывали в разведшколе. Только руки у Гитлера тряслись, и стволы пистолетов все время двигались.

«Сейчас выстрелит из обоих сразу, но не попадет»,— подумал Никишин, и ему не было страшно, хотя он знал, что на звук выстрела сбегутся эсэсовцы.

Но Гитлер не выстрелил. Напротив, он положил пистолеты на стол, сел и прикрыл их ладонями. А Никишину велел сесть на стул у стены, шагах в пятнадцати от себя. Никишин попросил разрешения застегнуть мундир, который он расстегнул, чтобы достать «браунинг», и Гитлер разрешил. Некоторое время они молчали, глядя друг на друга. Потом Гитлер заговорил. Он спросил Никишина, какой его настоящий чин и как его зовут. Никишин на минуту задумался, не будет ли откровенный ответ разглашением военной тайны, но тут же решил, что если он хочет попытаться выполнить задание Сталина, то самое главное сейчас — взаимное доверие, и ответил, что его воинское звание майор, а фамилия — Никишин. Фамилия Гитлеру показалась трудной, и он сказал, что станет звать его просто майором, но потом передумал и решил, что удобнее придерживаться того немецкого звания, которое нагло и самовольно присвоили Никишину его начальники. И еще Гитлер сказал, что это неслыханно, потому что немецкие офицеры лучше и образованнее русских, и Никишину поэтому следовало появляться здесь максимум в чине капитана. Но это, разумеется, не его, Гитлера, дело, и пусть это останется на совести его, Никишина, начальника, на совести Сталина.

Тема была исчерпана, и они опять помолчали.

— Одно меня удивляет,— вдруг сказал Гитлер.— Ведь вы должны были хорошо понимать, что вас после всего того, что вы рассказали, обязательно расстреляют? Что за странный фанатизм, не понимаю. Нет, понять эту русскую душу и в самом деле немыслимо. Это, наверное, что-то глубоко религиозное, связанное... связанное с вашими степями, болотами и снегами. Наверное,— продолжал Гитлер после небольшой паузы,— хоть мне это крайне неприятно, но мне непременно придется передать вас полиции безопасности или абверу (я не знаю точно, кто там у них этим занимается), и вас обязательно расстреляют, может быть, даже повесят. Русский шпион в моей главной квартире, агент Сталина — нет, это нечто совершенно неслыханное! Я ценю, конечно, что вы просто пришли ко мне и честно все рассказали, но расстрелять вас все равно придется.

Никишин молчал. Ему почему-то казалось, что Гитлеру надо дать выговориться. А Гитлер жаловался, что столько смертей вокруг. Сталинград. Вся 6-я армия. Вот и капитан Прин погиб. (Никишин вспомнил, что капитан Прин — знаменитый подводник, ас, национальный герой.)

— Ну вам-то я, конечно, могу сказать,— продолжал Гитлер,—

вас скоро расстреляют, и тайна умрет вместе с вами. Прина не потопил торпедный катер англичан, как сообщали мои газеты. Прина пришлось поместить в концентрационный лагерь, и он там умер. Это были политические соображения. Прин стал сомневаться в конечной победе германского оружия и открыто говорил об этом с друзьями. А когда такое говорит такой человек, как капитан Прин, кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами, это становится вредным для безопасности государства. И его пришлось поместить в лагерь, и там он умер. Конечно, мне говорили, что в наших лагерях многие умирают. Особенно в этой Польше. А евреев, тех приходится просто уничтожать, потому что они служат и красным, и американским плутократам. Вы, надеюсь, не еврей? Вы как будто не очень похожи?

Никишин ничего не сказал, а только отрицательно покачал головой.

— Так вот. В лагерях, конечно, многие умирают. Представляю себе, какой там должен быть ужасный запах. Мне даже кажется, что от Генриха, то есть от рейхсфюрера Гиммлера, тоже всегда немного воняет. Но это, разумеется, ерунда. Только больные нервы. Генрих там почти и не бывает. Кроме того, меня уверяли, что в лагерях широко пользуются хлором и лизолем. Это поддерживает чистоту. И потом, всякая великая идея требует великих жертв. Но все-таки проще, когда их не знаешь, не видел в лицо, а только такие общие фотографии, где они все стоят толпой. А капитана Прина я хорошо знал. Он был очень красивый мужчина. И с Ремом тоже было трудно. Но это тоже были политические соображения. Что поделаешь? Уже девять лет прошло, а все-таки трудно свыкнуться с мыслью...

Гитлер вдруг начал рассказывать Никишину, что его отец, лесничий, однажды завел поросенка. Звали поросенка Гинцель. Гитлер никогда не имел ничего против свинины и даже видел несколько раз, там у них, в Браунау, как свиней резали. Но когда зарезали Гинцеля, он плакал. Правда, тогда ему не было еще и двенадцати лет. И то ведь был поросенок, а это — люди. И он — так называемый полковник Ганский — тоже человек. Хорошо ему знакомый человек. Нет, он ставит Гитлера в очень неудобное положение. И все же расстрелять его придется.

Никишину это уже начинало надоедать. «Ну и стреляй скорее, сволочь!» — подумал он, хотя и знал, что Гитлер, конечно, не выстрелит сам.

— Послушайте, полковник,— сказал Гитлер,— а с каким, собственно, поручением вы приезжали к нам тогда, ну в прошлый раз?

Никишин ответил.

— Позвольте,— оживился Гитлер,— но мы потом полностью изменили планы великого наступления сорок третьего года. Кейтель докладывал мне, что о них пронюхали американцы. Значит, вы не нанесли никакого ущерба родине? — Гитлер обиженно поджал губы.— Моей, разумеется, родине. Рейху. Или великой Германии. И победа по-прежнему в наших руках.

Гитлер опять помолчал.

— Понимаете, очень не хочется вас расстреливать. Кроме того, вы мне как-то лично симпатичны.

Никишин понял, что, кажется, опять пронесло. У него даже слегка закружилась голова. И он подумал о гениальности Сталина, который все предусмотрел, все предвидел. Но уже и от благодарного чувства к Гитлеру он отделаться не мог. Все-таки сохранил ему жизнь именно Гитлер.

И Никишин сказал:

— Я очень, очень признателен вам, господин имперский канцлер.

— Нет-нет, я еще ничего не решил,— поспешно возразил Гитлер.— Но по крайней мере обещайте мне, что больше не будете шпионить. Обещаете?

— Я уже имел честь докладывать вам, господин имперский канцлер,— ответил Никишин не без некоторого чувства досады и снова почувствовал себя чем-то вроде дипломатического представителя своей страны,— что получил от Верховного Главнокомандующего Сталина только одно задание: доставить вам двадцать семь вырезок из журнала «Огонек» и обменять их, если на то будет ваше желание, на такое же количество материалов из вашей коллекции.

— Ну хорошо, хорошо, но согласитесь, полковник, что ситуация все-таки несколько необычная...

— Сейчас идет война, господин имперский канцлер,— возразил Никишин,— и необычные ситуации возникают на каждом шагу. Что просто в мирных условиях, становится сложным в войну.

— Это правда,— ответил Гитлер.— Ну ладно, покажите, что вы мне привезли.

Никишин двинулся к столу, и Гитлер схватился за пистолеты, но сразу же с чуть смущенной улыбкой отодвинул их от себя. Никишин раскрыл портфель, и они углубились в рассматривание картинок из «Огонька».

— Очень, очень любопытно,— говорил Гитлер.— Я и не подозревал, что в вашей России так много красивых мест. Я благодарен господину Сталину и постараюсь подобрать для его коллекции тоже что-нибудь интересное.

А когда они прощались, Гитлер сказал:

— Не забудьте взять свой немецкий пистолет. А этот я оставлю себе. Он вас только подвести может. И вообще снимите эти ремешки под мышкой. Старайтесь не попасться Генриху, а об остальном я распоряжусь. Да, завтра у меня будет несколько приятелей. Только самый узкий круг. Маленький юбилей, связанный с моим пребыванием в Ландсбергской тюрьме. Прошу и вас пожаловать, полковник... полковник фон Ганский. Ах, для меня вы все-таки останетесь полковником фон Ганским. Хотя, с другой стороны, мне приятно знать, что в действительности вы не дворянин, а тоже простой человек.

Гитлер потрепал Никишина по плечу. Когда Никишин был уже у самых дверей, Гитлер окликнул еще раз:

— Вот что я еще хотел у вас спросить. Что такое «стриптиз»? Я часто встречаю это слово в наших газетах. Понятно, что оно относится к Америке и означает что-то нехорошее. Но что? А спрашивать у подчиненных мне неудобно. Вождь должен знать все. А разве можно все знать.— Гитлер вздохнул.

Никишин и сам толком не знал, что такое «стриптиз», но обмануть оказанное ему доверие не мог. Он объяснил как умел. Гитлер поблагодарил, удивился, что такое делают на людях («Растленные плутократы!»), и наконец отпустил Никишина.

Когда Никишин через восемнадцать дней возвратился в Москву, Сталин тоже ему обрадовался.

— Я уже немного о тебе волновался, разведчик,— сказал он.— И потом без тебя немного скучно. Не с кем по душам поговорить. Я так раньше с Валерием Чкаловым разговаривал, пока он не разбился. Хороший был человек. Жалко.

Сталин разобрал и внимательно рассмотрел привезенные Никишиным картинки.

— Тоже двадцать семь,— сказал он.— Не обманул Гитлер. Но вообще-то мог дать и больше. Идея все-таки моя.

С тех пор Никишин так и летал из Москвы в Берлин и из Берлина в Москву. Возил картинки. От Сталина к Гитлеру и от Гитлера к Сталину. Но только картинки возил. Ни в какие политические переговоры они между собой не вступали. И воевали друг против друга всерьез. Перелетая линию фронта, Никишин всегда видел под собой красноватые дымы пожарищ, огни орудийных выстрелов, слышал глухой рокот разрывов.

Сидя в одиночестве на жесткой скамье транспортного «бостона», Никишин думал (так было легче переносить полет). Он думал о том, почему и Сталина и Гитлера одинаково тянуло и влекло к нему, Никишину (теперь он уже не сомневался в этом). И Никишин объяснил себе это тем, что не был человеком их круга. Вернее, был, возможно, единственным человеком не их круга, с которым им довелось близко столкнуться и с которым они оба обошлись хорошо. Он не был им подчинен и от них зависим, вот в чем дело. То есть был, конечно, и подчинен и зависим; каждому из них стоило только пальцем шевельнуть, чтобы Никишина не стало или он превратился в очень большое начальство, может быть, даже в генерала. Но между ними и Никишиным было столько звеньев в служебной цепи, что он вроде бы и действительно не был от них зависим. Он был для них совсем чужой, непривычный, так что его и бояться как будто не надо было. Шмидхен, однорукий подполковник-танкист, который очень привязался к Никишину в Берлине (он служил теперь в штабе Гудериана, а раньше воевал в России), рассказывал ему, что с русскими женщинами легче было спать тем, кто ни слова не знал по-ихнему. Тогда они просто ложились в постель, улыбаясь каким-то своим мыслям. А Шмидхен немного говорил по-русски, и его они стеснялись.

«Здесь тоже что-то похожее»,— думал Никишин. Он, Сталин и Гитлер говорили на совсем-совсем разных языках. И в то же время все они трое были в чем-то близки, потому что все они были люди, а у людей всегда найдется, о чем поговорить друг с другом. И отношения у них были чисто человеческие, не служебные. «И это когда-нибудь будет очень важно, что я близко знал их обоих,— решил Никишин.— Это уже и сейчас очень важно».

14 августа 1944 года, в день покушения на Гитлера, Никишин совершенно случайно оказался в помещении штаба командующего резервной армией генерала Фромма (совершенно случайно, потому что ему нечего было там делать: Гитлер находился в своей ставке на Востоке). Канцелярия Фромма была штаб-квартирой мятежников. Поэтому солдаты охранного батальона задержали и обыскали всех находившихся там офицеров. В портфеле Никишина нашли вырезки из «Огонька». И его расстреляли под горячую руку за русофильские настроения. Гитлер нашел фамилию фон Ганского в списках расстрелянных. Он устроил истерику Гиммлеру и Кальтенбруннеру. А те только руками разводили и отдали под суд нескольких чиновников полиции безопасности. «За превышение власти». Гитлер затребовал из архивов гестапо портфель фон Ганского, где, как он и ожидал, лежали вырезки из «Огонька». Он наклеил их в свой альбом и обвел жирной траурной рамкой.

«Правда» опубликовала Указ о присвоении второго звания Героя Советского Союза подполковнику Никишину Александру Никандровичу (посмертно).

Ларочку поместили в самый лучший детский дом страны, потому что после смерти Никишина Кате перестали выплачивать деньги по аттестату, и она пошла работать на завод, где ее во время бомбежки придавило горящей балкой.

1965 г.

КУРТУАЗНЫЕ МАНЬЕРИСТЫ

СОЧИНЕНИЯ

Вадим Степанцов

Великий Магистр Ордена куртуазных маньеристов

●

К. Григорьеву

Потрескивал камин, в окно луна светила,
над миром Царь — Мороз объятья распростер.
Потягивая грог, я озирал уныло
вчерашний нумерок «Нувель обсерватёр».

Средь светских новостей я вдруг увидел фото:
обняв двух кинозвезд, через монокль смотрел
и улыбался мне недвижный, рыжий кто-то.
Григорьев, это ты? Шельмец, букан, пострел!

Разнузданный букан, букашка! А давно ли
ты в ГУМе туалет дырявой тряпкой тер
и домогался ласк товароведа Оли?
А нынче — на тебе! «Нувель обсерватёр»!

Да. С дурой Олей ты намучился немало.
Зато Элен, даря тебе объятий жар,
под перезвон пружин матрасных завывала:
«Ватто, Буше, Эйзен, Григорьев, Фрагонар!»

Ты гнал ее под дождь и ветер плювиоза,
согрев ее спиной кусок лицейских нар,
и бедное дитя, проглатывая слезы,
шептало: «Лансере, Григорьев, Фрагонар».

Как сладко пребывать в объятьях голубицы,
как сладко ощущать свою над нею власть,
но каково в ее кумирне очутиться
и в сонм ее божеств нечаянно попасть!

О, как ты ей звонил, как торопил свиданья,
как комкал и топтал газету «Дейли стар»!
И все лишь для того, чтоб снова на прощанье
услышать: «Бенуа, Григорьев, Фрагонар».

. . . .

...Сколь скучен, Константэн, круг жизни человека!
У Быкова инфаркт, с Добрыниным удар,
и архикардинал — беспомощный калека.
Им не нужны теперь Буше и Фрагонар.

Так улыбайся там, в лазури юной Ниццы,
Вгрызайся в перси див, забудь о том, что стар.
Пусть будет твой закат похожим на страницы
альбома, где шалил сангиной Фрагонар.

1999—2039
Москва — Черусти

Мужья

Григорьеву

Я так боюсь мужей-мерзавцев,
они так подлы и грубы,
они как грузчики бранятся,
чуть что взвиваясь на дыбы.

Вчера, приникнув к телефону,
елейным сладким голоском
спросил у мужа я про донну,
но был обозван г...юком.

И множество иных созвучий,
струящих глупость, яд и злость,
из пасти вырвавшись вонючей,
по проводам ко мне неслось.

В кафе, в Сокольническом парке,
я ел пирожное «лудлав»
и думал, осушив полчарки:
«Противный муж, как ты не прав!

За что тобою нелюбим я?
Ведь я умен, богат, красив.
Несправедлива епитимья,
твой приговор несправедлив!

Ворчливый муж, взгляни на поле
и обрати свой взор к цветам!
В них мотыльки по божьей воле
впиваются то тут, то там.

Вопьется, крылышком помашет,
вспорхнет, нырнет в ветров поток,
и уж с другим в обнимку пляшет,
уже сосет другой цветок!

И даже труженица-пчелка —
и та как будто учит нас:
один цветок сосать без толку,
он так завянуть может враз.

Мужья! Амуру и Природе
претит понятие «супруг»,
цветок — не овощ в огороде,
ему для жизни нужен луг,

и бабочек нарядных стаи
нужны ему, как солнца свет!
Мужья, я вас не понимаю.
Я вас не понимаю, нет».

Константэн Григорьев

штандарт-юнкер Ордена

Страсти по Фрагонару

Для лошади — султан, для женщины — гитара,
А устремлений ввысь для них в помине нет;
Я вам читал вчера о жизни Фрагонара,
Вы встали за спиной и погасили свет.

Я вырвался от вас, послал я за каретой,
Растрепанный и злой, я бросил вам в лицо:
«Кто вам сказал, что вы прекрасней книги этой?
Кто вам сказал, что я могу быть подлецом?

Ведь вы с моей женой давно уже знакомы,
Мы ездили втроем в Херсон на уик-энд,
Я, помню, вас водил тогда на ипподромы...
Скажите, ваш супруг — всё страховой агент?»

Дрожали тихо вы в застёкленной веранде,
Потом произнесли: «Ах, как не полюбить
Вас, видевшего жизнь в Марселе и в Уганде
И жившего в краях, где невозможно жить...»

«Пардон, — подумал я, — к чему все эти торги?
Мадам так хороша, а жизнь так коротка...»
И посмотрел кося, уже почти в восторге,
На газовый платок, приспущенный слегка.

Андрею Добрынину, исповедующему ислам

Добрынин, я ислама не приемлю.
Но погоди хвататься за кинжал:
Пусть многих он неверных поражал,
Но я в ответ стакан с вином подъемлю.
Пускай беседа мудрая мужей
Течет спокойно, просто, величаво:
О том, что ветер с моря все свежей,
Что сердце у меня зачем-то справа...
Дрожит, сверкает лунная дорожка,
Трещат сверчки, молчит пансионат.
Здесь Бог во всем — но знаешь, милый брат,
Вся жизнь моя — как скучная киношка.
Хочу в Париж немедленно умчаться,
Ведь это малость в принципе, ан нет —
Бог не поможет, Бог не даст ответ,
Мечтам зачем не дадено сбываться?
А ты? В бакинском, помнишь, ресторане
О вере начал громко возглашать.
Так ведь пришлось тебе потом бежать:
Не поняли друг друга мусульмане.
Каков же вывод? Всё это игрушки?
Но отчего волнует в час ночной
Нечаянно блеснувший под луной
Нательный крестик ветреной подружки?

Дмитрий Быков

командор-послушник

Курсистка

Анна, курсистка, бестужевка, милый дружок,
Что вы киваете так отрешенно и гордо?
Видимо, вечером снова в марксистский кружок,
В платьице жертвенно-строгом, под самое горло?

Аннушка, вы не поверите, как я устал!
Снова тащиться за вами, голубушка, следом,
Снова при тусклой коптилке читать «Капитал»,
Будто уж нету других развлечений по средам!

Дети дьячков, не менявшие воротничков,
С тощими шеями, с гордостью чисто кретинской
Снова посмотрят презрительно из-под очков
На дворянина, пришедшего вместе с курсисткой.

Что до меня, посвящение в ваши дела
Движется медленно — я и на том благодарен.
Верить ли сыну помещика из-под Орла?! —
Хоть и студент, и словесник, а все-таки барин...

...Кто это злое безумие им диктовал?
Аннушка, что вам тут делать, зачем среди них вы?

Прежде заладят: промышленность, рынок, товар...
После подпольно сипят про враждебные вихри.

Вследствие этого пенья сулят благодать.
Все же их головы заняты мыслью иною:
Ясно, что каждый бы вами хотел обладать,
Как в «Капитале» товар обладает ценою.

Сдавленным шепотом конспиративно орет
Главный поклонник Успенских, знаток Короленок:
«Бедный народ!» (будто где-нибудь видел народ!).
После он всех призывает в какой-то застенок.

Свет керосинки едва озаряет бедлам.
Некий тщедушный оратор, воинственней Марса...
Аннушка, всю свою страсть безответную к вам
В поисках выхода он переносит на Маркса!

Сущий паноптикум, право. Гляди да дивись.
Впрочем, любимая, это ведь так по-российски —
То, что марксисты у нас обучают девиц,
Или, верней, что в политику лезут курсистки...

...Тяжко мне в Питере, Аннушка. Давит гранит,
Геометрический город для горе-героев.
Ночью, бывало, коляска внизу прогремит,
И без того переменчивый сон мой расстроив,—

Думаешь, думаешь, что вы затеяли тут?!
Это нелепо, но все ж предположим для смеха —
Ежели эти несчастные к власти придут...
В стенах ознобных гранитное мечется эхо.

Аннушка, милая, я для того и завел
Всю эту речь, чтобы нынче, в ближайшее лето,
Вас пригласить на вакации съездить в Орел.
Аннушка, как мне отчетливо видится это!

Запах вечерней травы, полуде́нных полей,
Вкус настоящего хлеба, изюмного кваса!
Даже не ведаю, что мне в усадьбе милей —
Дедушкин сад или бабушкин томик «Жильбласа»!

В августе яблоки, груши, черешня — горой!
Верите ль, некуда деть — отдаем за бесценок!
К вашим услугам — отличнейший погреб сырой,
Если вам так непременно охота в застенок!

Будете там запрещенные книжки читать,
Ибо в бездействии ум покрывается ржавью.
Каждую ночку я буду вас так угнетать,
Как и не снилось российскому самодержавью!..

...Боже, давно ли?! Проснулся, курю в полумгле.
Дождь не проходит, стекло в серебристых потёках.
Что-то творится сейчас на российской земле? —
Сами не ведают, где ж разглядеть в Териоках...

Видимо, зря я тогда в эмпиреях парил.
Знаете сами, что я никудышный оратор.
Может быть, если бы вовремя уговорил,
Мне бы спасибо сказал Государь Император.

Андрей Добрынин

Великий приор Ордена

●

Городок покидает дивизия,
Я ее на маневры веду,
Но, Марина, милее Элизия
Мне твой домик в вишневом саду.

Я гарцую лениво под знаменем,
Золотое струится шитье,
Но невидимым яростным пламенем
Разгорается сердце мое.

Ах, Марина, хохлушка лукавая,
Я тебя увидал в неглиже—
И любимой военной забавою
Утешаться не в силах уже.

На драгунах звенит амуниция,
Эскадронные вьются значки,
Но, плененное дерзкой девицею,
Сердце бьется в тенетах тоски.

И не радует сердца сиянием
Артиллерии грозная медь—
Я хотел бы немым изваянием
Под окном у Марины сидеть.

Злоязычная, гордая, дерзкая
И коварная, как сатана,—
Иль пустяк—моя честь офицерская,
Боевые мои ордена?

Мне твои надоели амбиции,
И насмешки, и явный обман.
Пусть меня на турецкой позиции
Ятаганом пронзит басурман.

Вот тогда ты опомнишься, верю я,
Пожалеешь тогда обо мне.
Кто умел во главе кавалерии
Так сидеть на горячем коне?

Кто умел так швырять ассигнации
Ради прихотей вздорных твоих?
Но падет за балканские нации
Перед Богом твой верный жених.

И покажутся пресными, лишними
Все приятности жизни твоей:
Тихий домик, вареники с вишнями
И в вишневом саду—соловей.

●

Мне отвратительна свобода
И вольнодумных сборищ клик
С тех пор, как враг людского рода
Вас на пути моем воздвиг.

Меня надеждой вы ласкали,
О лицемерная краса,
Вы взоры пылкие пускали
В мои смятенны очеса.

Всех ваших членов соразмерность
Мне бес на пагубу создал.
Я предлагал вам вечну верность,
Достаток скромный предлагал.

Мои духовные составы
Вошли с телесностью в разлад.
Но вас влекли одне забавы,
Лишь вихорь низменных услад.

Кто помрачнил сознанье ваше?
Никак вы не возьмете в толк,
Что важно не желанье наше,
А твердость и гражданский долг.

Днесь буду с горечью и гневом
Я либералов вопрошать:
Как смели вы невинным девам
Идеи дерзкие внушать?

Когда же пастыри народа
Заткнут вам глотки наконец,
Чтоб не смущал фантом свободы
Покой неопытных сердец?

Тогда получат предпочтенье
Не металлист, не грязный панк,
А честное происхожденье,
Заслуги и высокий ранг.

Виктор Пеленягрэ
архикардинал Ордена

SILENTIUM AMORIS

Высоких слов не говори — не надо.
Ты каждой фразой мне терзаешь слух,
Уж лучше спать под шелест листопада,
Бранить слугу, давить осенних мух.
Достойней пить, чем слушать эти речи,
Все тоньше пламя гаснущей свечи.
Ступай к другим. Укутай пледом плечи.
Довольно. Я не слышу. Не кричи!..

Друзьям

Минувших времен куртизаны,
Всё — живо: в карьер на закат,
Свиданья... сердечные раны...
В маневрах ни шагу назад!

Казалось, не стоят вниманья
В безумном театре теней,
Так нет же — восторги, желанья
Весеннего солнца сильней!

Вспугнув запоздалых прохожих,
Из спален уносятся вскачь;
Еще бы! Найдешь ли похожих
Сегодня? Едва ли. Не плачь!

Встречать их нельзя без улыбки,
Маркизы, гвардейцы, лжецы,
Они, словно призраки, зыбки,
Друг в друга они удальцы!

Всё в прошлом: отвага, смятенье,
И радость победы — моя!..
Как поздно! Как близко забвенье,
Теперь нам никто не судья.

Одинокий ужин

И верный пес, уснувший у камина,
И фейерверк на дальнем берегу,
И сладкий стон, и запах стеарина,
И жар пунцовой розы на снегу, —
Я помню всё. Я всё припоминаю,
Взглянув на писем смятые листы;
И слезы лью, и горестно вздыхаю,
Что не вернуть ушедшей красоты.
Когда я жду привета издалека,
Жгу в кабинете до зари свечу,
Ты не поверишь, как мне одиноко,
Как в эту ночь я умереть хочу!

Давид Самойлов

ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

ДОМ

Я явился на свет в родильном заведении доктора Фези, где-то на одной из Мещанских, 1 июня 1920 года по новому стилю.

«Ну и что?» — спросит читатель. И действительно, из нескольких фактов, отмеченных в первой фразе, какое-то значение имеет лишь тот, что я родился.

Но я издавна мечтал именно так начать эту книгу и, сколько ни думал, ничего лучшего придумать не мог. Хотя сам всегда считал, что важна суть, а не подробности.

Однако, стремясь к сути, мы всегда вынуждены пробиваться сквозь толпу подробностей. И почему-то, минуя подробности, вдруг чувствуем, что суть неуловима и как бы утрачена.

И уж лучше заблудиться в густом лесу деталей, где, аукаясь, услышишь хоть собственное эхо, чем в голой огромной степи, где нет ни единой приметы, ни вехи, где суть одна лишь пустота и огромность.

Если вынести из жизни детали, как мебель из помещения, останется одна кубатура. Ибо какие-то детали всегда имеют отношение к главному. А какие именно — мы не знаем.

Моя мама так часто повторяла, что я родился в заведении доктора Фези, что этот маловажный факт стал для меня чем-то вроде отправной точки самоуважения. Дескать, рожден я не кое-как, не спустя рукава, а под руководством доктора Фези, почтенного пожилого человека, моложавого, ввиду всегдашней подтянутости, с маленькими холеными руками и с черной, хорошо подстриженной бородкой, представлявшегося мне почему-то еще в феске и похожим на турка. Может быть, потому, что первым моим детским врачом был доктор Тюрк. И эти две фигуры смешались в моем воображении.

Теперь уже с некоторым облегчением можно написать, что первые беспамятные месяцы я провел на Старой Божедомке (ныне улица Дурова) в квартире Надежды Николаевны Кокушкиной.

О Надежде Николаевне я так часто слышал, в детстве бывал у нее в гостях и потом встречался с ней уже после войны, что хорошо представляю себе быт божедомской квартиры в голодном и холодном двадцатом году.

Дочь горничной в дворянско-профессорском доме, Надежда Николаевна, благодаря своей необычайной красоте и замечательным способностям, была взята хозяевами на воспитание, а потом вышла замуж за их сына, впоследствии медицинского профессора Кокушкина. После революции профессор подался в эмиграцию, по неизвестным мне причинам оставив в Москве молодую и очаровательную жену.

Известно только, что Надежда Николаевна нисколько не пала духом. Женщина общительная, живая, с неистощимым даром рассказчицы и жаждой общения, она устроила у себя нечто вроде литературного салона. В большой кухне вокруг буржуйки собирались по вечерам попить морковного чаю писатели и генералы, принятые на службу в Артиллерийское управление Красной Армии. Генералы эти были вскоре расстреляны, кажется, во время Кронштадтского мятежа, то ли за измену, то ли за верность прежним убеждениям, а скорей всего так, на всякий случай.

Салон Надежды Николаевны, однако, не был разгромлен. Ей даже удалось спасти от неминуемой кары Петра Ширяева*, писателя, примыкавшего в ту пору к левым эсерам. Не последнюю роль в этом спасении сыграли энергия, ум и обаяние Надежды Николаевны.

Ширяев стал ее мужем.

Близким приятелем Кокушкиной был Новиков-Прибой, его уважительно именовали «Силыч». Приходили Брюсов и Аделина Адалис.

Адалис гляделась в зеркало в передней и удовлетворенно спрашивала:

— Правда, я похожа на лошадь или на старого еврея?

Ей было двадцать лет.

А с Брюсовым связана маленькая легенда: будто он однажды взял меня на руки, а я испортил брюки знаменитого метра.

Этот факт послужил причиной тому, что я лет до пятнадцати почитал себя учеником Брюсова, а его — чуть ли не моим восприемником.

Стихотворение «Юному поэту» я полагал обращенным именно к себе и наивно отвечал:

Ты мне, учитель, даешь три совета.
Первый приму, а с двумя не согласен.

В моих отношениях с Брюсовым, правда, односторонних, были все перипетии общения ученика с учителем, включая восхищение, спор и неблагодарность.

Часто бывал у Надежды Николаевны, а порой и живал в нашей квартире поэт Иван Рукавишников. О нем слышал я, что, пьяный, укладываясь спать на полу, он всегда просил себе под голову подложить Данте, чтобы снились высокие сны.

Рукавишникова я, конечно, не помню. Едва запомнил Вассу, библиотекаршу, воспитанницу Надежды Николаевны, — скорее всего за безобразную внешность. А уж дочь ее, то ли от Рукавишникова, то ли еще от кого, и вовсе никогда не видел. Но и с ней у меня связано нечто, о чем сейчас расскажу. Ведь все, что завязывается в детстве, неминуемо имеет свое продолжение. И чего бы я ни коснулся, все длится во мне или возвращается ко мне.

Вот эта история. Я узнал ее осенью сорок первого года.

У девушки был жених. Они расписались накануне его ухода в армию. Первую брачную ночь решили провести за городом, на даче. Ночью немецкий бомбовоз, не пробившийся в Москву, сбросил свой взрывчатый груз куда попало. Бомба угодила вблизи беседки, где находились новобрачные. Оба они погибли. Жестокость войны к любви поразила меня в этой простой истории. Долго каким-то томящим грузом лежала она в памяти, пока не стала стихотворением «Солдат и Марта».

На Божедомке прожил я менее года и своим считаю дом на Александровской площади, угол Бахметьевской (теперь — площадь Борьбы — 15/1).

Дом на Александровской площади угловым своим построением напоминал океанский корабль, носом врезавшийся в шумящий деревьями сад Туберкулезного института. Он как бы плыл по зеленым или желтым колеблющимся волнам листвы, по волнообразным кронам старинного сада, возвышаясь над самыми высокими деревьями.

Из окон шестого этажа я с младенчества видел только зелень садов, курчаво уходящих к Екатерининской, к Самотеке. И вдали — маяк Сухаревой башни, а слева, если немного высунуться из окна, — две, похожие на красные ладьи, водонапорные вышки у Крестовской заставы.

Туда, к Сухаревой, плыл наш дом в морском гуле листвы. Этот гул, этот шум был постоянным звуком в тишине нашей квартиры, и в осенние ночи я и впрямь представлял себе морское плавание.

А на закате бесчисленные стаи галок поднимались с гнезд в окрестных садах и кружились с криком на фоне багряного неба. От этого кружения бывало грустно и тревожно осенью и почему-то весело весной.

* Петр Алексеевич Ширяев (1888—1935) незаслуженно забыт. Он автор прекрасной повести «Внук Тальони». (Работу над предлагаемыми главами Д. С. не считал законченной, о чем свидетельствуют пометки на полях авторского экземпляра, часть из которых вошла в текст в виде сносок.— Г. М.).

А зимой я галок не помню — только их растрепанные гнезда на голых деревьях.

Из кухонного окна тоже виделся сад — запущенный и превращенный в свалку — сад баронессы Корф, бывшей владелицы нашего дома. В том саду — ветхий барский особнячок, полуразрушенный флигель; а дальше — за садом — еще не потерявшие позолоту купола Тихвинской церкви, превращенной потом в москательную лавку, и там — за деревьями и крышами — купола окраинных церквей, прикладбищенских и отдаленных.

Под Пасху отворялись для мытья окна, и из воздуха, из розовато-желтой зари вместе с весенним запахом вступал колокольный звон. Праздничное, необычайное настроение, чувство живого соприкосновения с родным городом приходило тогда — неповторимое ощущение старой, милой, ушедшей Москвы.

Сад баронессы Корф был местом с дурной репутацией, и туда заглядывать было строжайше запрещено. Однако, поборов страх, я изредка пробирался до дальнего забора, до дыры, выходившей на полузастроенную Новосущевскую.

Дом был моим миром, потому что все связи мои и все детские впечатления не выходили за его рамки. Дом был миром, имевшим свои очертания и границы. И как бы противоположностью ему было неосознанное понятие пространства. Пространством было то, что начинается за забором и простирается неизвестно докуда. И дыра — была дырой в пространство и открывалась в никуда. Пробравшись сквозь лопухи, крапиву и битый кирпич, я застывал перед началом беспредельности, опасаясь переступить ее рубеж.

Я только вглядывался в пустыри и в ветхие строения едва видных отсюда кварталов. И вслушивался в долетавшие от Савеловской железной дороги хриплые свистки маневровых паровозов — звуковой знак пространства, до сегодня впечатляющий, манящий и навевающий особую тоску.

Я назвал наш дом кораблем. Он скорее был ковчегом, поспешно населенным в годы потопа сотнями чистых и нечистых пар. Здесь, в величайшей тесноте, перемешивались, в виде некой эмульсии, все слои и сословия России полустолетней давности — провинция, деревня, Москва, Петроград.

В бывшие буржуазные квартиры набивались со страшной плотностью, утесняя или вытесняя прежних жильцов, буйные ватаги новых постояльцев — демобилизованные красноармейцы, пришлый, перекатный люд, сбежавшая от голода и поборов деревня, няни и санитары Туберкулезного института, бывшие дворники, швейцары и кухарки, милиционеры, чекисты, рабочие, ремесленники и всякий прочий народ. Все это плодилось, множилось, утрамбовывалось, поселяло родственников, разгораживалось фанерными стенками и занавесками. И выпирало, выпадало из стен дома на улицу, на двор, в сквер. Здесь невозможна была тайная жизнь семьи. Здесь все было на виду. И оттого — в возбуждении, в вечном скандале и шуме.

Никто еще не написал историю коммунальных квартир, их трагического влияния на психику и психологию, их социальных контекстов. Коммунальная квартира двадцатых годов была необычным полем для страстей, часто низменных, ареной трагедии, почвой для развращения и преступления.

Каждое время порождает свои формы быта. И не только время — каждая социальная среда. Эпоха разлома, нестроения и перемешивания породила свою неповторимую форму быта — коммунальную квартиру. В ту пору, когда все ломалось и еще не начало строиться, естественно, приходилось пользоваться подручным материалом, уцелевшим от прежнего времени. Насилие, которое было главным методом революции, сказалось и здесь в насильственном создании коллектива.

В каких только видах не предстает в России пугачевщина! Деревенский и пригородный элемент привнес в новую форму быта нравы деревенской улицы, какого-то странного праздника темной воли. Коммунальная квартира была и праздником крушения сословных перегородок. Она была присуща времени, а не одной социальной среде.

Лишь на следующем этапе, после нэпа, она начала образовываться в среду. И если первый период истории коммунальных квартир можно на-

звать стихийным, то второй я назвал бы демократическим. Бедность и аскетизм начала тридцатых годов отразились в психологии целого поколения, к которому принадлежу и я. В нем есть понятие о неминуемости совместной жизни, о взаимопомощи, о сложности и разнообразии семейного устройства, о независимости от вещей, столь редких в то время, о приспособляемости и контактности, много помогавших нам на войне. Дети коммунальных квартир — одно из названий нашего поколения.

С конца тридцатых годов, с выделением среды власти и интеллектуальной элиты, коммунальная квартира как форма быта начинает медленно распадаться. Из нее постепенно выезжают государственные чиновники, писатели, ученые, артисты.

Складывается новое время и с ним новый тип поселения — раздельный. Но я далеко забежал вперед. И вновь возвращаюсь к своему ковчегу, которому долго еще ждать голубя с веткою оливы.

В нашем доме пятьдесят квартир. Я пытаюсь подсчитать его население. В пятидесятой — двадцать человек в четырех комнатах. В сорок шестой — девятеро. В тридцать шестой — пятнадцать. В восемнадцатой — десять. Средняя цифра, наверное, более десяти, человек двенадцать. Значит — человек шестьсот, а то и все семьсот. Да ведь это целое село! С церковью и с приходским училищем, с лабазами и торговыми заведениями, с трактиром и заезжим двором!

Да и протянулось бы это село в иных привольных местах версты на две, вдоль реки или тракта. А села и вполовину меньшего на всю жизнь хватило бы описывать современному прозаику — и работы, и беды, и свадьбы, и похороны, и вражду, и любовь, и коллективизацию, и войну, и детство, и старость.

Мне бы, может, правда, оттого, что я не современный прозаик, нашего дома и на одну повесть не хватило. И скорей потому, что жизнь его совсем не похожа на бытие деревни. У нас все на виду, а там все на миру. А на виду не то что на миру. На виду пропадает тайная жизнь души, и человек предстает лишь в его видимости, во внешнем столкновении с другими, в дурных страстях, в раздражении от скученности и неудовлетворенности, от отсутствия традиции жизни, от вечного соблазна большого неутрясенного города. А предмет литературы — жизнь души, то есть жизнь нравственного сознания, утекающего из рук писателя в коммунальной неразберихе. Мир же душу по-своему, пусть порой и жестоко, но строит. Он недреманное око веками добытой правды и житейского опыта.

Полувековая нравственная неустроенность города — причина того, что наша литература не создала истории городского народа. Были писатели «городские» — Замятин, Булгаков, Олеша. Но они вычленяли своих героев из общей массы. Они рассматривали не процесс, а вычленение из процесса, остранение, потому что исходили из другого нравственного состояния, «внешнего» по отношению к городскому народу. Высшим образцом литературы того времени была лирика (Ахматова, Пастернак, Ходасевич, Заболоцкий) именно потому, что лирика держится на вычленении из ряда. Процесс может изобразить только проза. Видимо, перед прозой стояла задача, для нее непосильная, нетрадиционная, не имевшая корней в русской классике! И если нравственной устроенности не было, то все же была жизнь души, пусть глубоко искалеченная временем и обстоятельствами, была жажда этой жизни. И один только Платонов почувствовал и отразил эту жажду *.

В начале двадцатых годов в город вступила пугачевщина и отпраздновала свою победу грабежом. Клеймо грабежа лежит на целом поколении. Здесь не место говорить о том, что народ, ограбленный социальной системой, ответил грабежом без системы. Речь идет лишь о моральных последствиях грабежа. Нравственно неустроенный город, приобщенный к «экспроприации экспроприаторов», утерял нормальные моральные понятия и допустил террор двадцатых годов, уничтожение церкви и культурных ценностей, собственных национальных традиций, допустил дикие формы коллективизации и тридцать седьмой год.

* И Зощенко! Из «той» среды. Не дворяне. Литературе нужен не предмет, а самопредмет.

За все это ответственность несет и «духовная элита», принявшая нравственную концепцию сверху. Она попыталась создать некий нравственный кодекс, основанный на понятии долга внешнего, а не внутреннего, жертвы внутренней цели ради внешней. А такой кодекс не мог быть и не был нравственным законом.

В России стремительно, несколькими волнами, происходила урбанизация.

Стихийное нашествие на город донэповского времени. Исход времен коллективизации. Послевоенная тотальная урбанизация. Каждая из этих волн отдаляла нравственное утрясение города, создание климата, где может произойти литература. Ибо каждая из волн приходила из деревни и провинции с разрушенным традиционным укладом психологии и с еще не сложившимся новым. Тоска по нравственности — один из главных двигателей современной «деревенской прозы», создаваемой людьми городскими, но еще сохранившими воспоминание о существовании нравственного уклада *. Черты этой прозы — нравственная ретроспекция. Поэтому, являясь по способу изображения прозой реалистической, эта проза романтическая по существу.

Один из немногих писателей, пытающийся исследовать физиологию городского народа, — Трифонов. Его попытки, во многом несовершенные, все же плодотворны и своевременны. Об этом свидетельствует успех Трифонова среди читающей публики. Трифонов своими скромными средствами, пытается продолжить линию Платонова, как это ни покажется парадоксально.

Чувствуя и понимая сказанное выше, я, конечно, не берусь внести свой особый вклад в описание истории городского народа.

И намерен лишь изобразить несколько лиц из того небольшого мира, в котором жил в детстве.

Напротив нас, в пятидесятой квартире, в комнате за ванной, живет сапожник Павел. Это красивый, курчавый человек, пропойца тихого нрава. Напившись, стучится к нам, вызывает отца и голосом хрипловатым и надломленным говорит: «Эх, доктор!» Машет рукой и уходит. У Павла маленькая, востроносая, вечно беременная жена Дарья. Жизнь сделала ее вороватой и хитрой. Работать она не любит. Вечно торчит на сквере и пасет последовательно: тихую, в отца, Маньку, мою ровесницу, а потом Кольку, будущего вора; Тольку, будущего сапожника и буйного пьяницу; и красивую Лидку, ставшую парикмахершей и предметом домовых сплетен, а потом — с годами — Людку, Володьку и Мишку, а потом еще через годы — своих приблудных внуков. Так и просидела на сквере Дарья с полвека и никогда не спешила домой, в пятидесятую квартиру, где запах кухни, грязной постели и чиненого сапога, где пьяный Павел, а по смерти Павла еще хуже — никого.

Таких жильцов, как Павел и Дарья, много в нашем доме. И сюжеты из их жизни просты и так часто повторяются, что даже кажутся мне в детстве естественными: пьянство, буйство, воровство, болезни и частые смерти.

Из этих семей формировались городские низы тридцатых — сороковых годов и росли будущие приблатненные солдаты Великой войны, те ребята, которым черт не брат, которые потом вдоволь натешили душу в Пруссии и Померании, кому-то мстя за голодное и темное детство.

Есть в доме люди, которых все побаиваются, с которыми все здороваются, а «приличные» жители стараются обойти стороной. Это Помидор, бандит. Помидор — молодой, но весь какой-то помятый, неприбранный, красногожий, опухший. Он нагл, задирист, любит издеваться над слабыми. Когда он сидит в сквере, его всегда окружает толпа малолетних поклонников, которых он потом посылает «на дело», и они попадаются, их судят, посылают в лагеря. А Помидор, посмеиваясь, сидит на сквере, уверенный в своей силе и власти. И в том, что его никто не выдаст. А выдаст — Помидор везде достанет, хоть под землей.

Другой — Володька Станкутин, вор. Володька — аристократ. Он изысканно вежлив и немногословен. Всегда элегантно и чисто одет. В его тонком лице есть оттенок мечтательности. Он нервен, как породистая

* Тоска по «миру».

лошадь. Иногда вдруг лицо его каменеет, зеленоватые глаза становятся узки и в них двумя лезвиями промелькивает жестокость. Становится страшно и неудобно. Но это на мгновение. В лице его вновь сдержанная доброжелательность аристократа. Он вежливо здоровается с жильцами, которые торопливо и заискивающе с ним раскланиваются и спешат пробежать мимо. На сквере Володька не сидит. Он полдня стоит у подъезда, видимо, забавляясь впечатлением, которое производит на всех.

Со мной он дружествен, и я не смею отказаться от беседы с ним. Он обычно спрашивает, читал ли я такую-то книгу. И советует: «Прочти».

Однажды он приходит к отцу по медицинскому делу. На самом деле изучает расположение вещей в нашей квартире. И этим же летом по узкому карнизу шестого этажа через открытое окно залезает к нам и уносит одежду и столовое серебро.

Операцию эту замечает старший дворник Федор Абрамыч. Он отбирает украденное, и мать Станкутина, чахоточная медсестра из Туберкулезного института и сообщница сына, приходит к моему отцу с просьбой не доводить дело до милиции. Происходит соглашение сторон, после чего Станкутин как бы удваивает интерес ко мне. Как-то достает из кармана выпуски «Пещеры Лихтвейса» и говорит: «Прочти».

Упомянутый Федор Абрамыч, старик малого роста, узкоплечий, с длинным туловищем и несоответственно короткими ногами, всегда, даже, кажется, летом обутыми в огромные валенки. Глаза старшего дворника, слезящиеся, мутновато-голубого цвета, со множеством красных жилок на белках, таят в себе мудрость и спокойствие. Старик никого не боится, а его побаивается и уважает даже самая буйная часть населения нашего дома. По каким таким связям — непонятно. Утром, одетый в дворницкий фартук, Абрамыч, кряхтя и с трудом поворачивая и наклоняя подагрическое тело, подметает тротуар и мостовую и громко ворчит: «Голытьба!»

Уважает он прежних жильцов, сохранившихся небольшими вкраплениями в коммунальном перенаселении дома.

Этих жильцов не так много, но я знаю ближе их и их детей, потому что они общаются с моими родителями.

Ниже нас на этаж живет важный, хорошо откормленный инженер Коган-Шелестян, родом из Румынии. О нем уважительно говорят, что он представитель австрийской фирмы электроприборов «Ратау». Счетчик этой фирмы, висящий в передней, кажется мне представителем Когана-Шелестяна. У инженера красавица жена, Вера Николаевна, и двое детей — Саша и Фрида. В начале двадцатых годов они уезжают в Румынию. А в квартире ответственным съемщиком остается старуха Анна Прокофьевна, женщина волевая, из простых, которая вскоре поселяет в инженерской квартире кучу деревенской родни. А еще, в порядке уплотнения, въезжают две пожилые сестры из бывшего духовного звания и служащий речного ведомства рыжий Прейс. Сестры, как потом оказывается, родные тетки замечательного писателя и переводчика Николая Любимова. И сам Николай Михайлович в студенчестве живет у своих теток. Мы с ним приобретаем несколько страниц общих воспоминаний.

С ним вместе вспомнили мы легенду о конце инженера Когана-Шелестяна. Эта и подобные истории развивались на протяжении времени, и теперь я не могу точно вспомнить, что было моим собственным детским впечатлением, а что узнано из разговоров взрослых и измыслено потом. Многие сюжеты начинались, во всяком случае, в самом раннем моем возрасте и заканчивались много лет спустя.

Дело происходило во время войны. Будто бы инженер был очень богат, сына женил, а дочь выдал замуж тоже за состоятельных людей, а в войну, чтобы не конфисковали у него, как у еврея, имущество, все отписал детям. Говорила Анна Прокофьевна, что после этого сын, носивший уже румынскую фамилию Шелестяну, от отца отказался, зять тоже прибрал его деньги, но компрометирующие родственные отношения прервал. И обедневший инженер Коган с протянутой рукой стоял у подъезда оперы в дни великосветских премьер, наблюдая шикарный выезд своих детей.

Было так или не было? Но это один из многочисленных бродячих сюжетов нашего дома.

Напротив важного инженера жили два брата — Шура и Юлик Биргеры. Они тоже отбыли за границу, кажется, в Бельгию. Комнаты же их заняли два семейства. Большую — грузчик Мухин, человек огромной физической силы и, непонятно почему, злобный ненавистник советской власти. Жил он с женой, дородной и красивой Валентиной, бывшей кухаркой Биргеров, с пасынком и сыном Толькой.

А в комнату поменьше въехала отвратительно толстая и уродливая, как клубень, гулящая баба с дочерью Манькой, придурковатой проституткой.

После отъезда Когана и Биргеров из старых жильцов в нашем подъезде самой заметной фигурой остался доктор Игорь Игоревич Вокач. Своей таинственной и замкнутой жизнью он вызывал любопытство и почтение. На всех дверях и стенах подъезда обильно были нацарапаны или изображены мелом неприличные слова и рисунки. На двери же Игоря Игоревича неизменно красовалась надпись: «Здесь живет известный врач Игорь Игорич Вокач».

Вокач служить в советских учреждениях отказался. Он имел вывеску и частную практику. Врач он был превосходный. Его вызывали к нам только при самых опасных заболеваниях, потому что, как медик у медика, гонорар брать он отказывался. Впрочем, тогда это правило было повсеместно распространено и, надо сказать, порой затрудняло приглашение хорошего специалиста к больному из врачебной семьи. Какой-нибудь почтенный старец, профессор, неукоснительно приезжал по вызову любого своего коллеги и бесплатно лечил его самого, его чад и домочадцев.

Игорь Игоревич казался мне в детстве нелюдимым, сердитым стариком, хотя лет ему было не более пятидесяти. Неразговорчивость Вокача, возможно, объяснялась тем, что он был наследственный заика. В мужском колене этой фамилии передавалось из поколения в поколение имя Игорь и заикание. В домашнем общении, говорят, Игорь Игоревич был любезен, весел и общителен. У меня не было случаев это наблюдать.

Внешность Игоря Игоревича была замечательная, хотя шаркающая походка, палка и некоторая сутуловатость фигуры придавали ему старообразность. Контрастом старческому силуэту были огненные, огромные черные глаза, красивый молодой рот, обрамленный чернейшей, без седины бородкой. В нем явствен был южнославянский элемент и скрыт адриатический темперамент.

Несмотря на внешнюю необщительность и недоступность, Вокач, видимо, был человек страстей. И общественное мнение никак не могло сопрячь его респектабельный образ с тем, что Вокач был несколько раз женат и породил от разных женщин детей, законных и полузаконных.

В квартире Вокача жил его старший сын Андрей Игоревич, школьный учитель математики, человек молчаливый, интеллигентный и тоже необщительный, но какой-то иной необщительностью — не принципиальной и как бы социальной, а вялой, отрешенной, идущей от натуры, где угадывалось скрытое страдание и неприятие жизни.

Темперамент деда передался внуку Вокача — огненно-рыжему, веснушчатому и веселому Сашке. Он стал актером, долго играл в провинции, а теперь артист «Современника».

Старый Вокач внушал разноперым и не склонным к благоговению обитателям дома неизменное чувство почтения. Его квартира была наглухо замкнута даже от официальной сексотки Марии Ивановны, державшей в страхе весь наш подъезд. Это была хрупкая пожилая женщина с острыми мышиными глазками, с лицом строгим, всегда недовольным и таинственным. Когда кто-либо поднимался по лестнице, Мария Ивановна приоткрывала дверь, откровенно оглядывала идущего и начинала копаться в почтовом ящике. Она словно жила у себя в передней, постоянно прислушиваясь к звукам подъезда. Знала она все. Заглядывала в квартиры. И никто не смел ее ослушаться, если она встревала в квартирные распри, никто не смел ее выгнать либо захлопнуть перед нею дверь. Во время ссор жильцы часто грозились друг другу: «Позову Марию Ивановну», — как детям грозят: «Позову волка».

Никто не знает, какие сломанные судьбы лежат на совести этой женщины, державшей в страхе наш дом несколько десятилетий. Она была символом тайной власти; между тем сын ее, великовозрастный Шурка,

писал на стенах подъезда и в лифте: «Бей жидов, спасай Россию!»,— и рисовал фашистский знак.

Так вот, даже пресловутая Мария Ивановна не смела постучаться в квартиру Вокача. Он чем-то был сильней ее.

Я впоследствии размышлял о причинах особого положения Игоря Игоревича в нашем доме. Теперь объясняю это так.

В том перелопачивании социальных слоев России, которое происходило в двадцатые годы в городах, во всяком случае, в Москве, в той перетряске и смешении главным было отпадение от среды. В России остались только «бывшие» или «будущие». Бывшие дворяне, бывшие купцы и заводчики, бывшее духовенство. И рядом — будущие рабочие, будущая образованщина, будущие чиновники позднейших времен. Нэп как бы задержал все процессы кристаллизации, которые ускорились только в тридцатые годы.

Власть, до времени, менее всего затронула средние слои интеллигенции, необходимые для функционирования общества и государства. «Интеллигент» было имя бранное. Но вместе с тем и определявшее некий устойчивый социальный тип, тип наличествующий.

Средняя интеллигенция в политическом смысле была довольно аморфна, и пример Вокача, почти открыто не признававшего власть, был не самым распространенным. Но именно это подспудное ощущение «необходимости», «ценности» интеллигента в сочетании с личным бесстрашием и наличием твердых принципов создавало Вокачу некий ореол и неприкосновенность.

На какой-то момент носителями культуры, продолжателями нравственной и культурной традиции оказались русские средние интеллигенты формирования конца XIX — начала XX века *.

Этот тип к войне вымер, или эволюционировал, или деформировался, о чем я скажу ниже. Но он в своем историческом развитии многое породил в нашем обществе, в том числе и нравственную позицию нынешней истинной культурной элиты, нравственную преемственность русских поколений в ее высших, демократических и гуманистических выражениях; породил он и тип интеллигента из «полуэлиты» — тип возвратный, подражательный, в сущности, камуфлирующийся под интеллигента десятых — двадцатых годов — тип городского почвенника, тоже пещерного и как бы не принимающего современности, но где-то глубоко зависимого от нее и порождающего в ней явления духовного упадка.

Интеллигентов, как я говорил, было не так много в доме. К ним относились скорей насмешливо, чем почтительно, ибо внешний облик и манеры сильно отличали их от остальных наших обывателей.

Помню я смешную фигуру архитектора Покровского, строителя нашего дома. Долговязый, старомодно одетый, с длинным лицом, почти без подбородка, он выходил всегда в сопровождении жены, удивительно внешне на него похожей, и целого выводка уродливых дочерей с одинаковыми сумочками или муфточками. В аристократических их профилях было что-то овечье. Может быть, выражение крайней безобидности. И невольно ожидалось, что семейство Покровских заблеет и выбежит на газон сквера щипать травку.

Жил у нас еще неудачливый и очень глупый инженер Френкель. У него всю жизнь что-нибудь отбирали. Он уверял, что изобрел искусственный шелк, а от изобретения его оттерли. И он вел многолетнюю тяжбу по этому поводу, перипетии которой рассказывал всем желающим, даже детям. Потом у него реквизировали полквартиры, в порядке уплотнения. Потом увели жену, которую он очень любил. Потом он женился снова на матери известной балерины. А та оттяпала у него комнату и тоже ушла.

Особое место в моей детской памяти занимает Алексей Николаевич Дорошенко, отец подруги моего детства. О нем помню из рассказов, что он был талантливый экономист, один из авторов денежной реформы двадцатых годов. Это был милейший, в чеховском пенсне, молодой человек, всегда несколько встрепанный, разговорчивый, общительный. Он часто играл с нами, детьми, дразнил плаксу дочь, напевая песенку:

---

* Может быть, то, что породило «среднюю интеллигенцию», было выше нее.

Тумба-тумба, тумба-тумба,
Люська с чертиком гуляет.

Алексей Николаевич умер рано, и лицо его, которое, кажется, я помню, сопряглось скорее всего с его фотографией, висевшей над старым письменным столом: чеховское пенсне, слегка встрепанные волосы, выражение доброты и ума.

Болезнь и смерть Алексея Николаевича — одно из сильнейших детских впечатлений.

В каком-то выцветшем коротком халатике Алексей Николаевич ходит по комнате, которая одновременно и столовая, и детская, по комнате, где играем мы с Люсей. Рассеянно отвечает он на наши приставания. Кашляет, сплевывая в баночку. А взгляд его устремлен в окно, на морг Туберкулезного института, у ворот которого похоронные дроги ожидают очередного пассажира.

— А ты все-таки попика, попика пригласи,— говорит он жене. И я думаю, зачем ему попугай, не для нас ли с Люсей, и понимаю, что не для нас.

Алексей Николаевич умирает от болезни, которую теперь чаще всего вылечивают антибиотиками. Но стоило ли лечить его тогда, даже антибиотиками, если бы ему все равно не уцелеть в тридцать седьмом, а то и раньше, когда прибирали легальных марксистов, эсеров всех мастей и прочих. Алексей Николаевич был из этой породы.

У него я впервые видел глаза умирающего — без пенсне, мутные, отрешенные, потусторонние. Это навсегда запомнилось.

Проклятие смерти лежало на восемнадцатой квартире, где жили Дорошенко. Там, в темной комнате за кухней, отравилась сулемой няня из Туберкулезного института. Я видел ее бедный, некрашеный гроб, ее самое, с закрытыми глазами, с синеватым, очень худым лицом — потом синий цвет мне чудился цветом яда.

Через несколько лет в шкафу Люсиной комнаты повесилась тихая, некрасивая Броня, родственница Дорошенок, снимавшая у них угол. Оттуда же, из этой комнаты, выбежала, чтобы броситься из окна подъезда, безумная Маша Кнорре, дочь Люси. Оттуда же вынесли убитую этой смертью мать Люси — Эсфирь Михайловну.

Смерти, смерти. Много смертей в нашем доме. И чуть ли не с младенчества в мое сознание входит таинственное понятие смерти.

Умирает сумасшедший нэпман Эпштейн от наследственного сифилиса. Он лежит в гробу, лицо его забинтовано. Он буйствовал в сумасшедшем доме, и его, видно, зверски били. В головах гроба стоят два подростка, сыновья Эпштейна, дебиловатые Мома и Адик. Стоят безучастно, без интереса наблюдая процедуру похорон.

Умирает, оставив двух сирот, сестра из Туберкулезного. У нее совершенно желтое, аскетическое лицо. Девочки — возле гроба, растерянные и одинокие.

Умирает жена рыжего Прейса, после тайного аборта. Прейс деловито ее хоронит. Остаются двое сирот.

Смерть в моем раннем сознании — не конец чего-то, а начало, перелом. Дальше продолжаются судьбы мужей, жен, детей.

Смерть — некое событие, являющееся началом других событий. Смерть как конец я начинаю понимать потом, лет в двенадцать. И не сплю ночами, в ознобе страха, вдруг осознав, что и я смертен.

Но это потом. Пока же смерть странным образом размыкает узкий мир нашего дома.

Площадь Борьбы, бывшая Александровская,— треугольник, неровно замощенный булыжником. Я помню, как здесь разбивали сквер. В сквере — молоденькие деревца, теперь уже выросшие и тенистые. А тогда тощие и не мешавшие обзору. По одной стороне треугольника, ограничивающего сквер,— наш дом. По другой — забор Туберкулезного института и на углу Новой Божедомки, ныне улицы Достоевского,— морг.

Морг явным образом доказывает, что смертны не только обитатели нашего дома, но и другие жители города. Значит, жизнь переламывается и продолжается и там, возможно, таким же образом, как и в замкнутом мире дома.

Похороны, кроме того,— зрелище, одно из самых увлекательных

у нас на сквере наряду с шарманщиком, ученым медведем, водимым цыганами, с бродячими акробатами и петрушкой.

Похороны — зрелище.

У ворот морга стоит резной катафалк, чаще всего черный, а порой красный — это хоронят партийца.

Пара черных коней, запряженных в одну оглоблю с черными или красными султанами, как в цирке, покрытых траурным сетчатым покрывалом. Траурный возница в цилиндре с перышком и в длинном, торжественном, хотя и засаленном одеянии.

И духовой оркестр, играющий марш Шопена или «Замучен тяжелой неволей». И всхлипывания, и плач. И медленно трогающийся кортеж, уходящий либо по Бахметьевской к Лазаревскому кладбищу — там теперь детский парк культуры и отдыха, — либо к Палихе, туда, на Ваганьково.

И уходящий, удаляющийся — и чем дальше, тем чище и грустней — звучащий оркестр тоже размыкает пространство. Но это иная даль, чем свалки, пустыри и паровозы за садом баронессы Корф, — торжественная, обстроенная городом, раскрывающаяся музыкально даль жизни, смыкающаяся с потусторонностью, но далеко, невидимо; даль, в которую уходит похоронный кортеж, символ слома, перелома и начала новых судеб.

«Для чего это воспоминание? — вновь настойчиво спрашиваю я себя. — Для чего эта память, так настоятельно требующая излияния чернил на бумагу?»

Только ли болезнь памяти заставляет нас взяться за перо, чтобы изобразить прорастание собственной жизни и того, что произрастает вокруг? «То, что произрастает вокруг!» Может быть, в этом и весь ответ?

Воспоминания пишут по многим причинам. От одиночества и ощущения гибели, как пишут записку на тонущем корабле и, запечатав ее в бутылку, вверяют волнам бурного моря, авось прибьет к какому-нибудь берегу последний вопль о кончающейся жизни. Пишут свидетельские показания о событиях, чтобы распутать клубок неправды, а то и еще более запутать его. Пишут из любви к повествованию и от скуки. Пишут из тщеславия — объяснительные записки о собственной личности, направленные суду потомков. А на деле получаются саморазоблачения, ибо нет никого наивнее и откровеннее, чем люди, склонные к самолюбованию.

Бывают записки умных людей с дурной памятью. Или записки дураков — с хорошей. И потом долго бьются: кто же написал правду? Есть воспоминания — течение. Есть воспоминания — учение, житие, притча. Есть воспоминания — памятник, попытка уберечь себя от забвения.

Многие из названных видов воспоминаний не чужды мне. Но для себя я так определяю смысл этой книги: главная мысль моя, главная цель — воссоздание собственного «я», исследование его опыта и через опыт возвращение к самому себе. Воссоздать собственное «я» и взглянуть на него со стороны. Задача эта не полностью ясна и для меня самого и сформулирована, может быть, очень приблизительно. Точнее — ясно направление, но я не могу предвидеть результата, как нельзя предвидеть, к чему приведет исследование, ибо если результат его заранее ясен, то само исследование не нужно.

К тому же я собираюсь иметь дело с собственным «я». А это одно из самых темных наших понятий. Мы скорей чувствуем, чем понимаем, что это такое.

В этом понятии есть одно, кажется, всем присущее свойство. «Я» не изменяется всю жизнь. «Я» — стержневое начало в человеке. Меняется все — характер, убеждения, внешность. «Я» неизменно. Оно — чувство твоего существования в мире и появляется вместе с сознанием (а может быть, и раньше его) и угасает вместе с ним (а может быть, и продолжается, кто знает?).

«Я» неизменно. Во все времена оно чувствует боль, и удовольствие, и воспоминание о боли и удовольствии как нечто, присущее одному неизменяющемуся субъекту. И в этом осознает себя как продолжающееся «я», независимо от той оболочки, в которую заключили его время, обстоятельства и возраст.

«Я» не изменяется как субъект. Но чем больше мы живем, тем более расходится твое собственное ощущение «я» с тем, что видят другие, да и ты сам своим «не я».

В этом жгучая правда стихотворения Ходасевича:

Я, я, я — что за дикое слово!

«Я» сущее и «я» воспринимаемое пребывают в единстве лишь в детстве. Оттого с такой радостью обращаемся мы к детству, к незамутненному самому себе. Оттуда и должно пойти воссоздание. То есть возвращение к нравственному содержанию, данному нам от природы, возвращение к себе.

Опыт должен быть счищен слой за слоем. И каждый слой исследован отдельно. Странная задача!

Исследовать опыт и оставить нетронутым «я»? Возможно ли это?

Кто знает! За рамками «я» в этой книге остается исследование опыта, может быть, местами скучноватое, как всякое исследование. Но если не будет просвечивать то изначальное, чем даже гордиться я не могу, ибо было мне дано с рождением, если не будет просвечивать «я», в чьих пороках не могу каяться, ибо с ними пришел в мир, — если не будет его — я сам, дописав последние строки, скажу себе: книга не удалась.

КВАРТИРА

Квартира на Александровской площади досталась нам вот каким образом.

С 1915 года в ней жил варшавский коммерсант Вигдорчик, муж маминой сестры. Помню старую фотографию, где изображены упитанный мальчик в форме бойскаута и девочка в кружевных панталончиках — мои двоюродные брат и сестра. Вигдорчики были беженцы, так назывались тогда люди, эвакуировавшиеся из Варшавы перед приходом немцев. После замирения с Польшей семья тетки, запихав в мыло бриллианты, отбыла в Варшаву, а квартира, обставленная мебелью красного дерева в стиле fin de siecle *, досталась нам. Отец, как врач при действующей армии, получил охранную грамоту на жилплощадь и имущество бывших буржуев.

С нашим въездом в квартиру совпал распад провинциального гнезда. В Москву из Борисова приехали дед, тетка и дядька. Они заняли две комнаты, в двух других поселились мы.

Не помню возвращения отца с фронта, хотя, кажется, умел к тому времени говорить. Смутно помню железную буржуйку в большой комнате, сохранившей название столовой. Следы от нее навсегда остались на паркете.

Первое воспоминание. Я лежу в кроватке. А по комнате ходит большой человек в шинели внакидку и что-то жует. У него толстые, красные губы. Потом я его узнал — это Эдельштейн, друг отца, военный врач. В Москве он был зимой 21-го года. Мне, значит, месяцев восемь. Человек ест. Для детского сознания еда — понятное и важное дело.

Рано пришедшее слово — Пушкин. Я стою на кухонном окне. Мне говорят: «Гляди — Пушкин». Пушкин. Козел. Старая интеллигентка из нашего дома держит во дворе коз. Ей нужно козье молоко для поддержания здоровья.

Козы пасутся в саду баронессы Корф, иногда выходят на улицу и едят афиши.

Окно — мое кино. События происходят в кухонном окне. Из столовой — только лиственная поверхность садов, Сухарева башня, отдаленные крыши домов. Улицы не видно с шестого этажа. От нее — только звуки.

Еще до рассвета шоркает дворницкая метла о тротуар. Федор Абрамович встает раньше птиц. Потом в тишине цоканье копыт. Извозчики. Одно из первых моих слов в такт копытам: «Э-э-дет!» Просыпаются галки. Огромными стаями они шумно кружат над садом. В окне — заря и галочьи стаи. Едут ломовики, гремя о булыжник железными шинами колес. Иногда долго везут рельсу — огромный камертон.

* fin de siecle (фр.) — конец века. (**Прим. редакции.**)

Потом прокладывают по Бахметьевской трамвайную линию. На ранней заре со звоном стеклянного бубна пролетают трамваи.

Звуки способствуют воображению. Я представляю себе извозчика, трамвай, метлу, может быть, вовсе не такими, каковы они на самом деле.

Звуки заоконного пространства пробуждают чувство одиночества.

Ощущение прочности возвращается, когда, постепенно, заря высветляет углы комнаты, кофейного цвета тисненые обои. И убранство. Сияет желточного цвета паркет, который пахнет мастикой и воском. На полу французский ковер — по красному фону зеленовато-голубой орнамент. Бахрома аккуратно расправлена — кисть к кисти. Рояль «Бехштейн», по сложному лекалу очерченный у окна, отражает зарю в своем черном озере. Вдоль стен, по обе стороны массивного стола под плюшевой зеленой скатертью, предводители нашей мебели — буфет и сервант. Буфет как орган. Он блещет гранями хрусталя, закруглениями красного дерева, зеркалами, медными ручками и перламутром. У дальней стены — баржой на приколе — кровать, тоже красного дерева. И еще множество предметов помельче: тумбочка — узкий дом с мезонином; чайный столик на колесиках, откидывающий по бокам четыре плоскости из толстого стекла; стоячие часы в углу, похожие на человека в чалме, часы с двойным боем, которому предшествует долгое хрипение в глубине организма; и еще золоченые овальные часы на буфете рядом с серебряной вазой; торшер, литой из белого металла, с палевым шелковым абажуром; кушетка с причудливо изогнутой спинкой. А над столом свисает на чугунных цепях огромная лампа с цветными стеклышками и хрустальными шарами и шариками. Шарики иногда выпадали, и я утаскивал их, постепенно разрушая лампу.

Моя кроватка — вдоль наглухо закрытой двери в кабинет — явно не подходит ко всему мебельному ансамблю. Но у папы частная практика, у подъезда прибита вывеска «Кожные и венерические болезни». На двери — надраенная медная табличка. А в квартире — кабинет.

Кабинет, как я теперь понимаю, обставлен на медные деньги. Письменный стол и кресло, покрашенные белой эмалевой краской, клеенчатая кушетка, плохонький шкаф для инструментов и такой же — книжный, украшенный, впрочем, разрозненными томами «Реальной энциклопедии». Но само слово «кабинет» звучит внушительно. Туда мне удается проникнуть только изредка и только тайком, чтобы полюбоваться на никелированные орудия папиного ремесла да украсть несколько листков гладкой бумаги для рецептов и анамнезов. Иногда удается прихватить круглую печать. Я с восторгом ее ляпаю на все, что попадется под руку.

Вещи у нас в квартире уважаемые. Папа искренно огорчается, когда у нас что-нибудь портится или ломается. И я редко что-нибудь порчу или ломаю. У меня вырабатывается нечто вроде привязанности к вещам. Но не вообще, а к знакомым предметам нашей квартиры.

У меня к ним родственное чувство и род жалости, оставшейся на всю жизнь: дескать, работали вы на меня, служили мне, а я вас недостаточно люблю, недостаточно о вас забочусь. Потому что, по странности любви к вещам, у меня нет и никогда не было желания иметь вещи, кроме тех, что у нас были. И когда они старели и выбывали из строя, мне тяжко было что-либо выбросить на свалку, а хотелось запихать куда-нибудь на чердак, на пенсию — пусть живет старый стул в свое удовольствие, ничего не делает и покоится на чердаке.

Это чувство жалости к вещам у меня очень раннее. Оно, видимо, идет от раннего ощущения непрочности мира, символом которого были вещи, казалось бы, прочные и надежные навсегда.

Самый старый обитатель нашей квартиры — дед. Он старый с самого начала до самого конца, почти двадцать лет, которые я его знаю.

Утром он молится, прикрытый шелковым талесом, перевязанный молитвенными ремешками, с черным кубиком на лбу. Он стоит в углу своей комнаты, раскачиваясь и громко распевая молитвы. Молитва — его развлечение и удовольствие. Время от времени он прерывается, чтобы переругнуться с теткой. И продолжает с полуслова свой речитатив.

Дед, по моим позднейшим наблюдениям, в Бога верует, но не очень. Ему просто удобнее, чтобы он был. А молитвы нравятся ему по содержанию и еще потому, что он знает к ним комментарии и толкования, и потому, что хорошо выучил древнееврейский. И потому, что можно громко попеть, ибо все у деда давно в полном порядке.

Он великолепно знает французский, английский, немецкий, древнееврейский. И еще итальянский, арамейский и немного испанский. И, помолившись, читает грамматики и словари, вероятно, с тем же чувством, с каким молится, получая удовольствие от знания.

Знания же ему нужны для самоуважения и для того, чтобы передавать их другим и получать за это деньги.

Дед не то чтобы корыстен — он скуп. Ему деньги нужны не для покупки радостей жизни, не для ощущения тайной власти, как у Скупого рыцаря.

Деньги для него — овеществление накопленных знаний. Сколько знаю, столько получаю и имею. Он накапливает просто так. И думаю, если бы было возможно, производил бы обратную мену — деньги бы отдавал за знания.

Но это ему было не нужно. Он учился всю жизнь сам. И бесплатно.

Его отец — ювелир — тоже, видать, образцовый скряга, рано пустил деда жить своим умом. И дед, поучившись в Виленском раввинате, оттуда ушел, решив делать светскую карьеру. После чего выучил несколько грамматик и толстых словарей и стал учителем иностранных языков. Был он типичный учитель, какие бывали сто лет назад. О педагогике не думал. Учениками интересовался мало. Но предмет знал.

Мною в раннем детстве дед не интересовался потому, видимо, что я не знал иностранных языков. А как меня стали учить французскому, решил, что и у меня все в порядке, и даже почувствовал некоторую симпатию.

Порой заходил в комнату, когда я готовил уроки, садился в уголочке, некоторое время наблюдал за мной. Потом спрашивал: «А как будет по-французски: „я пошел бы гулять, если бы была хорошая погода"?» Я отвечал. И дед уходил, с удовлетворением поглаживая бородку, всегда криво подстриженную, и напевая: «Бо-бо-бо-бо!»

Он только однажды пытался вмешаться в мое воспитание, этим, может быть, обнаружив, что имеет в отношении меня некоторые планы.

Когда мне было лет шесть, очень довольный пришел откуда-то и сказал мне: «Завтра придет мосье Гарбарский». Почему «мосье», я до сих пор не знаю, ведь он должен был меня учить древнееврейскому и был бы в этом случае «ребе Гарбарский».

Мосье Гарбарский оказался рыжеватым курчавым молодым человеком с выпученными светлыми глазами. Он принес книжки с рисунками и почему-то листал их сзаду наперед. Человечков я поглядел, а учиться древнееврейскому наотрез отказался.

Встретился я с ним лет через восемь, будучи учеником шестого класса. Как-то завуч сказал нам: «Завтра к вам придет новый учитель немецкого языка».

Мы узнали друг друга. Но делали вид, что познакомились впервые. Обоим это было выгодно. Я скрыл от класса, что Гарбарский бывший «мосье» или «ребе». А он никогда не вызывал меня к доске.

Лишний пример, что наше невежество зависит не от учителей, а от обстоятельств и нас самих.

Дед учительствовал очень долго — лет до восьмидесяти с лишком. Но в конце концов ослабел слухом и зрением, и новые ученики перестали появляться.

Осталась только дружба с мадам Горфинкель, ученицей сорокалетней давности. Семейство этой дамы дед регулярно посещал. К визиту готовился загодя. Несколько дней сочинял французские стихи в духе старинной оды, где воспевались добродетели мадам Горфинкель, особливо ее щедрость, ибо дед всегда возвращался от ученицы с кульком гостинцев. Воспоминание о прежнем кульке и ожидание нового подстегивали его вдохновение.

В день визита надевалась ветхая манишка и галстук-бабочка древнего происхождения, а поверх — сюртук покроя восьмидесятых годов прошлого века. Из-за сюртука, изрядно засаленного — дед был неряшлив, — вспыхивала громкая ссора с теткой, пытавшейся хоть немного оттереть пятна. Дед на жаргоне никогда не говорил, предпочитая другие языки,

но с теткой ругался только на этом наречии. И сюртук чистить не давал, боясь его повреждения.

На голову дед надевал котелок, давно дырявый, после чего кряхтя влезал в бобровую шубу, откуда бобер торчал сквозь прорехи. Я любил на досуге дергать подкладку за «хвостики» и немало их поотрывал.

Дед отправлялся в гости. Было это часов за пять до назначенного времени, ибо из скупости дед не пользовался не только извозчиком, но и трамваем, утверждая — может быть, не без оснований, — что пешее хождение всего полезней.

Идти ему было до Остоженки. И шел не торопясь. Отдыхал в Екатерининском парке, потом на Цветном бульваре, потом на многих скамейках Бульварного кольца. Везде ведя приятные беседы и заводя знакомства, особенно если попадался собеседник, знающий иностранные языки.

Так однажды он познакомился с негром.

Вернувшись по обыкновению от мадам Горфинкель уже к вечеру, дед в тот раз был явно взволнован и потребовал, чтобы тетка на следующий день купила сухарей и сахару, ибо у него завтра гость. Случай покупки угощения был необыкновенный.

Я упустил момент, когда пришел негр. В полдень из комнаты деда послышалось громкое пение. Я приоткрыл дверь. В комнате деда, разевая огромный рот, пел негр.

Но негр пришел только однажды.

Дед же в основном скучал. Читал по привычке через толстую лупу сборники грамматических упражнений. Заходил ко мне, просил отыскать в потрепанном русско-французском словаре Макарова какое-нибудь слово и, испытывая память, шпарил наизусть несколько страниц. Он вообще проверял ход своего дряхления. Бывало, подойдет к окну, долго всматривается и спросит:

— Ты видишь Сухареву башню?

Мне было жалко деда. И я отвечал:

— Нет, сегодня туман.

Его удовлетворял такой ответ, и он уходил, напевая свое «Бо-бо-бо».

Еще он раз в неделю ходил в Тихвинские бани, с открытия до закрытия парился и мылся на полный двугривенный. Иногда сиживал на сквере, тщетно подстерегая собеседника. В булочной покупал французскую булку, ожидая, чтобы привезли свежие. И, поднимаясь на шестой этаж без лифта, громко считал ступеньки. Как будет сто одиннадцатая — значит, взобрался домой. Истинным его развлечением было чаепитие, которое длилось с небольшими перерывами весь день. Чаем своим он сильно надоедал нашей Марфуше. Та громко ворчала:

— Ходишь-ходишь, а тебе уже помирать пора.

Дед делал вид, что не слышит, вежливо переспрашивал:

— Что вы говорите? — И она, устыдившись, ставила на керосинку очередной чайник.

Чай по обычаю пился с молоком. Но, отпив полстакана, дед снова доливал его кипятком, жалуясь на то, что — остыл. Сахару же и молока больше не добавлял. Оттого в конце концов пил мутный несладкий кипяток. Даже пробовал с солью. Из экономии.

Но были у деда и свои звездные часы — весна и конец лета, время очередных и вступительных экзаменов в Институт инженеров транспорта.

Как старый боевой конь, услышавший сигнал, дед в эти дни с самого раннего утра был взволнован. С теткой не переругивался, деловито собирался и торопливо уходил. Он шел в Инженерный сад.

Тут он располагался на скамейке с ликующей уверенностью в удаче. И действительно, долго ждать не приходилось. Кто-нибудь из студентов садился рядом. Дед начинал беседу. И скоро выяснялось, что некий замечательный старец готов консультировать каждого желающего по любому вопросу грамматики на любом языке.

Вокруг деда собирались студенты. Он расцветал, спрягая неправильные глаголы, был неутомим и никогда не отвлекался.

После обеда до темноты он тоже сидел в саду. И его уже там знали и вспоминали с прошлого года. И так до конца экзаменов.

Студенты разъезжались. Дед возвращался домой. Ему, наверное,

бывало грустно. Но он не был человеком чувств. Получив свое удовольствие от жизни, он ожидал следующего.

Когда я теперь о нем вспоминаю, я думаю, что, в сущности, мало знал деда. Я почти не знаю его жизни до квартиры, и, надо признаться, он никогда не пытался ничего рассказать о себе, о своей предыстории. У него не было потребности в истории, хотя бы в своей собственной, и повествования о себе не было не от скрытности натуры или от присутствия душевной тайны. Дед, напротив, был человек открытый, бесхитростно устроенный. Он не умел говорить о себе, а только о грамматике, не умел гордиться ничем другим, кроме имеющихся сведений, — из-за особого своего устройства, счастливого, потому что защищенного от боли проживания жизни, а по существу, бедного и недостаточного для устроения истинной личности.

Из всех людей детства наименьшее влияние на меня оказал дед. У него всю жизнь не было отношений — ни с женой, ни с детьми, ни с друзьями. Не было и со мной. Накопительство было его единственным призванием и удовольствием. Он не был накопителем жестоким, беспринципным, страшным. Нет, все, что имел, зарабатывал собственным горбом. Но жил процентами с горба и ничем иным. Притом был простодушен.

Деньги, например, всегда вкладывал в займы — и в царское время, и при Керенском, и при Советской власти. Мечтал выиграть. Не выигрывал, а деньги терял. Но не сильно огорчался, а начинал накапливать снова.

Между прочим, деньги его так же бессмысленно пропали, как и накапливались. Когда дед умер, тетка сожгла старые его книги, засаленные и грязные, как ей казалось, никому не нужные. И чуть не последнюю сжигая, обнаружила между страницами переложенные облигации. Мало их осталось.

Да, мало что осталось от моего деда, хоть жил он на земле девяносто три года. И все же что-то досталось от него мне. Мы все состоим из кусков самочувствия, доставшихся нам от предков. Я знаю, что досталось мне от матери, что — от отца. Когда я равнодушен, я — дед.

С дедовой стороны семейное предание расплывается в образе прадеда — ювелира, пустившего своего сына самостоятельно странствовать по волнам житейского моря.

Многочисленные лица обступают меня со стороны бабки, обросшей громадным кланом Фердинандов, коих в ее генерации было штук тринадцать с женами, мужьями, десятками детей — двоюродными братьями и сестрами матери, — с детьми детей. У Фердинандов фамильная гордость, семейная солидарность, постоянная связь при распространенности по разным городам. Их разветвления еще на моей памяти живут в Минске, Воронеже, Куйбышеве, Борисоглебске, постоянно мигрируют, женятся, плодятся, растекаются, но долго не утрачивают между собою отношений. Троюродные и четвероюродные еще числятся родственниками и вдруг приезжают в гости или в командировку, ночуют, живут, едят у нас и переносят друг от друга семейные истории и происшествия старых и новых годов. У них еще общие воспоминания, неожиданно обнаруживаемое сходство в привычках или в носах. Огромные фердинандовские носы они носят как гербы дворянской фамилии.

Общепризнанный глава клана — дядя Натан, огромный, пузатый, с носом баклажанного типа, при этом по-особому элегантный и представительный, как бывший богатый человек. Дядя Натан, мой двоюродный дед, комиссионер рояльной фирмы «Шредер» и меломан, отличается невероятной щедростью, добродушием и веселостью. Всю жизнь он ненавидит скучную и вечно охающую свою жену, которая исправно рожает ему детей и ожидает его из постоянных поездок, где дядя умел сочетать серьезное дело с низменным удовольствием.

Дядю все уважают, радостно ожидают в гости. И он, прибывая — огромный, толстый, шумный, — всегда одаряет каждого из племянников и двоюродных внучат чем-нибудь приятным и не совсем утилитарным — банкой халвы, обломком браслета, бронзовым Мефистофелем, ручкой слоновой кости для чесания спины. Мне, когда я подрос, стал приносить контрамарки в Консерваторию.

— Э-э, как там зовут твоего мальчика,—говорил он матери,—пусть пойдет послушает музыку.

Дядю ослушаться было нельзя. И я ходил. И довольно рано привык к музыке.

Семейная молва приписывала дяде Натану нечто французское. И не без некоторых, как считалось в родне, оснований.

Все известные мне Фердинанды происходили от уездного фельдшера из города Борисова Минской губернии Авраама Фердинанда. Об этом моем прадеде немало я слышал от матери и от тетки. В одной из комнат до войны даже висел его большой дагерротип—старик с приятными чертами задумчивого важного лица, которого, как у всей мужской части его рода, не портил богатырский нос.

Однако непосредственно за прадедом начинается некий генеалогический туман, откуда выплывает фигура Рафаэля Фердинанда, солдата или маркитанта наполеоновских войск. Маркитант сей, по легенде, отступая с Великой армией, застрял в городе Борисове, где осел, женился и прославился основанием обширного и плодовитого рода.

Не знаю, существовал ли названный маркитант или он плод досужего воображения моих дядьев, пытавшихся объяснить наличием бродячей крови в семье исконно солидных и положительных казенных раввинов, лекарей, аптекарей, домовладельцев некоего неуправляемого элемента, некоторых и довольно многочисленных отклонений. В этой семье, как о заморских птицах, рассказывали о Фердинандах—картежниках, лошадниках и наркоманах, прожигателях жизни и обожателях женщин. Некоторые из них, овеянные соблазнительной легендой, даже появлялись в нашем доме, например, дядя Борис, проигравший на бегах два состояния, жену и всю свою долгую жизнь.

Почему-то все же приятнее думать, что Рафаэль Фердинанд действительно существовал. Будучи наполеоновским солдатом, он скорее носил бы имя Фернан, но, в конечном счете, это небольшая неувязка. Фернан-Фердинанд мог появиться в России в 1812 году еще молодым человеком. И следовательно, мой прадед, уездный фельдшер, оказывался его сыном, ибо умер старше восьмидесяти лет в начале нашего века. А родиться мог в начале двадцатых годов, то есть еще при Пушкине.

Всего три поколения отделяют нас от пушкинской поры!

Итак, моя генеалогия в ее максимальном протяжении упирается в туман на четвертом колене. И дальше, сколько бы я ни тщился, отыскать что-нибудь достоверное о моих предках невозможно.

Остается только дать волю воображению, на что часто решаются некоторые мои знакомые, люди особого склада.

Одна очень красивая в прошлом женщина утверждает, что происходит от Готфрида Бульонского. А один мой приятель за последние годы с предком своим проделал то же, что и с собой,— постоянно повышаясь в чинах, повышал и предка своего до титулов приметных. Для этого ему пришлось превратить в расстригу скромного священника атской церкви, сделать его военным, дать особым указом графский титул, а теперь, говорят, бывший поп дослужился до князя и скоро, видать, предъявит претензию на русский престол.

Вообще, видимо, многие люди интересуются предками для обоснования права на историческое существование и вследствие некоторой ущербности сознания своей наличности. Это относится и к целым сословиям. У людей и у сословий есть потребность во что бы то ни стало влиться в историю, то есть жалкая потребность бытия. В пугающем, абстрактном потоке времени есть необходимость обнаружить хотя бы крошечный плавучий островок, иногда состоящий просто из всплывшей дряни, островок, оторвавшийся где-то от неведомого берега. Он плывет откуда-то куда-то, и стигийские волны времени не так страшны на его непрочной спине.

Иногда поиски этого островка—своеобразные поиски духовности (не той и не там!). Может быть, это все же островок духовности.

Хуже, когда островка, в сущности, нет, когда он плод сословного воображения. Так возникают воображаемые генеалогические линии, мнимые деревья, растущие вверх ногами,—мнимая история народа, нации, интеллигенции или дворянства.

. . . .

Нет, уж лучше чистое беспамятство, чем эдакая память. Лучше уж разночинческое пренебрежение Мандельштама к предкам. Лучше уж смелый и отчаявшийся пловец, решившийся плыть в одиночку по холодным волнам!..

Предки нужны, чтобы в себе прожить их судьбу и, значит, познать себя в потоке времени. Не больше. Но и не меньше.

Раньше всех в нашей квартире встает тетка. Она полна энергии и жажды общения. Громко шаркает в коридоре, громко спускает воду в уборной, гремит посудой в кухне. Но квартира спит. Тетка обижается и уходит на рынок.

Все у нас кажется мне образцовым. Так же образцово хлопает за ней дубовая входная дверь, гулко откликаясь лестничным эхо. Ни одна дверь в мире не умела так хлопать, как наша. Это и есть стук двери. Все остальное—жалкое подобие.

Эта дверь умеет подлаживаться к любому характеру и настроению. Вот она закрылась почти бесшумно, только дважды прищелкнул английский замок. Это ушел на работу отец.

Тетка посещает рынок, как мне кажется, без особенной цели—так, купить кое-какие мелочи. Но возвращается всегда возбужденная, полная мыслей и рассказов. И конечно, очень интересно наблюдать, как она вынимает из сумки маленькие пакетики со специями, несколько теплых бубликов к завтраку, хлеб, купленный в «той» булочной, а не в «этой». У тетки своей семьи нет, она ведет общее хозяйство. Чувствует важность своей миссии. И будущий обед разрабатывает с глубиной стратега. На рынок она ходит для ориентации и поднятия тонуса. Вообще же почти все, как у нас говорится, носят в дом.

Поставщики раскладывают свой товар в передней или проходят в кухню. Там они пьют чай, хвалят товар и торгуются с теткой. Часто в разглядывании продуктов и их критике принимает участие мама.

Приходит Настя, откуда-то с неведомого Болота принося битую дичь. Фруктовщик Николай Иванович, высокий плотный мужчина с мягким северно-русским лицом, носит на голове огромный лоток с овощами и фруктами. В кухне возникает красота пышущего цветом натюрморта.

Стучится булочник (звонок не работает). У него покупают пару плюшек. Через день приходит молочница, принося особый запах молока с холстом. Ей отдают черствый хлеб для коровы.

Сметанница осторожно разворачивает суровое полотно, где завернут белейший творог, и деревянной ложкой наливает из бидончика сметану. но масло покупают уже у другой женщины, то ли дешевле, то ли лучше.

Раз в неделю является Бедная Еврейка. Ее никто иначе не зовет. Бедная Еврейка тоже чем-то торгует, но больше жалуется на бедность, и ей отдают ненужную одежду, кормят вчерашним обедом и заворачивают пищу с собой.

Еврейка говорит тихим, плачущим голосом. Она всегда умирает. За глаза ее ругают. Говорят, что она бездельница, что целыми днями торчит на базаре, где ругается громким голосом, что у нее здоровый толстый сын, а дочка учится в техникуме. Но помогать помогают: отдают старые вещи и подкармливают.

Бедная Еврейка не имя. Профессия.

Самый почтенный из поставщиков—Антокольский. Он дальний родственник скульптора и торгует колбасой, жесткой, пупырчатой, пахнущей чесноком. С ним не торгуются. Приглашают к столу. Как-никак Антокольский. Дядька как-то прочитал:

Антокольский, изваяй
Гарантию и субсидию,
Идеалам форму дай.

Я думал, что гарантия и субсидия—сорта колбас.

Вообще дошкольное детство кажется мне роскошеством пищи, когда в дом что-то приносят, а в кухне что-то варят на керосинках и примусах.

Папа консультирует на кондитерской фабрике Андурского. Он приносит огромные торты и плетеные деревянные коробки с пирожными.

У папы лечится рыбник. Жирные свертки с икрой остаются в передней после его посещений.

Приносят сало, ветчину, виноград, оливки, телятину, цветную капусту.

Я испытываю отвращение к пище.

Это нэп.

Мой дядька — нэпман. В подвале нашего же дома помещается производство, а в бельэтаже, где сейчас сберкасса, — контора фирмы «Меркурий»: ленты для пишущих машинок и чернила.

С детства помню рекламную картинку, печатавшуюся во многих журналах. Там был изображен бегущий человек, а внизу подпись — «мозолей, крыс, мышей». Видимо, рекламировалось средство, уничтожающее одновременно названные отрицательные явления.

Для меня это было стихотворение:

Мозолей,
Крыс, мышей.

Мозолéем представлялся мне мой дядька, потому что бегущий человек на него несколько смахивал. И еще потому, что дядька не мог ходить, а только бегал. Это свойство — странное последствие сыпного тифа. И дядька тщетно пытался скрыть особенность своей походки.

Выходя из конторы «Меркурия», он долго стоял на углу улицы и, пропустив идущий по Бахметьевской трамвай, пускался за ним следом до остановки, делая вид, что очень спешит.

Дядька — высокий блондин с глазами немного навыкате. Когда он приходит в гнев, глаза наливаются кровью, выпучиваются и он становится страшен. Но его никто не боится. Ибо дядька добродушен, щедр и отходчив *.

Кажется, боится его только тощий грек Теофил Андреевич, сифилитик и дядькин компаньон. Дядька — коммерческий директор «Меркурия». Теофил Андреевич — технический руководитель. Целый день он торчит в подвале, вручную крутя какой-то агрегат. В этом помогают ему жена и две взрослые дочери. Фирма не имеет наемной рабочей силы. Скорее всего она числится кустарным производством. Грек крутит агрегат, откуда ползет бесконечная лента для пишущей машинки, и при этом он поет тонким, почти женским голосом с одесским акцентом. Пение — его страсть.

Не знаю, каковы деловые качества дядьки и зачем он нужен трудолюбивому греку. Но живут они душа в душу.

Элегантно одетый, молодой и красивый, дядька едет с утра по делам. Грек же в черном халате, перепачканном типографской краской, хлопочет у станка.

Может быть, сближает их необузданность фантазии и — оттого — пристрастие к вранью.

Происхождение грека темно: кем он был до фирмы, никому не известно, а взял его в компаньоны дядька скорее всего по доверчивости. И не ошибся.

Сам же дядька — недоучившийся гимназист, крайне небрежный в учении, попавший восемнадцати лет на фронт, где вскоре сдался в плен австриякам. В плену он находился в Северной Италии, где пристроен был санитаром в военный госпиталь, а потом (тоже мне не известно, где и как) освоил секрет приготовления чернил, ваксы и еще нескольких подобных вещей, после чего вообразил себя человеком европейского образования. В многочисленных тогда анкетах на вопрос об образовании писал — «высшее». А на вопрос, где учился, отвечал по-разному, не заботясь о совпадении версий, — то в Геттингене, то в Мюнхене, то в Милане. Это не мешало ему на опасный тогда пункт — был ли за границей — решительно отвечать: «нет».

Впрочем, после нэпа и перевоспитания на Беломорско-Балтийском канале дядька о Геттингене уже не писал, а называл себя скромно и таинственно «химик-практик», отдавшись до конца жизни тайному, беспатентному изготовлению ваксы для ботинок. Ваксу эту он при помощи жены сбывал айсорам — чистильщикам сапог. И квартира наша с тридцатых по пятидесятые годы воняла по ночам ацетоном, плавленым воском

* В гневе я — дядька.

и бог знает еще какими специями, необходимыми в производстве ваксы, которую дядька именовал — крем.

Он гордился своим кремом. Вставал чуть свет и чистил обувь для всей семьи. А иногда, застав у меня кого-нибудь из товарищей, говорил: «Позвольте, молодой человек, на несколько минут ваши ботинки».

Он возвращал обувь, доведенную до немыслимого блеска, и гордо объяснял, что секрет крема известен только ему одному. Любовь к своему ремеслу и гордость своими знаниями достались ему от деда.

Было в нем и нечто от художественной натуры. Некоторое время, например, он увлекался скульптурой, лепил Мефистофелей и портрет деда, довольно похожий. А на Беломорско-Балтийском научился отливать из цемента бюсты начальников и оригинальные пепельницы с инкрустацией из разноцветных камней.

Впрочем, все это было намного позже. А пока, не зная о предстоящих бедах и наивно полагая, что нэп навсегда, дядька лелеял планы о расширении производства, о превращении скромного «Меркурия» в подлинный «Мозолей, крыс, мышей». Осторожный грек, кажется, этому противился. Но в историю нашей квартиры к концу двадцатых годов вступила супруга дядьки, женщина честолюбивая и решительная.

Беготня дядьки за трамваями не довела его до добра. Однажды, вскочив на заднюю площадку, он увидел существо, поразившее даже его тренированное воображение.

Вскоре он женился. Взял он девицу приятной внешности, но бедную и без всякого образования, да еще, добавим, и мерзкого нрава.

Это был мезальянс.

Мезальянс в среде, где я рос, был почти равен адюльтеру. Эти два понятия соответствовали моральной гибели человека, крушению устоев и где-то соприкасались с понятием о смерти. Женщины за вечерним столом у нас с ужасом рассказывали, что дядя Борис ушел от семьи. А дочь почтенного Павла Соломоновича вышла замуж за шофера.

Рассказывалось это при мне. Взрослые полагали, что, выражаясь обиняками, затемняют для меня картины невероятных человеческих крушений и примеры безнравственности мне непонятны.

Я же, с детской хитростью, якобы занятый играми, жадно вслушивался в разговоры взрослых.

Адюльтер и мезальянс грозили теплому гнезду, где я развивался. Они привносили гибельную стихию страстей и порождали страх вторжения гуннов. С детства я больше всего боялся развода моих родителей.

Приход в дом дядькиной жены был вторжением гуннов. Она пришла, принеся с собой солдатское одеяло, и в тот же день врезала замок в дверь супружеской комнаты. Потом потребовала особого места на кухне. И, утвердившись таким образом, повела дядьку покупать ей шубу, хотя, как помню, пора была еще летняя.

Она не собиралась капитулировать перед чванливыми женщинами нашей квартиры и пристраиваться к клану.

Она пришла разрушить среду, и это ей удалось. Именно ей и принадлежала мысль о расширении фирмы «Меркурий». Дядька связался с какими-то дельцами, уже унюхавшими, что нэпу жить недолго. Теофил Андреевич ушел из дела и стал советским служащим и участником певческой самодеятельности. А дядька вскоре был арестован, обвиненный в мошенничестве, и послан на Беломорско-Балтийский канал.

Тетка поступила на работу. Служить во Внешторгбанке стала мама.

Постепенно исчезли поставщики снеди. Перестала стоять на углу моссельпромщица Надя, продававшая твердейшие ириски — сперва по копейке пара, потом по копейке штука, потом по две копейки штука.

Менялся быт. Оканчивался нэп.

Наша квартира превращалась в коммунальную. Только один дед, воплощая в себе прочность времени, навещал мадам Горфинкель, писал поздравительные стихи по-французски и пил чай, не замечая, что сахару стало в обрез, так мало он его употреблял. Ему уже не надо было проверять, видит ли он Сухареву башню. Башню снесли.

И наш дом в осенние дни несся по волнам Институтского сада не к спасительному маяку, а неведомо куда. В новые времена.

Рядом со стихами, еще незнакомыми читателю, на пярнуском письменном столе Д. С. осталась проза. Эти папки — поэтические и прозаические — лежат около друг друга, как родные дети в колыбелях, требующие одинаково ревностного присмотра и пестования. В последнее время у Д. С. не было желания видеть опубликованными свои стихи. Тут действовала печальная уверенность в том, что людям сегодня не до поэзии. Дома речь шла о прозе, о планах дальнейшего печатания фрагментов книги «Памятные записки», над которой он работал больше двадцати лет. Побуждал к тому и состоявшийся прозаический дебют: Д. С. успел подержать в руках первый номер журнала «Аврора» за нынешний год.

Проза поэта — особая область сцеплений. И путь к ней (или его отсутствие) всякий раз связан с сугубо личной суммой причин и обстоятельств. Где-то во второй половине шестидесятых годов Д. С. начал заново оглядываться на уже пройденный — человечески и творчески — «второй перевал» и думать и говорить о том, что «весь опыт не умещается в стихи». «Памятные записки» вынашивались и осуществлялись для передачи не одного лишь житейского или профессионального опыта. Прошедший через всю жизнь вкус к истории предопределил и чисто исследовательский ракурс, и характеристики разных, выпавших на долю времен, и медитативные периоды в «Записках». Вольное воспарение от «фактов» к «мыслям», их прихотливое чередование, а также ритмическая организация материала, сложившаяся «на слух», по принципу музыкального произведения, выдают поэта, как ни старался он отделить основное призвание от добровольно взваленного на себя, огромного по объему и по существу труда.

Главы «Дом» и «Квартира» должны были открывать книгу. Они написаны в Пярну в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов. И наполнены двойной ностальгией — по детству, самой заветной поре для художника гармонического склада, каким был Д. С., и по родине, Москве, от которой его отделяла тысяча километров. Главы эти можно было бы датировать по моментальным снимкам социальных, литературных и бытийных впечатлений, по встроенности происходящего «сегодня» в широкое русло размышлений о путях страны, уже пройденных и предстоящих, об интеллигенции и культуре. Нравственная неустроенность города как следствие насильственной урбанизации населения с еще только проступавшими очертаниями зловещего размаха, достигнутого в наши дни. «Деревенская» проза, с ее стремительным перевоплощением из физиологического очерка в актуализированный миф, положивший начало «самородному» сознанию. Сословная волна, вместе с возрождением монархических симпатий и религиозным неофитством ставшая предметом негативной (а затем и позитивной) социальной моды. Короче говоря, те перекидные мостки, те дорожки, что торились в обществе через болотистую гать брежневщины к «островку духовности», каким понимало его то или иное идейное направление. «И сумрачных десятилетий понурый и грубый цемент». И боль за судьбу Отечества, и упование на «нравственную преемственность русских поколений».

Важно упомянуть еще о том, что проза с самого начала складывалась как род свободного высказывания, не утесненного внутренней цензурой (о внешней и вопрос не возникал), а также давлением собственной стиховой структуры. Стихи, даже в бесславные семидесятые и далее, печатались, и в них действовала система штриха и намека, не чуждая вообще манере Д. С. вести разговор с читателем: он не часто, вне зависимости от возможности быть услышанным, хотел и стремился выложить все карты на стол и обнажить в результате способ создания стиха. Другое дело — проза. Здесь автор как бы берет реванш за добровольную сдержанность поэтической строки, за ее далеко упрятанный, прикрытый многими смысловыми слоями посыл. Здесь рассказ о себе сопрягается с собеседником, втянутым в развертывание сюжета уже тем, что предугадываются его реакции и сами они становятся вехами дальнейшего движения. Здесь нарушается собственный завет: «Не смей, не смей из глуби доставать все то, что там скопилось и окрепло!» И кладовая памяти — золотого запаса любого художника — раскрывается достаточно щедрой, хотя по-прежнему знающей меру рукой.

Но если сознательно ставятся препоны самовыражению, то в подспудном течении, на уровне композиции, индивидуальный процесс зарождения образа проявляется полнее, естественнее, своевольнее. Расхождение и слияние тематических нитей, их обрывы — за ними угадывается пространство, оставшееся «за кадром» и своим гулом подменяющее несказанное слово; музыкальный звук вечности, аккомпанирующий «бренному» рассказу; и наконец, публицистический пафос, врывающийся в регулярное повествование как знак прорастания миновавших времен в день текущий и длящийся и оттого не имеющий формы, — вот в самом первом приближении направляющие стрелки, быть может, не только для читателя, но и для будущего исследователя и прозы, и поэзии, принадлежащих к неразъемному самойловскому писательскому хозяйству.

Публикация и послесловие Г. Медведевой

Публицистика

Владимир Стефановский

АВАРИЙНАЯ ТРЕВОГА

7 апреля 1989 года погибла советская атомная подводная лодка «Комсомолец» и 42 члена ее экипажа. Катастрофа в Баренцевом море стала предметом широкого обсуждения как в нашей, так и в зарубежной печати. Однако в центре газетных и теледискуссий оказались события на «Комсомольце» после возникновения пожара, а не те, в результате которых трагедии стали нормой повседневной жизни флота.

Катастрофа — это не только гибель или поломка техники, это еще и гибель людей. Гибель человека всегда непростительна. Но гибель подводника, оказавшегося в закрытом отсеке без надежды на спасение, когда огонь, газы, вода наступают на него одновременно, когда угасающее сознание цепляется за обрывки воспоминаний, беспомощно отсчитывая последние минуты жизни: «еще немножечко, еще чуть-чуть» — непростительна вдвойне. Никто не услышит его последних слов, не узнает последних мыслей. Никто не обозначит могилу, которая, как и сама жизнь, является необходимым знаком человеческого существования. А без могилы и память короче...

Ни для кого не секрет, что человек тонет не потому, что его недостаточно умело и организованно спасают, а потому, что его просто не научили плавать. Нисколько не преувеличивая, то же относится и к кораблю, которым управляет экипаж во главе с командиром. Не оскорбляя памяти погибших, но во имя и во благо живых постараемся, не претендуя на всеохватное освещение проблемы, на примерах из флотской жизни доискаться истинных причин катастроф и гибели людей на флоте. Вопрос этот что ни на есть актуальный и стоит того, чтобы на нем остановиться подробно. Тем более что и после трагедии в «высоких широтах» катастрофы и аварии на флоте продолжаются с той же степенью интенсивности.

Самая грозная опасность, которая не дает морякам времени на раздумье,— это пожар. Особенно у подводников. Гибнут не только те, кто находится в аварийном отсеке, гибнет зачастую весь корабль с экипажем.

Бывший подводник, капитан 1-го ранга А. Горбачев, анализируя в «Комсомольской правде» (29 апреля 1989 г.) причины пожара на «Комсомольце», обрушился с претензиями на промышленность, вменив ей в вину недостаточную надежность подводных лодок и высокую их пожароопасность. При этом он задал горестный вопрос: «Почему же не тушатся пожары на подводных лодках?» — непонятно, правда, кому его адресуя — то ли промышленности, то ли Главнокомандующему ВМФ.

Правильный вопрос. Но прежде чем ответить на него, надо разобраться в причинах возникновения пожаров.

Обратимся к примерам.

16 июня 1967 года на подводной лодке капитана 3-го ранга О. Бочкарева, находящейся в автономном плавании, произошло возгорание топлива в трю-

Капитан 2-го ранга В. Стефановский работает в Севастополе главным инженером судоремонтного завода. Четырнадцать лет прослужил на подводных лодках ВМФ, был свидетелем многих событий, которые описал в своей статье.

ме центрального поста, которое быстро переросло в пожар, охвативший весь отсек. Личный состав перешел в отсеки-убежища. Была задымлена вся подводная лодка, и люди получили тяжелые отравления. Четверо моряков сгорели, сама же подводная лодка оказалась на краю гибели из-за ошибок в действиях личного состава (балластные цистерны были продуты не полностью, а воздух высокого давления стравлен за борт).

21 октября 1981 года командиру подводной лодки капитану 3-го ранга В. Маранго не хватило моря, чтобы разойтись с рефрижератором. Лодка оказалась на дне залива Петра Великого. Когда же уцелевшие подводники пришли в себя и стали думать о спасении, во втором отсеке из-за попадания морской воды на электрооборудование возникло короткое замыкание, приведшее к пожару. Он был ликвидирован с помощью системы ВПЛ (воздушно-пенная лодочная), однако не успели подводники стереть с лица копоть, как пожар возник с новой силой. Опять огонь был укрощен с помощью той же системы ВПЛ, что и спасло подводников. Впрочем, до спасения было еще очень далеко, но не будь потушен пожар, вопрос спасения уцелевших подводников отпал бы сам собой.

Так тушатся пожары на подводных лодках или не тушатся?

На подводных лодках для борьбы с огнем предусмотрена воздушно-пенная система, которая часто отказывает по той простой причине, что подводники относятся к ней с полным безразличием.

На случай серьезного пожара или возгорания в труднодоступном месте предусмотрена химическая система — ЛОХ (лодочная объемная химическая). Эта система довольно эффективна, однако имеет свои особенности: в аварийном отсеке, к примеру, не должно быть избыточного давления, он должен быть загерметизирован, а личный состав обязан воспользоваться в случае пожара изолирующими дыхательными аппаратами. Подводник А. Горбачев считает ее из-за этого опасной и ненадежной (смотрите «Комсомольскую правду» от 29 апреля 1989 г.). Однако как профессионал скажу, что эта система не опаснее газовой плиты на кухне, с которой домохозяйка справляется без трудностей. Но почему же «отличник «боевой и политической» пасует перед нею? Почему пламегаситель подается зачастую не в отсек, где происходит возгорание, а в смежный, из-за чего все заканчивается гибелью его личного состава? Пожар же при этом продолжает полыхать. Могу привести не один пример, когда из-за неисправности этой системы (причина — отсутствие технического ухода) ею вообще невозможно было воспользоваться. Для знающего и отработанного экипажа она — неоценимое подспорье в борьбе с пожаром. Для необученного же — служит причиной дополнительных неприятностей, влечет за собой даже гибель личного состава.

Там, где к средствам пожаротушения моряки относятся с уважением, там, где, кроме того, отработан и навык по использованию этих средств борьбы с огнем, пожары тушатся. Чтобы понять это, вернемся на подводную лодку капитана 3-го ранга О. Бочкарева и проанализируем — что привело к аварии и как ее устраняли. Еще до выхода подводной лодки в автономное плавание в одной из выгородок трюма центрального поста через неплотно поджатое штуцерное соединение подтекало топливо. Доступ к нему был затруднен, исправить неполадки было не так просто, поэтому заведующему матросу «показалось» более удобным топливо из трюма откачивать за борт. При ежедневном проворачивании механизмов, проверке оружия и технических средств лодки командир электромеханической боевой части на соляр в трюме внимания не обратил, как, впрочем, не обратил на это внимания и помощник командира во время большой приборки. Кроме того, в нарушение Корабельного устава командир не проводил периодические осмотры корабля, и все это привело к тому, что топливный ручей из цистерны попадал исправно за борт, отстаиваясь в трюме. Так продолжалось до тех пор, пока старшина 2-й статьи Власов не бросил туда окурок. Тут необходимо пояснить: в подводной лодке, а тем более если она находится в подводном положении, курение категорически запрещено. Вахтенный офицер, находясь «на перископе» закурил наверху, в боевой рубке, вахтенный трюмный

закурил внизу в центральном посту. (Вот уж поистине: что «наверху», то и «внизу».) По привычке, сродни той, с которой мы, уважаемый читатель, бросаем недокуренную сигарету под колесо троллейбуса, подводник бросил ее в трюм. Обнаружив возгорание, старшина П. Серегин, находившийся поблизости, попытался воспользоваться системой ВПЛ, однако это ему не удалось — катушка, на которую наматывается шланг, не проворачивалась. Применив усилие, П. Серегин все-таки шланг размотал, но на нем не оказалось маховичка, и подать пену было невозможно. Огонь тем временем наступал. Повозившись еще немного, старшина Серегин вместе со старшиной команды трюмных Г. Аввакумовым принялся готовить трюмную помпу, однако и тут ничего не получилось, поскольку приемный сетчатый фильтр оказался забит грязью и насос не создавал давления. На помощь старшинам Серегину и Аввакумову поспешил матрос Д. Минчий... Боцман С. Уваров (вахтенный на горизонтальных рулях), видя, что дело плохо, поставив манипуляторы рулей на всплытие, начал продувать балласт воздухом высокого давления, но по ошибке открыл клапан вентиляции средней группы цистерн главного балласта, из-за чего воздух стремительно пошел на борт, а цистерны полностью не продулись. Прибывший по сигналу аварийной тревоги старший помощник командира капитан 3-го ранга К. Голубев подал команду: «Всем покинуть отсек!», поскольку организовать людей на борьбу за живучесть в условиях сплошного огня и полного задымления было невозможно. Его команду расслышали не все, а проверить наличие людей из-за полного задымления отсека и бушевавшего огня было невозможно. Кроме того, этот элемент на учениях отработан не был, из-за чего выход людей из аварийного отсека производился долго и неорганизованно. Пожар за это время распространился на смежные отсеки, задымленной оказалась вся подводная лодка, а не полностью продутый балласт и разыгравшийся шторм не позволили ни провентилировать лодку, ни выйти подводникам на палубу. Попытка выбраться наверх через люк одного из отсеков успехом не увенчалась. Хлынувшая в отсек вода вызвала короткое замыкание в электрооборудовании. Возник пожар, который в этом отсеке был потушен с помощью той же системы ВПЛ. Однако положение моряков оставалось плачевным. Собравшиеся в концевых отсеках, готовые ко всему, обреченные люди отсчитывали оставшиеся часы, вспоминая прожитую жизнь. Некоторые не выдержали этой пытки, и их, во избежание худшего, пришлось успокаивать, что называется, с помощью подручных средств.

Семь часов продолжалась эта драма, и только потом, в выгоревшем дотла центральном отсеке, обнаружили тела четырех подводников, которые или не расслышали команду об оставлении отсека, или уже не могли ее расслышать...

В те годы наши подводные лодки только начинали осваивать «мировой океан», поэтому ни у кого не было достаточного опыта длительных походов. Вопросом же захоронения погибших тем более никто не задавался, и никто из офицеров не знал даже, что предпринять в этом случае. На запрос командира лодки по радио разрешение захоронить моряков было получено лишь спустя трое суток. При пятидесятиградусной жаре живые все это время находились в одном отсеке с останками своих погибших товарищей...

Эти трагические события разворачивались в Средиземном море во время несения лодкой боевой службы. В районе бедствия оказался эсминец 6-го флота США, командир которого, руководствуясь кодексом морской чести, предложил помощь, когда лодка всплыла, однако ее командир от помощи «потенциального противника» отказался. Что ж, «у советских собственная гордость», и человек у нас ценится меньше всего. Что заставило командира лодки пренебречь людьми? Боязнь ответственности за «запрещенные контакты», боязнь рассекретить военный объект?..

И по собственному опыту, и из официальной статистики знаю, что восемьдесят пять процентов пожаров на подводных лодках возникают вследствие нарушения правил эксплуатации электрооборудования и неумелого с ним обращения. Спектр этих нарушений, увы, широк.

Но не все же пожары происходят по вине подводника, скажет читатель.

Да, не все. Часть пожаров — до 15 процентов — последствия несовершенства конструкторских разработок и технических решений, несоблюдения технологии при изготовлении и монтаже корабельного электрооборудования. Остальное же — на подводниках, наше. Тут и низкий профессионализм, и слабая техническая и, как говорят на флоте, подводная культура, недостаточная ответственность и элементарное разгильдяйство, и это касается не только пожаров.

Так, 27 января 1961 года в полигоне боевой подготовки на Северном флоте из-за неправильных действий экипажа затонула дизельная подлодка. Причина — поступление воды в пятый отсек. Погибла вся команда.

23 июня 1983 года такая же беда случилась и с атомной подводной лодкой, которая оказалась на дне с открытой шахтой вентиляции не только из-за неудовлетворительной подготовки экипажа, но и из-за того, что корабль к выходу в море был подготовлен из рук вон плохо. Подводная лодка была поднята с морского дна, ее поставили в док, но она оказалась просто «невезучей» — при завершении ремонтных работ затонула окончательно.

Затонула, уточню, не в море, а прямо у заводского причала.

Ряд катастроф произошел по причинам, о которых как-то даже и неловко говорить,— это когда командиру «не хватает» моря, чтобы разойтись со встречным кораблем или даже с берегом. Я уже упоминал о гибели подводной лодки в заливе Петра Великого — 21 октября 1981 года она столкнулась с рефрижератором. В том же октябре того же злополучного восемьдесят первого не смогла разминуться с берегом подводная лодка Балтийского флота. Она застряла на прибрежных камнях фиордов Швеции, после чего флотские острословы окрестили ее «Шведским комсомольцем»...

Несколько лет спустя подводная лодка, на борту которой находился командир соединения капитан 1-го ранга С. Потешкин, выполняя боевое задание, столкнулась с торпедоловом, который вместе с семью членами экипажа ушел на дно.

(Характерно, что практически на всех подводных лодках, потерпевших катастрофу или попавших в аварию, в качестве старших на борту находились офицеры штаба соединения.)

Не лучше обстоит дело и у «надводников». 14 мая 1986 года корабль комплексного снабжения «Березина», преодолев сложный в навигационном отношении пролив Босфор, не разошелся с теплоходом и получил пробоину в кормовой части. В результате повреждения топливной цистерны в море вытекло горючее. На пути в Севастополь произошло возгорание в кормовой электростанции — через разорванный борт на электрооборудование попала вода. Никто не догадался его обесточить. Заметим, что на борту незадачливого «снабженца» находились в тот момент командир соединения капитан 1-го ранга И. Винник и заместитель командира соединения контр-адмирал Н. Горшков.

Ремонт корабля обошелся в пять миллионов рублей.

Пример этот — один из многих. Пожары и гибель кораблей из явления чрезвычайного стали на флоте делом привычным. Конечно же, не все ошибки личного состава кончаются катастрофами. В противном случае катастроф на флоте было бы гораздо больше.

Так, в октябре 1978 года едва не затонула подводная лодка капитана 2-го ранга В. Круглова, которая стояла у пирса в иностранном порту. Лодка начала погружаться с открытыми люками третьего и кормового отсеков, причем через люк на берег тянулся кабель электропитания, и, попади сюда вода, последствия были бы непредсказуемы. Дальше все разворачивалось, как в плохой трагикомедии,— успев спуститься на тонущую лодку, флагманский механик начал продувать кормовую группу цистерн главного балласта, чтобы не дать ей уйти камнем на дно, но не тут-то было. Старпом и механик этой лодки, которые готовили ее к плаванию, решив, очевидно, что у флагмеха «не все дома», кинулись к нему, чтобы не допустить к станции аварийного продувания. Спасла физическая закалка, и, не освободись он от «объятий» коллег, лежать бы лодке на морском дне. Корабль удалось спасти, а вот электрооборудование надолго вышло из строя, поскольку вода на него все-таки попала...

Как же реагирует флот на очередную аварию или катастрофу? Реакция следует незамедлительно — стоп все! Прекращается вся боевая подготовка, начинается кампания по «наведению уставного порядка и повышению организации службы». Само собой, кого-нибудь при этом снимают с должности. Обычно это командир (за навигационное происшествие) или механик (за все остальное). Если, скажем, авария связана со взрывом водорода на подводной лодке, то, согласно циркуляру, на флоте прекращаются зарядки всех аккумуляторных батарей, и длится это до тех пор, пока у личного состава не будут приняты зачеты по зарядке батарей и контролю за водородом. После доклада «наверх» о сдаче зачетов, о том, что «ущерб от аварийного происшествия незначителен», зарядки батарей разрешаются снова. Через непродолжительное время взрывается тот же самый водород и все повторяется — циркуляр, зачеты, доклады «наверх»...

Лично мне причины аварий на флоте видятся не только в том, что матросы не знают то или иное положение или инструкцию. Аварии — это и последствия беспечности и низкой дисциплины на флоте. Иначе чем объяснить то, что даже после серьезной аварии или катастрофы, после серьезных разносов и наказаний не удается притормозить конвейер аварийности?

Военные моряки хорошо помнят 1970 год, когда в водах Бискайского залива затонула наша атомная подводная лодка, открыв счет погибшим кораблям этого класса. После случившегося весь Военно-Морской Флот оказался пришвартован к причалам. Началась «учеба». Подводная лодка, по официальному заключению, погибла в результате потери продольной остойчивости, и по всему Союзу ССР стали разъезжать флотские ученые и неученые мужи, растолковывая подводникам, что такое продольная остойчивость и чем грозит кораблю ее потеря или снижение, хотя даже несведущему понятно: лодка тонет не из-за того, что кто-то не знает формулы продольной остойчивости, а из-за того, что в прочный корпус поступает вода.

«Набравшись» знаний по остойчивости, подводники утопили не одну подводную лодку. Последняя из них — «Комсомолец». События на ней развивались аналогичным образом, и ни штаб Северного флота, ни командир подводной лодки не вспомнили «уроков продольной остойчивости» хотя бы с точки зрения возможного развития аварии и ее последствий. Ни грозные директивы Главного штаба ВМФ, ни приказы Министра обороны, которые издаются систематически по результатам расследований причин тех или иных катастроф, к заметному улучшению обстановки не приводят. Все идет своим чередом: авария — приказ, катастрофа — снова приказ и снова авария.

Уже после гибели «Комсомольца» на Северном флоте произошла разгерметизация первого контура ядерного реактора на очередной подводной лодке. 19 августа 1989 года на Черноморском флоте взорвался и затонул тральщик. Погибли три человека. Спустя месяц на том же Черноморском флоте при проведении доковой операции затонул док.

Нет необходимости доказывать, что культура в содержании корабля, культура в эксплуатации техники являются необходимым условием безаварийного плавания, безотказной работы техники. Основная причина пожаров, как мы уже убедились,— электрооборудование и отсутствие культуры в его эксплуатации. Человеку, не связанному с морской службой, хочу пояснить, что это значит. Из-за неисправности его (например, плохая изоляция сети) возникают так называемые корпусные сообщения — «мостики», которые, как правило, и являются источниками возгораний. По словам капитана 1-го ранга А. Аладкина, при проверке атомного крейсера «Киров» в корабельной сети было обнаружено около 700 подобного рода корпусных сообщений! На авианесущем крейсере «Киев» еще больше. Оба этих корабля находились в автономном плавании. Кроме того, и средства пожаротушения на них оказались неисправными.

Конечно, электрооборудованием неприятности подводников не ограничиваются. Что ж, любая техника мстит за неуважение к ней. Легкомысленное отношение чревато серьезными последствиями. По роду службы я посетил подводную лодку капитана 1-го ранга Д. Смирнова. На ней в это время производилась зарядка аккумуляторной батареи. Трюмы залиты водой наполовину с горю-

чим. Вода перекатывается от борта к борту с шумом, там же — упавшие гаечные ключи, ветошь, другой мусор. Переборочные двери открыты, некоторые не поставлены даже на стопор. Приборы контроля за водородом неисправны. Слева от прохода находится незакрепленная и открытая бочка с горючим, а на ней — горка окурков! Ящики с регенеративным веществом не закреплены и выглядывают из трюма, наполовину наполненного водой (это уже в шестом отсеке). Спустя месяц на этой подводной лодке произошел пожар. Еще через месяц при зарядке аккумуляторной батареи произошел взрыв водорода. К счастью, жертв не было, обошлись увечьями.

На затонувшей в 1961 году подводной лодке СФ контрольный клапан наличия воды в воздушной шахте оказался закрытым. Трудно сказать, что именно решило судьбу подводной лодки, но, будь он открыт, подводники раньше заметили бы поступление воды в отсек, ведь судьбу подводной лодки и экипажа зачастую решают секунды.

Но халатность проявляется не только в отношении к техническим средствам, а что самое горькое — и к средствам спасения тоже. При подъеме атомной подводной лодки, затонувшей 23 июня 1983 года на Тихоокеанском флоте, спасатели предложили хитроумный метод осушения концевых отсеков — подавая воздух в отсек затонувшей лодки. Но шланги отсоса в отсеке погибшей субмарины не присоединены...

На затонувшей на том же ТОФе в 1981 году дизельной подводной лодке (командир капитан 3-го ранга В. Маранго) все кормовые отсеки и центральный оказались затоплены из-за негерметичности переборок. Если в четвертый и пятый вода поступала из-за того, что были открыты переборчатые двери, то третий отсек оказался залит потому, что кормовая переборка была негерметична... Средства индивидуального спасения на подводной лодке оказались разукомплектованными — часть водолазного шерстяного белья, по свидетельству приписного командира моторной группы старшего лейтенанта А. Тунера, находившегося на лодке в момент аварии, оказалась в береговом кубрике. В аварийных бачках с продуктами вместо требуемого комплекта оказалась... картошка. Тут уж трудно предъявить претензии к кому-либо, кроме самих подводников. Другой вопрос — почему у них такое отношение к средствам спасения и к своему кораблю? Попытаемся разобраться.

В печати по поводу гибели «Комсомольца» не раз упоминались буквосочетания — ИДА-59, ИСП, ВПЛ, ЛОХ. Все это средства спасения и борьбы за живучесть корабля. Индивидуальный дыхательный аппарат — ИДА-59, который находится на вооружении подводников с 1959 года, практически не претерпел конструктивных усовершенствований. Индивидуальное снаряжение подводника ИСП-60 — образца 1960 года. Система ВПЛ еще недавно обозначалась как ВПЛ-52, то есть создана она была в 1952 году. Система ЛОХ осталась на уровне семидесятых годов. Что же из всего этого следует? А то, что средства уничтожения человека идут в ногу со временем, а средства, обеспечивающие живучесть корабля, спасение личного состава (подводника), отстали более чем на тридцать лет. Не отсюда ли у подводников чувство безразличия и к себе, и к кораблю, чувство, похожее на безысходность и обреченность?

Среди средств, обеспечивающих спасение личного состава подводных лодок, имеется всплывающий буй с телефонной связью и сигнальным устройством. Длина кабель-троса буя соответствует рабочей глубине погружения лодки. Плавает же подводная лодка (и тонет) на глубинах свыше тысячи метров. Чем в этом случае поможет подводнику буй? Ничем! Из-за несовершенства конструкции крепления к корпусу он имеет «обыкновение» отрываться и уходить в самостоятельное плавание, что грозит большими неприятностями. По словам капитана 2-го ранга Н. Десяка, командир одной из подводных лодок, потерявшей два буя, был даже представлен к снятию с должности. Что ж, подводники, хорошенько все взвесив, решили этот сложный вопрос просто: стали приваривать буй к корпусу подводной лодки намертво. Потери буев уменьшились. Но не лодок. Оптимизма, уважения к своему кораблю все это подводникам не прибавило. Более того, к корпусу лодки приваривают даже всплывающую камеру — тонуть так тонуть! Знают об этом специалисты поисково-спасательной службы, проверяющие готовность средств спасения перед выходом в море? Конечно, знают. Знают и то, что все делается после их ухода с борта лодки. Но ничего менять не желают. Приваренный буй и камера заставляют подводника задуматься: а нужен ли он вообще кому бы то ни было, если все обстоит так, как есть?..

А как вообще корабль готовится к плаванию?

Похоже, атомная подводная лодка, затонувшая на Тихоокеанском флоте 23 июля 1983 года, не готовилась к выходу вообще. Материальная ее часть оказалась неисправной. Экипаж собрали из прикомандированных специалистов с других лодок, и уровень подготовки этих людей никем не проверялся! Никто не обратил внимания на открытую шахту вентиляции при погружении. Не надо, думаю, объяснять, почему после заполнения главного балласта лодка камнем ушла вниз...

К сожалению, эти упущения в той или иной степени повторяются почти на каждом корабле. Почему неисправна материальная часть? Порой потому, что время, отводимое на планово-предупредительные ремонты и осмотры материальной части (ППР), используется на другие цели. На что угодно — на караулы, наряды и другие внекорабельные работы и неработы. Кроме того, неудовлетворительное обеспечение материалами, запасными частями, а также некомплект личного состава не позволяют провести ППР качественно даже при наличии достаточного времени. Обеспечение запасными частями устаревших образцов эксплуатируемой техники вообще не налажено. Часто перед выходом корабля в море отдельные узлы, а то и целые агрегаты снимаются с других подводных лодок. А уж та, которая планируется в ремонт, обдирается настолько, что к концу ремонта вместо отдельных механизмов из трюмов сиротливо выглядывают их унылые фундаменты.

Экипаж на выход в море тоже подбирается со всего соединения. Кто из них, временно прикомандированных, так уж будет болеть за не свой корабль? К сожалению, и в длительный поход подводная лодка часто отходит наполовину не с тем экипажем, с которым отработан (худо-бедно) весь курс боевой подготовки. Часть старослужащих демобилизуется. Недокомплект экипажа пополняется за счет других экипажей с разным уровнем подготовки. И это обычно делается перед выходом. То есть экипаж корабля практически отрабатывается и сколачивается уже в походе. Получается так, что подводная лодка в первый период длительного плавания больше напоминает тренажер, на котором (не всегда удачно) отрабатывается экипаж. Кроме того, этот тренажер не всегда исправен. А часто и с полностью выработанным ресурсом.

На подводной лодке, где в свое время старшим помощником командира служил капитан-лейтенант В. Машечков, а замполитом — капитан-лейтенант Т. Буркулаков (погибший на «Комсомольце»), из-за низкой подготовки личного состава в течение всего похода ремонтировали поломанную материальную часть и боролись за живучесть. Подводники потом говорили, что это было не плавание, а затянувшаяся аварийная тревога и постоянная борьба со смертью. Один член экипажа погиб.

Такое же положение сложилось на подводной лодке капитана 2-го ранга Е. Сулая, которая была отправлена в длительное плавание с полностью выработанным ресурсом главных машин. В 1979 году по этим же причинам наша дизельная подводная лодка потеряла ход в районе Бискайского залива. Военные моряки, находившиеся в это время в Средиземном море, видели по местному телевидению, как ее буксировали в Югославию на ремонт под дружный хохот и улюлюканье всяких там «голосов».

Командир подводной лодки капитан 2-го ранга И. Миркитантов после возвращения из похода доложил командиру соединения, что задачу выполнил, но в течение всего похода «спал со смертью под одной шинелью». Подводную лодку, запущенную, грязную и неисправную, он принял непосредственно в море от основного экипажа. Второй экипаж, сам по себе слабо подготовленный, спустился в отсеки неисправного корабля и молча ушел на выполнение поставленной

задачи. На первом погружении перед отходом лодки присутствовал командир соединения. Доложить о состоянии подводной лодки и задержать выход не посмел. Отсутствие демократии и гласности на флоте не позволили командиру сказать правду. Для него эта правда обошлась бы дорого. А лодка ушла бы все равно. Сокрытие истинного положения стало нормой, как и сокрытие аварий и катастроф. Но, с другой стороны, катастрофы — это следствие замалчивания и сокрытия истинного положения на флоте. И пока что это «чертово колесо» не только крутится, но и набирает обороты.

Если подводные лодки, как мы уже убедились, оказываются в море с неподготовленным экипажем и неисправной материальной частью, то, естественно, возникает вопрос: неужели не проверяется корабль перед выходом в море вышестоящим штабом? Проверяется! И еще как! Даже флотской комиссией. Часть замечаний «устраняется в ходе проверки». На самые серьезные, которые «не устранены на месте» даже с помощью корабельной провизионки, командиру корабля и штабу соединения предоставляется некоторое время — два-три дня (поди скажи, какое для подводной лодки «серьезное» замечание, а какое — нет).

Об «устранении» уже докладывает сам штаб соединения. И корабль уходит по плану. Хотя трудно предположить, что за два-три дня на корабле можно что-нибудь серьезно изменить. Да на это никто и не надеется. Просто на подводную лодку «подсаживается» офицер штаба для отработки экипажа, обеспечения живучести и безопасности плавания. Чаще всего это командир соединения или его заместитель.

На флоте офицера штаба, «обеспечивающего безопасность плавания», называют «дядькой». Правда, для экипажа без хорошей базовой подготовки подводная лодка и с «дядькой» на борту остается учебным тренажером. А сам он становится заложником непрофессионального экипажа. На подводной лодке капитана 1-го ранга Д. Смирнова, на которой имели место два аварийных происшествия за один поход, тоже находился офицер штаба. Старшим на борту подводной лодки капитана 3-го ранга В. Маранго был начальник штаба капитан 2-го ранга Каравеков — учил командира, как нужно плавать.

Кроме изложенных, очевидных причин аварийности и им способствующих факторов, отсутствие профессионализма и ответственности — явно не последние, если не одни из первых. А раз вопрос упирается в уровень профессионализма и ответственности, то почему же мы не набрались всего этого за довольно длительный период существования советского Военно-Морского Флота?

Кто обучает новобранца азам флотской службы и специальности? Часто это те, кто не нашел себя на флоте: любители спиртного, те, кто от флота надеялся получить много, ничем себя не обременяя, и другие непрофессионалы, в том числе списанные с флота как бесперспективные. Примеров достаточно. А это не может не способствовать формированию у матроса (вынужденного служить на флоте по «принудиловке») соответствующего взгляда на корабельную службу, а то и на оставшуюся жизнь...

Есть еще и специальная подготовка, которая проходит непосредственно на подводной лодке. На нее... не всегда хватает времени. Вот признание спасшихся членов экипажа «Комсомольца» корреспонденту «Красной звезды» (21.04.89 г.): «Четыре человека не без труда справились, чтобы отдать спасательный плот на тренировке зимой». Из сказанного подводниками следует, что эти тренировки проводились очень редко, что цель тренировки — отработка навыка и его совершенствование — оказалась не достигнута, что все усилия ушли на то, чтобы отдать этот неуклюжий плотик. С трудом отдали, навыков не приобрели, и на этом занятия закончились. На уже упоминавшейся подводной лодке, где старпомом служил капитан-лейтенант В. Машечков, матрос, воспользовавшись аппаратом ИДА при пожаре в отсеке, сразу почувствовал себя плохо. Спустя полчаса он скончался. Из-за отсутствия твердого навыка он забыл открыть вентиль кислородного баллона, сделал резкий вдох, получил баротравму (разрыв) легких и погиб. Сейчас у него не спросить, сколько занятий и тренировок провел с ним старпом В. Машечков.

На подводной лодке, где командиром был в свое время капитан 2-го ранга Н. Дюдяев, при срочном погружении старшина команды трюмных Н. Шанин допустил оплошность — не закончив продувание цистерны быстрого погружения, закрыл ее кингстоны. Резиновое уплотнение было сорвано, и лодка получила большую отрицательную плавучесть и могла удержаться на глубине лишь на полном ходу и большим дифферентом на корму. Оказывается, в полигоне боевой подготовки, при отработке маневра «срочного погружения», для третьей смены, в которой был и мичман В. Шанин, не хватило времени. А корабль готовился к автономному плаванию. Вот так сам командир оказался виновником будущей аварийной ситуации.

«Красная звезда» от 15 марта 1990 года в материале о причинах гибели «Комсомольца» отмечает «высокий уровень профессиональных знаний подводников». Но ведь, кроме знаний, нужны еще и умение, и навыки, чтобы в экстремальной ситуации подводник сумел быстро и точно выполнить то, что до автоматизма отработано на тренировках. Тот же мичман Шанин, которого я упоминал выше, лучше всех в экипаже знал устройство лодки. А навыков не имел, вернее, не приобрел их по вине командира. Кстати сказать, на практические занятия по водолазной подготовке — что уж серьезнее! — экипажи прибывают не в полном составе, но для командиров это «мелочи» — в списки прошедших тренировку зачастую вносят и отсутствующих... Для моряков давно не секрет и то, что спасательные устройства (в том числе и аппарат ИДА) подводник «изучает», находясь в критической ситуации, когда судьбу корабля решают минуты, а то и секунды. Ох, как необходим в таких случаях высокий профессионализм! А его-то и нет.

Читатель, уверен, задастся вопросами: а как, собственно, идет отбор командиров кораблей? Кто ими становится?

Условия флотской службы таковы, что деловые качества офицеров и уровень их профессиональной подготовки давно уже не главные критерии. Отчасти из-за того, что служба на флоте потеряла свою привлекательность. Если не налажен быт офицера на берегу, если ему элементарно некуда «приткнуть» семью — какая уж тут привлекательность! Это одно. Часть командиров, чего греха таить, назначается, если есть влиятельные знакомства или родственные связи. Самое обидное, даже опасное в том, что эти «отцы-командиры», шагая наверх по начальственной лестнице, становятся впоследствии «отцами флота». А уже в штабах, «наверху», им и подавно не до нужд моряков. Вряд ли они вспомнят, что такое трюм корабля и как его содержать, а уж тем более не вспомнятся им люди, для которых и этот трюм, и лодка — родной дом.

Для определенной части офицеров командный мостик — возможность решить (в какой-то мере) свои социально-бытовые проблемы, ведь очередная ступенька иерархической флотской лестницы отмечена новыми возможностями и льготами. Отсутствие на флоте гласности, демократических начал способствует всему этому, и было бы наивно ожидать, что такой командир-«временщик» постарается в полной мере реализовать свои профессиональные навыки.

Конечно, все это не специфическая флотская болезнь. Этими метастазами поражено все наше общество, и если «воруют» на гражданке или дают взятки вышестоящим, почему бы не воровать и не давать взятки на флоте? (Так, в объединении подводных лодок, где начальником политотдела служил контр-адмирал В. Сергодеев, впоследствии член Военного совета флотилии, офицеры получали должности за оказанные услуги, за покладистость, за деньги, наконец.)

За три года из новобранца невозможно воспитать профессионального, классного подводника. Современная техника сложна, а ведь ему еще за это время надо набраться, как говорят на флоте, морской и подводной культуры. Кроме того, не у всех есть и желание эту профессию осваивать, ведь через непродолжительное время после демобилизации все то, чему учили, не понадобится...

Ко всему прочему, существует на флоте и такое явление, как «годковщина». Это то же самое, что в армии «дедовщина». Оно отнимает много времени на разборы конфликтов, поиски «беглецов» — тех, кто, не выдержав издевательства, самовольно покидает воинские части.

Все эти проблемы в какой-то мере могут быть разрешены переходом на профессиональный принцип комплектования флотских кадров, созданием современной системы базирования и учебной базы. Говорят: на это флот не имеет средств. Так ли это? А как расходуются средства, выделяемые флоту государством на его жизнедеятельность и выполнение задач? Расходуются, надо сказать, непродуманно, а часто и вообще выбрасываются на ветер. Из-за гибели кораблей, из-за навигационных происшествий, аварий и пожаров, из-за непрофессионального обращения с техникой и неуважения к морю флот становится не слишком дешевым детищем государства. Насколько можно было бы поднять уровень профессиональной подготовки военного моряка, сохрани мы те средства, которые оказались истрачены на строительство утонувших, сгоревших кораблей! «Что же мешает повышению выучки моряков? — задается сакраментальным вопросом капитан 1-го ранга С. Быстров («Красная звезда», 15 марта 1990 г.).— В первую очередь ограниченность средств». Я с этим не согласен — средства у флота есть. Ими не умеют по-умному распоряжаться.

Катастрофы на военно-морском флоте — еще не самая разорительная статья расхода народных денег. Часть их уничтожается «мирным путем», уничтожается ежедневно и суммами гигантскими.

К примеру, в 1983 году Кронштадтский морской завод принял в ремонт крейсер «Октябрьская революция». К 70-летию Октября стоимость ремонтных работ подобралась к пяти миллионам рублей. Нужно было менять паровые коллекторы главных котлов (всего 30 штук), но их на флоте не оказалось. Дать заказ промышленности на их изготовление заранее — никто не додумался, и крейсер списали по «признаку неремонтопригодности». (Не по причине сокращения Вооруженных Сил, как нам могут сказать.) Сейчас он на разделочной базе в Ленинграде, куда направлен и эсминец «Благородный», который также был предварительно отремонтирован и на который истратили столько же средств. На том же Кронштадтском заводе проходил переоборудование сухогруз «Равенство», который был куплен военными у Министерства морского флота. Когда затраты подобрались к трем миллионам, выяснилось: у судна плохой корпус, поэтому лучше его списать. Так и поступили. Этот перечень, к сожалению, бесконечен.

В «Красной звезде» адмирал флота И. Капитанец сообщает, что на 1 января 1989 года на флоте не обеспечены жильем 19 220 семей, что в улучшении жилищных условий нуждаются еще 19 362 семьи. Несложно подсчитать, что, например, только из средств, выброшенных на ремонт «Октябрьской революции», можно построить 25 000 квадратных метров жилья, обеспечив 625 бесквартирных флотских семей.

У флота не хватает средств не только на это. После гибели моряков подводной лодки капитана 3-го ранга О. Бочкарева отец погибшего подводника Д. Минчего обратился в часть, где служил его сын, с просьбой посетить подводную лодку, поговорить с теми, кто видел сына в последние минуты его жизни. (Подводник Д. Минчий и его товарищи — Г. Аввакумов, С. Уваров, В. Скворцов погребены в море. Вот их могила — 36°20'0" северной широты, 10°57'11" восточной долготы.) Рассчитывал отец и на помощь флота — чтобы хоть дорожные расходы ему оплатили. Средств у флота не нашлось. Не оказалось.

Нет у флота средств и на то, чтобы увековечить память жертв гибели линкора «Новороссийск». А ведь прошло уже больше тридцати лет.

Впрочем, тут не в средствах дело, а в беспамятстве. «Мне понятна причина аварийности на флоте. С охотой ли моряк будет служить, если флот даже похоронить нас по-человечески не может. Кто мог подумать, что флот, забравший жизни своих матросов, предаст забвению их имена. Человек, со всем человеческим, остался за бортом флотской машины. Потому она ломается и буксует»,— это слова Л. И. Бакши, оставшегося в живых члена экипажа погибшего линкора.

И для него, и для родных и близких тех 608 человек, которые отдали флоту свои жизни, трагедия продолжается и по сегодняшний день. Даже памятную доску на братских могилах моряков «пробивает» не флот, а инициативная группа. У флота для этого не оказалось ни желания, ни средств...

Одна из причин аварийности на флоте в катастрофически низком престиже и значении инженерных флотских служб. Должность инженера на флоте не в моде. Начиная с 70-х годов слово «инженер» постепенно вычеркивали из морских званий. Был, скажем, «инженер-лейтенант». Стал «лейтенант-инженер». Сейчас же просто лейтенант. Получить должностное звание, продвинуться по службе офицеру инженерного корпуса гораздо труднее, чем, скажем, политработнику, хотя инженер-механик — это тот чернорабочий флота, без которого корабль не проживет и часа. Но почему-то должностной оклад замполита выше, чем у механика, и в новую квартиру он въезжает куда как раньше...

Многие механики, видя это, подались в замполиты, чтобы потом уже свысока глядеть на своих бывших собратьев по отсеку. Падение престижности инженерных служб сказалось на таких необходимых подводнику качествах, как подводная и техническая культура, инженерное мышление. Упал и статус специальной подготовки. Приоритет отдан подготовке политической, хотя, на мой взгляд, наивысшим критерием политической сознательности и патриотичности военного моряка может быть только уровень его специальных знаний, бережное отношение к вверенной ему страной боевой технике. Статус флотского инженера надо восстановить немедленно. Можно сделать это и за счет флотского политаппарата. Приоритет методов убеждения не для флота. Тут нужны профессионалы своего дела, профессионалы с большой буквы.

А чего стоит решение о поголовной демобилизации морских офицеров по возрастному признаку! Решение это было принято вразрез широко пропагандируемому лозунгу о гласности и демократии, принято внезапно и для многих стало ударом в спину. Капитан 2-го ранга, едва достигший 45-летнего возраста, еще вчера аттестованный на должность начальника кафедры в училище, получает сегодня уведомление об увольнении в запас: извините, мол, возраст. Хотя, на мой взгляд, только в этом возрасте появляется у офицера возможность реализовать свой профессиональный опыт. С другой стороны, если в сорок пять офицер уже не может справиться с решением задач, то как справляются со своими обязанностями офицеры Генерального штаба в куда более почтенном возрасте?..

Гибель «Комсомольца», с которого мы начали этот рассказ, по сей день связывают с тем, что это была новая, самая современная подводная лодка, в какой-то мере уникальная. На глубину до 1000 метров до нее не погружался никто. Раз новая — значит, не полностью освоенная и проверенная, и всякие неожиданности (вплоть до гибели) в какой-то мере понятны и объяснимы. Далеко не первый год находилась эта лодка в эксплуатации, и за это время можно было изучить ее особенности. Погибла же она отнюдь не «от глубины», а от заурядного пожара, который допустили и с которым не сумели справиться подводники. Практически все затонувшие и сгоревшие подводные лодки и надводные корабли находились в эксплуатации длительное время. Их эксплуатационная надежность была доведена до того уровня, когда подготовленный экипаж может плавать на них безбедно. Не качеством техники объясняются катастрофы и аварии, а уровнем подготовки экипажей. Другое дело, что из-за слабой эксплуатационной надежности отдельных механизмов, устройств и систем новых кораблей и подводных лодок увеличивается поток отказов техники. Часть их явилась причиной аварийных происшествий, что послужило удобным поводом обвинить промышленность за погубленные корабли. Конечно же, можно предъявить претензии к промышленности, но ведь она поставляет флоту то, что он заказывает. А флот плавает на том, что заказал и что принял.

Статья адмирала И. Капитанца в газете «Красная звезда», на которую я часто тут ссылаюсь, называется: «Как развиваться флоту». Так и хочется подсказать адмиралу: с заботой о человеке. И катастроф тогда будет меньше.

Виктор Криворотов

РУССКИЙ ПУТЬ

ПРИЗРАК КОММУНИЗМА

Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, вызывая и спустя сто с лишним лет после своего возникновения мысли и чувства не просто неоднозначные, но зачастую такие, о которых ни Маркс, ни Энгельс даже и помыслить не могли.

На рубеже третьего тысячелетия новой эры линейное восходящее развитие, предсказанное доктриной, окончательно прерывается. Буржуазный мир, уже многократно похороненный усилиями заинтересованных критиков, неожиданно быстро устремляется в будущее, оставляя нас далеко позади и оглядываясь на Россию для того лишь, чтобы понять, что еще ждет страну, 70 лет назад ставшую ареной крупнейшего исторического эксперимента, проведение которого самые нетерпимые настойчиво выносят за пределы человеческой морали. Как отразится происходящее тут на движении этого мира?

Крупнейшая страна, считающая себя наследницей идей и мыслей Маркса, вынуждена прервать провинциальную благодать застойных десятилетий. Исторический вызов брошен. В ожидании беспрецедентных изменений в экономической и политической системе общества и их опережая, лавинообразный процесс осмысления идет в умах. Первые родовые схватки, сдвиги континентальных глыб, лежащих в основании общества, глухими толчками отзываются в глубине и рябью на поверхности, концентрическими кругами выходят за пределы страны.

И, наконец, обретают все более и более тревожный и неопределенный смысл. Старые друзья и старые враги объединены тревогой. У первых она окрашена надеждой, связанной со стремлением выйти из собственного, почти безнадежного положения. Вторые же опасаются мировой нестабильности, катаклизмов, связанных равно как с успехом, так и с неуспехом перестройки.

Во взгляде со стороны коммунистический мир (так нас довольно прямолинейно и в каком-то смысле справедливо называют за рубежом) в процессе перестройки должен либо подтвердить на новом уровне, либо окончательно отвергнуть марксизм как основу, по крайней мере единственную, экономической и политической системы общества.

В глазах рационально мыслящих кругов за рубежом — разумеется, критически относящихся к марксизму — в существующей ситуации мирового развития призрак коммунизма должен быть либо окончательно похоронен, либо по крайней мере перестать непрерывно хоронить их самих. По существу, только в этих условиях сегодня они готовы идти на те или иные принципиальные сдвиги в отношениях. Так или иначе, но в этой достаточно прямолинейной и, потому-то ясной трактовке перестройки по крайней мере соблюден масштаб: на первый план выдвигается доктрина, за которой явственно проглядывается реальность государственно-монополистического социализма или тоталитаризма. Призрак коммунизма остается мощной доминантой современного политического и экономического мышления, теряя, впрочем, реальные очертания жизненной

Окончание. Начало см. «Знамя» № 8 за 1990 год.

альтернативы дальнейшего развития, по отношению к которой Запад приобретает все более определенную степень свободы.

Внутри страны ситуация развертывается вполне однозначно. Поруганное десятилетиями сталинских погромов, истоптанное административной системой, изнасилованное тело страны стремится выкричаться и выплакаться в бесчисленных разоблачениях, непрерывно публикуемых прессой. Не ведая почти ничего об окружающем мире, культура, выросшая в провинциальной глуши застоя, способна пока только стенать, выискивая недозадушенных гениев. В литературе все смешалось, но по сей день никто не сумел объяснить, что же произошло у нас после Октября. Познание истории идет через ее отрицание. Создается своеобразный «культ антиличности» Сталина, черной тенью нависшей над всей новейшей историей страны. Налицо тяготение к классической русской постановке: кто виноват?

Со времен Петра и много ранее мы не раз проклинали собственную историю и временами столь успешно, что лишь спустя многие десятилетия удавалось отыскать следы того или иного события. Со временем это стало приобретать характер национальной черты.

С завидным упорством мы отрицаем свою культуру и историю — от древней и средневековой до новой. Если с грехом пополам еще и вспомним, кто такой Франсуа Вийон, то уж мало кто скажет, что значат для нашей культуры Вассиан Патрикеев или Иосиф Волоцкий. Из года в год крепнет комплекс неполноценности в нашем народе. Русское и советское — это то, что похуже: и сие, относясь уже не только к магнитофонам и телевизорам, становится тоже национальной чертой.

От криков ужаса и боли, разбудивших народное самосознание в эти судьбоносные для страны времена, далеко, однако, до постановки других, характернейших для всей российской культуры «вечных» вопросов о смысле и месте нашего бытия в мировой истории. Библейская подоплека вопроса: «Кто мы такие, где мы находимся» — постепенно растворяется в нарастающем шуме, негромкий голос «из глубины» затихает и почти исчезает. Все более иллюзорной становится возможность выявить скрытые пружины нашего исторического движения, как, впрочем, и пружины самой перестройки.

На протяжении всех послеоктябрьских лет марксизм сросся с историей нашей страны. Но, начиная со Сталина, народное сознание отождествляет социализм с монстром административной системы. Марксизм же — с вещаниями купленных на корню, в большинстве случаев и не слишком обремененных культурой академиков-начальников от истории философии и прочих, или, что то же самое, начальников-академиков. Конечно же, это не могло не привести к созданию накрепко догматизированной канонической теории, существовавшей безбедно до совсем недавнего времени.

Но каковы бы ни были обстоятельства создания этой теории, *другого марксизма у нас нет*, мы его не знаем. Десятилетиями вдалбливаемый в народные умы канонический образ Маркса, марксизма, революционной теории довлеет над общественным сознанием вне зависимости от того, насколько мы образованны или, скажем, читали Маркса. И потому-то, хотим мы этого или не хотим, догматическая реакция на перестройку в обыденном сознании так или иначе тяготеет к отождествлению ее с самой революцией, с «истинным» марксизмом, а радикальные экономические лозунги перестройки тем самым — с «контрреволюцией». И здесь не помогают разговоры о нэпе или о Бухарине, ведь «прекрасно» известно, что нэп был «вынужденной мерой», что Бухарин «призывал наживаться», а многолетняя пропаганда аскетизма, жертвенности и бедности прекрасно легла и срослась с общинными идеалами архаической, маргинализуемой части русского крестьянства, откуда совсем недавно вышли многие. В конечном же итоге нас закабалили собственные примитивные представления о марксизме, а его призрак приобрел над нами зловещую власть, превратившись в призрак догматического коммунизма. Терзаемые собственным демоном, не умея справиться с идеями, нами же порожденными, мы срослись с марксистской идеологией, сроднились с ней как со своим собственным проклятием.

И потому-то разворачивается перестройка на зыбкой, почти не существующей грани между контрреволюцией и реакцией, жертвуя поминутно то одному, то другому богу. И все это с особой яркостью высвечивается в прессе, которая все более смелеет в своих высказываниях и оценках, едва-едва оправляясь от старого страха оказаться обвиненной в «немарксизме». Общественность уже давно приготовила к сожжению набитое соломой чучело бородатого классика, пытаясь избавиться таким образом от гнетущей власти призрака еще совсем недавнего прошлого. Но — тщетно, тщетно... Идеи коммунизма прочно угнездились в массовом сознании, и вот уже оно, постепенно пробуждаясь, мечет громы и молнии, требуя прекратить, застопорить, запретить... За такой реакцией на перестройку видны вполне понятные интересы бюрократической административной системы и тесно связанных с ней социальных групп. Массовое сознание такого рода в определенном смысле — это «сознание раба», материализовавшееся в реальном действии и противодействии людей и общественных групп.

В былом призраке меж тем все отчетливее проступают черты, близкие к традициям русского самодержавия, но что-то постоянно мешает дать честный и беспощадный ответ на вопросы: кто мы все-таки есть и где мы находимся? Это «что-то» имеет вполне определенные очертания: даже первые робкие попытки анализа послеоктябрьской истории базируются на концепциях доминирующей роли государства, которые принадлежат классической плеяде русских историков (начиная от Соловьева). Однако, с другой стороны, широко известно и то, что подобная концепция, с точки зрения существующего и укоренившегося понимания марксизма насквозь идеалистична, она попросту противоречит материалистическому пониманию истории.

Так возникает отчуждение от собственной истории, истинный смысл и логика которой остаются непознанными, незамеченными. А вместе с этим исчезает и историческая память — способность осознать смысл того, что было, и не повторять одно и то же вновь и вновь. С утратой памяти история превращается в вечное повторение, она как бы движется по замкнутому кругу. Общества, попавшие в него, не способны выйти за его пределы, и в этом случае отчуждение от собственной истории не вина историков, а следствие более глубинных процессов. Призрак догматического коммунизма, терзающий нас сейчас, обретает в этих условиях смысл отчужденных сил истории, господствующих над страной уже столетия, направляя течение исторического времени в уготованное ему русло.

Исходный пункт этого движения спрятан в вековых глубинах. Логика будущего времени тогда еще творилась, формируя ложе той великой реки жизни, на берегах которой мы взросли. Восходит это движение к временам Батыева погрома, конца Руси Киевской, постепенного зарождения Московского царства. Именно тогда в силу сплетения исторических обстоятельств возникла уникальная ситуация — могучий внешний толчок, сдвинув внутренний баланс социальных сил страны, направил историческую работу следующих столетий на подавление неуемной волюшки удельной феодальщины, утверждение на земле Русской перенесенной из Золотой Орды восточной деспотии [1]. Цветущая Русь — Гардарика, страна тысячи городов, оказалась окончательно сломлена. Инструментом и проводником новой политики стала при поддержке монголов княжеская власть, использовавшая свой шанс для того, чтобы предотвратить собственное непрерывное ослабление перед растущей мощью свободных городов, которые во многом играли ту же роль, что и их западные собратья, ставшие впоследствии основой правового общества, рыночной экономики, то есть всего того, что мы теперь связываем с понятием «Запад».

С этого момента история России обрела новую логику, которая была отлична от того, что зарождалось на Западе и много позже было отражено Тьерри, Гизо, а затем и Марксом в представлениях о борьбе классов и сословий. Европа в этом смысле была ярким подтверждением теории Гегеля о развитии сво-

[1] Подробнее об этом см. «Знание — сила», 1990 г., №№ 8, 9.

боды в человеческой истории. Волею судеб главным лейтмотивом и доминирующим принципом движения русской истории стало развитие так называемой отчужденной свободы, то есть несвободы, подавления. Конечно же, несвобода в качестве основного принципа развития — это нонсенс. Несвобода, даже выступая в качестве черного рабства, всегда и везде есть не что иное, как взнузданная свобода. Чем обширнее свобода, тем сильнее взнуздывающее ее и повелевающее ею рабство. Соединенные, скованные одной цепью свобода и рабство сформировали, переплетаясь, извилистую линию судьбы России, определили ее особый, не похожий ни на что исторический путь.

История России — это непрерывная борьба линий свободы и подавления. В этом смысле Соловьев был первым, кто понял, что история наша — это как бы непрерывная конкуренция государственного и частного (личного) начал при ведущей роли первого. Государственное начало стремилось подавить, подчинить своей воле. Личное же — выскользнуть из-под этого пресса подавления или по крайней мере ослабить ярмо, чтобы приобрести хотя бы относительную свободу. В этом причина сперва наметившегося в истории России, а затем и образовавшегося раскола между государством и обществом. Мы уже упоминали раскольников, которые вместе с другими вольными людьми ринулись в неизведанные просторы Урала и Сибири, спасаясь от диктата государства. В этих безмерных просторах, а иногда и на опасном порубежье государство было вынуждено давать волю русской свободе на почетных условиях классической феодальной привилегии. Так появились русское казачество, существовавшее одновременно с заскорузлым Московским царством, унылой боярско-царской Московщиной. Просторы Урала и Сибири, покоренные, скорее вопреки государственной природе, русской вольницей, неожиданно обрели размах мировой державы, и с того момента начало мудреть и Московское царство, которое в лучшие времена поощряло своих вольных слуг, призывая их на службу царю и Отечеству. Поощрять — поощряло, но и било оно крепко, награждая крепостью вырвавшуюся вольницу. Так случилось с раскольниками Урала, хотя даже в этой ситуации русская свобода несла свою ношу. Уклад самоуправления, индивидуального владения землей, унаследованный от старины, породил промышленность — первооснову петровских реформ, зародив в дальнейшем начала капиталистического производства.

Восточное общество, сформировавшись в России, имевшей тесные связи с Западом, сходные с ним, хотя и весьма своеобразные в своей социальной структуре черты, фактически никогда не было для страны органичным. Образовался своего рода симбиоз восточного общества с западным, где роль первого выполняло государство, подминавшее под себя сферу производства, а роль второго приняла социальная сфера, связанная со стихией городской культуры. Мы не упоминаем здесь о казаках, вольных людях, чью лояльность самодержавие купило, превратив их впоследствии в привилегированное сословие. Глашатаем этой западнической части русского общества была его интеллектуальная верхушка. Выступая от имени всего общества, благо его восточная часть оставалась безгласной, она обретала своего рода помазанничество. Раскол стал внутренним движителем развития русского общества, тая в себе взрывоопасность. Русская же интеллигенция, пребывая в состоянии раскола с государством, видела в борьбе с ним свою миссию.

Симбиоз противостоящих друг другу восточной и западной частей общественной структуры стал той конструктивной и одновременно конфликтной основой, на которой формировался особый путь России. Первая, доминируя в политической сфере, а также в сфере производства, определяла восточную форму развития страны, вторая — его западническое содержание. Это означало, что придавленное несвободой общество, будучи не в состоянии противостоять политической воле государства как основному субъекту развития страны, могло развиваться лишь в рамках активности элитарной части общества — сперва творческого, затем и господствующего меньшинства. Такие общества развиваются рывками, их движение предопределяется или катастрофами, или пре-

дупреждающими эти катастрофы грандиозными реформами, порожденными борьбой государства за выживание в условиях угрозы внешних и внутренних сил. Судьбоносные эти подвижки осуществляются в рамках революций — консервативных или радикальных, отвечая на тот или иной исторический вызов и определяя тем самым содержание дальнейшего развития. Вызов этот шел чаще всего со стороны Запада — «внешнего» или «внутреннего». Первый — это конкурирующие на международной арене силы, второй — те внутренние силы, развитие которых угрожало разрушением монополии деспотической власти государства над обществом.

Возрастал уровень свободы личности, необходимой для того, чтобы функционировать в рамках современного производства, и одновременно усиливались и совершенствовались контрольно-административные механизмы подавления, обретая различные формы самовластья — самодержавие с боярской думой, абсолютизм Петра, абсолютный деспотизм Сталина,— то есть все то, что служило уздой нарождающейся свободы. Эта тенденция доминировала в основных реформах — трансформациях Грозного — Петра — Сталина, предопределявших развитие страны. Свобода же возрастала во времена реформ, когда власть пыталась освободиться от нагромождаемых ею же контрольных механизмов. Эти реформы — либерализации «сверху» (например, эпохи Александра II) — производились в переходные времена, расшатывали властную крепь, но уже в самом начале таили их же конец, оказываясь в конечном счете просто очередными «послаблениями».

Следствием усиления контрольно-административных механизмов подавления, необходимых для проведения очередной реформы, явился тоталитаризм, возникший в нашей стране в результате слияния исконно русской линии развития самовластья с техническими средствами и организационными механизмами капитализма империалистической стадии. Тоталитаризм формировался в процессе создания механизма реализации самовластья в условиях современного общества (технология тоталитаризма). Подобные процессы реализации самовластья — в других исторических условиях и с другими результатами — происходили в период петровских реформ, когда соответствующая технология власти была перенята из Европы в виде современной Петру бюрократической и законодательной систем Запада.

Определенная «неотвратимость» различных общественных сдвигов, осуществляемых в результате радикальных революций и смены элит, связана с исторической заданностью общественного сознания — именно оно видит в этом главное средство решения конфликтов. Веками формировался образ некоего магического поля, силы которого направляют развитие страны в определенное русло. Или — своего рода предопределения, довлеющего над течением русской истории, обретающего некую мистическую власть, подобную демонической.

Бессмысленно задаваться вопросом — злой или добрый демон правит течением нашей истории, мы не властны тут выбирать. Но для будущего страны очередное возвращение самовластья «на круги своя» может оказаться просто фатальным, если мы не освободимся от этого демона. Сегодня же он обретает форму призрака того самого догматического коммунизма, который, мороча нас вот уже не один десяток лет, таит в себе угрозу разрушения, угрозу бесовской вольницы под знаменами псевдоравенства. Может случиться и так, что Великий Оборотень явит нам иной лик, обретя на этот раз ореол православия и народности, трактуя и социализм, и коммунизм как порождение Мирового Зла...

В византийской патристике есть понятие metanoia — перестройка, трансформация, очищение. Оно же означает одновременно покаяние.

Только пройдя через все это, мы сумеем, дай Бог, выйти из прокрустова ложа самовластья для того, чтобы жить в этом огромном и прекрасном мире, творя идеи, которые, овладевая нами, не станут нашим проклятием, не приведут к порабощению ими.

Но, конечно же, многое будет зависеть и от того, какое место займет Россия в мировом сообществе, сумеет ли она, преодолев многовековую изоляцию, войти в общемировую семью народов.

КОНТУРЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ. РОССИЯ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

У Кропоткина есть мысль о том, что революции являются величайшим несчастьем для тех, кому пал жребий, но что эти же революции, сжигая общество, их породившее, в адском огне суда истории, показывают не только тупики прямолинейно понятого будущего, но и ложную устойчивость застоявшегося прошлого.

Иными словами, увлекая за собой других, подталкивая их, одновременно их же и предупреждают о грозящих последствиях.

Кажется, наше общество готово эту идею воспринять. Нам есть о чем предупредить, от чего предостеречь давно ушедший вперед и обогнавший нас остальной мир. Рванувшись в будущее, есть опасность неожиданно и незаметно для себя оказаться в глубоком прошлом — вот главный урок семидесятилетней скачки по ухабам избранной когда-то военной дороги. На ее ухабах мы не только растеряли все то, что имели, но и, сбившись с пути, свернули, в конечном счете в реальное прошлое Европы эпохи буржуазных революций, не завершенных в России в начале века. На наших знаменах опять те же лозунги — свободы, человеческого достоинства, прав личности, растоптанных государством. Лозунги нарождающегося гражданского общества, восстающего против произвола власти. Не изведав волюшки феодальщины, не вдохнув воздуха свободы вольных городов, едва-едва выбравшись из объятий восточного деспотизма — частной собственности государства на человека, вечной презумпции виновности личности и ее вечного долга перед всевластным государством,— мы, предпринявшие наивную попытку обмануть историю, вынуждены теперь делать то, что не удалось завершить в феврале 17-го...

Своим существованием мы являем человечеству истинность в общем-то простой, конкретной мысли о том, что закрепощение личности, насилие над человеком, любые формы экспроприации человеческой свободы делают ложной самую гуманную идею, коль скоро она несет в себе оправдание этому насилию.

Если на пути к счастью всего лишь жалкая жизнь старухи процентщицы, преступление разве ее пресечь? Ради высокой-то цели? Если сопротивляется старое общество, разве это преступление ограничить, ущемить на время права его рьяных приверженцев? Ведь это не навсегда, это на время, пока все утрясется, пока новое, революционное, завладеет умами, пока «осознáют» массы...

Свобода становится врагом, ибо она — это «их» свобода, она враждебна новому. «Их» — это тех, которые мешают, которые сопротивляются, несознательны, наконец. Но как-то незаметно все общество превращается во множество «их» — притихших, затаившихся, разбежавшихся по углам... Пробивает час — общество и человек лишаются дара свободы. Того единственного дара, которым Господь Бог выделил человека, приравняв его к себе, из мириадов других живущих на Земле тварей.

Гигантский отрицательный исторический опыт сделал нас народом, который чаще других вынужден у бездны на краю задавать вечные вопросы: кто такие мы? куда идем? что с нами будет?

Те же вопросы задаем мы сегодня в условиях глобальной политики и экономики от лица одной из двух мировых сверхдержав. И отдаваясь эхом на всех континентах, вопросы эти приобретают характер общезначимый: что есть наш мир, каким он будет, куда идет?

Судьба России частично проясняет эти вопросы. Круговращения, циклы, возвратные и поступательные движения российской истории обнаруживают нечто важное, тесно связанное с течением мирового развития, как в прошлом, так и в будущем.

Существуют три эволюционных типа цивилизаций, два из которых принадлежат прошлому и настоящему, а третий — настоящему и будущему. Речь идет

о доиндустриальных, индустриальных и следующих за ними обществах, представления о которых можно сформировать, соединяя существующую западную и марксистскую традиции. Каждый этот тип характеризуется специфическим механизмом развития, особенностями социальной и хозяйственной структуры принадлежащих ему обществ.

Эти типы, по крайней мере частично, уже известны, изучены. Значительно более неясен вопрос о свойственных им механизмах развития и четком, неметафорическом понимании их сущности. Для нас сейчас это понимание жизненно важно, ведь вновь в нашей истории наступает смутное время, заставляя нас с тревогой вглядываться в туманное, обманчивое будущее.

Первый тип цивилизаций — это все то, что связано с историей до зарождения западного общества,— мир доиндустриальных обществ. Это древний и даже архаичный мир, который нес на себе печать первоцивилизаций, первогосударств долин Нила и Междуречья, Желтой реки. В нем есть своя динамика, свое развитие — от примитивных, выросших в явном противоборстве с природой восточных обществ, выстроенных на прямом насилии, до фантастически богатой античности, нашедшей продолжение в раннем феодализме, той самой античности, где прямое насилие — в силу ли изощренности греческого ума, римской ли настойчивости и спокойного упорства — сформировало жестокие рамки представлений о Законе, а затем и Праве. Феодализм в этом смысле стал переходным обществом, в котором под сенью уже возникших представлений о естественном праве, в том числе и праве собственности, зародилась городская машинная цивилизация Запада, представляющая уже второй цивилизационный тип.

Миру доиндустриальных обществ или цивилизаций первой волны (по Тоффлеру) в марксистской традиции соответствуют представления о сословно-классовых обществах, связанных с той ступенью развития производительных сил, которая определяется овладением силами природы (домашние животные, плужное земледелие, ветер и вода). Изучая русскую историю, мы соприкасаемся с механизмом развития доиндустриальных обществ, цивилизации первого типа, который именно в России проявил себя особенно ярко в силу того, что государство оказалось в совершенно необычных, даже противоестественных условиях непрерывного соревнования с Западом, требовало заимствования, имплантации в себя его индустриальной основы. В конечном счете «восточная» по своей типологии социальная структура, связанная с «придавленностью» общества, сосуществовала с «западной» индустриальной основой. И тем не менее «Восток», тоталитарный стиль, властная основа производственных отношений — все это преобладало.

Этот механизм развития, резко отличаясь от европейского (индустриальная цивилизация), связанного с борьбой классов и сословий, дает представление и об особом пути России со специфической ролью элиты, воплощенной, в частности, в государстве.

Что касается марксизма, его историческая методология в основной своей части относится, строго говоря, лишь к индустриальной капиталистической Европе и ее корням в доиндустриальном мире. Будучи по своей природе универсальным методом исследования, марксизм, тем не менее, требует коренной трансформации, чтобы выявить закономерности постиндустриальной истории. Изучая цивилизации первого типа, мы увидим, что в рамках их социальной и властной структур возникает насилие в его непосредственном или административно-законодательном виде, порождая бесправные и способные лишь к бунту «низы». Что же касается «верхов», или управляющей элиты, то она, узурпируя всю полноту власти и прав, узурпирует и саму способность к политическому развитию.

Жизнь человека при авторитарной власти такого типа разворачивается, как мы уже писали, в рамках корпоративного общества. Развитие осуществляется усилиями творческого меньшинства — элитой у власти или на периферии системы, которая поставлена перед лицом исторического вызова других государств. Цивилизации первого типа не знали классовой борьбы, ибо классов еще

не существовало, а возникающие сословия были достаточно бесправны и подавлены, чтобы составить конкуренцию правящей элите. Вот почему последним выходом для них был лишь всеразрушающий бунт — «бессмысленный и беспощадный» — в противовес той борьбе, конструктивным выходом из которой становилось появление институтов гражданского общества в Европе. В этой ситуации движущей силой исторического процесса становится особая диалектика взаимодействия элиты и народных низов — при ведущей роли первой. Все это связано с представлениями об историческом вызове, ротации элит, «верхушечном», элитарно-государственном типе развития и т. д. Именно разработкой моделей, пониманием развития такого типа стран были заняты великие историки, изучавшие восточное общество.

Один из них — Арнольд Тойнби, крупнейший ученый XX века, чья концепция развития цивилизаций непосредственно связана с «Востоком», дает, на наш взгляд, возможность осознать процессы развития цивилизаций первого типа, цивилизаций господства властных структур. Удивительным образом такое видение переплетается с тем, как понимали тайные пружины развития русского общества и государства великие русские историки XIX века — начиная с Соловьева.

Этот тип развития характеризуется чередованием конвульсивных изменений — революций разной степени интенсивности, происходящих, как правило, после длительных периодов застоя. В одном случае эти изменения приобретают характер «революций — взрывов» с непредсказуемыми последствиями, в числе которых и образование дочерних цивилизаций. В другом — «революций — реформ», проводимых правящей элитой (если последняя на это способна) или низами, выдвигающими в этом случае ей на смену новую элиту — «ближе к народу» или даже «из народа». В случае первом развитие событий приобретает характер консервативной революции «сверху». Во втором — революция происходит «снизу», может быть кроваво-радикальной. Народные массы в этой ситуации становятся тем горючим материалом, который в конечном счете провоцирует знаменитый «русский бунт». Одновременно маргинальные элементы подпитывают дряхлеющую систему, когда в результате очередной радикальной революции и всеобщей резни старой элиты все возвращается на круги своя...

Заметим, что только в цивилизации властного типа наблюдается парадоксальная и странная с точки зрения опыта революций Европы закономерность: именно радикальные революции «снизу» оказываются в конечном итоге наиболее консервативными по своим результатам, знаменуя иногда даже попятное движение. Именно придавленные, лишенные прав маргинальные массы оказываются наиболее стойкими хранителями системы отношений прежнего общества в их наиболее архаичной форме. Что же касается «верхов», элитарного слоя, то именно они подвержены новым веяниям и модернизации, и зачастую консервативная революция «верхов» оказывается более глубинной и радикальной по своим последствиям.

Все вышесказанное становится понятным, когда отдельные восточные общества вступают в столкновение с Западом. Такой консервативной революцией был переворот Мэйдзи в Японии, который в конечном итоге толкнул ее на путь резкой вестернизации. Явственные черты консервативной революции прослеживаются в реформах Петра I. Нечто подобное можно разглядеть и в нашей современности, где революционные преобразования такого рода характерны для государств «третьего мира». Так, «белая революция» в Иране, подвигшая страну к сближению с современным миром, к идее стать второй Японией, вызвала контрреакцию. Революция «снизу» смела западничество, после чего здесь воцарилась теократическая диктатура Хомейни.

Соперничество сверхдержав в послевоенный период выкристаллизовало два отчетливо разных пути модернизации, блестяще проиллюстрированных на примере двух Китаев или двух Корей. Речь идет о пути тоталитарной и западнической модернизации (вестернизации). И здесь, и в других странах мира обнаруживается одна и та же закономерность: выбор двух путей модернизации жест-

ко связан с соперничеством двух типов элиты, по-разному понимающих исторический вызов Запада. Вступление на западный путь в одном случае связано с вестернизацией части правящей элиты, а ответ на исторический вызов принимает характер консервативной революции «сверху», которая направляется на построение экономики рыночного типа, максимально сохраняя при этом традиционные институты и традиционную культуру.

Тоталитарная модернизация связана с маргинализованной частью традиционной элиты, которая отчуждена от власти. Эти «отошедшие» используют взрывчатый потенциал маргинализованных масс для выхода наверх и восстановления традиционных властных структур. В зависимости от того, насколько процесс маргинализации затронул «верхи» общества, радикальная элита «от народа» становится фундаменталистской (как в Иране) или революционной (Китай и Северная Корея).

Это показывает базовую тождественность обоих вариантов радикального отклика на вызов Запада — революционного и традиционного. Радикальная революция оказывается лишь обратной стороной традиции, ее радикальным обновлением, а затем и утверждением. И тем самым противоположности смыкаются, как разные стороны фундаментализма — традиционного и революционного. В этом смысле фундаментализм выступает целостной антитезой реформизму, попыткой ответа на исторический вызов не «изменой» или отрицанием, а утверждением существующих консервативных структур, даже если ради этого их придется подвергнуть революционной перетряске или традиционалистски свирепому «очищению».

Если брать примеры из нашей новейшей истории, то, скажем, нэп и сталинизм были революциями «сверху», хотя именно мы подаем экзотический пример того, как консервативная революция может не совпадать с революцией «сверху». Введение нэпа лично Лениным и очень узкой партийной верхушкой, по крайней мере вначале, было чисто конструктивным и неидеологическим ответом на хозяйственную катастрофу 1921 года, которая стала следствием военного коммунизма. «Декретирование» нэпа, а затем и конструктивное воплощение его в жизнь были консервативной революцией в полном смысле этого слова.

Нэп, однако, привел к результату, который для правящей партии был вполне явной угрозой, хорошо осознаваемой ею. Быстро формирующийся мелкобуржуазный уклад доказывал объективную ненужность уже сложившейся командно-административной системы управления, показывая ее полную неспособность руководить промышленностью, которая уныло брела от кризиса сбыта к кризису недопроизводства. Реформаторы типа Бухарина делали попытки усидеть сразу на двух стульях — развивали неэффективную, монополизированную промышленность за счет дешевого государственного кредита и одновременно стимулировали деятельность крестьянства низкими ценами на промышленные товары. После разгрома экономистов — творцов червонца эта политика вошла в силу и привела к возникновению разнообразных дефицитов, к прекращению госпоставок зерна крестьянами, а в конце концов к чрезвычайным мерам 1928 года. То был закономерный провал непоследовательных консервативных революционеров, закончившийся сталинской революцией «сверху».

Забюрократизованная партия и командно-административная система, наполненные к тому времени новыми людьми — командирами и солдатами, прошедшими школу гражданской войны, оказались, по существу, не способными ни к глубокой перестройке своей структуры, ни к дебюрократизации, ни к переходу на позиции реформизма. Ленин, настойчиво толкая партию на этот путь, считал послереволюционный реформизм не только практической необходимостью, но и важным элементом социалистической теории. Поскольку растущий жизненный уровень мелкобуржуазной части населения стал обгонять убогую зарплату сотрудников аппарата, наметились процессы, ведущие к утере им социального статуса, к росту коррупции, а в обозримой перспективе и к маргинализации бюрократии и самой партии, связавшей с ней свою судьбу. Ощущая все больше и больше угрозу остаться на периферии идущего в стране развития, партия, очевидно, не могла не принять меры. Единственным вариантом противодействия маргинализации в тех условиях было развитие монополизированной промышленности, единственной базы существования бюрократии и отождествившей себя с ней партии. Когда двойственная политика Бухарина, исчерпавшая себя, привела страну к «хлебной стачке» 1928 года, Сталин, готовый в борьбе за власть идти дальше других, включил тот механизм чрезвычайных мер, который привел к неконтролируемому развитию и, как следствие,— к форсированной индустриализации и уничтожению крестьянства...

Здесь важно отметить, что Сталин выступал от лица новой элиты, ориентированной на традиционные структуры авторитарной бюрократической власти, что опирался он на люмпенские, маргинальные слои города и деревни, выступая от имени элиты, существование которой новая экономическая политика поставила под угрозу. Заметим, что старая партийная элита, тот самый тончайший слой старой партийной интеллигенции, среди которых были такие отъявленные радикалы, как Зиновьев, Каменев, Троцкий, автоматически оказывалась под подозрением в ненадежности, поскольку была европеизирована, «подвержена» идеям. Мало ли что «взбредет им в голову», взбрели же Ленину идеи реформизма, и не кто иной, как он, призывал «учиться торговать»... Надо бы попроще, понадежнее...

Сталинская революция «сверху» стала радикальной потому, что на государственном уровне одобрялось восхождение к власти новой элиты «от народа», ориентированной на традиционные структуры авторитарной власти. Она же, карабкаясь к ее вершинам, вытесняла и перемалывала старую европеизированную элиту в мясорубке репрессий. Репрессии в этом контексте являют собой нечто присущее восточным обществам, когда контрэлита «из народа» вырезает старую элиту в процессе радикальной революции типа «восстания масс».

Сталинская Россия пошла, правда, дальше, и репрессии тут, как известно, осуществляли «сверху», предоставляя широкие возможности для проявления активности народных масс по выявлению «врагов» и донесению на них властям, что они, запуганные и доведенные до истерики всепроникающей пропагандой, активнейшим образом и осуществляли. Здесь можно говорить и о том, что государство как бы науськивало массы на некоего врага, который при ближайшем рассмотрении оказывался дореволюционным интеллигентом, преуспевающим земледельцем или торговцем. Прием этот вошел в сокровищницу мировой «репрессивной культуры» и был блестяще использован Великим Кормчим во времена «культурной революции» — старая элита «стоящих у власти и идущих по капиталистическому пути» была частично репрессирована и в значительной степени ослаблена. Надо сказать, что ученик Великого Сталина был несомненно талантлив, ибо все было проделано на новом качественном уровне: «революционные массы» сметали «врагов», а государству же в лице его армии приходилось их разве что направлять да сдерживать.

Кампучийская трагедия имела несколько иной механизм, хотя функционировал он в рамках той же закономерности. Революционный порыв к счастью, выразившийся в небезуспешной попытке упрятать большую часть населения в лагеря,— это более ранний этап развития радикальной революции. Пришедшая к власти бывшая контрэлита спешит навязать обществу ту модель жизни, которая отражает ее интересы властвования при помощи насильственных реформ, полностью игнорируя интересы общества.

История восточных обществ служит богатым источником примеров, когда новая элита, теряя власть, временно отступает, идет на компромисс. Если же в новой, возникшей «из народа» элите происходит раскол на тех, кто, опираясь на основную часть общества (реформисты), временный компромисс считает чем-то постоянным, и соответственно на тех, кому угрожает маргинализация, постепенное вытеснение за пределы элиты (фундаменталисты), то это чревато новыми катаклизмами. Новая контрэлита фундаменталистов, борясь против тех же реформистов, представляющих теперь общество, находит себе опору у мар-

гиналов, тех, кто обездолен и готов служить кому угодно, ради одной лишь возможности вновь заполучить общественный статус. Последняя модель, отражая «маргинальный эффект», объясняет многое в процессах развития сословно-классового общества, аналогичных сталинской революции «сверху»,— фундаменталисты истребляют «усомнившихся», реформистскую часть новой элиты.

Нечто похожее проявилось даже в реформистской революции Мэйдзи. Пришедшие к власти в результате переворота вестернизаторы-реформисты начинали как консерваторы-фундаменталисты. Революция тут шла сперва под антизападными, «почвенными» лозунгами, и лишь позже она обрела знакомые нам западнические очертания.

Оказывается, все это произошло не без трудностей и даже не без военных столкновений. Монолитная прежде революционная элита раскололась. В завязавшейся схватке, однако, подавляющий перевес был на стороне реформистов. Следует учитывать при этом, что развертывающаяся борьба элит за свою форму модернизации может быть весьма сложной и запутанной, с многократным разделением на элиту и контрэлиту, между которыми развернется схватка за власть и т. д.

Все, о чем мы говорили выше, произошло в России после революции, когда к власти пришла контрэлита. Разделение общественной «верхушки» на элиту и контрэлиту произошло при нэпе и привело к тому, что между ними развернулась схватка за власть. Подобное было и при Петре, где вестернизованная элита составила архаический уклад государственного деспотизма в противоположность фундаменталистам, которых возглавила Софья, опиравшаяся на городскую по своей природе стихию стрелецкого войска.

Сегодня проглядывает картина схожая: раскол перестроечной элиты. Блок реформистов, состоящий частью из либеральных верхов и вестернизующейся элиты, идущей вверх в результате хозяйственных реформ и процессов формирования демократических институтов, вступает в борьбу с блоком контрэлиты, формирующимся на основе компромисса между аппаратом на местах, оттесненным от власти, и традиционалистами славянофильской ориентации, пребывавшими в течение десятилетий на периферии общества. Ухудшающееся экономическое положение, озлобление общественных «низов» формируют тот горючий материал, который способен воспламениться от одной-единственной искры.

Все это — ответ на исторический вызов, породивший нашу перестройку.

Анализируя исторические события, происходившие в стране, легко заметить, что российский тоталитаризм XX века — это не что иное, как следствие и даже в какой-то степени необходимое условие установки правящей элиты на проведение радикальной модернизации общества. Реакция маргинализованных масс обретает революционный характер. Это происходило не только в России. В той же Германии, когда произошла дестабилизация положения средних слоев населения, реакция народа выражалась в том, что нарастала фундаменталистская волна в ее самой что ни на есть консервативной, традиционалистской форме. То есть у нас есть основание считать, что чистое западничество в условиях доминирования властных структур в конечном итоге не имеет шансов. Вестернизация общества всегда носила фундаменталистский оттенок в том смысле, что шла авторитарным путем консервативной революции, и фактически ее осуществлял некий политический центр, сочетая фундаменталистскую идеологию и политику с западнической экономикой.

Да, но как может появиться подобный политический центр в нашей стране, расколотой противостоянием фундаменталистов и реформистов-западников? Исторический опыт говорит о том, что подобный процесс, коль скоро он начался, развивается далеко не гладко. Первый вариант состоит в том, что старая элита, оказавшись перед историческим вызовом, пытается выйти на путь реформ, перенимая отдельные западные идеи, но в конечном счете терпит фиаско и заменяется элитой новой. Всему этому есть причины. Не принимая сторону фундаменталистов и западников, старая элита (центр) немедленно попадает под огонь ожесточенной критики справа и слева. Центр, который, как правило, скомпрометирован своей связью с прошлым и неудачным проведением западнических по замыслу реформ, не удовлетворяет уже ни тех, ни других. Результат политики старой элиты может быть печальным: она становится все в большей степени непоследовательной, в результате чего ситуация ухудшается до такой степени, что власть как бы перетекает в руки новой элите, которая зачастую и становится основой политического центра. Новая элита в этих условиях **всегда** возникает прежде всего как **фундаменталистский** отклик на исторический вызов. Другое дело, что часть этой элиты — реформисты фундаменталистского толка — может пойти на компромисс с реальностью, принимая реформы западного образца. Именно из этих людей формируются ряды консервативных революционеров. Возникает новый раскол, при котором образуется и своя контрэлита — фундаменталисты.

Соперничество между фундаменталистами и западниками разгорается уже внутри новой элиты. В этой ситуации западническая, реформистская ее часть, укрепившись у власти, не забывает фундаменталистские ценности и, опираясь на них, получает теперь реальную возможность осуществить радикальные реформы. Таков первый вариант хода перестройки.

Во втором варианте реформы проводит старая элита, перехватывая инициативу и включая в себя реформистов, в том числе и с социальной периферии, ибо возникает опасность окончательной утраты ею своего господствующего положения. Стронутые и в значительной степени порожденные радикальной реформой маргинализованные массы социальной периферии могут быть удержаны под контролем только силой авторитарной власти реформистов, укрепившихся наверху, установлением своеобразной «либеральной диктатуры», модернизирующей страну по типу Южной Кореи или Тайваня. В противном случае преобразованиям грозит участь «белой революции» в Иране, где «народ» (а на самом деле городские низы, ибо крестьянство, получившее землю, поддерживало шаха), как мы уже писали, не принял вестернизации и призвал к руководству Хомейни.

Таковы два основных принципиальных варианта успеха перестройки, проводимых, увы, в рамках усиления авторитарных структур власти. Есть, правда, в нашей трудной сегодняшней ситуации один помощник — время. Очень длительные, растянутые во времени реформы, чреваты, правда, нестабильностью, переворотами и контрпереворотами, пока под влиянием Запада (в ситуации открытых границ) перерождающаяся социальная структура не создаст средние слои, кровно заинтересованные в создании современной рыночной экономики...

Так что же перестройка? Какие силы ее движут? На наш взгляд, перестройка возможна как консервативная революция элиты, ориентированная на фундаментализм в политике и идеологии, а в экономике — на западничество. Именно авторитарный реформизм, а не демократический фундаментализм способен обеспечить реальный, безболезненный переход к рыночной экономике. Лозунг «западничество в экономике, а не в политике и идеологии» соответствует глубинным характеристикам самого процесса вестернизации, который в широком смысле понимается как обретение рынка и демократии, но на самом деле лежит в русле продвижения к цивилизации, возникающей на базе постклассической фазы развития капиталистического мира, характеризуемой высоким уровнем жизни трудящихся и развитием демократических институтов. Однако на этом пути общество ожидает немало порогов.

Первый — вхождение в цивилизацию Запада и как следствие «оплата» старых счетов за незавершенную когда-то буржуазную революцию, чему соответствует общедемократический этап перестройки, который фактически только-только начался. Традиции социальной справедливости лежат в основе наших представлений о социализме, что соответствует, в свою очередь, постклассическому развитию капитализма XX века, резко поднявшего благосостояние трудящихся. Ситуация, как видим, неоднозначная, и, конечно же, напрашивается вопрос, а какие тут могут быть альтернативы?

Переход к цивилизации Запада обусловлен процессом эмансипации, осво-

бождением частной собственности от всяческих ограничений, переходом от собственности государственной к индивидуальной, что, в свою очередь, требует создания машинной индустрии, мощной товарной экономики. На Западе это привело к невиданному развитию человеческой свободы, что было связано с отказом от непосредственного насилия, от личной зависимости в пользу экономических методов стимулирования. Жизнь человеческая осуществляется там в рамках гражданского общества, развития системы прав, в том числе и естественных прав личности. Права, завоеванные «низами», в рамках борьбы классов и сословий, перешли от узкой элиты (творческого меньшинства) к основной массе населения.

В отличие от цивилизаций властного типа, где развитие предопределяется толчком извне (исторический вызов), цивилизация Запада имеет внутренние механизмы развития. В их основе борьба классов и сословий (классовые антагонизмы), что угрожают распаду западной цивилизации в огне классовых битв и революций, и первым это противоречие обнаружил К. Маркс. Капиталистическая цивилизация строится на эксплуатации, вследствие чего происходит сужение внутреннего рынка данной страны за счет прибавочного продукта, изъятого у трудящихся. Во избежание снижения эффективности экономики от гипертрофированных вложений в промышленность или кризиса на базе узкого потребительского рынка прибавочный продукт перетекает за рубеж, и здесь, столкнувшись в борьбе за рынки с себе подобными, классический капитализм переходит в империализм, в так называемую «военную экономику», что, в свою очередь, еще более обостряет внутренние противоречия. Наиболее ярким представителем «военной экономики» был германский государственно-монополистический капитализм.

Включив в себя часть механизмов своей эволюции, ее мотор — т. е. движущие силы,— капиталистическая цивилизация тем не менее оставила вовне источник. Процесс воспроизводства требовал внешних рынков, в конечном итоге некапиталистической периферии, был в этом смысле незамкнут. И это было коренной чертой, связанной с основной формой извлечения доходов — прибылью.

Таким был мир к началу XX века, и для социалистов тех времен его картина становилась все более очевидной: раз государственно-монополистический капитализм имеет тенденции обобществления, ведет к нетоварному хозяйству всеобщего распределения, то это откроет прямой путь к социализму. Капитализм, по их представлениям, должен был погибнуть в огне классовых битв, порожденных постоянной угрозой конфликтов, войн за рынки сбыта. Эти воззрения были начертаны на знамени революции в России, шатнувшейся затем в сторону нэпа, чтобы начиная с середины двадцатых уже уверенно вырулить на исходный маршрут.

Предчувствие социалистов начала века их не обмануло — они присутствовали при рождении новой цивилизации. Рождавшееся нечто появилось на свет, однако не там, где его ожидали, и было это нечто не социализмом и не коммунизмом, а потому оказалось неузнанным и незамеченным. Первая неожиданность, поджидавшая ревнителей доктрины, была в том, что обреченный и «гибнущий» капитализм, стабилизировавшись вдруг на рубеже конца 40-х, преодолел циклические кризисы, регулируя экономику и повышая жизненный уровень трудящихся. Постепенно и незаметно рождалась новая, восходящая ветвь товарного хозяйства, где за счет непрерывного роста эффективности производства к трудящимся возвращалась прибыль — прибыль прошлая, восполняемая за счет непрерывного научно-технического прогресса. Налицо результат, который Ленин отрицал категорически: капитализм кровно заинтересован в повышении доходов работающих... Однако капитализм ли это? Мысль о том, что перед нами смешанное общество, в перспективе развития которого социализм и капитализм в определенном смысле сольются, высказанная после войны на Западе, получила название тезиса о конвергенции. Одним из активных приверженцев конвергенции в СССР, видевшим, вероятно, в развертывании этого общемирового процесса будущий путь России, был А. Сахаров.

По своей сути тезис о конвергенции подразумевает, что капитализм в каком-то смысле «прорастает» социализмом. В экономическом смысле это означает прежде всего появление и постепенное, все более определяющее влияние того, что можно назвать общественной собственностью. Подчеркнем, речь идет не об огосударствлении, ибо собственность государственная есть не что иное, как архаический вариант частной, широко распространенной к тому же на древнем Востоке.

Для того, чтобы разобраться в проблеме, рассмотрим известный механизм экономического роста западных стран, ставший в настоящее время классическим. В этой ситуации в рамках двухфакторных представлений о современном производстве, соединяющем труд и капитал с целью получения прибыли, появляется фактор третий — государство с его возможностями регулирования экономики. Рассмотрим возникающий расклад сил более подробно.

Собственник капитала — капиталист и заработной платы — рабочий. Реальное производство базируется на том, что труд и капитал сливаются ради получения своей доли произведенного продукта. Что касается государства, то оно обеспечивает непрерывный экономический рост, связанный с увеличением и прибылей, и заработной платы, осуществляя налогообложение и собирая проценты по кредитам.

Ясно, что ситуация выгодна как капиталисту, так и рабочему. Первому потому, что обеспечиваются рынки сбыта, решается важнейшая для самого существования капиталистического хозяйства задача. У второго же непрерывно повышается жизненный уровень. Что касается государства, то оно кредитует промышленность, выпуская в оборот денежную массу, необходимую для того, чтобы выкупить продукцию, связанную с прошлой прибылью, направленной на повышение уровня жизни трудящихся.

В основе этого кредитования в качестве материальных ценностей выступают особые долговые обязательства государства (государственные облигации), по которым выплачивается процент. И коль скоро от государства для их создания ничего, кроме бумаги, не требуется, возникает впечатление, что оно создает деньги просто из воздуха.

Однако материальные ценности, которые соответствуют государственным облигациям, существуют, и они вполне реальны. Фактически речь идет не о чем ином, как о капитализации самого развития экономики. Способность государства получать доходы определяется тем, как оно обеспечивает бескризисный оборот общественного капитала между производством и потреблением.

При управлении общественным капиталом государство выступает всего лишь посредником, обеспечивающим увязку интересов членов общества, включая трудящихся, предпринимателей и т. д. Что касается собственников, то ими являются те, кто получает с этого капитала доходы, и прежде всего те, кто имеет средний достаток, чье благосостояние связано с непрерывным повышением уровня жизни всего населения,— «средний класс». Что же касается капиталистов, то на базе непрерывного экономического роста они привязываются к движению общественного капитала заинтересованностью в рынках. То есть через систему экономического регулирования интересы общества могут не только воздействовать, но даже и контролировать воспроизводство частного капитала. И поэтому общественный капитал есть не что иное, как общественная собственность. Возникновение общественной собственности в постиндустриальном обществе является переломом, качественно новым этапом развития. И здесь нужно констатировать вполне определенно, что именно этот факт привел к «открытию» потенциально бесконечных внутренних рынков для развития производства. В совместном развитии производства и общественного капитала лежит основа увязки интересов, которая осуществляется общественной собственностью.

Все это, как известно, положило начало скачкообразному переходу западных обществ в послевоенный период к экономическому процветанию, первый толчок которому дали реформы Рузвельта еще до войны.

В условиях, когда экономическое развитие могло осуществляться за счет оборота капитала внутри страны, для таких государств, как США, соперничество на внешних рынках перестало быть проблемой выживания. Замыкающееся воспроизводство капитала превращало страны с растущим жизненным уровнем в гигантские рынки, стимулируя развитие более бедных стран за счет экспорта. Так родилась современная Япония, а затем и новые индустриальные страны. Процесс «замыкания» принял общемировой характер, произошла глобализация рынков, породив на наших глазах новую цивилизацию, уже не западную даже, поскольку она включала в себя и страны Востока, и весь мир. Вполне возможно, что уже через несколько десятилетий специфический этнокультурный фон доминирования западных стран окончательно сотрется в мировом сообществе.

Новая цивилизация в отличие от классического капитализма снимает внутренние противоречия развития общества путем создания экономических, социальных и других регуляторов. Характерной чертой нового общества является и новая правящая элита, которая управляет развитием, выявляя проблемы и их же разрешая. Реализуя самосознание общества, правящий слой становится субъектом, сознающим себя и процесс своей деятельности.

В новой постиндустриальной цивилизации потребление как бы кредитует производство, обеспечивая возможности развития, а вместе с этим получая прибавочный продукт. Если доиндустриальные цивилизации характеризуются рентной формой присвоения прибавочного продукта, индустриальные — формой прибыли, то постиндустриальные осуществляют это в кредитной, более прогрессивной форме. Прибавочный продукт через кредит присваивает и тот, кто дает, и тот, кому дают. Авансируя производство, потребление создает ему возможность производить, а себе присваивать то, что будет произведено, в том числе и прибыль. Что же касается производства, то это авансирование дает ему возможность получить прибавочный продукт (прибыль) сегодня, продав свои товары тому, кто продолжил производство, получив кредит. Замкнутость воспроизводства постиндустриальной цивилизации — это крупный шаг к появлению на всей территории земного шара такой цивилизации, которая, с одной стороны, имеет достаточное разнообразие, а с другой — внутренние прогрессивные механизмы саморазвития.

Частный капитал, получая кредит и рынки со стороны общественной собственности, регулируется в интересах большинства, в интересах общества, преломленных, разумеется, сквозь призму интересов правящей элиты. Тем самым социальная стабильность пребывает во взаимозависимости с интересами экономического развития. Частная собственность социализируется, а средние слои общества, выступая как собственники общественного капитала, обретают характер класса в полном смысле этого слова. В результате возникает неокапитализм — новый тип общества и способ производства, качественно отличный не только от империализма, но и от классического капитализма в целом.

Социализация частной собственности есть не что иное, как конкретно-социологическая формулировка идущих процессов обобществления. Надо думать, что не подлежащее сомнению господство в нашей стране антисоциальной, окончательно одичавшей государственной собственности (частной собственности государства), господство предкапиталистических укладов, очень скоро будет в полной мере осознано или на самом деле уже осознано. И тогда, надо думать, отпадет необходимость называть все это «социализмом»...

Средний класс в существующей системе общественных отношений изменяет и всю эту систему. Стабилизируясь экономически, средние слои становятся участниками политической игры. Существовавшая социальная градация по вертикали (от высших сословий к низшим) переходит теперь в плоскость горизонтальную: средний класс — маргинализованные слои населения, где последние пополняются теми или иными элементами средних слоев, если те оказываются подвержены дестабилизации.

Так у постиндустриальной цивилизации возникает своя тень — тоталитаризм. Его существование и тип обусловлены уровнем развития техники и орга-

низации (технологией тоталитаризма), который способен обеспечить тотальное господство властных структур над человеком и обществом.

Тоталитаризм не имеет собственного потенциала развития. Он представляет собой возврат к деспотизму и корпоративному обществу на новой основе, то есть к древнейшей цивилизации. Срок жизни любой тоталитарной империи определяется временем неизбежной деградации правящей элиты (творческого меньшинства), с одной стороны, и темпами мирового развития — с другой. В условиях резкого отставания тоталитарная империя, получая исторический вызов, разваливается, превращаясь, может быть, со временем в демократическое государство или, после периода нестабильности, восстанавливается на основе полной смены элиты.

Думается, нет необходимости доказывать, что наличие тоталитарного варианта модернизации, тупиковость которого определяется только сейчас, приводит к обострению межгосударственных отношений, носит ярко выраженный конфронтационный характер.

Значит ли это, что крушение тоталитаризма в Восточной Европе, а со временем, вероятно, и в Азии приведет в недалеком будущем к спокойному, конструктивному развитию постиндустриальной цивилизации? В своей работе относительно конца истории положительно на этот вопрос отвечает Френсис Фукуяма, имея в виду повсеместное господство в будущем либеральной модели общества, базирующейся на развитой экономике и мощных средних слоях. Из всего сказанного становится очевидно, что ситуация не столь определенна.

Тоталитарная тень постиндустриального общества будет преследовать его, вероятно, всегда, поскольку экономическое развитие на том или ином своем повороте может вызвать массовую маргинализацию населения. На Западе первый вал ее, связанный с широкой автоматизацией производства, уже минул, но в принципе массовая маргинализация может начаться также из-за понижающейся трудовой мотивации в условиях всеобщего достатка. Последнее существенным образом может быть усугублено тем кризисом развития, который может возникнуть на рубеже перехода от потребительского общества к чему-то новому, где материальное благополучие играет новую роль. Важнейшим моментом появления тоталитаризма такого типа является ситуация в «третьем мире», где процессы модернизации уже привели к появлению маргинальных масс, что может стать причиной появления сильного тоталитаризма в целом ряде регионов (Шиитский блок, Латинская Америка, со временем — Африка).

Социализация маргинализующихся масс — вопрос вопросов выживания постиндустриального общества. Рано или поздно развитые страны начнут «вытягивать» «третий мир», ибо опасность маргинализации исходит от него. «Вытягивать», конечно, небесплатно, небескорыстно, но даже это вселяет надежду, поскольку в мире растет понимание того, что нельзя жить на бочке с порохом. Поддерживая устойчивость социальной сферы в масштабах всего мира, ибо эта устойчивость — вопрос выживания постиндустриального общества, это общество пересматривает в конечном итоге и свое отношение к идеалам социальной справедливости, поскольку в постиндустриальную эпоху они во многом смыкаются с идеалами экономической свободы. Демократический социализм имеет реальную возможность завоевать массы, ибо будет складываться новая общемировая социально-экономическая структура на базе экономик постиндустриальных стран, где идеалы социальной справедливости или экономической свободы станут доминирующими. Разумеется, речь идет о доминировании одного из них, но при полном функционировании и уважении второго. При этом за любым человеком останется право на выбор, который базируется на несомненной цивилизационной идентичности социалистических и неокапиталистических обществ (назовем так общества, в которых доминируют соответственно социальная справедливость или экономическая свобода). Именно эта цивилизационная идентичность придает вполне определенный смысл тезису конвергенции. Разумеется, нет необходимости повторять, что такое понимание социализма имеет очень мало общего с тем, что в течение 70 лет происходило у нас в стране. Скорее — в Швеции или Австрии.

В настоящее время мы входим в такой исторический период, где наличествуют смешанные общества постиндустриальной цивилизации (неокапитализм и социализм), в которых набирает силу уклад воспроизводства человека и самого общества в рамках социальной справедливости, традиционно связываемой с социализмом. Уклад же экономической свободы — не вымирающие остатки капитализма, которые с течением времени исчезнут. Наличие свободы творческой, предпринимательской деятельности, доминирующей над социальной справедливостью и связанной с ней социальной стабильностью,— это то, без чего невозможно обеспечить выживание человечества, поскольку на смену творческим, нестандартно мыслящим личностям могут прийти те, кто полностью подвластен вышестоящим, кто поддается социальному контролю и не способен к развитию. Мы прошли этот путь, который привел нас к застою и окостенению, мумифицировал общество, превратил его в общественный муравейник.

Логика жизни в сегодняшнем мире такова, что, исследуя пути будущего развития России, мы, как бы преодолев рамки одной страны, охватили мысленным взором весь мир. Что же, все это очевидно, ибо развитие цивилизации — процесс общегуманитарный, которому не подвластны никакие рубежи — географические ли, политические, общественные.

Сегодня мы наконец-то пришли к идее взаимодополняемости обществ, ранее считавшихся непримиримо антагонистичными. Пришли, сняв с глаз идеологические шоры, осознав, пусть с опозданием, свою схожесть, открыв для себя не без удивления, что и «мы» и «они» исповедуем в идеале те же, собственно говоря, принципы — свободы и справедливости.

Тесная переплетенность, взаимная дополняемость социализма и неокапитализма в рамках мирового сообщества представляются неизбежным итогом развития постиндустриальной цивилизации. Вступив на этот путь, взломав рамки исторического изоляционизма, Россия может обрести качественно новое развитие, войдя в мировое сообщество не как супердержава, исповедующая идеи превосходства, а как равная среди равных в цивилизованном мире.

Георгий Арбатов

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Смещение Н. С. Хрущева в октябре 1964 года я считаю самым настоящим «дворцовым переворотом». После того, как вызванного из отпуска Хрущева на Президиуме ЦК заставили подать в отставку, Пленум ЦК КПСС был призван лишь утвердить решение и придать ему видимость законности. При этом произошла очень странная вещь, о которой я не раз потом думал. В партии и стране практически не ощущалось недовольство этой, в общем-то, демонстрацией произвола. Наоборот, почти повсеместно решение Пленума было встречено с одобрением, а то и с радостью (другой вопрос, что многие беспокоились за будущее страны — на место Хрущева пришли невыразительные, не пользовавшиеся поддержкой и даже известностью фигуры).

Ситуация кажется парадоксальной. То, что сделал за время своего руководства партией и страной Хрущев для всех слоев общества, для советских людей, по логике вещей, должно было обеспечить ему значительную популярность. Но оказалось, что ее не было. Собственно, в тот момент это никого и не могло удивить — слишком очевидно было все большее и большее падение авторитета Хрущева, даже уважения к нему в самых разных кругах общества.

Едва ли это можно объяснить одними внутренними и внешнеполитическими неудачами последних лет, хотя они были (от повышения цен на мясо и молоко и кровопролития в Новочеркасске до Карибского кризиса). Думается, главная причина в том, что к этому времени очень многие люди начали ощущать, что Хрущев и его политика исчерпали себя, что он ушел от одного берега (привычной сталинистской политики) и никак не может пристать к другому. Иными словами, он потерял доверие и популярность из-за того, что вел половинчатую политику (У. Черчилль, кажется, сравнил ее с попыткой перескочить пропасть в два прыжка). И потому ничьей поддержкой он по-настоящему не располагал, почти у всех вызывал раздражение. Уже тогда многим было ясно, что Хрущев разоблачал, критиковал Сталина, но не старался преодолеть сталинщину (эта задача осталась, по сути, и не поставленной вплоть до перестройки). «Если бы мы не разоблачили Сталина, то у нас, возможно, были бы более острые события, чем в Чехословакии»,— писал Хрущев позднее в своих мемуарах. Но это разоблачение — лишь первый шаг на пути обновления. Между тем у Хрущева даже в мемуарах, продиктованных годы спустя, когда он мог основательно продумать итоги своей деятельности, и слова не найти о необходимости серьезных перемен, реформ в экономике, политике, духовной жизни общества. В этом, может быть, его основное заблуждение, от которого он не избавился до конца жизни. Судя по всему, он действительно верил, что выполнил свою миссию, разоблачив Сталина, хотя почти ничего не сделал для устранения глубоких деформаций, которым сталинщина подвергла буквально все стороны нашей жизни.

Причины непоследовательности Хрущева, мне кажется, нельзя сводить к его чисто человеческим слабостям и прагматическому расчету (борьбе за власть), хотя было и то и другое. Главное, видимо, в том, что

Из книги «Затянувшееся выздоровление: 1953—1985 гг.— свидетельства современника», готовящейся к печати издательством «Международные отношения».

сам он был порождением своей эпохи, порождением сталинизма. Конечно, разоблачение преступлений Сталина послужило началом глубоких политических процессов обновления — в этом великая заслуга Хрущева. Однако на большее в преодолении наследия сталинщины он, скорее всего, просто не был способен, других задач не понимал и не ставил и потому перешел в политике к «бегу на месте». Едва ли тогда это очень ясно понимали даже политические аналитики, а тем более широкая общественность. Но в общественном сознании, наверное, созрела мысль о бесперспективности политики Хрущева, и это определяло настроения, в том числе среди рабочих и крестьян, которым, нередко грубо переигрывая, он так старался понравиться своей манерой поведения, своими выступлениями.

Такие настроения в народе, конечно, облегчили «дворцовый переворот» и даже в какой-то мере вдохновили его организаторов. Но этими людьми двигали, по моему глубокому убеждению, не высокие идеи — главными мотивами были самая банальная борьба за власть или страх потерять свое кресло, что бы ни говорили сегодня участники того сговора (в частности, охотно выступавший в последние годы в печати В. Семичастный — в момент октябрьского Пленума Председатель КГБ).

Я не располагаю никакими документальными данными о том, как было организовано смещение Хрущева (впрочем, те, кто смещал его, едва ли оставили по этому поводу много документов), но некоторые свои наблюдения помню хорошо. Я тогда работал в аппарате ЦК КПСС и видел, как около его здания, у постов на входах, в коридорах в те дни и некоторое время после них вышагивали или стояли, стреляя во все стороны глазами, незнакомые молодые люди в штатском. Опытные работники аппарата были особенно осторожны, разговаривая в служебных помещениях; даже дома, если кто-то с ними затевал серьезный разговор по телефону, тут же переводили его на футбол или погоду; если же в комнате были все «свои», делали красноречивый жест рукой в сторону потолка или телефона.

То один, то другой фрагмент происходившего выявлялись позднее — из услышанного, а в последнее время — и написанного (в частности, из воспоминаний С. Н. Хрущева и П. А. Родионова), и из этих фрагментов складывается картина заговора. Уже после октябрьского Пленума я тоже слышал рассказы о его подготовке и о том, что Брежнев отчаянно трусил, иногда чуть не до истерики. Позже я познакомился с Брежневым, не раз работал в коллективах, готовивших его выступления и отдельные партийные документы. И я еще расскажу о своих впечатлениях об этом человеке. Но в одном убежден: сам он едва ли мог быть мозгом и волей заговора. Допускаю, правда, что это была затея групповая, коллективная, и Брежнев вполне мог быть одним из трех-четырех главных организаторов. Но из всего, что я знаю и понимаю (сразу оговорюсь, что знаю и понимаю не все), следует: очень активную роль играл более волевой, более напористый Н. В. Подгорный, не мог не участвовать М. А. Суслов.

И очень видной фигурой в организации самого переворота был все-таки А. Н. Шелепин. Человек, несомненно, крайне честолюбивый, тоже волевой, с юности обученный искусству аппаратных интриг. И к тому же имевший уже свою команду, настоящее «теневое правительство» (включая и «теневое Политбюро»). Ему было легче сколотить такую команду, чем другим, только приехавшим из провинции. Занялся он этим, видимо, еще тогда, когда был первым секретарем ЦК ВЛКСМ. И все время после этого Шелепин не только сохранял прочные связи с множеством бывших комсомольских работников, получивших потом ответственные должности, но и способствовал их выдвижению и продвижению, в том числе в последние перед октябрьским Пленумом годы и месяцы, когда он курировал в качестве члена Политбюро и одного из секретарей ЦК КПСС подбор и расстановку кадров. А в качестве бывшего Председателя КГБ он позаботился о том, чтобы и там на руководящих постах иметь доверенных людей, включая своего преемника Семичастного. Не знаю, был ли Шелепин мозгом заговора (допускаю, что — вместе с Подгорным — был), но в дополнение ко всему он был еще и его руками, его мускулами. Этими «мускулами» Александр Николаевич Шелепин (он получил в аппарате прозвище «железный Шурик») мог стать, поскольку располагал полной поддержкой Семичастного и ряда других людей, руководивших КГБ, а также МВД

РСФСР (во главе этого министерства стоял В. Тикунов, тоже очень близкий к Шелепину человек и тоже пришедший с комсомольской работы). К «комсомольской группе» принадлежал также и Н. Миронов — заведующий отделом административных органов ЦК КПСС, курировавший армию, КГБ, МВД, суд и прокуратуру.

Потом мне рассказывали, что к группе Шелепина был близок посвященный в планы смещения Хрущева маршал С. Бирюзов — тогда начальник Генерального штаба (Бирюзов и Миронов буквально через несколько дней после октябрьского Пленума погибли в авиационной катастрофе на территории Югославии, куда направлялись в составе делегации, приглашенной на торжества по случаю двадцатилетия освобождения Белграда). Словом, особая забота была проявлена именно о том, чтобы загодя прибрать к рукам контроль за всеми «непарламентскими» и «внепартийными» рычагами силы и власти.

В некоторых недавно опубликованных воспоминаниях утверждается, что Хрущеву перед отъездом в отпуск сообщили о заговоре, но он ничего не смог сделать. Допускаю, что так и было, хотя трудно себе представить, что активный человек, прошедший через огонь и воду множества боев за власть, если бы считал эти сведения хоть в малейшей мере достоверными, не принял бы никаких мер и просто уехал в отпуск. Но в другом я почти уверен — в том, что накануне заседания Президиума ЦК ему объяснили, кто участвует в акции и кто ее поддерживает, чтобы он не пытался сопротивляться. И Хрущев, хорошо понимая, что именно решает дело в условиях существовавшего тогда, во многом унаследованного от Сталина механизма власти, действительно сразу же подал заявление с просьбой об отставке. Только так я могу объяснить столь несвойственную Хрущеву пассивность, отказ от борьбы, даже от попытки что-то внятное сказать на Пленуме ЦК. Хотя не исключаю, что в нем к тому времени что-то надломилось, он просто устал, изнемог под огромным бременем руководства страной, отягощенной множеством проблем, найти пути решения которых не сумел.

Другая характерная деталь. Накануне событий были довольно ловко убраны из Москвы (в том числе отправлены в загранкомандировки — дело, требовавшее официального решения Секретариата ЦК КПСС) люди, входившие в узкий круг приближенных Хрущева. И прежде всего те, кто составлял так называемую «пресс-группу», возглавлял средства массовой информации (редактор «Правды» П. Сатюков, председатель Гостелерадио М. Харламов и др.). Не думаю, чтобы они оказали сопротивление готовившейся акции, но ее организаторы, видимо, хорошо помнили совет Ленина революционерам: прежде всего захватить почту, телеграф, телефон. И модернизировали его, поставив на первое место средства массовой информации.

Действительно, поздно вечером в канун главных событий на Гостелерадио прибыл с полномочиями нового председателя Н. Месяцев. Он не имел никакого журналистского опыта, работал долгое время в милиции, зато был другом-приятелем и доверенным лицом «железного Шурика». Очевидцы его появления в здании Гостелерадио потом рассказывали забавную историю, которая проливает свет на психологическую атмосферу, в которой готовилось и совершалось смещение Хрущева. Приехав в Комитет по радиовещанию и телевидению, Месяцев задал единственный вопрос: «Где кнопка?» Собравшиеся руководители Комитета не сразу поняли, что новый председатель имеет в виду кнопку, которая отключала эфир, то есть могла «вырубить» все радио- и телепередачи.

Вспоминаю обо всем этом не в осуждение кого-либо — я не готов однозначно оценивать сам факт смещения Хрущева. Чтобы более или менее четко представить себе, как бы развивались события, если бы Хрущев еще несколько лет оставался у руководства партией и страной, надо много лучше, чем я, знать тогдашнее реальное положение дел, прежде всего внутри страны. Не хочу и морализировать, ведь и Хрущев не раз применял старые, недемократические, возникшие в недрах сталинщины «правила игры». А кроме того, я не уверен, что существовали другие способы смены руководителя. Хрущев, в принципе понимая значение сменяемости, ввел ограничение для избираемых партийных руководителей — два срока, что в те времена значило для секретарей ЦК КПСС восемь лет.

Но тут же не удержался от оговорки о возможности «в исключительных случаях» продлевать этот срок, тем самым начисто сняв ограничение.

Мотивы, которые заставили меня обратиться к теме заговора, иные. Первый. Хочу обратить внимание на то, что мы имели уже после смерти Сталина один «дворцовый переворот». Многие несовершенства политического механизма, делающие такой переворот возможным, сохраняются еще и сегодня. В рамках осуществляемой политической реформы положение надо непременно изменить; разумеется, при этом должны быть предусмотрены и конституционные формы смены руководителей. И второй. Смещение Хрущева не было вызвано принципиальными причинами. Конечно, были сталинистски настроенные деятели, которые не могли ему простить XX съезд. Но, в общем, половинчатая политика Хрущева в вопросе о Сталине едва ли могла служить даже для них причиной серьезного недовольства. А самые убежденные, вроде Молотова, были отстранены. Организаторы заговора к тому же не были объединены какими-то общими целями большой политики, единой политической платформы. Руководствовались они чаще личными соображениями, прежде всего стремлением получить или сохранить власть или опасениями утратить высокие посты.

Все это, конечно, не значит, что смещение Хрущева не попытались оправдать интересами социализма, интересами государства, партии и народа. Именно об этом говорилось на заседании Президиума и последовавшего за ним Пленума ЦК КПСС, и возможно, те или иные инициаторы переворота верили, что делают важное для страны и народа дело, — разум очень часто в таких случаях ищет и подсказывает совести весьма удобную нравственную позицию, отождествляя личный интерес со всеобщим. В случае с Хрущевым, учитывая обстоятельства, о которых шла речь, это было к тому же не так уж трудно.

Сменили лидера. Но какая идеология и какая политика должны сопутствовать этой смене, какие теперь утвердятся политические идеи? Эти вопросы не обрели ответа. Ибо, как отмечалось, к власти пришли люди, у которых не было единой, сколько-нибудь определенной идейно-политической программы.

Помню, в первое же утро после октябрьского Пленума Ю. В. Андропов[1] (я работал в отделе ЦК КПСС, который он возглавлял) собрал руководящий состав своего отдела, включая нескольких консультантов, чтобы как-то сориентировать нас в ситуации. Рассказ о Пленуме он заключил так: «Хрущева сняли не за критику культа личности Сталина и политику мирного сосуществования, а потому, что он был непоследователен в этой критике и в этой политике».

Увы, Андропов глубоко заблуждался.

Первый сигнал на этот счет мы получили буквально две недели спустя. Близилось седьмое ноября. С традиционным докладом, вполне естественно, было поручено выступить вновь избранному Первому секретарю. Андропов (и его группа консультантов) получил задание подготовить проект одного из разделов доклада. Причем, против обыкновения, не внешнеполитического, а внутреннего. Мы восприняли это как знак доверия к своему шефу и с энтузиазмом принялись за работу. Не помню деталей, но был написан очень прогрессивный по тем временам проект. И пошел он к П. Н. Демичеву — ему и его сотрудникам поручили свести все куски воедино и отредактировать.

«Конечный продукт», когда мы его увидели, поставил нас в тупик — все наиболее содержательное, яркое, все, что несло прогрессивную политическую нагрузку, исчезло. Как жиринки в сиротском бульоне, в тексте плавали обрывки написанных нами абзацев и фраз, к тому же изрядно подпорченные литературно (умение Демичева — его называли тогда «химик», поскольку Хрущев сделал его секретарем, отвечающим за химизацию сельского хозяйства, — портить текст было хорошо известно, но свои политические взгляды он до поры до времени тщательно утаивал).

Естественно, это нас разочаровало, хотя еще и не могло быть доказательством того, что надежды на лучшее не имеют под собой почвы. Поначалу поступали сигналы и противоположного свойства. Так, например,

[1] Ю. В. Андропов был сложной политической фигурой — в нем очень привлекательные черты, сильный интеллект, личная щепетильность сочетались с серьезными недостатками. Но об этом ниже.

нескольким консультантам было поручено написать редакционную статью для «Правды» в связи с Днем Конституции (он отмечался 5 декабря, в годовщину принятия «Сталинской Конституции»). Мы заказ выполнили, причем упор сделали на критику культа личности Сталина, осуждение репрессий и на необходимость развития демократии. И статья была опубликована в первозданном виде. Но уже несколько недель спустя у нас не осталось сомнений в том, что Андропов в своих первоначальных оценках жестоко ошибся.

Чтобы не сбиваться с хронологии, расскажу, однако, сперва о том, что произошло седьмого ноября. После весьма длительного перерыва на празднование впервые приехала очень представительная китайская делегация. Возглавлял ее Чжоу Эньлай. Все понимали, что это зондаж, попытка выяснить, «чем дышит» новое советское руководство. Чжоу Эньлай имел репутацию умеренного среди китайских руководителей, и его визит в Москву мог дать шанс для разумного решения проблемы советско-китайских отношений. Но мог и поставить нас в трудное положение, так как Мао Цзэдун требовал за примирение очень большую цену (отказ от критики культа личности Сталина и политики мирного сосуществования), — такие мысли тоже приходили в голову. Поэтому отношение к визиту было двойственное, во всяком случае, у нас, консультантов отдела ЦК, занимавшегося отношениями с социалистическими странами. Зарождавшееся беспокойство: не отступят ли новые руководители от важных принципов политики — все же соседствовало с надеждой, что удастся покончить с накалявшейся между СССР и КНР враждой.

В день праздника я дежурил по отделу, то есть сидел у телефонов. Ближе к вечеру — звонок из приемной Андропова, его секретарь передает приглашение зайти. Юрий Владимирович сидит за письменным столом озабоченный, смотрит невидящим взглядом в окно.

Только что, узнаю от него, закончился традиционный праздничный прием в Кремле. Р. Я. Малиновский (тогда министр обороны) выпил лишнего и произнес задиристый антиамериканский тост, чем обидел посла США. «Это, — сказал Андропов, — первая плохая новость. Во всех столицах бдительно следят за каждым словом из Москвы, пытаются оценить политику нового руководства». Но дальше в лес — больше дров. К Малиновскому вместе с другими членами китайской делегации подходит Чжоу Эньлай и поздравляет его с «прекрасным антиимпериалистическим тостом». «Я, — рассказывает Юрий Владимирович, — стою рядом и просто не знаю, куда деться: всю сцену наблюдает не только руководство, но и дипломатический корпус. И тут Малиновский — он совсем закусил удила — говорит Чжоу Эньлаю: давайте выпьем за советско-китайскую дружбу; вот мы своего Никиту выгнали, вы сделайте то же самое с Мао Цзэдуном, и дела у нас пойдут лучшим образом. Чжоу Эньлай побледнел — наверное, подумал о доносах, которые на него настрочат спутники, что-то зло сказал, отвернулся и ушел с приема. Ну что ты об этом скажешь?»

Через несколько дней китайская делегация уехала. Переговоры не дали результатов.

В начале 1965 года, перед заседанием Политического консультативного комитета Организации Варшавского Договора, на Президиуме ЦК обсуждался проект директив нашей делегации, подписанный Андроповым и Громыко. Это был первый после октябрьского Пленума большой конкретный разговор о внешней политике.

Андропов пришел с заседания очень расстроенный (он, должен сказать, вообще расстраивался, даже терялся и пугался, когда его критиковало начальство, — я относил это за счет глубоко сидящего во многих представителях его поколения страха перед вышестоящими). Как мы потом узнали, некоторые члены Президиума — Андропов был тогда «просто» секретарем ЦК — обрушились на представленный проект за недостаточно определенную «классовую позицию», «классовость» (слово «классовость» потом на несколько лет стало модным, и его к месту и не к месту совали во внешнеполитические речи и документы). В вину авторам проекта ставили чрезмерную «уступчивость в отношении империализма», пренебрежение мерами для улучшения отношений, сплочения со своими «естественными» союзниками, «собратьями по классу» (как мы поняли, имелись в виду прежде всего китайцы). От присутствовавших на совещании узнали, что

особенно активно критиковали проект Шелепин и, к моему удивлению, Косыгин. Брежнев отмалчивался, присматривался, выжидал. А когда Косыгин начал на него наседать, требуя, чтобы тот поехал в Китай, буркнул: «Если считаешь это до зарезу нужным, поезжай сам» (что тот вскоре и сделал, потерпев полную неудачу).

Реальным результатом начавшейся дискуссии в верхах стало свертывание наших предложений и инициатив, направленных на улучшение отношений с США и странами Западной Европы. А побочным — на несколько месяцев — нечто вроде опалы для Андропова; он сильно переживал, потом болел, а летом его свалил инфаркт. В больнице Юрий Владимирович лежал долго; когда ему стало получше, руководил оттуда отделом по телефону и через помощников. Там же, в больнице, он отметил свое пятидесятилетие. Мы, трое консультантов, сочинили ему шутливое поздравление в стихах. Через несколько дней получили стихотворный же ответ. Поскольку этот ответ, написанный в нелегкое для Андропова время, дает известное представление не только о поэтических возможностях, но и о некоторых личных чертах этого человека, я позволю себе его привести.

Товарищам Ю. А. Арбатову
А. Е. Бовину
Г. Х. Шахназарову

Друзья мои, стихотворенье —
Ваш коллективный мадригал —
Я прочитал не без волненья
И после целый день вздыхал:

Сколь дивен мир! И как таланты
Растут и множатся у нас,
Теперь, смотри, и консультанты,
Оставив книги-фолианты,
Толпою «чешут» на Парнас.

И я дрожащими руками
Схватил стило в минуты те,
Чтобы ответить Вам стихами
И зацепиться вместе с Вами
На той парнасской высоте.

Увы! Всевышнего десницей
Начертан мне печальный старт
Пути, который здесь, в больнице,
Зовется коротко — инфаркт.

Пути, где каждый шаг неведом,
Где испытания сердцам
Ведут «чрез тернии к победам»,
...А в одночасье к праотцам.

Среди больничной благодати
Сплю, ем да размышляю впрок,
О чем я кстати иль некстати
Подумать до сих пор не смог.

Решусь сказать «чуток похлеще»,
На сердце руку положа,
Что постигаешь лучше вещи,
Коль сядешь ж... на ежа!

На солнце греюсь на балконе;
По временам сижу «на троне»,
И хоть засесть на этот «трон»
Не бог весть как «из ряда вон»,
Но, как седалище, и он
Не должен быть не оценен.
Ведь будь ты хоть стократ Сократ,
Чтоб думать, — должен
сесть на Зад!

Но хватит шуток. Сантименты,
Известно, не в ходу у нас,
И все ж случаются моменты,
Когда вдруг «засорится глаз».
Когда неведомое «что-то»
В груди твоей поднимет вой
И будешь с рожей идиота
Ходить в волненьи сам не свой.

Вот это самое, друзья,
Намедни испытал и я.
Примите ж Вы благодаренье
За то, что в суете сует
Урвали «чудное мгновенье»
И на высоком вдохновеньи
Соорудили мне сонет.

Он малость отдает елеем
И, скажем прямо, сладковат,
Но если пишешь к юбилею,
Тут не скупись кричать «виват!».
Ведь юбилей — не юбилей,
Когда б не мед и не елей!

Кончаю. Страшно перечесть.
Писать стихи — не то, что речи,
А если возраженья есть —
Обсудим их при первой встрече.

Главные события после октябрьского Пленума развертывались, однако, не во внешней политике, а во внутренних делах. Здесь довольно быстро начали обозначаться перемены — в руководстве кристаллизовались какие-то новые точки зрения. Поскольку у организаторов смещения Хрущева не было сколь-нибудь внятной идейно-политической платформы, они попытались ее сформулировать. Не было, однако, не только платформы, но и единства, и потому перемены проходили в борьбе — подчас довольно острой, хотя велась она в основном за кулисами. Выявившиеся вскоре противоречия и различия отражали как столкновения разных философий, идейных позиций, так и перипетии борьбы за власть, разгоревшейся в рядах «победителей».

Как я и мои коллеги воспринимали тогда (делаю эту оговорку, поскольку не уверен в полноте информации, которой располагаю) расстановку политических сил?

Брежнева большинство людей в аппарате ЦК и вокруг ЦК считали слабой, а многие — временной фигурой. Не исключаю, что именно поэтому на его кандидатуре и сошлись участники переворота. Так бывало не раз в прошлом: безусловной кандидатуры на роль лидера не было, и те, кто решал дело, искали компромиссную фигуру, предпочитая слабого тому, кого считали более сильным (некоторые в надежде вскоре заменить лидера). Однако тем, кто недооценил Брежнева, его способность сохранить власть, потом пришлось поплатиться. А вот люди, хорошо знавшие нового лидера лично, такого исхода ожидали. Помню, через несколько недель после октябрьского Пленума мой близкий товарищ Н. Н. Иноземцев рассказал о своем разговоре с академиком А. А. Арзуманяном, который был хорошо знаком с будущим Первым секретарем на войне. В доверительной беседе Арзуманян так охарактеризовал Брежнева: «Учить этого человека борьбе за власть и расставлять кадры не придется».

Но кто были другие претенденты?

Прежде всего я назвал бы А. Н. Шелепина. Человек это был аппарату хорошо известный. До войны он учился в знаменитом тогда гуманитарном Институте истории, философии, литературы — ИФЛИ (хотя, как рассказывали его однокашники, учился неважно, основную активность проявляя в общественной работе). Потом очень успешно начал делать карьеру. Вначале в комсомоле, быстро поднявшись до Первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Затем его сделали председателем КГБ (при Хрущеве, в то время когда Комитет занимался реабилитацией невинных жертв репрессий, хотя, конечно, далеко не только ею). А после этого Шелепин стал секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро, Хрущев, видимо, очень доверял ему, поручал самое важное, тонкое, в частности партийные кадры.

Шелепина я практически не знал, но представление о нем имею довольно полное: многое было видно по делам, по повадке, а еще больше рассказали люди, хорошо с ним знакомые. То был типичный аппаратчик, притом несомненно из сильных, может быть, самых сильных представителей этого сословия, как рыба в воде чувствовавший себя в обстановке интриг.

У него было редкое и для борьбы за власть очень важное умение собирать вокруг себя деятельных, верных, лично преданных людей. Как упоминалось, они к моменту октябрьского Пленума и вскоре после него были расставлены на множестве стратегических позиций. Фактически Шелепин имел в своем распоряжении настоящий «теневой кабинет» из людей, которых он готовил на все ключевые посты, была у него также прочная опора на периферии. Большую ставку Шелепин делал на молодую часть партийного и государственного аппарата — это вполне естественно, ведь по комсомольской работе он знал многих.

Что касается политических взглядов, то Шелепин был прежде всего «за порядок», а это тогда ассоциировалось прежде всего с порядком сталинским. Хотя при Хрущеве он несколько раз выступал с антисталинскими речами, это ни в коей мере не помешало ему и его сторонникам начать после октябрьского Пленума активное наступление на линию XX съезда. Шелепин и его люди громче всех ратовали за возрождение «классового подхода», «классовости» во внешней политике, отвергали линию на улучшение отношений с капиталистическими странами и, во всяком случае, в тот период пытались разыграть «китайскую карту».

Поначалу близкие Шелепину люди даже не скрывали, что считают Брежнева временной фигурой — его-де очень скоро заменит «Шурик». Своим поведением, некоторыми поступками и заявлениями такое впечатление создавал и он сам. Может быть, это было самой грубой ошибкой. Очень чувствительный к таким вещам, тонко понимающий их, Брежнев сразу же насторожился, вокруг него сплотились все, кто боялся появления нового диктатора.

Еще одним возможным соперником Брежнева тогда считался

А. Н. Косыгин. Он был, несомненно, более интеллигентен и образован. Опытный хозяйственник, он в какой-то мере был открыт для новых экономических идей. Но в политических вопросах, увы, консерватор, начиная с отношения к Сталину. Конечно же, Косыгин не был сторонником репрессий, деспотизма, беззаконий. Однажды во время отпуска в Кисловодске (декабрь 1968 года) я встретил его на прогулке (людей он не сторонился, вел себя демократично) и в ходе разговора упомянул о том, как пострадал от сталинских кровопусканий корпус командиров производства. Он охотно поддержал тему, тепло вспоминал своих безвинно пострадавших коллег. Но как политический деятель Алексей Николаевич все же был порождением авторитарной системы и верил в нее, возможно, просто потому, что не представлял себе никакой другой. А кроме того, насколько я знаю, он как-то лично тепло относился к Сталину, был предан ему. На победу в соперничестве с Брежневым он едва ли мог претендовать — за ним не было ни мощи партийного аппарата, ни возможностей, которые тогда открывала должность Первого секретаря. Да и по складу он не был «первым человеком» даже в те, предельно бедные сильными руководителями годы. Не «найдись» Брежнев, Первым секретарем ЦК стал бы скорее всего кто-то третий, но не Косыгин. Так мне, во всяком случае, кажется. Словом, Косыгин остался хозяйственным, а не политическим руководителем. Но его взгляды в первые годы, а тем более первые месяцы после октябрьского Пленума оказывали немалое влияние на ход дел.

Не знаю, претендовал ли на первую роль Н. В. Подгорный (на вторую претендовал точно), но он был еще темнее и консервативнее Брежнева. М. А. Суслов, как мне представляется, не хотел становиться первым человеком в партии и стране. Ему привычнее и удобнее была роль «серого кардинала», закулисного вершителя судеб.

Не буду говорить о других членах Президиума ЦК — просто не знаю в деталях достаточно достоверно их тогдашней позиции. В целом настроения их были отнюдь не прогрессивными. Если привести эти настроения к единому знаменателю, я бы определил их как консерватизм, помноженный на изрядное невежество и некомпетентность. На этом фоне, не слишком сильно отличавшемся от того, что было во времена Хрущева, Брежнев выглядел далеко не худшим. И я думаю, что эта очевидная слабость возможных конкурентов либо несостоятельность их политических позиций как раз и были главным «источником силы» Брежнева, позволившим ему сначала оказаться у власти, а потом ее в течение многих лет, до самой своей смерти, сохранить (подробнее о Брежневе, о том, каким я его видел в разные периоды его деятельности, ниже).

Трагедия деспотической, тоталитарной диктатуры состоит в том, что она оставляет после себя выжженную землю. Одно из самых дорогостоящих для общества и самых долговременных ее проявлений — то, что она перекрывает путь наиболее способным и талантливым, либо физически уничтожая их, либо создавая условия, при которых они отсеиваются, а растут, выдвигаются посредственности, либо беспринципные ловкачи. Сталинский тоталитаризм поставил под угрозу будущее страны, обрекая ее, помимо прочего, на целые поколения слабого руководства. Когда представляешь себе, что только случай спас нас от Берии или Молотова, Шелепина или Подгорного, приходишь к выводу, что нам еще, может быть, и везло (если, конечно, здесь приемлемо такое слово).

Я не согласен с упрощенной периодизацией нашей послереволюционной истории: культ личности Сталина, потом период волюнтаризма (Хрущев), потом застоя (Брежнев). Не было этих «потом». Были именно сталинизм и его последствия, к которым я причислил бы также последующие волюнтаризм и застой — неизбежные порождения деспотии. А также обилие в руководстве слабых, не отвечающих общественным потребностям людей.

С глубоким сожалением приходится признать, что на такое положение вещей мы, как и любая другая страна, прошедшая в своей недавней истории через трагедию тирании, обречены, пока не будут созданы новые политические механизмы, новый политический режим. Механизмы, которые обеспечат приток в руководство сильных людей отнюдь не по воле «его величества» случая, и режим, при котором развитие демократических институтов откроет возможность поправлять и предотвращать неправильные

решения, а в случае необходимости их менять. Или даже менять самих лидеров.

Но это размышления задним числом. А тогда... Тогда я, как, по-моему, и подавляющее большинство сторонников курса XX съезда КПСС, беспокоился, разочаровывался, но все же верил — как многие, верил, что Брежнев при всех его очевидных слабостях все же более предпочтительная, чем другие, политическая фигура, коль скоро уж сместили Хрущева. И не остается ничего иного, как Брежнева поддерживать, помогать ему. Тем более очень скоро выяснилось: курс партии толкают вправо прежде всего конкуренты, еще более консервативные соперники Брежнева («слева» у него ни одного соперника не было). Как, впрочем, и некоторые его приближенные. Не говоря уже о консервативных деятелях, не соперничавших с Брежневым, но влиявших на политику, занимая видные посты в руководстве (Кириленко, Суслов, Полянский, Демичев и другие). Развертывалась настоящая борьба, так сказать, «за душу» самого Брежнева, которого многие хотели сделать проводником и главным исполнителем правоконсервативного курса. Курса на реабилитацию Сталина и сталинщины, на возврат к старым, весьма опасным в сложившейся обстановке догмам внутренней и внешней политики.

Выбор позиции, ставший неизбежным в условиях этой борьбы, я и мои товарищи из числа консультантов ЦК, конечно, должны были делать сами. Но его нам облегчил Андропов, определившийся, поддержавший Брежнева с самого начала, — и не думаю, что только в силу ставшей почти второй натурой каждого партийного работника старшего поколения привычки поддерживать руководство. Просто стало очевидным, что в то время приемлемых альтернатив ему не было.

Ключевым, так сказать, исходным в сложившейся ситуации был все-таки вопрос: во что верит, чего хочет, что думает сам Брежнев? Первое время он был очень осторожен, не хотел себя связывать какими-то заявлениями и обещаниями, и если бы меня спросили о его изначальной политической позиции, я бы затруднился ответить. Может быть, Брежнев, пока не стал Генеральным секретарем, даже не задумывался всерьез о большой политике, а присоединялся к тому, что говорил сначала Сталин, потом Хрущев — вот и все. Такое в нашей политической практике тех лет было вполне возможно. А может быть, какие-то политические взгляды у него изначально и были, и я — человек, занимавший в аппарате ЦК достаточно скромный пост, — просто о них не знаю. Во всяком случае, о большинстве волновавших всех актуальных проблем политики он до поры до времени предпочитал молчать. Однако, когда я говорю о борьбе, ожесточенной борьбе «за душу» Брежнева, — это вовсе не преувеличение. Главные схватки шли, как можно догадаться, в Политбюро и Секретариате ЦК, отголоски этих схваток докатывались и до нас. Но для меня и моих коллег более «прозрачным», открытым был, так сказать, рабочий уровень борьбы — теоретической, идеологической, политической.

Из тянувших вправо людей, близких к Брежневу, хотел бы прежде всего назвать С. П. Трапезникова. В Молдавии он, кажется, был преподавателем марксизма. Помощником Брежнева стал, когда того перевели в Москву. Претенциозных неучей среди преподавателей марксизма при Сталине, да и после него, оказалось великое множество. Трапезников писал с огромным количеством грамматических ошибок (не говорю уж о стиле, а тем более о содержании), но, используя служебное положение, защитил все требуемые диссертации, устроился профессором в Высшую партийную школу. Когда Брежнев стал Генеральным секретарем, он выдвинул Трапезникова на пост заведующего отделом науки ЦК. Вот тогда этот закоренелый сталинист и получил возможность развернуться. Под стать ему был один из помощников Брежнева, убежденный сталинист В. А. Голиков, тоже мнивший себя «выдающимся марксистом» и тоже малограмотный; он при случае выступал в печати в качестве «теоретика» в области экономики, культуры, идеологии, даже международных дел.

Они собрали вокруг себя группу единомышленников и объединенными усилиями, очень напористо, ловко используя естественную в момент смены руководства неопределенность и неуверенность, а также, конечно, свою близость к Брежневу, бросились в наступление. Пытаясь радикально изменить идеологический и политический курс партии, они особое внима-

ние уделяли психологической обработке самого Брежнева. Это была, так сказать, «пятая колонна» сталинистов в самом брежневском окружении (в него входили также К. У. Черненко и Н. А. Тихонов, но в идеологии они большой активности не проявляли).

Эти люди вместе с наиболее консервативными членами Президиума и Секретариата ЦК КПСС все же смогли быстро сбить какое-то подобие общей идейно-политической платформы. Во внутренних делах добивались отмены решений XX и XXII съездов КПСС, полной реабилитации Сталина; отказа от выдвинутых после его смерти новых идей и реставрации старых, сталинистских взглядов в истории, экономике, других общественных науках. Во внешней политике целью сталинистов было ужесточение курса, опять же отказ от всех появившихся в последние годы новых идей и представлений в вопросах войны и мира и международных отношений. Все это не только нашептывалось Брежневу, но и упрямо вписывалось в проекты его речей и в проекты партийных документов.

Развернувшаяся атака на курс XX съезда, надо сказать, встретила довольно серьезное сопротивление. Видимо, сами идеи обновления, очищения изначальных идеалов социализма от крови и грязи уже завоевали серьезную поддержку общества. С ходу, одним махом изменить политическую линию и политическую атмосферу в партии и стране не удалось.

На XXIII съезде вопреки требованиям сталинистов решения предыдущих съездов отменены не были. Хотя по духу своему съезд был не только бесцветным, а и консервативным, и уж, во всяком случае, не сделал ни одного шага вперед, но реставрации сталинизма не произошло. Тогда и это многие считали победой. Сейчас это может казаться невероятным, но само упоминание в официальных документах и речах XX и XXII съездов партии воспринималось как свидетельство того, что «крепость» еще не сдалась, обрело важное символическое значение. Сохранены были и шедшие от XX съезда новшества во внешней политике, включая понятие мирного сосуществования, хотя вокруг него тоже шла острая борьба. А летом 1966 года на заседании Политического консультативного комитета Организации Варшавского Договора была одобрена идея переговоров, направленных на создание системы общеевропейской безопасности, то есть начат путь, который через девять лет привел к Хельсинкскому Заключительному акту.

Но при сложившемся соотношении сил борьба не могла завершиться торжеством курса XX съезда. Кое-какие плацдармы были захвачены сталинистами. Начиная с вещей символических,— но в нашем обществе, где все давно научились читать между строк, тем не менее весьма существенных. Например, имя Сталина перестало появляться в контексте критики преступлений и ошибок. Но зато все чаще начало упоминаться в хвалебном, положительном смысле. Изменились содержание и стиль официозных статей. В них все реже рассматривались, даже обозначались идеи и понятия, вошедшие в обиход после XX съезда. Зато ключевыми становились слова «классовость», «партийность», «идейная чистота», «непримиримая борьба с ревизионизмом» и т. д.— весь столь привычный со сталинских времен идеологический набор.

Первая схватка закончилась как бы компромиссом. Что-то сохранила одна сторона, но что-то получила и другая. Консерваторы в Политбюро и в непосредственном окружении Брежнева, их приближенные нащупали его слабости, на которых могли ловко играть. Он поначалу искренне верил, что эти люди — настоящие знатоки марксизма, которые оберегут его от ошибок, ляпсусов, а то и подскажут какую-то стоящую мысль. И уж, во всяком случае, помогут разобраться: соответствует ли то или иное заявление, предложение, та или иная формулировка марксистскому «священному писанию» или нет. Это особенно волновало Брежнева, когда он стал Генеральным секретарем и из-за слабой грамотности постоянно испытывал комплекс «марксистской неполноценности».

Но этим людям все же тогда не удалось добиться главного, чего они хотели,— монополии на «ухо Брежнева», положения «верховных жрецов» от марксизма, монополии на теоретическую, а тем более (ведь они этого и добивались) политическую экспертизу. Здесь, думаю, решающее значение имела в высшей мере присущая Брежневу осторожность. Он стал искать альтернативные мнения и точки зрения.

Вскоре начали играть все растущую роль два других помощника Брежнева — А. М. Александров и Г. Э. Цуканов. Александров, профессиональный дипломат, был приглашен из МИДа, еще когда Брежнев занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Более высокий, чем у других, окружавших руководителя, интеллект, политическая порядочность помогли Александрову как минимум нейтрализовать наиболее оголтелые атаки крайних консерваторов на внешнеполитическом направлении. Во всяком случае, там, где сам он занимал прогрессивную позицию (в некоторых вопросах Александров, на мой взгляд, был достаточно консервативен).

Что касается Цуканова, то он был инженер-металлург, в прошлом директор крупного завода в Днепродзержинске. Когда Брежнева назначили вторым секретарем ЦК КПСС, он сорвал Цуканова с места, чтобы тот помогал ему в делах, связанных с общим руководством оборонной промышленностью. После того как Брежнев занял пост Генерального секретаря, Цуканов, функции которого стали более широкими, начал помогать ему в экономических, а со временем и в других делах. И для этого (сказалась, видимо, привычка руководителя крупного дела, каким был завод) привлекал в качестве экспертов специалистов, которым склонен был доверять. Не могу сказать, чтобы у него с самого начала были четкие идейно-политические позиции по вопросам, вокруг которых развертывалась особенно острая борьба,— о Сталине и курсе XX съезда, о мирном сосуществовании и других; он раньше просто стоял от них в стороне. Но быстро определился. Не в последнюю очередь потому, что, лично зная многих консерваторов, роившихся вокруг Брежнева, относился к ним с глубокой антипатией. Может быть, это заставляло его искать людей, определенным образом настроенных, нередко спрашивая совета и у Андропова, которому очень доверял. В число тех, кого привлекали для выполнения заданий Брежнева либо для рецензирования поступающих к нему от других помощников материалов, попали Н. И. Иноземцев, А. Е. Бовин, В. В. Загладин, автор этих воспоминаний, а также Г. Х. Шахназаров, С. А. Ситарян, Б. М. Сухаревский, А. А. Аграновский и некоторые другие.

И тогда, и, естественно, потом я не раз задавал себе вопрос: а что думал сам Брежнев, каковы были его убеждения? Не мог же он сохранить свои представления в виде tabula rasa — нетронутого листа, на котором другие могли писать что им заблагорассудится. Ведь ему было уже под шестьдесят и он прошел, притом на весьма ответственных постах, почти через все главные политические события своего времени.

Вот здесь-то и заключен один из (используем известное американское выражение) «грязных маленьких секретов» — один из феноменов нашего (а точнее, того) времени. Это сформировавшийся при Сталине, затем формировавшийся примерно так же при Хрущеве, а затем при Брежневе тип руководителя, который политическим деятелем вовсе не является. Командно-административной системе политические деятели, исключая верховного вождя, не нужны, наоборот, они ей противопоказаны.

Типичным руководителем становится функционер, чиновник, в совершенстве овладевший правилами аппаратной игры. Он не очень образован, подчас, несмотря на диплом о высшем образовании, почти безграмотен, с марксизмом знаком в объеме «Краткого курса» и сталинской политграмоты, нетерпим к инакомыслию, к новым идеям. Твердых идеологических и политических принципов у деятелей этого типа чаще всего нет — иначе в пору бесконечных ломок и перемен они бы просто не уцелели. Все это, разумеется, не исключает у них большего или меньшего здравого смысла, большей или меньшей жизненной мудрости, личной доброжелательности к людям (если, конечно же, это не соперники), большей или меньшей любознательности.

Вот к такому типу руководителей принадлежал и Брежнев. Притом — рискую здесь вступить в спор со многими — был отнюдь не худшим из них, во всяком случае, в первые годы своего руководства партией и страной. Думаю, когда мы воссоздаем, восстанавливаем историческую правду, не надо утверждать в истории ни карикатурного Сталина, ни карикатурного Хрущева, ни карикатурного Брежнева. Иначе мы сделаем карикатурными также большую полосу своей истории, свою партию, свой народ.

Но я забежал вперед. Возвращаясь к теме о борьбе за «душу» нового лидера в первые месяцы и годы после октябрьского Пленума ЦК КПСС, хотел бы сказать, что, став Генеральным секретарем ЦК КПСС, Брежнев неизбежно начал меняться. Полагаю, что вообще разница в ответственности, в мироощущении и, конечно же, в подходе к политике между первым человеком в стране и остальными руководителями гораздо больше, чем, скажем, между членами Политбюро и аппаратными чиновниками не только высокого, но даже и среднего ранга. Причины этой разницы неоднозначны. Одна из них — власть, огромная власть и ее влияние на личность. А другая — ответственность. Когда дело доходит до окончательного решения, надо сказать «да» или «нет», — перекладывать ответственность просто не на кого. Именно на этой грани мнение «лидера номер один» превращается в политику, слова — в дела, затрагивающие интересы и судьбы множества людей, страны, а иногда и международного сообщества.

Став Первым секретарем ЦК КПСС, Брежнев с немалым трудом привыкал к своей новой ответственности, проникался пониманием того, какое огромное бремя легло на его плечи. И хотя столь высокое положение ему, несомненно, очень нравилось, поначалу были и робость, и осторожность, и боязнь ошибиться. Его, конечно, очень серьезно обременял старый, скудный интеллектуальный багаж, провинциальные взгляды на многое, узкий, даже мещанский, обывательский кругозор (потом все это сыграло очень дурную роль). Самонадеянность появилась позже, и не без помощи подхалимов, ставших со сталинских времен, пожалуй, самой большой угрозой для политического руководства страны, собственно, для руководства на любом уровне. А о поразивших его еще позже болезни, старости, даже маразме разговор особый.

В первые два-три года после октябрьского Пленума Брежнев, хотя еще и верил своим прежним советникам, начал понимать, что не может полагаться лишь на них, что он должен радикально расширить круг получаемой информации, знакомиться с мнениями (притом различными мнениями) большего количества самых разных людей. В то время Брежнев действительно многим интересовался и охотно слушал то, что ему говорили (читать он не любил, письменный текст воспринимал хуже устного, потому и направляемые ему записки чаще всего просил читать вслух). И — из песни слова не выкинешь — кое-что воспринимал. Здесь, правда, существовала любопытная закономерность: воспринимал то, что относилось к сферам, в которых он считал себя несведущим, — внешней политике, в какой-то мере в вопросах культуры, даже в идеологии и марксистско-ленинской теории. Зато был убежден, что прекрасно знает сельское хозяйство, да и вообще практическую экономику, а также военные вопросы. И очень хорошо разбирается в людях, в кадрах, знаток партийной работы. На все эти темы, как я заметил, говорить с ним, пытаться его переубедить было почти бессмысленно.

Как бы то ни было, общими, хотя и разрозненными усилиями значительного числа людей удалось серьезно ослабить влияние на нового Генерального секретаря наиболее воинственных сталинистов, включая как отдельных членов Политбюро, так и доморощенных теоретиков из свиты. Давалось это в упорной борьбе.

Одна из самых острых схваток, в которых я участвовал, разгорелась вокруг текста речи, которую он должен был произнести в ходе своей первой в новом качестве поездки в Грузию в начале ноября 1966 года (для вручения ордена республике, конечно). Первоначальный вариант речи был подготовлен под руководством Трапезникова и Голикова и их грузинских друзей. Он представлял собой совершенно бессовестную попытку возвеличить Сталина и снова провозгласить его великим вождем. Получив текст, Брежнев передал его Цуканову на «экспертизу». Цуканов, хотя и не разбирался в идеологических тонкостях, хорошо понял, какой скандал может вызвать такая речь. Для разговора с Брежневым он все же хотел вооружиться достаточно основательными аргументами, и попросил меня дать развернутые замечания. Я это сделал. В тот же день он сказал, что назавтра в 9 утра меня приглашает Брежнев.

Я сообщил об этом своему начальнику — Андропову. Он сказал: что ж, раз ты в эту историю попал, действуй так, как считаешь нужным. Неудовольствия, равно как призыва к осторожности, я не уловил.

Подумав, я решил, что наиболее эффективным способом доказательства будут не призывы к политической порядочности (разве можно, разоблачив Сталина как преступника, его теперь восхвалять?) и не абстрактные рассуждения о вреде культа личности и его несоответствии марксизму, а предельно предметные аргументы о пагубных последствиях такого выступления нового лидера для него самого, для партии и страны. Первый аргумент сводился к тому, что такая речь вызовет серьезные осложнения в ряде социалистических стран. В двух из этих стран, решился я напомнить Брежневу, лидерами стали люди, в свое время заключенные Сталиным в тюрьму и чудом оставшиеся в живых, — Кадар в Венгрии и Гомулка в Польше. Что ж, там снова менять лидеров? Ведь этого местные сталинисты непременно захотят. Неужто Брежневу нужны такие осложнения? Второй аргумент — реакция компартий Запада. Они с трудом, а кое-где с немалыми издержками переварили XX съезд. Что ж им теперь делать? И третий аргумент — внутренний. Я не поленился выписать из стенограммы XXII съезда партии самые яркие высказывания против Сталина людей, еще состоящих при Брежневе в Политбюро, секретарей ЦК (в том числе Шелепина, Суслова, Подгорного, Мжаванадзе). Как же они, совсем недавно клеймившие Сталина, требовавшие вынести его труп из Мавзолея и воздвигнуть памятник его жертвам, после такой речи нового генсека будут выглядеть в глазах партии, широкой советской и зарубежной общественности? Как будут смотреть в глаза людям? Или товарищ Брежнев специально хочет их дискредитировать? Да ведь и сам Брежнев участвовал во всех съездах партии, начиная с XIX, и с того же съезда был членом ЦК КПСС.

С тем я и пришел к Брежневу. Единственной неожиданностью было то, что, когда мы с Цукановым зашли в кабинет, поздоровались и сели, Брежнев предложил: «А не позвать ли нам еще Андропова?» — И тут же его вызвал. Так что всю «домашнюю заготовку» я выкладывал уже обоим: и Брежневу, и Андропову.

Чувствовалось, что аргументы произвели впечатление. Брежнев выглядел все более озабоченным, время от времени обращался к Андропову: что думает тот? Андропов, по-моему, очень удачную выбрал тактику. Он каждый раз повторял примерно следующее: конечно, Георгий Аркадьевич горячится, в чем-то, может, и пережимает, преувеличивает, но такого рода издержки, наверное, неизбежны. И добавлял какие-то свои, подчас очень весомые соображения.

В конце концов Брежнев поручил нам троим спешно подготовить новый вариант речи. Не скажу, что он получился глубоким по мысли, богатым новыми идеями. Но имя Сталина там упоминалось (большего я здесь сделать просто не мог) только один раз — в перечне организаторов революционной борьбы в Грузии. Зато наряду с этим упоминался и XX съезд. По тем временам, особенно с учетом того, что в Грузии тогда были очень сильны настроения в пользу реабилитации Сталина, — это было подтверждением прежнего курса в отношении всей проблемы Сталина и сталинизма.

Тогда — в 1965—1967 годах — мне казалось, что при всей противоречивости, неопределенности обстановки шансы на выправление политического курса возрастают. Увы, в 1968 году свершился поворот вправо, во всяком случае, во внутренних делах. Не в смысле той формальной реабилитации Сталина и осуждения решений XX съезда, словом, всего, чего поначалу, сразу после октябрьского Пленума, добивались сталинисты. Произошло другое. Ужесточилась политика, стали «закручивать гайки» в идеологии, культуре и общественных науках, заметно ухудшалась психологическая и политическая атмосфера в стране.

Рубежом поворота, если не одной из его важных причин, стали события в Чехословакии. Уже с января 1968 года руководство начало нервничать (это я знаю больше по свидетельствам товарищей: сам с декабря 1967 года ушел из аппарата ЦК, занялся созданием Института США и до осени следующего года контактов с Брежневым не имел).

Из внутриполитических событий того времени запомнился состоявшийся в феврале или марте 1968 года пленум МГК КПСС, в котором

принял участие Брежнев. На этом пленуме открыто был провозглашен курс на «закручивание гаек» в идеологии и культуре. К тому периоду, может быть, надо отнести и истоки феномена «диссидентства». Появилось тогда и новое словечко «подписант» — так называли тех, кто подписывал письма, обращения, петиции в защиту людей, подвергшихся гонениям, произведений, зажатых цензурой, и т. д. Людей, высказывавших «не те» взгляды (то есть диссидентов, равно как и «подписантов»), начали безжалостно увольнять с работы, наказывать в партийном порядке. Коснулось это и Академии наук СССР, тем более что тогдашний ее президент М. В. Келдыш на пленуме горкома произнес очень неудачную речь и вообще явно струсил, может быть, и потому, что в числе «подписантов» оказалась и его сестра. Ужесточалась цензура, из редакционных и издательских планов исключались многие ранее принятые к печати работы.

Ситуацией постарались тут же воспользоваться сталинисты. Стали более откровенными и напористыми многие консервативные представители руководства — Суслов и Подгорный, Шелест, Гришин, Демичев... И, конечно, в открытую атаку перешел «штурмовой отряд» консервативных идеологов из аппарата ЦК КПСС и руководства общественными науками.

О самих событиях августа 1968 года говорить не буду — ничего добавить к тому, что известно, не могу. Меня одолевало ощущение жгучего стыда, стыда за политику своей страны, за то, что сделало ее руководство. Как я убедился, такое же чувство испытывали многие представители партийной интеллигенции. Но дело не только в личных эмоциях и переживаниях, связанных с конкретным внешнеполитическим шагом правительства. Как и предвидели многие, этот шаг оказал очень серьезное негативное воздействие на обстановку в стране, на весь ход ее политического развития. Пожалуй, даже более негативное, нежели события 1956 года в Венгрии и Польше. Так, во всяком случае, мне казалось. Позже я пришел к выводу, что причины тогдашнего поворота вправо были более серьезными, более глубокими.

В Москве уже в какой-то мере начался дрейф назад от линии XX съезда. И существовали, действовали политические силы, которые хотели полного от нее отказа. Естественно, что перемены в Чехословакии воспринимались ими с самого начала подозрительно, с растущим недоверием. Отрицательное, даже враждебное отношение к событиям в Чехословакии сформировалось, по моему глубокому убеждению, не в июле и не в августе, а скорее всего, уже в январе 1968 года. Враждебность вызывал сам курс реформ, на который вступала Чехословакия. Это недоброжелательство наверняка было замечено в Праге. И, по-моему, изрядно радикализировало изначально умеренно-реформаторское руководство партии и страны, толкало его к тем, кого потом назвали ревизионистами и контрреволюционерами. А это, в свою очередь, вызывало нарастающую подозрительность и недоверие в СССР и других странах Варшавского Договора. Так, по спирали, мне кажется, и раскручивались события вплоть до драматической развязки.

Дело усугублялось еще одним обстоятельством, которое я прекрасно понимал, проработав более трех лет в ЦК. Это, так сказать, человеческий, личностный фактор — роль людей, которые непосредственно занимались в ЦК КПСС (как, впрочем, и в МИД СССР, и в других ведомствах) отношениями с теми или иными конкретными социалистическими странами. Они, эти люди, были разными. Но тогда еще сохранялся определенный тип, сформировавшийся в сталинские времена, когда инструктор (или референт) ЦК нес в себе заряд непоколебимой убежденности в том, что имеет право зарубежных коммунистов учить, поскольку лишь Москва владеет истиной, и те, кто считает иначе, — враги или, по меньшей мере, ревизионисты.

Андропов понимал и не раз говорил об этом со мною, с другими консультантами, что такой склад мысли политически вреден, даже опасен, затрудняет развитие нормальных отношений со странами социализма. Но почти никого из разделявших такие настроения сотрудников он не сменил. Так что и в 1968 году многие работники отдела, реально влиявшие на отношения СССР с другими социалистическими государствами, мыслили теми же категориями, что и до 1953 года. Причем среди партийных кадров той или другой страны у них были, с одной стороны, друзья, те, кому

они верили, а с другой — враги, те, кого они не любили. И страну они постепенно начинали воспринимать глазами своих друзей, доверенных лиц, из которых там складывалось нечто вроде «московской фракции».

Как принималось роковое решение о вводе войск, я не знаю. По свидетельству людей, которым я верю, Брежнев очень долго его оттягивал, колебался, не хотел прибегать к применению силы, просто боялся последствий. Наверное, к более решительным действиям его толкали некоторые другие представители руководства. Особую ретивость, как я слышал, проявляли Шелест, а также Устинов (Суслов, рассказывают, держался осторожнее, возможно, в связи с тем, что на осень было намечено Международное Совещание коммунистических и рабочих партий). Но в конце концов за ввод войск выступили все. Не составил исключения и Ю. В. Андропов, у которого после событий в Венгрии в 1956 году (он был там послом), видимо, сложился определенный синдром нетерпимости, может быть, связанный с убежденностью в том, что нерешительность, затяжки ведут к более серьезному кровопролитию. Но самое тягостное — ведь ни один человек не возразил. Это я знаю точно. Так же как и то, что к вооруженному вмешательству подталкивали некоторые зарубежные лидеры, в частности В. Гомулка и В. Ульбрихт, тоже, наверное, боясь, что реформы в Чехословакии окажутся «заразительными».

Несомненно, большую роль в принятии рокового решения сыграли укоренившиеся идеологические стереотипы, согласно которым любой отход от твоих собственных представлений о том, что подобает социализму, а что нет, равнозначен предательству, преступлению. Думаю, Брежнев в полной мере разделял эти стереотипы, дал себя убедить, что предаст дело социализма, если не вмешается в ход событий. Заслуживающий полного доверия товарищ вспоминал, как в июле 1968 года, соглашаясь с тем, что надо продолжать поиск политического решения, использовать любой предлог, чтобы уклониться от применения военной силы или хотя бы отложить его, Брежнев сказал: если в Чехословакии победят «ревизионистские» тенденции, он будет вынужден уйти в отставку с поста Генерального секретаря ЦК КПСС — «ведь получится, что я потерял Чехословакию».

Словом, с одной стороны, события в Чехословакии очень негативно повлияли на политическое развитие нашей страны, а с другой — нетерпимость в значительной мере объяснялась тем, что происходило у нас дома, консервативным сдвигом после октябрьского Пленума ЦК.

«Застойным периодом» у нас теперь часто называют все годы между смещением Хрущева и смертью Брежнева. В каком-то смысле, если предъявлять к жизни и развитию общества самые высокие требования, с этим надо согласиться. В течение всех этих лет — как-никак, восемнадцати — не было у нашего общества особых взлетов, этапов подъема. Правда, в таком случае застойной была и немалая часть «славного десятилетия», когда во главе партии и государства стоял Хрущев. Да и некоторые другие периоды нашей истории.

Но, давая такую оценку всему периоду между 1964 и 1982 годами, все же нельзя считать их совершенно однозначными, единообразно окрашенными в грязно-серый цвет. Потому прежде всего, что вторая половина 60-х и начало 70-х годов, когда стали проводиться в жизнь реформа в промышленности и некоторые важные решения на селе, — период весьма успешного развития народного хозяйства. А с конца 60-х до середины 70-х годов, пожалуй, даже несколько дольше, во многом благодаря нашей внешней политике на мировой арене доминировала разрядка международной напряженности, и это привело к заметной нормализации советско-американских отношений, весьма значительным позитивным сдвигам в Европе.

Ну а кроме того, период застоя знал и свой этап особенно глубокого упадка, который воцарился с середины 70-х годов. Конечно, границы здесь подвижны: в идеологии, в духовной жизни общества мы начали идти назад раньше, в других областях — топтались на месте все восемнадцать лет. На международной арене тоже происходили не только позитивные перемены, но и обострения конфликтов и кризисов. Тем не менее я считаю, что период после октябрьского Пленума все же правильнее разделить на два этапа.

Первый был прямым продолжением предыдущего, «хрущевского» этапа развития нашего общества, когда оно в непрекращавшейся, временами обострявшейся борьбе, часто методом «проб и ошибок» искало выход из трудностей, в которые зашло в экономике, внешней политике и внутренних делах. Где-то этот поиск приносил успехи, подчас, правда, временные — общей концепции обновления, освобождения от деформаций прошлого не было, как не было и понимания масштабов и сложности этой задачи. А где-то поиск оказывался неудачным, и приходилось платить за это дорогую цену. Но если не движение, то, во всяком случае, поиск не прекращался.

С середины 70-х годов, видимо, полностью исчерпал себя тот потенциал движения вперед, который наше общество обрело в результате XX съезда КПСС. Я имею в виду не только возможности пришедшего к власти в 1964 году руководства, они, наверное, иссякли раньше, но и политические и экономические структуры — тем более что в сфере политики даже не искали путей к обновлению унаследованных от прошлого механизмов. А в экономике реформа прожила очень недолго и вскоре сменилась самым сильным за послесталинскую историю разгулом привычных административно-командных, бюрократических методов хозяйствования. Нежизнеспособный административно-командный организм, рожденный сталинской деспотией, медленно, на глазах угасал, хотя не утихали громовые рапорты об успехах и овации официального ликования.

Эти гибельные процессы нашли свое поистине символическое выражение в личной судьбе руководителя. В декабре 1974 года Брежнев заболел, и в течение восьми лет наша страна жила в ненормальной, едва ли имеющей прецеденты ситуации — с руководителем, уже неспособным удовлетворительно выполнять даже свои элементарные функции. А ведь во всех основных чертах сохранялась структура политической власти, унаследованная от сталинских времен и предусматривавшая, что решения по сколько-нибудь важным вопросам принимаются на самом высоком уровне, в конечном счете «самим». Традиции и реальная политическая обстановка практически исключали возможность «нормальной» замены лидера. Да и на кого было его менять — на Суслова, Кириленко или Черненко? Такая «безальтернативность» отнюдь не случайна: механизмы, созданные еще в период культа личности, не только концентрировали власть в руках руководителя, но и последовательно, целеустремленно «выбивали» его сильных соперников уже на очень дальних подступах.

О болезни Брежнева много я сказать не могу — тогда это был большой государственный секрет. А потом как-то я не решался расспрашивать врачей, может быть, просто из уважения к врачебной тайне. Но вот то, что я знаю. В декабре 1974 года на военном аэродроме близ Владивостока, едва успев проводить президента США Форда, Брежнев почувствовал себя плохо. Посещение города, где на улицы для торжественной встречи вышли люди, отменили. Больного усиленно лечили в специальном поезде, на котором он должен был ехать во Владивосток. И все же на следующий день Брежнев отправился, как было запланировано, в Монголию. Вернувшись оттуда, он тяжело и долго болел, настолько долго, что это дало толчок первой волне слухов о его близящемся уходе с политической сцены. С того времени Брежнев жил, «царствовал», хотя не всегда управлял, еще восемь лет.

Временами его здоровье несколько улучшалось, но он уже никогда не приходил в нормальное работоспособное состояние, болезнь неуклонно прогрессировала — это было видно всем окружающим. Он быстро уставал, утрачивал интерес к предмету обсуждения, все хуже говорил, терял память. К концу жизни даже самые элементарные вещи к предстоящим беседам и протокольным мероприятиям для Брежнева заранее писали — без таких «шпаргалок» он уже просто не мог обойтись.

Опасность серьезных ошибок в политике возросла — и ошибки эти не заставили себя ждать.

Начну с внешней политики.

В середине 70-х годов «забуксовали» переговоры с США по ограничению стратегических вооружений. Конечно, виновниками были не одни мы. Во время владивостокской встречи в верхах в декабре 1974 года была достигнута договоренность об основных параметрах будущего соглашения.

Но в 1975—1976 годах президент Форд, возможно в ожидании предстоявших выборов, не проявлял настойчивости, колебался, а его государственный секретарь Киссинджер то громогласно заявлял, что договор ОСВ-2 будет подписан до выборов, то терял к переговорам интерес. Словом, внутриполитические расчеты брали верх над внешней политикой. А когда к власти пришел новый президент — Д. Картер, он и его окружение попытались в переговорах «начать партию» с самого начала, что тоже прибавило трудностей. Немало осложнений возникало и в результате американской политики в региональных конфликтах и ситуациях. И все более серьезным раздражителем в советско-американских отношениях стали попытки части конгресса США, некоторых деятелей в правительстве, средств массовой информации активно использовать в политике проблему прав человека.

Но то была лишь одна сторона дела. Другая, не менее важная, определялась нашими политическими слабостями. Среди них особенно существенными мне представляются две. Одна — сбои, неверные идеологические подходы к некоторым важным проблемам внешней политики. И другая — преувеличение роли военного фактора в политике, приведшее к становлению и укреплению весьма влиятельного военно-промышленного комплекса, контроль над которым, по существу, был утрачен.

Пережитки «революционаристской» идеологии, остатки прежней веры в идеи «экспорта» революции приняли к тому времени форму и силу определенной политической доктрины — о нашем долге оказывать освободительным движениям различные виды помощи, включая прямую военную. Эти идеи, уходящие корнями в революционный романтизм, свойственное на каких-то стадиях многим великим революциям мессианство причудливым образом переплетались с имперскими притязаниями и амбициями. А те, в свою очередь, коренились в еще более далеком прошлом; после революции они были возрождены Сталиным и в той или иной форме пережили его. При таком крутом «замесе» тех и других мотивов в ряде ситуаций становилось все труднее точно, верно и трезво оценивать, насколько государственная политика соответствует национальным интересам.

Все это с середины 70-х годов заметно давало себя знать, особенно в отношении к странам «третьего мира», где действительно еще шли освободительные войны и существовал империалистический гнет. Как раз в этом политическом регионе тогда начались весьма драматические события, послужившие одной из причин свертывания разрядки.

Первым из таких событий стала, пожалуй, посылка кубинских войск в Анголу для поддержки одной из сторон — партии МПЛА — в разгоревшейся там политической и вооруженной борьбе, определявшей, кто будет у власти после ухода португальских колонизаторов. Насколько я знаю (правда, представления у меня самые общие), инициатором в этом деле действительно была Куба, но мы в него с самого начала оказались вовлечены. И не только тем, что политически поддерживали Кубу и снабжали ее оружием, но и прямым участием в переброске кубинских вооруженных сил в Анголу, а потом широкой помощью правительству МПЛА, в том числе оружием и военными советниками.

Конечно, ситуация в Анголе была непростая, вмешательство в ее дела осуществляли США (тайно, через ЦРУ), Китай и ряд других стран. Но это не отменяет того факта, что наша политика противоречила провозглашенным нами принципам и могла иметь — и имела — негативные последствия.

Что меня особенно беспокоило в то время? То прежде всего, что участием в этой акции мы вступили на путь использования или содействия использованию иностранных вооруженных сил в странах «третьего мира». Как бы для контраста нашим действиям конгресс США отказался предоставлять ассигнования на дальнейшую поддержку проамериканских партий и фракций, боровшихся за власть в Анголе. В общем, я считал, что все это не только очень плохо повлияет на наши отношения с США, да и с Западом в целом, но может негативно сказаться на развитии аналогичных событий, послужит началом, «почином» такого рода международного поведения. Видел это не один я. Многие специалисты и эксперты понимали, что такой поворот событий, такое наше поведение могут серьезно подорвать разрядку.

Несколько раз я говорил на эту тему с Андроповым. Он внимательно слушал, не обрывал меня и со мною не спорил, впрочем, и согласия не выражал. Говорил я, притом обстоятельно, также с Громыко. Разговоры были с глазу на глаз. А вот с Брежневым довелось поговорить, поспорить на эту тему в присутствии целой группы товарищей, некоторые из них живы и продолжают работать. Произошло это осенью (то ли в ноябре, то ли в декабре) 1975 года в Завидово, где собрались работники ЦК, МИД СССР, а также ученые, которых привлекли к подготовке документов XXV съезда КПСС. В ходе обсуждения внешнеполитического раздела будущего доклада разговор зашел о только заваривавшихся событиях в Анголе. Я сказал Брежневу, что, по моему мнению, участие там кубинских войск и наша помощь в обеспечении этой операции могут обойтись очень дорого, ударят по основам разрядки. Моим главным оппонентом сразу же выступил А. М. Александров[1], возразивший, что ему Ангола напоминает Испанию в 1935 году, и мы просто не можем остаться в стороне. Брежнев заинтересовался завязавшимся диалогом и сказал: «Представьте себе, что вы члены Политбюро, спорьте, а я послушаю» (к такому приему — вызвать на спор и послушать — он прибегал не раз). Присутствовали Андропов, Иноземцев, Бовин, Загладин, но не вмешивались.

Мои доводы сводились в основном к тому, что мы, конечно, вправе, даже связаны моральным долгом помогать национально-освободительному движению. Наверно, нет сомнений, что самый достойный представитель этого движения в Анголе — МПЛА. Но есть ведь разные формы помощи. Политическая поддержка не вызывает сомнения, возможна и экономическая помощь, нельзя исключать даже, скажем, помощи оружием. Но участие в военных действиях подразделений регулярных вооруженных сил иностранной державы радикальным образом меняет ситуацию. Американцы только что ушли из Вьетнама, а тут мы и наши друзья в совершенно новой ситуации, в условиях разрядки, пытаемся возродить дурную традицию.

Александров, возражая мне, в основном приводил доводы идеологического характера — о нашем интернациональном долге, о том, что мы не можем от него уклоняться. В какой-то момент Брежнев, слушавший довольно внимательно, нас прервал и, обратившись ко мне, сказал, что понял, что я имею в виду, — участие регулярных вооруженных сил в военных действиях за рубежом будет противоречить Хельсинкскому акту. Я, разумеется, живо согласился с ним. Но тут Александров привел совершенно неожиданный для меня довод: «А помните, Леонид Ильич, как вели себя американцы во время индо-пакистанского конфликта?» Брежнев очень эмоционально отреагировал, сказал о политике США что-то резкое и вдруг как-то сразу погас, «выключился», — это с ним после болезни все чаще случалось. А через минуту сказал: «Ну, вы спорьте, а я пойду к себе». На этом спор и закончился.

Хотя США отреагировали на развитие событий негативно, это до поры не привело к видимым последствиям. Ведь снижение уровня доверия не так легко сразу заметить. Что касается самой Анголы, то поначалу могло показаться, что цели достигнуты, — к власти пришла МПЛА, у страны вроде бы появилось стабильное правительство, был открыт путь к ее самостоятельному развитию. Казалось также, что кубинские войска в Анголе долго не задержатся. Едва ли можно было тогда предполагать, что им придется оставаться там, вести бои, нести потери еще полтора десятка лет. Не говорю уже о моральных издержках, обычных для такого рода

---

[1] С А. М. Александровым у меня были довольно сложные отношения. Человек он был, безусловно, знающий, во внешней политике профессионал, принимал активное участие в очень многих делах, связанных с разрядкой. Вместе с тем, не говоря уже о некоторых личных качествах (он был нервный, вспыльчивый, не очень уживчивый), Александров, пожалуй, довольно ярко представлял то крыло наших политических работников, которые страдали от комплекса «революционной неполноцениости». И это не раз у него проявлялось, в том числе и в данном случае. Вместе с тем несправедливо не сказать, что при всем том Александров был одним из немногих, кто решался и в последние годы жизни Брежнева открыто и достаточно однозначно выступать против него по каким-то конкретным вопросам и упорно спорить с ним.

войн, включая коррупцию части тех, кто воинским контингентом командовал.

К сожалению, я оказался прав. Ангола открыла целую серию аналогичных акций. В политике часто бывает, что, если какой-то шаг, какая-то акция сходит с рук, вроде бы приносит успех, ты почти обречен на повторения. До тех пор, пока не нарвешься на крупную неприятность. Мне кажется, что так получилось и в данном случае. После Анголы мы смело зашагали по этому накатанному пути, на деле же — по ступеням эскалации: Эфиопия, Иемен, ряд африканских стран, наконец — Афганистан.

Конечно, каждая из этих ситуаций имела свою специфику, знак равенства между ними ставить нельзя. Но кое-что для них было общим. Думаю, прежде всего по-левацки примитивно понимаемый долг помогать освободительному движению, участвовать в антиимпериалистической борьбе. Хотя часто дело касалось не национально-освободительных движений, а борьбы различных политических сил за власть, территориальных и даже племенных раздоров.

Немалую роль играли и имперские притязания и амбиции. Для одних это была возможность самодовольно показать: вот и мы «сверхдержава», способны кое-где и с Америкой поспорить. Для других — прозаическое желание несколько подправить стратегические позиции, усилить политическое влияние. Вот так между идеями антиимпериалистической солидарности и имперскими амбициями подчас нельзя было провести четкую грань — наивно-революционный романтизм причудливо взаимодействовал с великодержавным цинизмом!

Вспоминаю такой эпизод. В 1978 году, когда я проводил отпуск в Болгарии, меня как-то пригласил в гости отдыхавший там командующий Военно-Морским Флотом СССР адмирал Горшков. Я принял приглашение и оказался единственным штатским среди советских и болгарских адмиралов и генералов. Разговор зашел о внешней политике, и тут Горшков произнес тост. Начав с шутки, вполне серьезно высказал претензии к нашей политике, которая, мол, далеко не достаточно учитывает интересы Военно-Морского Флота, ставшего могучим, океанским, а у большого флота, естественно, большие потребности в стоянках, местах для заправки, пополнения судов всем необходимым и т. д. Притом и вдали от родных берегов. Смолчать я не мог и в ответном тосте, пожелав успехов флоту, возразил: «Я считал до сих пор, что не внешняя политика должна служить Военно-Морскому Флоту, а, наоборот, Военно-Морской Флот — внешней политике». Все замолчали, возникла неловкость. Горшков, почувствовав это, явно забеспокоился, видимо, понял, что хватил через край, и ударил отбой. Мол, он имел в виду другое: Военно-Морской Флот сможет служить нашей политике эффективнее, если будут созданы условия для его нормальной деятельности в океанах.

В такие вот мы пустились игры...

Кульминацией стал, конечно, Афганистан. Не хочу упрощать обстановку. Действительно, революция 1978 года произошла без нашего участия; мы даже узнали о ней из сообщений западных информационных агентств. Действительно, правительство Афганистана много раз просило нас о помощи против мятежников, имея на то основания: помощь извне получали и они. Но все это не оправдывает наших действий, за которые пришлось расплачиваться человеческими жизнями и нести огромные экономические и политические издержки.

Для меня ввод войск в Афганистан был неожиданностью. К тому дню я приходил в себя после инфаркта и узнал новость от А. Ф. Добрынина, лежавшего в той же больнице, — он услышал ее по радио (для него это тоже была неожиданность).

Допускаю, что из четырех человек, принявших решение, двое не предвидели его последствий (Брежнев из-за болезни, Устинов из-за политической ограниченности). Но как могли совершить такую ошибку Громыко и особенно Андропов, — этого я не в силах понять.

Впрочем, раз уж мы встали на путь силовых вмешательств, подталкивания событий военной рукой, так и должно было продолжаться вплоть до крупной неудачи, провала, как это было с американцами во Вьетнаме. И может быть, — приходила мне потом шальная мысль, — именно то, что мы увязли в Афганистане, помогло удержаться от вмешательства в Поль-

ше в 1980 году? А такое вмешательство привело бы к поистине катастрофическим последствиям.

Подводя итог, скажу: политикой военных вмешательств и «полувмешательств» в дела ряда стран мы во второй половине 70-х годов создали себе репутацию экспансионистской державы, сплотили против себя многие государства и нанесли сокрушающий удар по разрядке. В те же годы беспрецедентными темпами развернулось военное строительство; с полной силой, азартно, мы включились в гонку вооружений. И все это в условиях разрядки, начинающей приносить первые результаты, да еще перед лицом растущих экономических трудностей.

Логическому объяснению это не поддается. У меня только один ответ на вопрос о главной причине бед.

Полная бесконтрольность, всевластие военно-промышленного комплекса, набравшего силу и влияние и ловко пользующегося покровительством Брежнева, его слабостями и тем, что он не очень хорошо понимает суть проблем. А военные имеют монополию на «ухо» руководства, только они разъясняют и обосновывают ему свои программы. Конечно, я далек от того, чтобы винить одних только генералов, адмиралов и генеральных конструкторов,—отсутствие должного политического контроля над руководством вооруженными силами и военной промышленностью имело более глубокие корни в политической истории страны, отсутствии демократических институтов.

Брежнев, судя по всему, с самого начала видел в военных очень важную основу своей власти. И уже поэтому старался давать им все, что они просили. Под стать Брежневу вел себя Устинов, при котором военные дела полностью вышли из-под политического контроля. Брежнев ни в чем ему не отказывал, а остальные (в том числе Громыко и, мне кажется, Андропов) опасались, боялись вмешиваться, портить отношения с военными. Немалую роль сыграло и то, что некоторое время Брежнев был секретарем ЦК, отвечающим за оборонную промышленность, и попал под очень сильное влияние руководителей военной индустрии. Были здесь и чисто сентиментальные нюансы, усилившиеся с возрастом и болезнью. Он особо гордился годами, которые провел на военной службе, считал себя чуть ли не профессиональным военным. И придавал огромное значение всевозможной мишуре, питал пристрастие к воинским званиям и орденам, серьезно подорвавшее его репутацию.

Видимо, определенную роль сыграла и болезнь Брежнева. Прежде он в ряде случаев не только возражал военным, но и вступал с ними в конфликт. Так произошло, например, во время принятия решения о договоре ОСВ-1. На Политбюро с возражениями против уже согласованного текста выступил тогдашний министр обороны Гречко, заявив, что как человек, отвечающий за безопасность страны, не может поддержать договор. Брежнев, как председатель Комитета обороны и Главнокомандующий, вполне резонно считал, что за безопасность страны отвечает прежде всего он, и настоял на положительном решении Политбюро, резко выступив против Гречко. Позднее Брежнев рассказывал группе товарищей в моем присутствии, что Гречко приезжал к нему извиняться. Брежнев—так, во всяком случае, он рассказывал — заявил: «Ты обвинил меня в том, что я пренебрегаю интересами безопасности страны, на Политбюро, а извиняешься с глазу на глаз».

Во время визита Форда в конце 1974 года, когда обсуждались общие рамки договора ОСВ-2, у Брежнева тоже был длинный, очень острый и громкий спор с военным руководством по телесвязи «ВЧ». Об этом я знаю как от наших участников, так и от американцев, рассказавших, что в решающий момент обсуждения советский лидер выставил всех из кабинета и чуть не час говорил по телефону, да так громко и эмоционально, что было слышно даже через стены и закрытые двери.

Словом, военному ведомству дозволялось очень многое. Особенно во второй половине 70-х — начале 80-х годов. И оно этим пользовалось. Развернулась беспрецедентная пропаганда милитаризма, беззастенчивая спекуляция на священной для советских людей теме Великой Отечественной войны. Мемуары, поток псевдохудожественной литературы, многосерийные фильмы и телевизионные передачи, строительство громоздких, безумно дорогих монументов, введение в обиход всевозможных церемониалов, почетные караулы, вооруженные автоматами школьники у памятников и солдатских захоронений... И все это не в обстановке нависшей военной угрозы, а в период разрядки.

Но и это был лишь, так сказать, психологический аспект происходившей деформации. Для международных отношений более существенно то, что делалось в сфере вооружений. Тут многое и до сих пор остается секретом. Из последних советских публикаций, частично раскрывших военный баланс, а также из западных, прежде всего американских данных, явствует, однако, что именно эти годы стали периодом, наверное, самых интенсивных в послевоенной истории советских усилий в создании и накоплении всех видов вооружений—ядерных, сухопутных, военно-воздушных, морских и других. В результате по многим параметрам мы не только достигли абсурдно высокого потолка, к которому подтянули свои вооружения американцы, их военно-промышленный комплекс, но и превзошли его. Это относится к таким важным компонентам, как численный состав войск, количество танков, артиллерии и т. д., а также многих видов самолетов, подводных лодок и других систем оружия. Что касается ядерных вооружений, то мы превзошли американцев по числу носителей как стратегического оружия, так и оружия средней дальности и тактических ракет, его мегатоннажу и забрасываемому весу.

Это, во-первых, подорвало доверие к нам на Западе и уж, во всяком случае, позволило военно-промышленному комплексу США эффективно вести кампанию против разрядки. К концу 70-х годов возникли большие трудности на пути ратификации договора ОСВ-2 в сенате США. Мало того, наши действия, которые, по оценкам Запада, «превосходили разумные пределы обороны», серьезно подстегивали настроения в США в пользу нового рывка в гонке вооружений.

И второе последствие. В тот период яснее, чем когда-либо раньше, мы показали НАТО, что будем гнаться за любой военной программой, иногда даже отвечать на одну программу двумя или тремя. В Америке быстро поняли: пока валовый национальный продукт СССР в 3—4 раза меньше, чем у США и их союзников, открыт надежный и, главное, совершенно безопасный путь к подрыву мощи Советского Союза—экономическое истощение в безнадежном военном соперничестве. При Рейгане в первые годы его правления были сформированы концепции «конкурентной стратегии», планы военного строительства, имевшие целью «делать устаревшими прошлые советские капиталовложения в оборону», навязывать изматывающее нас соперничество в самых невыгодных, дорогостоящих сферах.

А мы как бы примирились с тем, что будем вести игру по американским правилам. Ответив такой концепцией паритета, которая, по существу, лишала нас возможности самостоятельно определять военную политику, мы как бы уступали американцам ключи от собственных оборонных программ.

К этому добавлялись некоторые просчеты, касавшиеся обороны в узловых регионах.

Один из таких просчетов—преувеличение угрозы со стороны Китая. Оно заставило нас сконцентрировать на Дальнем Востоке очень большие силы, что, в свою очередь, создало впечатление исходящей от нас опасности другой стороне и, естественно, вынуждало ее идти на аналогичные наращивания своих ядерных и обычных вооружений, а кроме того—подталкивало к политическому и военному сотрудничеству с Западом.

Другой просчет касался Европы. Мы ухитрились одновременно вести здесь две разные, даже взаимоисключающие политики. Одна—курс на разрядку, создание надежной системы безопасности и сотрудничества. И другая — лихорадочное наращивание вооружений, превышающее реалистические, разумные пределы. Притом подлинные размеры своих военных сил мы скрывали не только от общественности, но и от партнеров на переговорах в Вене, а это, естественно, еще больше подрывало доверие к нам.

В довершение всего во второй половине 70-х годов мы начали размещение новых ракет средней дальности—знаменитых «СС-20». Эта затея не только стоила нам многие миллиарды рублей, но и сплотила НАТО, позволила милитаристским кругам западных стран подстегнуть военные

приготовления и, в свою очередь, начать размещение в Европе американских ракет средней дальности.

Сейчас, когда этот вопрос решен с помощью «двойного ноля», мы достаточно ясно показали, что считаем решение о развертывании ракет «СС-20» ошибкой. Хотел бы отметить: многие наши специалисты и дипломаты видели это уже в 70-х годах. Мне представилась возможность высказать свою точку зрения на достаточно высоком уровне. Первый раз — в беседе с Громыко. Он меня внимательно и, как мне казалось, сочувственно выслушал, но промолчал. Собственно, я и не ждал от него ответа, понимал, что «положение обязывает» (но, помнится, именно тогда у меня впервые мелькнула мысль, что он побаивается Устинова). А вскоре удалось поговорить и с Андроповым. Он выразил недоумение: «Чем ты возмущаешься? Мы заменяем старые ракеты на новые — это дело естественное». Я ответил, что идет замена «одноголовых» ракет на «трехголовые», к тому же другие по типу, вызвавшая серьезную озабоченность на Западе. Все это просто не вяжется с разрядкой, Хельсинкским актом, переговорами о сокращении вооружений. И робко добавил: «Если уж нельзя обойтись без замены старых ракет, то, во всяком случае, нельзя, как раньше, все делать втихую: надо как-то объяснить Западу, что мы делаем, в чем наша цель и какое примерно количество ракет будет размещено». Вот здесь Андропов вспыхнул: «Ты что хочешь, чтобы мы объяснялись с каждой страной в НАТО, чуть ли не спрашивали разрешения у Запада на свои программы? Этого нет и не будет». Разговор оставил у меня нехороший осадок. Я не понимал вспышки Андропова. Уже потом пришел к выводу, что разозлился он именно потому, что убедительных возражений не нашел, к тому же он хорошо знал, насколько безнадежно поднимать вопрос в руководстве (не исключаю, что он тогда уже поддержал размещение этих ракет по каким-то тактическим соображениям — может быть, не желая портить отношения с Устиновым).

И еще один фактор, способствовавший подрыву разрядки во второй половине 70-х — начале 80-х годов, — болезнь Брежнева. Когда серьезно и долго болеет лидер страны, так серьезно и долго, что раз за разом прокатывается волна слухов о его близящейся кончине и возможных преемниках, очень большую власть забирает высший эшелон бюрократии. В том числе военный.

Мне кажется, будь Брежнев в нормальном состоянии, он не дал бы, например, согласия строить Красноярскую радиолокационную станцию. Тем более что Министерство обороны, вносившее вопрос «наверх», не скрывало, что ее местоположение нарушает договор ОСВ-1 (которым Брежнев, кстати, очень — и по праву — гордился).

В последние годы жизни Брежнева на решения военных, по существу, некому было и жаловаться. Делались прямо-таки невероятные нелепости — скажем, своего рода помешательство с устройством нашей гражданской обороны, огромными затратами на нее, вызвавшими очередной приступ военного психоза в США. Вспоминаю и свою работу в «Комиссии Пальме». С высоким руководством я советовался только в самых крайних, поистине исключительных случаях. Одним из них было согласование принципиальных положений окончательного доклада Комиссии, в частности, о безъядерном коридоре в центре Европы. Военные — маршал Огарков, а за ним Устинов, — ничего не объясняя, сказали категорически: нет. Попробовал пожаловаться Андропову, но он замахал руками: «Ты что, хочешь, чтобы я из-за тебя ссорился с Устиновым?» Пришлось самому выкручиваться. Потом мы этот «коридор» поддержали и даже выражали готовность освободить его от ряда других систем оружия.

В конце 70-х — начале 80-х годов мы, по существу, участвовали в «размонтировании» разрядки, помогли ее противникам в США и других странах НАТО начать вторую «холодную войну». Мало того, наша внешняя (как, впрочем, и внутренняя) политика в эти годы оказала заметное воздействие на расстановку политических сил, укрепила позиции правых и крайне правых в США и ряде других западных стран.

Словом, к 1982 году наша внешняя политика пришла с весьма плачевными результатами. Вовсю бушевала «холодная война», гонка вооружений достигла невиданной интенсивности.

Окончание следует

Надежда Ажгихина

РАЗРУШИТЕЛИ В ПОИСКАХ ВЕРЫ

(Новые черты современной молодой прозы)

Стоит ли бить посуду? Сдергивать скатерть с праздничного стола? Распевать в фешенебельной гостиной хулиганские куплеты? Приходить в дом к будущим родственникам, людям немолодым и несовременным, в коротких цветных штанишках? И вообще — кому это нужно — то, что говорят и делают герои последних кинофильмов и повестей, возмущающих нравственность читателя и зрителя изображением рискованных сцен и положений, испытывающих наш вкус полным небрежением к общепринятым языковым нормам, игнорирующих законы сюжетостроения и синтаксиса? Знак ли это нового направления в искусстве, дань ли неустойчивому периоду в нашем социальном бытии или примета беспомощности художника перед катаклизмами окружающей действительности?

Эпатаж — плохо ли это, хорошо ли — прочно утвердился на страницах литературной периодики, определил лицо выходящих альманахов и сборников. Эпатаж захватил жанры самых разнообразных искусств, пронизал все составные нашего сегодняшнего бытия. Звон разбитых черепков разносится от края и до края, явственно звучит и в парламентских дебатах, и в перегруженной пригородной электричке; в текстах специальных исследований и в популярных статьях, откликаясь в названиях — «От какого наследства мы отказываемся», «На руинах позитивной эстетики», «Крушение абстракций», — и подводит к кардинальным вопросам — «Почему трудно говорить правду?» и «Какая улица ведет к храму?» Метафорой состояния общественного мнения стало исполненное затаенной иронии, кочующее по страницам печатных изданий словечко «демонтаж». Демонтируется политическая и экономическая система, демонтируется идеология — организованно, согласно продуманным планам, по инструкциям, но и не только. Кому-то из современников не хочется ждать, когда будет доложено о выполнении планов по демонтажу (который, как и в романе А. Злобина, подарившем нам этот термин, удивительным образом начинает напоминать свою противоположность), и они принимаются крушить и ломать окостеневшие структуры, замшелые схемы самостоятельно, не соизмеряя свой порыв с руководящими планами.

Не так ли рождается нынешний эпатаж? Он импульсивен и непредсказуем, продиктован не столько разумом, сколько эмоцией. Ему недостаточно перестроить крышу и сменить интерьер, и даже выбросить в дальний чулан, сбросив с пьедестала, вчерашних кумиров. Эпатаж хочет немедленно не только уничтожить все изваяния идолов, не дающие свободно и вольно дышать, ему надо разбить саму память о них, живущую в отражении множества зеркал, нужно лишить идолов бессмертия.

Сегодня в литературной гостиной бьют «зеркала» авторы нового поколения, — того, что возмужало в период торжества застоя, штудировало сразу по трем дисциплинам произведения «Целина» и «Малая земля», а также преимущества экономики развитого социализма, провожало товарищей на афганскую войну, — поколения «нищих принцев» с тротуаров больших городов и ночных бабочек из лимитного общежития, комсомольских функционеров и завсегдатаев привокзальных ночлежек... О чем же хотят они поведать миру?

«...И когда они вместе вышли из дома, чтобы их не застукала сестра, Борис увидел дырку в заборе, которая переходила в дырищу бетонной трубы, и когда Петя с Борисом пролезли в дырку забора, они оказались в глубокой яме объема, они через пустоту проникли в глубину, они вместе оказались внутри Пети в коридоре у вешалки, и теперь они вместе целовались у Пети внутри, пригнув головы в трубе.— Поняла,— сказала она.— Здорово,— сказал он... И они еще раз вместе это повторили: пролезли через дырку забора в трубу».

Это **В. Нарбикова**, пожалуй, самая «громкая» среди молодых возмутителей стилистического и нравственного спокойствия. Чего стоят одни названия ее сочинений — «Около эколо...» («Юность», 1990, № 3), «Равновесие света дневных и ночных звезд» («Юность», 1988, № 8), «План первого лица. И второго» (в кн. «Встречный ход», объединение Всесоюз-

ная молодежная книжная инициатива, кн. ред. «Стиль», 1989). И главных героев зовут не просто Таня и Миша — Петрарка (сокращенно Петя) и Ездандукта, а то и вовсе — Тоестълстой (сокращенно — Тэешечка) и Додостоевский (Додо). И сюжет всех трех повестей кружится возле любовного треугольника, причем автор с особым вниманием задерживается на таких сценах, которые пуритански воспитанного читателя вгоняют в краску (при этом нарушая законы пунктуации и синтаксиса). Словом, эпатаж. Он немедленно был замечен — критики писательницу возносили и низвергали, обвиняли в отсутствии таланта и нарекали первой модернисткой пятилетки, и — коли уж решила она писать «про это» — дружно поставили во главу возрождающейся в отечестве традиции эротической литературы.

Между тем отношение В. Нарбиковой к этой традиции примерно такое же, как недавно ушедшего Вен. Ерофеева к книге «Рецепты дворянской кухни». Как в грустном повествовании «Москва — Петушки» качество дегустационного материала или количество нелитературных оборотов не главное, так и в прозе В. Нарбиковой не главное — неожиданная пунктуация или вариации на тему любви втроем. И нужно все это писательнице для того же, для чего рецепт напитка «Слеза комсомолки» ерофеевскому Венечке. Для чего же? Чтобы поведать об опыте заплутавшей в закоулках абсурда души, потерянной и одинокой, жаждущей света и гармонии и не находящей их.

Читая о суетном бытии и безбытности нарбиковских героев я узнаю черты неприкаянного житья моих сверстников — студентов начала 80-х, узнаю те же самые комнатухи, которые снимали. Я слышу обрывки тех же разговоров, вижу купленные в тех же букинистических магазинах книги с закладками на знакомых страницах. И узнаю то же отчаяние, духоту и пустоту, из которых, казалось, нет выхода. И очень хорошо понимаю, почему ни дружба, ни любовь, ни мудрость книг, ни даже нравственные императивы Нового завета не спасают героев,— по той причине, что, живя в обществе, нельзя не болеть его болезнями! Нельзя, прожив детство и юность в атмосфере тотального лицемерия и фантасмагории (мое двадцатилетие, например, должно было прийтись на полную победу коммунизма в отдельной стране), остаться свободным от лицемерия и абсурда. Оттого-то попытка спрятаться в уединении, в узком дружеском кругу, в личном не спасает. Путь к спасению и очищению в ином — в разрушении абстракций и ложных схем, прорыве к истинным ценностям. Его нельзя искать в одиночку. В этом и заключен основной, как мне кажется, пафос В. Нарбиковой. И я принимаю ее эпатаж, даже когда он раздражает многословием и самоповторами, и чрезмерностью самого приема (ну не нравится мне, что героя зовут Додостоевский!), потому что этот эпатаж с его чрезмерностью и издержками слишком «мой», слишком тесно переплетен с дыханием времени. И в контексте времени (и литературы) воспринимается не как фраза пресыщенного эстета, но как крик отчаяния потерянной и доверчивой души.

Крик отчаяния составляет основу эпатажа и другой «скандальной» дебютантки — **Е. Сазанович.** Ее повесть «Прекрасная мельничиха» («Юность», 1990, № 1), написанная в нервном, рваном ритме, столь же смело вторгающаяся в законы синтаксиса, сюжетом своим восходит к легенде о Мефистофеле. Правда, расплачиваясь за познание земных благ (свободы, счастья, любви), юная героиня теряет не свою бессмертную душу — такое понятие в ее мире, похоже, просто отсутствует,— а годы жизни, молодость и красоту. И еще одно отличие от традиции — она ничуть не терзается сомнениями перед страшной сделкой. Почему же героиня, вполне благополучная городская студентка, решается на такой шаг? Почему уверена, что в обычной, нормальной жизни не узнает ни свободы, ни любви, не поймет, для чего родилась? Не выкует, наконец, счастье собственными руками? Да потому что тот мир, который ее окружает, не предназначен для счастья, это тот же мир абсурда и неискренности, что и в прозе Нарбиковой, где все предначертано и скроено по стандарту, где для живой души попросту нет места. К старухе-колдунье она бежит от этой неискренней, неистинной жизни, от ощущения собственной потерянности и ненужности — так не все ли равно, какой ценой достанется глоток чистого воздуха? И взгляд ее подкупающе-наивный, и крайний эгоизм, и инфантильность — все напоминает черты героини фильма «Маленькая Вера», и тех ребятишек, которые ничуть не стесняясь дают интервью программе «...До 16 и старше», говоря о своей бесприютности, о том как начинали курить марихуану и пугали вечерами одиноких прохожих...

И В. Нарбикова, и Е. Сазанович бьют наотмашь по зеркалам, в которых отражается розовощекий образ счастливого юноши, шагающего к торжеству светлого будущего. По тем зеркалам, которые высвечивали победный путь к коммунизму в 80-х годах. Зеркала оказались кривыми... Современник, которому широким экраном и массовыми тиражами внушалось, что он находится в преддверии горних высей, вдруг понял, что его завели в комнату смеха. И, почувствовав себя обманутым, захотел немедленно расколотить вдребезги все подернутые розовой дымкой стекла. Странно ли, что ему захотелось разрушить и саму мастерскую по производству кривых зеркал, где создаются эталоны и выверяются пропорции? Где возникает стиль.

В давней статье «Что такое социалистический реализм» А. Синявский назвал стиль нашего славного метода родным братом классицизма — та же монументальность и неулыбчивость, нормативность и господство авторитарного слова. Современная «эпатажная» проза молодых — это прежде всего реакция на стиль, отрицание его констант, насмешка над ними. «В городе такая осень, если осень, то какая? «Прекрасное» солнце, двигаясь по «роскошно синему» небу, так прямыми лучами и осветило развороченную грязь: ямы, доски, набухшие от дождя бумажки, и ветер, пройдясь по мусорным ящикам таким «легким» порывом, усыпал асфальт арбузными корками, косточками и огрызками — всем, на что так «щедра» осень». Авторитарное слово, приторный штамп такая проза заменяет словом эпатажным, пытаясь найти опору в иных традициях — «артистической прозе» 20-х годов, «ритмопрозе» А. Белого и, конечно, В. Набокова, зарубежных писателей. Но, пожалуй, ближе всего нынешним дебютантам опыт недавних предшественников — В. Аксенова, А. Зиновьева, В. Войновича, Абрама Терца и, разумеется, Вен. Ерофеева и идущих следом В. Пьецуха, Т. Толстой, Е. Попова...

Язык последних «громких» повестей напоминает пестрое цыганское покрывало — эпатажное слово разностильно; отталкиваясь от штампа, оно не тяготеет к какой-то одной традиции, но отражает поиски нового стиля, созвучного времени. Сама манера эпатажа в них более всего напоминает барокко (повесть, например, А. Моршина, так и называется — «Нарышкинское барокко»). Та же избыточность форм, подчеркнутое внимание к детали, расцвеченность ее — в противовес отжившему «монументализму». И та же опасность замкнуться в формальной избыточности, в самом эпатаже, игре. «Постсоцреалистическое барокко» молодой прозы — своего рода группа риска, передовой отряд разведки боем, без которого не состоится наступление по всему фронту — наступление на еще возвышающуюся в нашей литературе крепость нормативности и творческой несвободы.

Знаком современному читателю и другой «отряд» молодых прозаиков, бросающих вызов нормативу. В недавних повестях и рассказах об армии вместо барабанов и литавр звучали горечь и боль потерянной молодости, попранного человеческого достоинства. Открывался не только новый материал, но и непривычный угол зрения — позиция не бойца-молодца, эдакого конкистадора с праздничного плаката, но позиция побежденного. В столкновении личности и принципа высшей целесообразности первая всегда оказывается побежденной. Сегодня такой угол зрения прочно утвердился в молодой прозе — и не только армейской или «афганской». **О. Клинг** в своем «коротком романе», как он его обозначил, «Невыдуманный пейзаж» («Дружба народов», 1989, № 2) обратился к судьбе немецкой семьи, волею «высшей целесообразности» перемещенной с обжитых мест в казахстанские степи. Появление автобиографического повествования о драматических событиях сталинского «интернационализма» закономерно: после произведений А. Приставкина и С. Липкина в печать должны были прорваться голоса молодых свидетелей. О. Клингу недостаточно быть только свидетелем. Мытарства героев вплетены здесь в историю страны, в судьбе Данков отзываются события политической и идеологической жизни великой державы, и герой, взрослея, понимает свою неотрывность от нее. Казалось бы, рассказ о детстве, но в какую полемику с традиционными произведениями вступает! Действие происходит в затерянном среди солончаков и степей целинном поселке — однако здесь нет привычных примет целинного энтузиазма, а есть пот и слезы, изнуряющая черная работа и пьяная поножовщина. В романе заговорили не только Данки и не только все депортированные советские немцы, но все униженные и угнетенные идеей государственной целесообразности люди, все, чьи надежды были растоптаны и развеяны, и будущее безрадостно. Их суд самый строгий — суд с позиции слабого.

Такой суд вершит проза «нового реализма», высвечивая все новые и новые закоулки нашего социального бытия. Вторгается в солдатскую казарму, в рядовую столичную школу, в кабинеты райкомов комсомола, в переполненную больничную палату, в котельную, где нашли приют «бомжи», на кладбище. Вместе с «белыми пятнами» авторы-дебютанты стали открывать и новых персонажей — и те вошли, не спрашивая ни у кого соизволения, в литературную гостиную. Первыми здесь расселись люмпены, вольноотпущенники Вен. Ерофеева. Симпатичные могильщики С. Каледина и бичи-философы В. Пьецуха возникли здесь не как социальные типы, а как литературные герои, наделенные по воле авторов особыми полномочиями. Отторгнутые (или ушедшие?) от «нормального», благопристойного мира, они оказывались наиболее нормальными и нравственными в мире, который жил лицемерными волчьими законами «дна». Эти персонажи нужны были, чтобы обнажить мир абсурда, перевернутый и неистинный мир, чтобы напомнить о безусловных ценностях и основах. Но вслед за ними появились и реальные обитатели «дна». В рассказах молодых о буднях и досуге малолетних проституток, начинающих грабителей, о подростках, заполняющих пустыри и глухие переулки, нищих духом и проклятых соседями, не встретишь сурового приговора — они больше всего напоминают черно-белые фотографические снимки с натуры. Авторы как будто просят нас вгля-

деться повнимательнее в нетронутые рефлексией и высокими порывами лица, увидеть в них обреченность на одиночество и печаль: ведь все они — тоже наши братья...

Эта интонация звучит в рассказах **С. Василенко**. «Кто их полюбит?» — задает она вопрос, обращенный ко всем нам, повторяя его в финале и в заголовке рассказа о неведомых миру трагедиях в недрах забытого богом лимитного общежития («Работница», 1989, № 10). Вопрос этот отнюдь не риторический. Проза писательницы, густо заселенная людьми «нефешенебельными» (героиней одного из рассказов, например, она выбрала немолодую и беспутную алкоголичку Тамару («Гены смерти» в сб. «Встречный ход»), обладает особой чувствительностью к чужой боли, чужому страданию, неприкрытому и часто безобразному, способностью переживать чужую беду как свою собственную. Это проза реалистическая. Но опять-таки по-новому реалистическая. В основе ее так же, как и в основе «постсоцреалистического барокко» лежит отрицание старых догм и одиннадцати заповедей (мы все их зубрили еще в средней школе, не надеясь понять) социалистического реализма. Ей так же претит авторитарное, выморочное слово, но в соответствии с творческой задачей и материалом, в прозе «нового реализма» оно заменяется не словом игровым и эпатажным, а словом живым, звучащим в толчее вокзалов и очередей, коммуналок и станционных буфетов. Живое слово вторгается в ткань произведения, фраза, построенная по принципу разговорного, полного инверсий и зияний высказывания, становится рядом с фразой чисто литературной, и возникает неожиданная объемность, вмещающая воздух времени, его сбивчивое дыхание. И рушатся крепостные башни «социалистического классицизма», рушится стиль, стилистические и идеологические константы, само нормативное, воспитанное в ожидании приказа мироощущение. За временем дисциплины и нормативности в искусстве, похоже, наступает пора свободы и вольного творчества. Какое место займет здесь проза «нового реализма»? Проза приверженцев «барокко»?

Хотелось бы разглядеть в талантливой молодой прозе нечто, что составит ее силу и славу — не знамение эпохи, а открытия непреходящие. То, чего ей пока недостает. А недостает, на мой взгляд, веры и любви и того чувства меры и гармонии, которые присущи произведениям, пережившим время. Есть ли в творчестве дебютантов хоть какие-то предвестники будущих обретений? Мне кажется, да. Прежде всего потому, что у авторов самых разных пристрастий звучит явственно одна нота, которую я бы определила как потребность в вере. И звучание это в значительной мере характеризует сегодняшнее мироощущение. Ничего удивительного в этом нет — ведь без духовных опор, которые дает вера, ни личность, ни общество долго жить не могут. А мы как-то ухитряемся жить довольно долго (нельзя же всерьез полагать, что в застойные годы мы поголовно верили в рай развитого социализма). Но и в королевстве разбитых зеркал, поверженных идолов и сокрушенных абстракций больше жить не хочется. И оттого надеюсь увидеть в новой прозе не только новизну формы, вспаханную целину социального пространства, но и пути к неким духовным высотам, некие точки опоры. Не оттого, что по-школярски признаю за литературой единственное право и долг быть учебником и поводырем-пастырем, а оттого, что, не имея этих опор, невозможно прийти ни к личному, ни к общему духовному обновлению, а ведь именно его торопят авторы нового поколения. И положение их весьма драматично. Ведь за недолгий свой век они были свидетелями распада многих основ и опор, подспудного подчас, не всем и не всегда заметного. Мы вырастали в пору, когда подгнивала не только идеология, в которую еще нередко сохраняли (и сохраняют) веру наши родители, вдохнувшие будоражащий воздух «оттепели», рассыпались, разрушались нравственные, человеческие связи... Боюсь, прозаиков нового поколения уже не сможет вдохновить маячащий за горизонтом коммунистический идеал — слишком бесформен он, слишком часто эксплуатировался, слишком много на нем крови. Как едва ли увлечет стремительно преобразующий жизнь (правда, в основном зарубежную) технический прогресс. Не думаю, чтобы всерьез захватили их и идеи национального возрождения (хотя некоторых авторов они питают, но воспринимаются все-таки как реакция на долгое замалчивание национальной темы). Может быть, не устремляться на поиски новых религий, а обратить взор на те, которыми тысячелетия жили люди — и литературы?

Повесть **О. Николаевой** «Инвалид детства» («Юность», 1990, № 2) осторожно вводит в литературный обиход непривычный современнику материал. Действие происходит вблизи монастырских стен, и персонажи, которым сопутствует авторская симпатия,— монахи. Понимая особый интерес к «нетрадиционной» теме и неподготовленность читателя, автор тактично и подробно (подчас — чересчур подробно) знакомит с атрибутами монастырской жизни, распорядком дня, беседами со «старцем». И сводит под этими стенами, столь знакомыми по произведениям классиков, два мира: мир монастыря и собственно «мир», современный, раздерганный, суетный. И задается вопросом: для всех ли приемлем путь под монастырские своды? Для юного героя повести, вчерашнего фарцовщика, мечтающего приобщиться к божественным делам, Александра, похоже, что нет. Мне лично кажется, он бесконечно далек и от святости, и от христи-

анства как такового; побег в пустынь для него то же самое, что для более старших был в свое время побег «в хиппи»,— не более чем знак протеста и неприятия взрослого мира. Вера для Александра, как и для многих сегодняшних поклонников традиционной мистики,— что-то вроде прогулочной тросточки, на которую удобно и приятно опереться. Потому не преображает она душу героя, не спасает. И не случайно отец Иероним, духовный наставник, посылает его назад, в «мир», где нужны его любовь и сострадание куда больше, чем в келье. Повесть обращена к очень тонкой области сегодняшнего мироощущения, рожденной, как и многие другие, тем же тотальным отрицанием существующих нормативов. Современник сегодня склонен сомневаться не только в постулатах исторического материализма, но и в материализме как таковом (не отсюда ли повальная страсть к шаманству, перекочевавшая на всесоюзные экраны, растущие, как грибы, общества уфологов и специалистов по палеоконтактам — встречам с инопланетянами?). О. Николаева предупреждает о вполне реальной опасности «игры в религию», которая уже потихоньку просачивается в общество, игры пустой, бесполезной и безнравственной. И неожиданно предлагает выход, указывает иной путь, давно известный и начисто забытый. Это — любовь. Та, во имя которой отправил в «мир» непутевого Александра отец Иероним, потому что бог — и есть любовь. Любовь примиряющая и сострадающая, деятельная (вспомним Льва Толстого и его «любовь-удовольствие» и «любовь деятельную»). Та, единственная, быть может, сила, которой суждено уберечь современный мир от катастрофы — и ядерной, и духовной.

Главным пороком «социалистического классицизма» — и преступлением — было не только попрание прав художника и возведение мифических конструкций, но то, что он лишил литературу и ее героя той деятельной и всеохватной любви, которая и создала великую русскую классику. Наш метод оставил «любовь-удовольствие», отведя ей служебную роль в строительстве будущего, но искоренял всеми средствами, используя при этом всю мощь государства и его институтов, любовь, не имеющую классовых интересов и границ, любовь к врагу, к оступившемуся, к страждущему («если враг не сдается...» — помните?). Любовь, наконец, ко всему сущему и живому («мы не можем ждать милостей от природы»!). Мы все — во всех ипостасях социальной жизни — расплачиваемся сегодня за это отсутствие любви. Расплачивается и литература. Не лежит ли путь к обновлению ее через познание деятельной любви? Которая и станет абсолютом, точкой опоры, расцветет над обломками разбитых зеркал, как невесть откуда взявшийся дикий полевой цветок на пепелище, молчаливо напоминая о вечности и великом многообразии проявлений жизни, о неподвластности ее законам войны, законам схемы, о ее непознанности и могуществе.

Законы любви помогут — уже помогают, это ощущается в текстах произведений, о которых здесь шла речь,— новой молодой прозе обрести уверенность, бóльшую широту взгляда и глубину понимания действительности. Они помогут преодолеть безверие и избыточность эпатажного слова, равно как избыточность натурализма, подведут к подлинным открытиям, к обретению нового, созвучного времени стиля.

Ради будущих открытий, ради освобождения из-под обломков ложных абстракций и поверженных идолов и бьют сегодня молодые прозаики фальшивые «зеркала».

Александр Морозов

МЫ И ХУДОЖНИК

— Ну и как нынче поживают художники, что интересного в отечественном изобразительном искусстве? Тема не слишком привычная для литературно-художественного журнала. Но, боюсь, по тону разговор вряд ли получится оригинальным. Все та же оскомина горечи, боли...

— Не довольно ли, право? Кругом столько важных проблем, а тут еще ваши художники. Ну что особенного с ними стряслось? По звонку на службу не бегают. Денежки гребут — ого-го! Подступись-ка к картине, цены в сотни рублей, а то и в тысячи. Кайфуют в своих «ателье». Из-за границы не вылезают. Нам бы так!

Что ж, бывает. Удается кое-кому из профессиональных художников раз в жизни своими глазами увидеть Парфенон или Лувр. Картину можно продать за несколько тысяч. Да писать ее надо месяцы, а то и годы. Так что средний заработок художников не дотягивает до ста пятидесяти. Мастерская? А как без нее? Нельзя же писать крупный холст в квартире, где потолок ниже трех метров, где стены пропитываются едким запахом краски и повернуться немыслимо из-за старых работ. Нельзя, но у нас пишут. А если ты скульптор, имеющий дело с камнем, металлом, да хоть бы и просто с глиной? График, которому надо травить кислотой печатные доски? Между тем в одной Москве членов Союза художников, не имеющих мастерских, сотни. Те же, кому повезло, ютятся чаще в условиях самых жалких, по подвалам, по развалюхам. Да и их норовят отобрать у художников городские власти.

Говорю это, чтобы вы хорошенько представили, «из какого сора...». Дальше. В стране не хватает выставочных залов: не во всяком городе есть хотя бы один. Да и оборудованы они, как правило, хуже некуда, нищи, холодны, и публика туда явно не рвется. Очень мало магазинов-салонов. А художественные материалы — то, из чего и чем делается произведение? Вы, к примеру, не пробовали купить ребенку набор красок? Приходилось? Значит, знаете, как это непросто. Нет холста. Нет бумаги, кистей. Нет, нет, нет...

И тут ситуация обнаруживает нечто давно знакомое: постыдный развал культуры в стране. Однако травмирует не только то, чего нет. Иной раз еще хуже обстоит дело с тем, что есть, создано. Конечно, ценность искусства в деньгах выражается лишь относительно. Но разве не дико, если в запасниках пылятся художественные произведения на миллионы и миллионы рублей? И вовсе чудовищно, когда после кончины художника наследие его оказывается ненужным. Никому. А ведь бывает, что оно расхищается. Работы даже выбрасываются на улицу. Вот уж поистине «невостребованность таланта» в самой варварской форме! Форме сверхсимволичной, ибо, помимо материальных бед, это указывает на глубокие изъяны в нашей духовности.

ХУДОЖНИК НА ВЕТРУ ПЛЮРАЛИЗМА

Теперь все привыкли к разным «черным» историям. Так что же, добавим для полноты коллекции пару сюжетов из быта художников и двинемся далее с утешающей мыслью: пардон, это проблемы не наши? На то — учреждения культуры, творческие союзы... Разговор о них впереди. Но сначала надо бы оглянуться на себя самих. Слишком многое определяется отношением общества к творцу; тем, чего мы с вами ждем и требуем от художника и от искусства. А между прочим, мы — это кто? Автор — искусствовед, его приятель — инженер, рабочий с соседнего завода, продавец винного магазина? Но ведь у всех нас чрезвычайно разные интересы, каждый видит вещи по-своему. И все же, сколько можно судить, ко всем нам вместе и по отдельности имеет отношение категория «МЫ» — в том смысле,

какой разумеет Евгений Замятин: вспомним одноименный роман, появившийся менее чем через пять лет после 1917-го.

К чему об этом сегодня? Разве тотальное насилие над умами и душами не оставлено темному прошлому? В государственном плане — пожалуй. Но на уровне психологии, коллективного и личного сознания еще живо многое из того, что закладывалось десятилетиями. Духовной деградации не удалось избежать ни одному из слоев советского общества. С этим впрямую связана крайняя узость наших художественных запросов, неподатливость на свежие, нестандартные впечатления, доходящая нередко до агрессивного неприятия.

Допустим, колхозному механизатору не до художественного гурманства. Так уж сложилось в социалистическом обществе, где «искусство принадлежит народу». Сравним состояние музеев и галерей, уровень эстетического воспитания у нас и в капиталистических странах. Контраст ошеломляющий; в чью пользу, объяснять, полагаю, не требуется. На деле искусством наш зритель обделен, и не его в том вина. По крайней мере не его в первую очередь. А что же интеллигент? Наблюдая, как он ведет себя, скажем, на выставке, неожиданно понимаешь: ему тоже «не до изысков». Как так?! А вот так — по привычке, да и из идейных соображений. Те самые «МЫ» органически не расположены к многомерности мысли, чувства и творчества. К тому, что сегодня именуется плюрализмом в духовной сфере.

И удивительно ли? Еще два-три года назад само слово «плюрализм» считалось «наверху» политическим криминалом. Вся наша идеологическая рать, пристроившаяся к кормушке «борьбы с ревизионизмом» (фактически с любыми движениями нешаблонной мысли), готова была «разобраться» сурово с каждым подозреваемым в «ереси». И «разбиралась», «отлучала» по мере сил, благо их было не занимать стать. Сейчас из-под этой практики выбита официальная политическая опора. Но дело-то сделано! Мы прочно привыкли к скудной однолинейности запросов и вкусов. Привыкли к духовному нищенству — и с какой уверенностью часто его защищаем! Не поразительно ли: люди искусства у нас говорят о «плюрализме» по меньшей мере иронически, а то и похуже; прямо-таки физически на этом слове спотыкаются. Ну никак не дается оно. А казалось, что стоит заменить иноязычное родными «многообразие», «множественность»... Слова не идут на язык оттого, что не свыклись с выражаемыми ими понятиями. И это тревожит особенно, коль скоро речь об интеллигенции.

Вот откуда многие печальные парадоксы нашего времени. Задумаемся о следующем. Теперь начальники от культуры склонны поощрять разные художественные тенденции. Каких только нет выставок! Все извлекается «с полок», из подвалов и чердаков. Публика увидела наконец отцов русского авангарда Малевича, Кандинского, Филонова, яростно гонимых в продолжение полувека. Возвращаются имена нашего зарубежья: Неизвестный, Шемякин. Годами не выставлявшиеся Сидур, Борис Биргер недавно показаны в престижных залах. О них говорят, пишут. То же ЦТ дает в эфир «Черный квадрат», фильм, связывающий классику революционного авангарда с неофициальным советским искусством пятидесятых — восьмидесятых годов. Чаще слышны голоса всяческих «молодых дикарей», как симпатичных, так и не слишком, кого прежде и близко не подпустили бы к официальной художественной жизни. Кажется, все хорошо. Хорошо, что вливаются новые силы, что канули в небытие идеологические табу, что непривычность пластического языка уже не дает повода к карательным мерам. Теперь за «инаковидение» не давят бульдозерами, не громят с высоких трибун. Хорошо! Это завоевания — без преувеличения — исторические. Но что же художник? Наш нормальный средний художник настроен совсем не оптимистически. Зачастую он просто растерян, подавлен. Вы услышите от него: «Да, сегодня все можно; работать могу как вздумается. Но искусство мое никому не нужно!»

Кто этот человек? Безыдейный мещанин, антиперестройщик? Да нет, он чаще всего и талантлив, и прогрессивен. Но он мучительно ощущает: многие ценности сегодня как бы становятся безразличны жизни, многие голоса в ней намертво глохнут. В том числе голос искусства. Читая критиков, коллег по департаментам литературы и кинематографа, замечаю: те же проблемы. В чем их корень? Только ли в тех дефицитах, с которых мы начали разговор? Куда более ранит художника отсутствие общественного внимания к самобытной творческой индивидуальности. Пусть появятся завтра деньги, технические возможности — крайне необходимо, чтобы они появились. Но и тогда наши внутренние, духовно-нравственные, психологические деформации не исчезнут. Общественное же сознание таковыми озабочено меньше всего. Мы яростно спорим о лозунгах и позициях, платформах и реформах. А много ли значит в океане политических страстей такая странная штука — душа художника? И разве только художника? Вообще «я» человеческое, с его какими-то нетиповыми стремлениями, особым способом бытия, своим пространством?

ЧЕГО МЫ ХОТИМ ОТ ИСКУССТВА?

Увы, право личности никогда не бралось в расчет обществом административного социализма. Мы все мыслим суммарными категориями. Разве не так? Укладываешься в сетку общепринятых в данный момент «приоритетов» — дело пошло, ты «в игре». Но заглянем в себя: до чего же узок набор наших стремлений и интересов! Здесь любопытна область «рекламы и информации», вот хоть приложение к московской «Вечерке». Что людям надо? Звуко- и видеотехника. Мебель. Собаки. Ну что там еще? Разве вот «укрепление и обивка дверей»... Запросы легко перечесть по пальцам. Вы скажете: грубая материя, потребительский мир. А так ли разительно отличается структура духовных влечений? Казалось бы, наша многомиллионная публика — сколь она должна быть многолика! Ничего подобного. Не претендуя на социологическую выверенность, замечу: три типа зрителя определяют у нас шкалу запросов к искусству. Всего т р и — три модели на гигантскую массу людей.

Первый тип. Назовем его наивным зрителем. Тут люди разных возрастов и профессий, единые в главном. Они приходят на выставку для развлечения и вовсе не ждут от нее ничего серьезного. Удовольствия от искусства хотят легкого и бездумного. Такой зритель благодарен художеству красивому, забавному, трогательному и привычному — похожему на натуру, но идеализированному по сути. Способному ласкать глаз.

Второй тип. Меньшая, но заметная часть публики, которая ждет впечатлений как раз противоположного свойства. Несходных с обычной жизнью, неординарных, еще лучше — экзотических. Чего-то «патентованно нового». Такой подход распространен в среде научной, технической интеллигенции, среди молодежи. Здесь ценят художника, выбивающегося из повседневной нормы и поднимающего над нею своих поклонников. Охотно принимают всяческие контркультурные тенденции, возникающие в «неофициальных» кругах. Тут повышенный спрос на нонконформистские лозунги, на «авангард», хотя не всегда есть понимание его природы и языка.

Третий тип — «идейный». Как правило, гуманитарная интеллигенция, учительство, коллеги из смежных видов искусств, литераторы, журналисты. Они пришли на выставку со сложившимися представлениями о Миссии Искусства, его воспитательных, идеологических задачах. Есть оттенки в позициях этих зрителей. Часть склонны думать, что искусство полезней тогда, когда оно служит вечным ценностям, следует традициям. Другие ждут от художника актуальности темы, ищут в его работе созвучия страстям и лозунгам дня. Тех и других роднит априорное убеждение в ф у н к ц и о н а л ь н о с т и искусства.

Никого не стремлюсь задеть своими наблюдениями. Все зрительские установки, наверное, по-своему оправданны. Искусство многое может. Может и развлекать, и воодушевлять, и выступать как учитель жизни. Вопрос в другом. Наши требования к художнику обычно не только стандартны, но и односторонни, да к тому же мы чересчур твердо усвоили, каким д о л ж н о б ы т ь искусство. Тема ответственности искусства в нашей стране — из рода любимейших. Не случайно во всяком собеседовании у картины мы рано или поздно заявим: «Но ведь художник же должен!..» Иными словами, мы менее всего расположены к равноправному диалогу с произведением либо автором.

Вот оно следствие идеологической работы, которую «проводили» среди не одного поколения советских людей. Если из них не вытравили тяги к искусству, то притупили желание и готовность расслышать слово художника. И это, пожалуй, в наибольшей мере касается искусств пластических, чьи «родовые» ценности весьма сложно, как бы боком, соотносятся с господствующими житейскими приоритетами. Право, всем известное «...а песни довольно одной...» очень многое определяет в нашем сознании. И не приходится удивляться, если многие советские художники чувствуют себя неинтересными, ненужными обществу.

Они словно лишние в жизни — притом что внутренне активно обращены к этой жизни и людям. Однако о чем они намерены говорить с нами? О красках и впечатлениях, о том, как греет руку шершавое дерево, об удивительности материи, о бесконечном, странном и уникальном мире, о том, чего еще никто не приметил в нем, кроме живописца Б... Но нам же совсем не до того, нас это не трогает! И мы теряемся, мы гневаемся, не понимая художника. Э, думаем мы, тут дело плохо; что нам подсовывают; дв он обманщик, халтурщик, а может... враг? Реакции политически выдержанные у нас хорошо отработаны, да еще как бы освящены философией социалистической демократии. На самом же деле это следствие гомерических доз демагогии, вкалывавшихся обществу реального социализма. Вспомним: по Ленину, культурная революция должна была в первую голову у ч и т ь, готовить людей к восприятию ценностей культуры, художественных в том числе. Сталинские идеологи внушали иное: «наш народ» с его здоровым чутьем (классовым) и так отлично разбирается, что к чему, где свое, где чужое. «Искусство должно быть п о н я т о массами»? Ну, нет! Оно «должно быть п о н я т н о массам» — и баста. То есть с порога понятно людям, таким, каковы они есть; а если непонятно искусство, значит, рассуждая логически, его «не должно быть».

Далеко не лингвистическим оказывается известный «спор о словах», спор о том, как переводить хрестоматийную фразу Ленина, разгоревшийся в шестидесятые годы. За принятым в сталинские времена переводом скрывался чрезвычайно весомый умысел. Тут преследовалась двойная выгода. С одной стороны, не надо было слишком тратиться на образование и культуру: зачем учить, когда и так все «понятно»? И вот мы имеем «остаточный» принцип материального обеспечения духовной сферы, который держит общество за горло до сего дня. С другой стороны, чем трудней жилось людям в действительности, тем назойливее вбивались им в голову иллюзии, фальшивые амбиции; к тому же создавалось демагогическое оправдание для расправы с инакомыслящими. Со всеми, кто так или иначе, реально или в потенции, был способен разоблачить лживое процветание. Все это известно; не стоило бы и повторять, если бы суррогаты сознания, сорняки псевдонравственности, псевдодуховности, псевдодемократизма, порожденные тоталитарным режимом, и сегодня еще не определяли многое в нашем мироощущении.

В исторической драме советского общества — одно из объяснений неразвитости нашего теперешнего художественного сознания. Ведь даже как будто освободившись от дурмана школьной «марксистско-ленинской эстетики», мы боимся искать в искусстве — Искусство. В частности, и в искусстве изобразительном мы обычно желаем видеть что-то совсем иное. В лучшем случае литературу, религию, философию; в худшем — ублаготворяющий наркотический порошок. И если в нашем обществе есть «социальный заказ» на литературу или идеологию, то на пластические искусства, а говоря более точно, на труд современного художника... Сказать, что спроса на него н е т, скорее всего будет лишь небольшим преувеличением. Его нет даже среди интеллигенции, что особенно печалит. Отчего, например, у нас в газетах, журналах, на телевидении полностью отсутствуют периодические обзоры художественных событий? Ведь, например, в старой России еженедельное рецензирование выставок было обычным делом для всех солидных газет.

Когда же нынешняя периодика «через не хочу» обращается к изобразительному искусству, она зачастую читателя дезориентирует, внушает представления, здравой критики не выдерживающие. Таковы, мне думается, иные выступления «Огонька» о нашем современном искусстве. Взять, например, огромное интервью с И. С. Глазуновым, появившееся в журнале, чьи политические позиции я вполне уважаю. Текст этой беседы далек от взвешенной объективности, какую обнаруживает «Огонек» в опубликованном ранее интервью с «живописцем вождей» Д. А. Налбандяном. Разговор с Глазуновым ведется проникновенно, сочувственно, и многие его утверждения подаются как нечто бесспорное. Стиль полемики мэтра воспроизводится во всей красе, когда тот обличает скопом искусствоведов («импотенты учат производителя»), когда «изобличает» коллег, занятых поисками вне традиции («иван- и абрамгардизм»). Это, допустим, в логике жанра «интервью без комментариев». Однако, кажется, интервьюер фактически солидаризуется с неисторичными и крайне тенденциозными оценками советского революционного авангарда, даваемыми Глазуновым; с подчеркнутым пиететом ведет разговор о его общественной деятельности. Особенно в связи с учреждением Всероссийской академии художеств. Журналисту не худо бы знать, что И. С. Глазунов уже имел отношение к одному «проекту века». Он был директором Музея декоративного искусства народов СССР, который предполагалось открыть в Царицыне. Тогда речь шла, естественно, о реставрации знаменитого архитектурного комплекса. Реставрация далеко не закончена и сегодня; музей все еще в утробной фазе первоначального становления; мэтра сие давно уже не занимает. Настал черед нового ошеломляющего начинания — академии для русских художников-реалистов. И станет молодых учить ректор, чье кредо — борьба с «марксизмом и сезаннизмом» — выглядело бы как пародия, если бы не имело в нашей общественной ситуации вполне зловещие оттенки? На этот счет «Огонек» читателей просветить не пожелал...

А журнал «Молодая гвардия» в начале текущего года опубликовал «создание» ленинградца И. Г. Бородина. Дилетантские изображения пошли в дело, видимо, оттого, что «разоблачают» столь ненавистный журналу сионистско-масонский заговор «прорабов перестройки», якобы оккупирующих всю остальную прессу страны. По стилю и духу Бородин в русле течения, бесспорным лидером коего может быть назван И. С. Глазунов. Подобный казус стал возможен по причине единственной. Заботясь о чистоте политической и литературной платформы, наши массовые издания бездумно девственны в вопросах культуры художественно-пластической. Для развития отечественного изобразительного искусства это подобно стихийному бедствию. Как выжить художнику, которому претят дилетантство, спекулятивность, в стихии, где властвуют лжесвятые и интермальчики? Как быть художнику, если сегодня он не встречает понимания даже в собрате-интеллигенте? Но ведь раньше художники как-то обходились без массового сочувствия?

КАК ОНО ВЫЖИЛО?

Дело вот в чем: жизненной опорой нашего искусства в последние тридцать лет было цеховое товарищество. То самое, которое, скажу сразу, переживает сегодня глубокий кризис. Интересна в этой связи история Союза художников СССР. Сейчас творческие союзы принято обличать. Они возникли, слышишь на каждом шагу, как проводники политики сталинизма в искусстве. Тут немалая доля истины. Но истина все же сложнее.

Прежде всего, такие суждения чересчур неконкретны. Был, например, особый, хотя и краткий, лишь два первых года после апрельского Постановления ЦК 1932 года, период: очень многим людям искусства появление единых союзов виделось тогда несомненным благом после идеологического террора рапповщины и рапховщины, парализовавшего прежние художественные группировки. Такие «попутчики», как Булгаков, Платонов, подвергавшиеся преследованиям в духе сталинской теории обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму, облегченно вздохнули. Но ненадолго. Увы, то был маневр власти. Прав был Павел Филонов, сразу почуявший новую угрозу в «перестройке литературно-художественных организаций». Все сплеталось в единый узел. С насаждением «единого» творческого метода — соцреализма, подпираемого догматами «партийности» и «народности» советского искусства; с учреждением Комитета по делам искусств при СНК в январе 1936 года и немедленно начавшимися кампаниями против виднейших музыкантов, кинематографистов, художников, деятелей театра — преддверием 1937-го для творческой интеллигенции страны,— творческие союзы становились инструментом закрепощения искусства, а отнюдь не легализации разных творческих направлений. Такова была роль, уготованная им в политической системе административного социализма. И все же реальность оказалась не столь однозначной. По крайней мере Союзу художников кое в чем повезло.

Если писатели уже в 1934 году получили единую общегосударственную иерархическую структуру, то деятели изоискусства на протяжении двадцати лет были интегрированы не столь жестко. Были образованы их союзы в Москве, Ленинграде, еще некоторых больших городах, в ряде республик (однако СХ РСФСР не было). И не было единого высшего звена на всю страну. Правда, перед войной создали Оргкомитет ССХ, но он не влиял на процессы активно. А сразу после войны официальная элита художников получила исключительный статус и гарантированные возможности: ей была «дарована» Академия художеств СССР. С определенной точки зрения идея общесоюзной конторы для всех советских художников утратила актуальность. Ареопагу государственных соцреалистов она была не особо нужна, скорее наоборот. Действительное становление СХ СССР, и это важно заметить, приходится лишь на годы «оттепели», после XX съезда партии.

Что же явилось движущей силой новой структуры? Близость стремлений, мощное взаимное тяготение поколения молодого, будущих «шестидесятников», и лучших мастеров старшего. Благородную роль здесь сыграли Сергей Васильевич Герасимов (не путать с Александром Герасимовым, президентом Академии художеств), Екатерина Белашова, Коненков, Павел Корин, Сарьян, Фаворский. Именно они придали профессиональной организации новый характер. Под носом у тт. Суслова и Ильичева оказалось многотысячное и вовсе не такое послушное объединение деятелей искусства. Честные наши художники стремились к очищению от сталинизма, к вытеснению из своей среды идеологического догматизма, политиканства. Новосозданный СХ СССР доброжелательно принимал опыты молодых повсюду в стране.

Я ничего не намерен идеализировать. Конечно, все доброе утверждалось в мучительных противоречиях. И все же Союз жил жаждой обновления. Власть очень скоро на это отреагировала. Она нанесла новым силам мощный удар, организовав в 1962—1963 годах показательный разгром выставки к 30-летию МОСХ. После травли Пастернака то был «второй звонок», и он раскатился еще более широко, в полном согласии со сталинскими идеологическими рецептами, «предупреждая» зарвавшихся обновленцев,— не столько, конечно, в искусстве, как в обществе в целом. Для искусства он предварял «тихие» драмы брежневского периода, когда часть творческой интеллигенции оказалась загнана в подполье, а часть — вытеснена за рубеж.

Это известно. Менее сознается другое: как ни давили СХ, но верхам никогда не удавалось полностью манипулировать им. Да, правда, его история соткана из компромиссов, отнюдь не всегда достойных. Союз кормил немало посредственности. Он приносил весьма чувствительные жертвы в угоду административным нравам тоталитаризма. «Заблаговременно» изгонял из своих рядов желавших или вынужденных покинуть страну. Так исключили Олега Целкова, Оскара Рабина, Юрия Купермана, Олега Кудряшова и еще многих даровитых, мужественных художников. Молчал Союз по поводу разгона первых выставок нашего андерграунда. Но было и другое: многие крупные художники «неофициальной» ориентации считали нужным вступить и вступили в Союз еще до конца 70-х годов. Конечно, у них не было никаких иллю-

зий. Но для «левых», остававшихся внутри страны, существование в Союзе было оправданным, а для здоровых сил самого Союза их привлечение было желанным.

Правда и то, что велась и бесконечная война лидеров Союза с чиновниками идеологической цензуры за талантливые, нестандартные произведения. Начальство «снимало», а художническая корпорация всеми силами отстаивала «крамольные» работы. Да, в двусмысленно изощренной борьбе подневольного искусства с властями было много утрат. И все же в Союзе существовал живой дух. Только поэтому здесь и стало возможным развитие таких мастеров, как ныне покойные Виктор Попков, Ионас Шважас, Минас Аветисян. В годы стагнации искусство этих художников, их друзей и единомышленников было ничуть не меньшей антитезой консерватизму, чем искусство «подпольное». Именно в лоне Союза росли новые генерации «семидесятников» и «восьмидесятников», и молодежные выставки в эти десятилетия были заряжены энергией противостояния. Они не укладывались в начальственные установления. Так называемое «официальное» искусство все время сбивалось на резкую конфронтацию с государственной практикой брежневщины. Сейчас широко утверждается, что в открытой художественной жизни «тогда» не было и не могло быть ничего достойного. Что искусство выжило только в потаенных подвалах и лишь их стенами обозначен рубеж противодействия распаду мысли и совести. Нимало не отрицая заслуг тех, чье творчество сделалось достоянием широкой гласности после апреля 1985-го, надо все-таки сознавать: факты говорят об ином. Живое искусство врывалось и в залы «официальных» выставок, вплоть до Манежа, как существовало оно на страницах «Нового мира» Твардовского, на сцене театров Любимова, Товстоногова, Эфроса, в лентах Тарковского. Другое дело, что это искусство не всегда желало быть авангардным по облику. Однако оно исповедовало ценности социального нонконформизма. Чем же иным в атмосфере государственно извращенного сознания могло быть бесстрашное постижение человека, стремление художника в человеке и через человека понять драму окружающего бытия? А такова и была стержневая задача для большинства наших талантливых живописцев, скульпторов, графиков 60—70-х годов. И перечеркивать их чистое творчество из пиетета к «еще более чистому» — то был бы суд вовсе не праведный.

«СТАРОЕ И НОВОЕ»

Да, сегодня еще не закончены споры о том, где пролегал предел достоинства художника, творческого и нравственного, в те нелегкие времена. В поисках грани чаще всего выдвигают суждение об авангардном поиске как антитезе, единственной и фундаментальной, государственного соцреализма. Казалось бы, тут не о чем спорить. Разве такая точка зрения не естественна? Однако посмотрим на историческую ситуацию более пристально.

По сути, сложности возникают уже с самим толкованием терминов «реализм» и «авангард». Нельзя же не видеть, что начальственно насаждавшийся социалистический реализм никогда реализмом не был, так как меньше всего нуждался в жизненной правде. В изоискусстве это еще более очевидно, нежели в литературе, где под маркой одного «метода» сосуществовали, к примеру, «Тихий Дон» и «Кавалер Золотой Звезды». Что же фактически имеют в виду, говоря о теперешнем противостоянии «официального реализма» и авангардного мышления? С одной стороны, реализм вне реализма, а с другой... Кстати, действительно, с другой-то что? Авангард — явление первой четверти XX века, и означал он тогда величайший вызов традиционности в творчестве. Всяческой «музейности», всем принятым в обществе установкам культуры. То был дух самого радикального обновления, и не столько даже эстетической сферы, как вообще социума. Такова ли природа нашего «неофициального искусства» 50—70-х годов? Во-первых, оно очевидно испытывает пиетет к традиции, хотя бы того же изначального авангарда. Во-вторых, что бы ни думали лидеры советского художественного нонконформизма о своей роли в обществе, их социальные притязания не столь глобальны, как у авангарда 20-х годов.

Важное отличие: классический авангард мечтал построить новый мир. Наш андерграунд, поскольку его занимало состояние социума, движим пафосом отрицания по преимуществу. Это понятно; во многих отношениях даже вполне, нравственно, но имеет весьма мало общего с конструктивными, «конструктивистскими» установками авангарда первой четверти века. И еще уточним для себя: одна из принципиальных позиций мастеров «неофициального» пласта — борьба за высвобождение искусства из-под всевластия социальных, политических императивов. За свободу художника как художника. За то, чтоб его перестали держать за гордо равными «высшими», а равно и житейскими «надо»

и «должен». Именно поэтому наше послевоенное «левое» искусство стало во многом искусством мастерских, искусством для круга понимающих толк ценителей. Оно хотело быть таким — и здесь нет ничего недостойного; но нет соответственно и грозного, вихревого бунтарства, генетически присущего авангардизму. Наше художественное «подполье» оказалось традиционнее и, как ни говорите, «конформнее», чем, возможно, хотелось его творцам. И не приходится удивляться, что со временем оно не без успеха встраивается в конъюнктуру, находит коммерчески-рыночное применение — пусть даже не у нас, а за рубежом. Это касается даже младшей ветви «неформалов» второй половины 70—80-х годов, которые устремляются на позиции контркультурные. Внешне в их «хулиганстве» больше созвучия футуристическому вызову начала века, нежели в высоколобом абстрактном, экспрессионистическом и даже концептуальном творчестве «левых шестидесятников». И что же? Продукция молодежных «тусовок» буквально с колес уходит в респектабельные западные галереи.

Значит, об авангардизме сегодняшнего авангарда говорить почти так же неправомерно, как о реализме в соцреализме. Говорить так можно только чрезвычайно условно — постольку, поскольку это искажает и затемняет действительные альтернативы нашего художественного сознания. Несправедливо мыслить художественную жизнь последнего тридцатилетия в категориях якобы отрицающих друг друга новаторства «без страха и упрека», авангарда — и социального соглашательства, олицетворяемого приверженностью традициям. Напротив, между честными художниками «левой» и традиционной ориентаций у нас не было непреодолимой пропасти. Будущие «суровые» реалисты начинали вместе и рядом с приверженцами Э. Белютина, «лианозовской группой» О. Рабина. Их постаралась столкнуть лбами позднее политика Суслова — Демичева. Но разрыв между «левыми» и «центром» всегда оставался меньшим, чем между всеми художниками п р и л и ч н ы м и и вертким конъюнктурщиками, обслуживавшими власть. Правдивые картины точно так же срывались со стен, как абстрактные. Горькие, страстные вещи северного цикла Попкова «Мезенские вдовы», за которые он — посмертно! — был «удостоен» премии и которые рождались одновременно с «Домом» Федора Абрамова в эстетике, кровно близкой Астафьеву, Шукшину, вызывали со стороны могучего в ту пору официоза шквал самого яростного негодования. Художника клеймили за «очернение советской действительности», за отступничество от «истинного реализма». Так было с мастером, кого по сегодняшней наипрогрессивнейшей логике следует записать в «официальные». На самом же деле поиски правды жизни и поиски правды искусства равным образом противостояли и официальному соцреализму Академии художеств, и идеологии новосозданного Союза художников РСФСР во главе с Владимиром Серовым, персонажем, ныне известным разве тем, что спровоцировал Хрущева на «манежные» эксцессы 1962 года. Своей ролью сусловского подручного, но не собственными слащавыми опусами на «историко-революционную тему», что выдавались еще недавно за образец реализма.

Может быть, такая вот расстановка сил в нашей художественной жизни труднее для понимания оттого, что она не имеет прямого аналога в западной. За рубежом, в Италии, Франции, Америке, традиционные направления после взлета неореализма середины 40-х — начала 50-х годов все более скатывались в мещански-салонное русло. В наших условиях диалог с традицией не теряет содержательного масштаба. Чем это объяснить? Наверное, самими особенностями нашей истории, своеобразием ее характеристик, духовно-нравственными дилеммами нашего общества «середины века».

Каковы же здесь главные движущие противоречия? Их ощущаешь в сравнении. Скажем, сознание революционной эпохи, в том числе и художественное, определяла символическая альтернатива «старого и нового». Что происходит в дальнейшем? Сталинский тоталитаризм ничего принципиально нового не придумал. Он паразитировал на концепциях, витавших в воздухе революционного десятилетия, однако характернейшим образом извратил их. Нередко главное отличие идейной атмосферы искусства 20-х и 30-х годов видят в нарастающем тяготении к традиционализму. И в самом деле, витийствуя о «новом» обществе, человеке, искусстве, сталинские идеологи как будто предпочитали «старые» формы. Так же и социалистический реализм якобы опирается на традиционные школы, прежде всего на отечественную реалистическую. Но ведь по сути-то он ее профанирует! И в нравственном, и в мировоззренческом плане «творческий метод», утверждавшийся в 30-е годы, бесконечно чужд пафосу Крамского и Ге, Репина и Толстого. Опьяненность «желаемым» ничего не имела общего с культом жизненной диалектики, «действительного» — родовыми чертами старого русского реализма. Так вот представим, что происходило в душе художника предвоенного десятилетия? Той эпохи, когда создавался роман «Мастер и Маргарита». Когда появилась знаменитая символическая композиция Мухиной и Павел Корин был вынужден оборвать работу над «Уходящей Русью»... Тогда спасением творческой совести оказался рывок от зловещих фантомов псевдоправды, псевдонародности, псевдотрадиции — к чему же? К авангардному вымыслу? Нам, возможно, еще предстоит понять в полной мере ценность великих вымыслов в культурной истории человечества. Но здесь рывок был в иную сторону. Если угодно, да, было бегство от «нового», вынужденное и неизбежное. Бегство из застенка настоящего, из оков государственной «мечты» о будущем — в пространство Культуры, Природы, Космоса, в их большое, вечное время, к их первородной мудрости, к духовно-нравственным основам жизни. Человек без свободы гибнет. Но он не хотел и не мог более считать свободой свободу иллюзии. И в самую трудную, трагическую для нашего общества пору человеческий дух искал свободы и даже, хотя сегодня это звучит почти кощунством, неким образом ее обретал. Об этом побуждает думать нравственно безупречное свидетельство Василия Гроссмана. По мысли его, и т о г д а «совершалась свобода... Вопреки безмерному, космическому насилию... она совершалась потому, что люди продолжали оставаться людьми» («Все течет»). Из подобных коллизий мы и выводим искомую символическую альтернативу, некую, как модно теперь выражаться, парадигму эпохи. Представляется, что для 30—50-х то было противоречие «традиции» и Традиции.

Потеряли ли остроту для нас сегодняшних столкновения свободы и несвободы, культуры и варварства? Отнюдь нет. И здесь для меня главное объяснение, отчего в советском искусстве и ныне сохраняет актуальность, жизнеспособность традиционное мышление. Не отрицаю никаких поисков вне традиции. Но убежден: высокая культурная традиция продолжает у нас быть необходимейшим жизнетворческим стимулом. Недаром опирающееся на традицию советское искусство приковывает к себе внимание в любой панораме, любом «музее» мировой культуры XX века. К тому же это искусство обладает потенциалом развития, эволюция его достаточно оригинальна. Если взять, например, лишь живопись последнего тридцатилетия, обращенную к задачам собственно реалистическим, здесь происходят вполне наглядные сдвиги. От поколения к поколению изобразительное искусство меняется так же, как менялась, скажем, советская проза, и линия Пластов — Попков — Назаренко представляется параллельной движению от Э. Казакевича, Ю. Германа, того же В. Гроссмана — к Юрию Трифонову, а затем — к В. Орлову, Л. Петрушевской... И, возвращаясь к предмету теперешних споров, надо заметить: средой подобных процессов во многом являлись дух и практика «оттепели» в цеховом сообществе наших художников.

НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО

Здоровые силы СХ, кстати, имели деятельных сторонников и в критике конца 50—80-х годов. Иногда говорят: художественной критики у нас нет и не было. В этой области почти нет критики «трибунной», прямо вгрызающейся в горячие темы дня,— что правда, то правда. Но ведь и диалог с художником совсем немаловажная миссия критики. Годы «застоя» для критиков-искусствоведов не были порою безгласности. В СХ никогда не было кампаний, подобных антипастернаковской или антидиссидентским на почве литературы. Было среди искусствоведов несколько одиозных фигур, рьяно выполнявших «социальные заказы». Но отношение к искусству определяли не «наши ермиловы» типа В. С. Кеменова или А. К. Лебедева. Вся авторитетная критика последовательно и убежденно была на стороне новых сил, она шла рядом с «суровыми», с молодыми «семидесятниками» и «восьмидесятниками» и часто оказывалась самой надежной опорой для тех, чьи работы не допускались на выставки. Критика была заинтересованным, вдумчивым «собеседником» многих мастеров, кого официальные идеологи клеймили за «антинародность», «формализм» или «модернизм». И все это было не так-то просто во времена, когда нам еще не разъяснялось в газетах, кто на самом деле «за народ», а кто против. Отсюда и ясно, почему власть предержащие не подпускали ведущих советских искусствоведов к средствам массовой информации.

Но ничто не проходит бесследно. Энергия противостояния, существовавшая внутри Союза художников, питалась в огромной степени закваской шестидесятых годов. Сегодня поколение, которому мы столь многим обязаны, теряет активность. Дело и в том, что людям свойственно уставать. Не только они боролись со временем — время боролось с людьми. В недрах тоталитарной системы возникли силы, механизмы, успешно делавшие свою работу: тут и привязка художника к колеснице власти при помощи денег, привилегий, регалий. И кадровая селекция, вовлекшая в руководство творческими организациями лиц известного толка. И «общественное мнение», формируемое путем эффективного «художественного воспитания» масс, которое привело к деградации вкуса аудитории нашего искусства...

Все доброе, чего удавалось добиться, отвоевывалось у этой системы. Все вырывалось из цепких рук официальной «культурной» политики. Устои ее поколеблены новым мышлением. Но она создала мощные тыловые позиции и еще

вполне может рассчитывать на реванш, во всяком случае, кое-какие ресурсы для этого у нее есть. Подумаем, например, вот о чем. Для советского художника путь к официальному признанию всегда пролегал через и д е о л о г и ю. Художник получал благосостояние, собственно, не за творческий труд, а за выражение «верных идей». Тут работала циничная логика: или «служи», или голодай. Какой-то части талантливых людей ухитрялся помогать «цех». Нередко слышатся сетования: на что, мол, похоже, когда «художники покупают художников»? Да если бы у нас не нашлось авторитетных и благородных мастеров, сумевших во многом превратить творческий союз в коллективного мецената, это была бы трагедия для искусства, для отечественной культуры. И без того приобретение неординарных, неконъюнктурных работ через все худсоветы, экспертные комиссии проходило с огромным трудом.

Теперь настала пора, когда за «идейную» преданность начальству как будто бы ничего весомого не стяжаешь. Примат же идеологии над началом эстетическим, творческим остается реальностью в сознании многих людей искусства. Это словно рефлекс, въевшийся накрепко и небескорыстно. Звонкая фраза по-прежнему на вооружении художника в битве за жизненные блага. Поколеблен бетонный официоз. Но каких только фантомов «встревоженные музы» не призывают на помощь! Что делать. Потеряв покровителей в административной верхушке, они пытаются изобрести таковых где только возможно. И тут, конечно, выдвигаются разные передовые идеи, нередко даже говорятся святые слова. А суть...

С сутью все как-то двусмысленно. И тут к услугам ловкачей «снизу» все время поучительный опыт «верхов». Еще года три назад попытки расширить рынок произведений искусства в стране, что могло бы улучшить положение многих художников, оживить художественную жизнь вообще, встречались в штыки. Чиновники говорили: «Мы не можем пойти на массовую торговлю искусством, это вопрос идеологии, правильного воспитания нашего народа». Шло время. Становилось ясно, что с «воспитанием» все как-то не выгорает. И денег у государства мало. И все вокруг стало переводиться на самоокупаемость. Правда, СХ — профессиональное объединение, издавна существовавшее на хозрасчете. Но теперь государственным умам показалось этого мало. Был принят закон налогообложения, по которому художникам надлежит отдавать в казну денег больше, чем они зарабатывают. Наверное, и СХ, и другие творческие союзы лучше было бы сразу закрыть,— работать им стало бы все равно не на что.

Ну, и «низы» по части преданности идеалам не отстают. Раньше жюри перед открытием выставки перекраивали развешенное на стенах в угоду секретарю горкома. Теперь слышишь такое: «Должен приехать митрополит, это ему не понравится. Давайте-ка эту работу подальше в угол!» Поредело, притихло воинство, десятилетиями пугавшее бдительных руководителей: без наших шедевров советская власть падет завтра же. Но резко умножилось число тех, кто провозглашает: без нас завтра падет н а ц и я, затопчут ее инородцы! Сегодня в самых разных кругах, отнюдь не исключая художественные, национальная идея призывается заместить прежде любимую классово-политическую. Кто спорит, судьбы национального самосознания — дело жизненно важное. Но это как раз то дело, какое требует чистоты рук. У нас же вокруг него — давно знакомые игры. Существует журнал «Художник» — орган СХ РСФСР, младший брат «Нашего современника» на ниве искусства. Сегодня он особенно рьяно тянет вверх знамя спасения национального русского реализма. Но каким образом, чьими руками? Главный редактор этого издания — доктор философских наук Б. Лукьянов, в прошлом испытанный борец с ревизионизмом, ныне член-корреспондент Академии художеств и ярый противник «чуждого нам» модернизма, заблуждающейся молодежи и потворствующей ей критики. Один из авторов журнала, ученик известнейшего борца с ревизионизмом и модернизмом же М. Лифшица, еще недавно, в 1987 году, разоблачал «плюралиствующих» искусствоведов, а уже в 1988-м выступал под знаменами национал-популизма. Ветераны соцреалистического искусствопонимания на страницах «Художника» и многотиражки «Московский художник» сражаются с Маяковским, Хлебниковым, Давидом Штеренбергом и поют славу секретарям СХ РСФСР вперемежку с активистами национально-патриотического движения...

Да, многие вещают о русской культуре, печалуются о душе русского человека. Поистине, человек у нас нуждается в помощи и заботе — и русский, и таджик, и еврей, и якут. Но если идешь с хлебом к людям, измученным голодом, что же надо иметь внутри, чтобы сказать: вы — мои соплеменники, и хлеб мой — для вас, а вы — чужие, вам тут не место? К стыду и боли, борьба за национальное слишком часто таит в себе вполне корыстные помыслы. Допустим, для несостоявшегося депутата Верховного Совета РСФСР, получившего в последние годы известность, скульптора Вячеслава Клыкова, чью предвыборную программу поместил тот же «Московский художник», судьбы русской культуры, нашего национального самосознания неотделимы от православия. Это его позиция, и он имеет на нее полное право. Но вот по логике какого вероучения в той же самой программе объединяются защита церкви с защитой армии и поддержкой руководящей роли партии в советском обществе, да еще с апелляцией к женскому движению, призывами

создавать «Материнские Думы»? Не больше ли, право, за всем этим расчета, чем Идеи и Веры? Ставим сразу на все, что считаем силой: и на партию, и на церковь, и на военных. Тут прогадать трудно. Увы, это самое «не прогадать» сплошь да рядом выглядывает из-за «идейных» лозунгов наших художественных деятелей

И вот ведь как: без идеологического форс-мажора не обходятся и те, кто строго судил за него предшественников. Имею в виду молодых новаторов. Из их среды то и дело доносится: мы и только мы есть авангард настоящий, а вовсе не Петя и Вася из соседней команды, «продавшиеся большевикам». Мы подлинные нонконформисты, мы неофициальные, мы альтернативные... Кому и чему альтернатива сегодня? У «левых» художников нет повода враждовать с перестроечными властями. Теперь все только и делают, что ищут самый «крутой» авангард для ближайшей выставки. Однако нонконформистские лозунги провозглашаются. Для чего? А все для того же: чтоб не пришлось в заботах о хлебе насущном полагаться лишь на свою кисть. С ритуальными идеологическими заклинаниями легче пробиться на рынок. Особенно тот, где платят в конвертируемой валюте. Говорю без желания кого-либо уязвить. Любое искусство нуждается в покупателе, и не вина нашего андерграунда 60—70-х годов, что сусловский аппарат вытолкнул его к покупателю зарубежному, закрыв музеи и фонды внутри страны для «неправильного» искусства. Но разыгрывать все те же политические сюжеты сегодня?

Однако вопросы денег и в целом обеспечения социального статуса художника никак «не хотят» решаться помимо привычных уловок заидеологизированного мышления. Сегодня это резко ослабляет творческую среду, приводит ко многим конфликтам совершенно внетворческого характера. Точно так же отравляется «цех» шлаками кадровой политики, проводившейся долгие годы. Начальство всегда старалось нейтрализовать плохо управляемых лидеров СХ. Благодаря ему сложилось-таки то самое большинство, которое ныне почти сковало здоровые силы многих и многих организаций Союза. К примеру, крайне консервативным оказалось правление и особенно секретариат СХ РСФСР. Искусство российское талантами не скудеет. Но что ему за несчастье такое — десятилетиями управляться художниками самыми слабыми и конъюнктурными? Отчего это стало традицией на земле великого духа?

Пожалуй, весь СХ сегодня — больная структура. Он страдает пассивностью. Он разрывается изнутри то корыстными интересами, то воинствующими предрассудками. Более трех десятилетий Союз способствовал выживанию отечественного изобразительного искусства. И что же сейчас? Он сделался тормозом?

По чести, варясь в повседневной жизни СХ, на такие вопросы нередко хочется дать ответ утвердительный. Проблема, однако, в том, что сравнительно с годами 50—60-ми в нашем теперешнем обществе не прибавилось сил, способных оберегать и развивать пластическое искусство как явление культуры. Художники, как и прежде, вынуждены рассчитывать главным образом на самих себя. Отказ от Союза явно стал бы для многих из них гибельным, ибо он создает массу серьезнейших трудностей для искусства того рода, которое не готово или не стремится к рыночной конкуренции. Ведь есть художники, которые не хотят торговать собой ни на ярмарке перестроечного тщеславия, ни охранительно-почвеннического, ни суперавангардистского. При любых условиях видеть радужную перспективу творчества во всевластии рынка по меньшей мере наивно. Что, кстати, подтверждает и опыт Запада. Так чем же может поддерживаться искусство? Некоммерческими программами, культурными, творческими инициативами, которых вполне логично ожидать от самого же Союза художников, что в принципе в его силах. Но Союз должен быть омоложен и обновлен, и весьма радикально. Однако для этого он нуждается в заинтересованном внимании со стороны общества. В опеке со стороны интеллигенции и средств массовой информации. Заколдованный круг! Выйдем ли мы из него?

Из почты «Знамени»

Языковой факт и идеологическое сито

Позволю себе начать с конкретного случая. В «Литературной газете» (1989 г., № 7) было помещено письмо профессора Т. Х. Маргуловой «Слишком крылатые слова», в котором критикуется 4-е издание сборника «Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения» (М., 1988). Т. Х. Маргулова полагает неправильным воспроизведение в новом издании пояснений, некогда данных ныне покойными составителями (Н. С. Ашукиным и М. Г. Ашукиной) к крылатым словам, автором которых был Сталин. С этим нельзя не согласиться: да, объективно некоторые из этих комментариев выглядят как обеление сталинизма и сталинщины. Их, конечно, следовало снять.

Однако автор письма идет дальше, предлагая подвергнуть остракизму, изгнать из сборника великий перелом, головокружение от успехов. Изгнать только потому, что эти крылатые слова восходят к Сталину. «Перечисленным выдержкам из статей и докладов вообще не должно быть места в сборнике «Крылатые слова». Но ведь от того, что сборник их не заметит, они не исчезнут. Вот мы говорили и говорим малой кровью (и даже пели в песне из кинофильма «Если завтра война»: «...малой кровью, могучим ударом»), краса и гордость, политика дальнего прицела, грызть гранит науки и не знаем, когда и кто все это сказал первым. Однако, даже надежно убрав в спецхраны все работы Л. Д. Троцкого, спрятав туда же книгу профессора А. М. Селищева «Язык революционной эпохи», в которой рассказывается об этих выражениях, мы не изъяли их из языка.

Некогда Жолио Кюри сказал: «Правда путешествует без виз». Слова, добавлю, тоже. Если же следовать логике остракизма, то не надо пропускать в сборник и выражение после нас хоть потоп, поскольку эта цинично-эгоистическая формула принадлежит то ли французскому королю Людовику XVI, то ли его любовнице. По той же логике не нужно публиковать и выражение, приписываемое тирану Нерону: Какой великий артист погибает! Однако сборники крылатых слов — это не книги из серии «Жизнь замечательных людей», и то, что стало достоянием языка, имеет право быть замеченным и разъясненным филологами. И потому-то нельзя исключить из словарей слово галифе, хотя название это восходит к фамилии палача парижских коммунаров.

В письме не признаются крылатыми словами и потому считаются неоправданно включенными в сборник выражения вроде нет таких крепостей и кадры решают все. Отказано им в статусе крылатых слов на том основании, что это лозунги, а лозунги не могут стать крылатыми словами. К сожалению, не поясняется, почему лозунги обречены на бескрылость, почему они не могут войти в афористику языка.

Конечно, не всякий лозунг — кандидат в крылатые слова, но что мешает стать им лозунгу, существовавшему десятилетия и известному миллионам?

Крылатые слова — часть фразеологии языка. Фразеологизмы могут устаревать, уходить из активного употребления, забываться, превращаясь во фразеологические архаизмы. Например, современники Маяковского широко употребляли фразеологизм вертеть вола. Ныне он не употребителен и мало кому понятен. Его значение сходно со смыслом другого фразеологизма того времени — арапа заправлять (сравните с нынешними пудрить мозги, вешать лапшу на уши). Однако, уходя в запас, фразеологизм не лишается своего звания. И крылатые слова (в частности лозунги), уходя на покой, остаются в прежнем звании, превращаясь в языковые памятники своей эпохи.

Со сменой политической или социально-психологической обстановки, нравственного климата в обществе, с получением и осознанием новой информации о времени и обстоятельствах появления лозунгов, ставших крылатыми словами,

может изменяться и отношение к ним. Примеры: Грабь награбленное! Кто не с нами, тот против нас! Догнать и перегнать Америку! Если враг не сдается, его уничтожают. Осмысление ранее неизвестной информации не могло не изменить в сознании людей отношения к ним. Отсюда применение их в саркастических и иронических контекстах как свидетельство лжепатетики и лицемерия словесных знаков полной трагизма эпохи.

Независимо от того, причислим мы или нет к стае крылатых слов старые лозунги, отыгравшие свои призывные роли, мы должны признать их статус языковых фактов. И в этом уравнять их с крылатыми словами, освободив и те, и другие от идеологизированного, политизированного подхода, от которого немало натерпелась наша лексикография. Так, после печально известной фальсификаторской статьи М. Д. Багирова, посвященной Шамилю и возглавляемому им национально-освободительному движению на Северном Кавказе, во 2-м издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова не стало слова абрек, которое было возвращено ему в последующих изданиях.

Приведу примеры слов, не попавших в словари по идеологическим и политическим соображениям. Административно-командная система внесла свой вклад в сокровищницу языка, введя в русский язык через тексты постановлений, предписаний, циркуляров или живую речь народа такие, как спецпереселенцы (депортированные в начале 30-х годов крестьяне), спецпоселенцы (депортированные народы, начиная с корейцев и кончая турками-месхетинцами), лишенцы, невозвращенцы, невыездные. Она же создала спецхраны, допуская в них особый, ограниченный контингент по особым разрешениям, завела спецпайки, спецбольницы и разные другие спецудобства. И ни один из словарей не замечает этого, это как бы слова-невидимки.

Административно-командная система обогатила смысловую структуру пришедшего с Запада слова номенклатура четырьмя неведомыми там значениями: 1. Совокупность руководящих постов, назначение на которые входит в компетенцию определенного партийного органа, производится по его указанию. 2. Один из таких постов. 3. Совокупность лиц, занимающих или могущих занять такие посты. 4. Лицо, занимающее такой пост. Попробуйте сыскать эти значения, эти семантические экзотизмы в наших словарях. Это тоже невидимки.

Требуют пересмотра и некоторые другие словарные статьи после того, как наше общество начало снимать официально прописанные ему розовые очки и идеологические шоры.

«Коррупция,— утверждал «Словарь иностранных слов» во всех изданиях, кроме последнего, 18-го,— подкуп, продажность общественных и политических деятелей, должностных лиц в капиталистическом обществе». И он был не одинок. «Словарь современного русского литературного языка» разъяснял: «Коррупция. В капиталистических странах — подкуп, продажность должностных лиц, политических деятелей». Так же пояснял это слово «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, а также «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (поправка внесена в издание 1989 г.).

В 18-м издании «Словаря иностранных слов», хоть и названном стереотипным, пришлось изменить и толкования слов мафия, проституция, рэкет, рэкетир, здесь убраны привязки к общественно-политическому строю.

Если толкование коррупции четырехтомный «Словарь русского языка» (2-е издание) сумел избавить от дежурной привязки к определенному типу общества, то в статье проституция он вновь впадает в грех идеологизирования вкупе со Словарем под редакцией Д. Н. Ушакова и «Словарем современного русского литературного языка»: «В эксплуататорском обществе — продажа женщинами своего тела с целью добыть средства к существованию». Тут и признак ограниченности явления рамками общества определенного типа, и как бы оправдание всех занимающихся проституцией: общество, мол, вынуждает так добывать себе на жизнь. Но разве можно, например, поставить рядом «интердевочек» и несчастную женщину из некрасовского стихотворения, которая вышла на панель, чтобы добыть «на гробик ребенку, на ужин отцу»? Тут точны ожеговский словарь: «продажа женщинами своего тела» и 18-е издание «Словаря иностран-

ных слов», в котором после «добыть средства к существованию» следует: «...а также с целью наживы».

Немало идеологизированного толкования слов в Словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, выходившем в свет в 1935—1940 годах. Например, слову о п п о з и ц и я словарь приписывает и такое значение: «Деятельность оппортунистических антиленинских группировок, боровшихся против генеральной линии ВКП(б) и против руководства партии с целью разрушения диктатуры пролетариата и восстановления капитализма и превратившихся впоследствии в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств». Разумеется, слово о п п о з и ц и я не имело такого значения. Интересно, что все примеры, долженствующие проиллюстрировать и подтвердить предложенное словарем толкование слова, во-первых, содержат это слово не в процессуальном, как указывает словарь, а в предметном смысле, и, во-вторых, не подтверждают, что в самом слове «о п п о з и ц и я» содержатся те темы (составные части смысла), которые так размашисто щедро сообщает Словарь. Наверняка высокая филологическая культура составителей уберегла бы их от такого лексикографического огреха, когда бы к беспартийному авторскому коллективу для обеспечения идеологической непорочности Словаря не был приставлен политопекуном историк Б. М. Волин.

Второй том ушаковского Словаря вышел в 1938 году, а в 1959-м в 8-м томе «Словаря современного русского литературного языка» о слове о п п о з и ц и я читаем: «Общее наименование партий, групп, выступающих против правящей партии или против политики правительства; в буржуазных государствах — парламентские фракции этих партий». Выходит, во первых, что в неправящей партии не может быть оппозиции, а во-вторых, что если есть оппозиция в правящей партии, то она выступает против партии. Заметьте: не против большинства партии, а против нее в целом. Прошло 30 лет. В 18-м издании «Словаря иностранных слов» находим такое толкование ф р а к ц и и: «обособленная часть политической партии, имеющая свои взгляды и платформу, отличные от взглядов и платформы партии, и свой организационный центр, борющаяся с партией, но остающаяся в ее рядах». И здесь опять фракция противопоставлена не большинству, а всей партии, большинство отождествлено с партией, меньшинство как бы вне ее. Но это же чистой воды алогизм: как можно одновременно быть в партии и не быть в ней. Идеологические догмы сталинизма не жаловали логики. И подвергшиеся идеологизации словарные толкования явно хромали по этой части.

Пора наконец признать, что идеологизированный, политизированный подход к языковым фактам ненаучен. И если языковой факт существовал, нелепо делать вид, что его не было.

Э р и к Х а н-П и р а

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. А л е к с е е в а.

Сдано в набор 10.07.90. Подписано к печати 07.08.90. Формат 70×108 1/16. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—354 994 экз.). Заказ № 2588. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

23 июля с. г. состоялось собрание трудового коллектива журнала «Знамя».

Поддерживая линию журнала и его руководства, трудовой коллектив считает, что «Знамя» должно быть независимым изданием, выражать общенародные интересы, не являться органом политических, профессиональных, групповых организаций и объединений.

В соответствии с Законом СССР «О печати и других средствах массовой информации» трудовой коллектив редакции вынес решение стать учредителем журнала «Знамя» и подал заявление о регистрации.